

И О В Ы И
М И Р

12



1970

НОВОБЫТИ И МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XLVI

№ 12

Декабрь, 1970 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
РОБЕРТ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ — Из лирики	3
ВЛАДИМИР ФОМЕНКО — Память земли, роман. Окончание	8
МИХАЙ ВАЦИ — Из последней книги, стихи. Перевели с венгерского Дм. Сухарев и Юрий Левитанский	95
Ю. ТРИФОНОВ — Предварительные итоги, повесть	101
ЛЕОНИД ЗАВАЛЬНЮК — Цветущая акация стара, стихи	141

ПУБЛИЦИСТИКА

К 50-летию плана ГОЭЛРО

Л. ЛЕОНТЬЕВ — Первенец	143
Ю. ФЕОФАНОВ — Закон в нашей жизни	156

В МИРЕ НАУКИ

И. КОН — Люди и роли	168
----------------------	-----

НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

ЮРИЙ НАГИБИН — Из нигерийской тетради	192
---------------------------------------	-----

ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ

В. ГОЛАНТ — Неужели это наука?	209
--------------------------------	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Наука о литературе сегодня

Д. МАРКОВ — Всесторонне исследовать социалистические литературы	215
Ю. БАРАБАШ — Камо грядеши?	220
<hr/>	
В. СУРВИЛЛО. Самая справедливая справедливость	226
Н. ЛЮБИМОВ — Лирика Фета	244

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ С С С Р»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	254
Александр Бек. По следу отцов.— Б. Сарнов. «Привычка ставить слово после слова...» — Н. Дикушина. Пафос разоблачения и объективность исследования.	
<i>Политика и наука</i>	267
Л. Ванханен. Ритмы борьбы.— В. И. Козлов. Человечество, природа и телеология.— Ю. Моисеев. Наука о поведении.	
КОРОТКО О КНИГАХ — Г. Койранская.— Л. Татьяничева. Живая мозаика. ♦ И. Борисова.— Дмитрий Сергеев. Крепость на отшибе. ♦ В. Яровицкий.— Медресе любви (Персидская народная поэзия). ♦ Я. Горелик.— М. И. Семиряга. Советские люди в Европейском Сопротивлении	277
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	280
СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР» ЗА 1970 ГОД	282

РОБЕРТ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

★

ИЗ ЛИРИКИ

ПЕРВЫЕ

Аппараты
летательные.

Исходы
летальные...

Что звалось
«само-летом»,

не летало
само.

Было странным,
далеким,

как чужое
письмо.

Были
воздухоплаватели —
шик
и почет,—
как шкатулки
из платины —
наперечет!..

Гордецы,
командоры
застольных шумих.
Суеверны,
как вдовы.

Красивы,
как миф.

Острословы,
гусары,
знатоки мишуры.
Непременно

усаты.

Абсолютно
храбры.

Кожей курток похрустывая,
шли
навстречу громам.

Будто в ложе
 прокрустово,
 влезали
 в «фарман»...
 И взлетали,
 касатики!
 И кричали,
 паря!
 Были выше
 Исакия.
 Выше
 царя!..

Уговоров не слушались.
 И познав
 круговерть,
 обрывались
 и рушились
 на российскую
 твердь!
 Уходили
 до срока —
 без войны,
 без чумы —
 в землю
 чаще
 намного,
 чем
 в большие чины.

* * *

Тот самый луч,
 который
 твоих
 коснется
 рук,
 покинув
 мыс Китовый,
 опишет
 полукруг.
 И в море
 не утонет.
 Пушист
 и невесом,
 он был
 в моих ладонях
 застенчивым
 птенцом...

Он замелькает
 вскоре
 над рябью
 свежих луж.

для двоих —
тот самый луч,
 который
коснется
 губ
 твоих.

* * *

Кому принадлежу?
Принадлежу
тому, что проходяще
 и бесценно:
и цифрам
вычислительного центра,
и весело орущему
 стрижу.

Принадлежу
закату и заре.
Березе,
ниспадающей в Онегу.
Принадлежу
 медлительному снегу,
рожденному
в полнотном
фонаре...
Дорожным разговорам по душам.
Гостиницам,
 величественно душным.
Богам
 поверженным.
Богам
 грядущим.
Редакторским
 цветным карандашам...
То званый,
то ненужный, как нагар,
принадлежу
 удачам и уронам,
аэродромам
и пустым перронам.
Друзьям
 и в меру вежливым врагам.
Живу.
 Умею.
 Знаю.
 И могу.
Терплю.
 Вникаю.
 Верю и не верю..
И все-таки
принадлежу мгновенью,
когда мне дочка говорит:
 «Агу»...

Принадлежу
предчувствию вины.
Ветрам
над непокрытой головою.
Окопам,
захлебнувшимся травой,
и обелискам
завтрашней
войны.

Еще принадлежу
воде в горсти.
Дню,
рыжему от солнечных проталин,
который так талантлив,
так бездарен
и так высок,
что мне
не дорасти...

В квадратик телевизора
гляжу.

Принадлежу
и твистам
и присядкам.

Принадлежу
законам и присягам.

А значит, и себе
принадлежу.



ВЛАДИМИР ФОМЕНКО

★

ПАМЯТЬ ЗЕМЛИ*

Роман

Глава четырнадцатая

1

Клубные полы еще накануне были вымыты, над сценой выведено: «Социализм — это учет».

Теперь по отскобленным полам шаркали хуторяне, принаряженные и по случаю выплаты, и по случаю Международного женского дня. Посмеиваясь, взвинченно пошучивая, они поглядывали на сцену, где среди стола чернел банковский кожаный полупортфель-получемодан. Люди, было успокоясь после отъезда инвентаризаторов, теша себя дурачьими думками, что выселение вдруг да как-нибудь отпадет, вроде бы забудется, глазели на сцену. Не забылось: на столе ясно виднелась «валюта», привезенная под охраной. Старшина прохаживался по залу, а скуластенькие солдаты-узбеки, совсем мальчонки, первого года службы, выполнив долг — сопровождение казны в пути следования, — сидели на первой скамье, продолжали гордо держать на груди, на всеобщее обозрение, автоматы.

Выплата намечалась на сцене, куда очередному получателю надлежало всходить по ступенькам, по которым во время лекций поднимались лекторы, а во время собраний — выступающие. Длинный стол на сцене предназначался для Настасьи Семеновны и другого местного начальства. Всегда используемый для президиума, он и сейчас сверкал красной президиумской скатертью, но стоял боком, был как бы второстепенным, открывая другой, главный, приготовленный для приехавших гостей: майора — представителя стройки, бухгалтера, кассирши.

На этом главном, отсвечивая стальными воронеными защелками, и чернел банковский чемодан, вмещающий стоимость домов, подворий, садов хутора Кореновского...

Пока зал наполнялся, руководители в углу сцены решали порядок выплаты.

— Опыта у меня нет, — мягко объяснял майор, нежнолицый, молодой, облаченный в новехонький, нескулебный на нем китель с техническими эмблемами на погонах. — Нет опыта, — извиняющимся голосом говорил он. — Но по опыту сотрудников, которые выплачивали в других станицах, дипломатичнее начать с тех товарищей колхозников, которым начислено больше...

* О к о н ч а н и е. Начало см. «Новый мир» № 11 с. г.

Видать, майор совсем недавно был гражданским инженером, преподавал в вузе или сидел в конструкторском бюро и теперь, призванный на стройку, надевший форму, оставался сугубо гражданским, каким-то домашним, стыдился своего предложения хитрить с колхозниками.

— А чего ж! Нехай так,— подбодрила его Черненкова.— А то сканителются с самого начала.— И, ни с кем не согласовывая, зычно объявила в зал:— Готовьте мешки под гроши. Сейчас будем выплачивать.

Долго ожидаемое, пугающее людей неизвестностью началось неожиданно мгновенно. Зал притих, руководство село по местам.

Майор торопливо отчеркнул в списке первый десяток фамилий, и приезжий бухгалтер стал их зачитывать.

Вызванные оказались старухами, хозяйками флигельков-завалюх, за которые-то и полагалась наивысшая оплата. Старухи под гомон и облегченный смех зала скучились внизу у рампы, милиционер-усач, играя голосом, поздравил их с Восьмым марта и скомандовал: «Становись в очередь, николаевские девчата»,— намекая, что были они девчатами еще при царе Николае.

Первые две взгромоздились на сцену, стали расписываться в бумагах, в обе руки получать от кассирши толстые пачки, и зал изумленно заахал в ожидании собственного счастья. Пожилая молодцеватая кассирша с высокой башней седых пышных волос — вся полнокровная, тугая — сверкала сильно выпуклыми, без оправы очками, басовито восторгалась:

— Типы-то, типы! Совершенно шолоховские!

Вокруг было празднично, а Настасья Семеновна чуяла приближение взрыва, хорошо зная: в общественном деле на подтасовках не вытянешь. Но вожжи — это стало правилом — выдергивали из ее рук, ее мнения даже не спросили. Но и она допустила недопустимое в работе — обиду, и не пресекла неверный порядок выплаты.

Приезжие лекторы говорят, что деньги отмирают. Уже, мол, теряется к ним интерес в условиях колхозно-совхозной деревни. Артисты!.. Да называй ты хуторянина хоть колхозником, хоть рабочим совхоза, а он вековой хуторянин. Он на базаре рубли за курицу берет и волнуется: не обсчитаться б. Если ж видит: не обсчитался,— волнуется, что получил за ту курицу бумажки не дюже новые... А здесь — шутка ли? — сбывает дедовские именья! И с ним еще хитрозадничают, выкликать начали сикось-накось. Посчитали за лишнее спросить у нее, у Щепетковой. Морды от нее воротят.

Она чувствовала себя подлой, но с удовольствием ждала теперь развязки. «Решили сами обойтись? Посмотрим...»

Майор продолжал отчеркивать в списке ногтем кого вызывать. Под общую оживленность прошли после старушонок Фрянсковы, Акимочкины, Ванцецкие, Руженковы — владельцы сохранных, но уже старых, трудных в переноске хат, за которые тоже выдавались крупные суммы.

Когда же двинулись хозяева новостроек, то есть домов послевоенных, совсем крепких, и стали вдруг получать копейки, началось то, что предвидела Щепеткова, чего ждала оскорбленной душой. Забурлили все новостроевцы: и которые отходили от кассирши с тонюсенькими пачками, не зная, класть их в карман или с размаху швырнуть на пол; забурлили и те, которые еще не были у кассирши, но уже разогнались огрести вдесятеро больше, чем первые старушонки. Хуторяне, получившие много, молчали, а новостроевцы гудели все напряженней.

Дарья перегнулась через спину Щепетковой к Голубову, распорядилась, чтоб он, член партбюро, приглянул здесь, пока смотается она в сельмаг, даст команду не продавать выпивку.

— А то орлы наши под такое настроенье понадерутся,— пояснила она,— начнут комедии выламывать.

Да, было ясно: ни к чему добавления вроде водки или — еще хуже! — нечуткости за выплатными столами. Это понимали все, кроме плотной румяной кассирши, вертящейся на стуле. Глядя в ведомость, она восторженно басила:

— Имена-то, боже мой! Как в древней Руси. Антонида, Феноя, Лавр, Лавреен.

— Хватит, слушайте,— просительно одергивал майор, но она, отблескивая линзами и полнокровными пылающими щеками, стонала:

— А фамилии, фамилии! Песковацкова, Забазнов. Или вот Рагозина, да еще Фелицата!.. — Она громко вызвала: — Рагозина Фелицата!

— Я,— отозвалась из рядов Фелицата, направилась к сцене.

Настасья глядела на приближающуюся куму... Когда Тимке был месяц, Фелицата, по-близкому Цата, тайком от коммуниста Алексея, полутайком от комсомолки Настасьи, не слишком тогда сознательной, окрестила мальчика. Узнав, Алексей шарахнул об пол стопу тарелок, а к вечеру заявила Цатка с мужем — другом Алексея,— с бутылью вина. «Все одно, ведь хоть малец окрещенный — не выбросишь. Мы ж тоже-ть крещеные, а не подводим партию!..» После не раз и не десять пили мужья-кумовья водочку, а жены — кофей, который, говорят, со времен турецкого Азова переняли женщины у турков, по всему Дону угощаются по воскресеньям кофеем с каймаком, под селедочку и, если разгуляются, под рюмку водки. Когда смертью храбрых пал Рагозин, а вслед за ним Алексей, жены сошлись еще теснее, и лишь переселение развело их.

Вот она приближается, Цата, к столу — дородная, симпатичная,— а сколько повыцедила из Настасьи кровушки!.. Позавчера стала Настасья уламывать колхозниц, чтоб после дня работы прихватывать и месячные ночи, дорубить все же тополевы лес: ведь ой как зандобятся бревна на новосельях!.. Приказом не возьмешь, нет закона не отдыхать. Пришлось напомнить женщинам, как выпрягали из плуга буренок, впрягались во взмыленные лямки сами, как надаивали с тех буренок в борозде по полкружки молока детям. Доили—думали: молоко с кровью пойдет... А возвращались домой — радовались, когда с-под дверей не белелась похоронная. Слава богу, что хоть до завтра ее, проклятую, почтальонша не доставит.

«И разве мы, бабы,— говорила Настасья,— плакали уж дюже часто? Светлые мы, гордые мы были, что государство держится нами, женщинами!.. А сейчас всего лишь лес довалить. Ну, не лёгко, так что?!»

Женщины подняли головы, стали было соглашаться, но Цата все сбила: «Перед районом выслуживаешься?..»

Вечером Настасья постучала в ее дверь. Еще недавно любая хозяйка кидалась председательнице навстречу, силком тянула с нее шаль, сыпала прибаутками — что, мол, седай, рódная, работа не волк, что от работы и верблюды дохнут, что сейчас — вот он! — будет спроворен кофеек. Теперь хозяйки держались холоднее. Но чтоб подбочениться, стоять молча в растворенной двери — такого еще не бывало. Выслушав в дверях, зачем обеспокоена, Цата сообщила, что минимум трудодней на ее книжке записан и больше ей ни к чему. «А других,— взорвалась Настасья,— зачем сбиваешь? Я ж звала на общее дело. На святое!» Цата ощерилась: «Запела про святости? Что ж сынка-то послала на стройку? Чтоб он не копался в колхозном дерьме? Чтоб мы копались?»

Фелицата остановилась перед столом, и кассирша, вся сияя, забасила:

— Пожалуйста, товарищ Рагозина, объясните: рагоз — это такая донская трава?.. Считайте, вот вам четыре тысячи три рубля.

Час назад получала соседка Рагозиной — полуслепая бабка Песковацкова, и ей за ее флигелишко выложили тридцать полновесных тысяч. Рагозиной же лишь четыре да вроде в насмешку еще трояк... Какая ни гордая, Фелицата зажала себя. Полным уважительности и ласковости голосом, будто ее примерное поведение могло исправить дело, заговорила о себе и Песковацковой. Сбилась, вперила молящий взгляд в Настасью, и Настасья почувствовала, что смотрит в ответ не по-председательски справедливо, а по-бабьи желчно.

Майор с запотевшим лбом поднялся перед Фелицатой, начал произносить непонятные залу слова.

— Это, товарищ Рагозина, гуманно, — заговорил он. — Это мораль нашей бесклассовой прогрессивной формации. Строеение гражданки Песковацковой нетранспортабельно...

В общем, он толковал, что бабкин флигель, едва коснись его на переноске пальцем, рассыплется. Поэтому государство не жалеет на Песковацкову средств, выдает ей столько, чтоб могла она поставить новый дом, чтоб не горевала она, а радовалась переезду.

Майор продолжал о принципах, пояснял, что у кого дома прочные, тем абсолютно справедливо начислено лишь за амортизацию ихней недвижимости.

— Какая ж то недвижимость, раз она будет двигаться! — звучно захохотала вернувшаяся из сельмага Дарья, желая, как парторг, поднять общее настроение.

2

Уже вечером, дома, вспоминала Настасья, что произошло после парторговой шутки.

Настасья всегда итожила каждый минувший день, сидя с подошником перед Зойкой, лбом к Зойкиному боку, потягивая пальцами влажные, обмытые теплой водой коровьи соски. Сегодняшние итоги были ясными. Пора уходить, «закругляться», как подсказывают из президиума неудалому докладчику. Мало что разболтала хуторян, так еще и сама фордыбачится, носится с обидами. Она ж и сейчас, сидя перед Зойкой, переживает все происшедшее с собственной точки, горюет, что когда после дурачьих Дашкиных слов пошло костоломство, не она. Щепеткова, сумела утишить зал, а Валька Голубов. Прежде четко было определено, кто берет на себя хозяйство, кто партийность и культуру, кто сельсовет. А нонче все берут скаженные вроде Вальки Голубова!..

Кстати, едва он выступил, Настасья увидела, какими глазами уставилась в него Любаша Фрянскова. «Тю! Она ж его любит! Помирает по нем! — изумленно сообразила Настасья. — С законным еще не разведалась — и без задержки к другому. А я уж как балда, так во всем балда...»

Она смачивала молоком пальцы, чтоб маслянистей скользили по соскам строгой на обращение Зойки, но Зойка — барометр — чувствовала в хозяйских пальцах раздраженность, намерялась ногою сшибить ведро. Такая ж норовистая, как мать, телочка сердито напружинивала бечевку, тянулась к молоку. Крестница Ильи Андреевича...

За калиткой стрельнула дверца самосвала, прозвучал голос самого Ильи Андреевича, крикнувшего шоферу, когда быть завтра, и Настасье

подумалось, что «на камнях», откуда он приехал, девчонок больше, чем на доброй птицеферме инкубаторских курчат, и все бесстыжие, красивые, каждая по безмужиковым послевоенным обстоятельствам с радостью к нему прилабунится. «Зараза! Об этом не хватало сгадать!» Изгоняя завертевшиеся мысли о квартиранте, Настасья вспоминала, как Черненкова ляпнула на весь зал про недвижимостъ и новостроевцы так и рванулись к сцене: «Надсмехаться?! Тварьская счастливая жизнь...» «Распросчастливая!» — вопили новостроевцы.

Настасья не терпела шума, привыкла держать людей в дисциплине. А здесь, хоть и следовало найти выход, хотя б для показа Дашке, как управляют, — не смогла. И не пробовала. Одно лишь сумела: с презрительностью сидеть, не разжав губ. А победить, правда, через больший еще шум, было легко. Голубов, прежде чем вмешаться, даже подсказал: «Гляди, Семеновна, славяне-то, которые огребли круглые куши, молчат. Радуются натихаря!.. Нет, раз уж ликуют своим куркулиным ликованием, мы их, куркулей, заставим грызться с недовольными, работать на идею!» Псих ведь, забавровелся, вскакивает и предлагает — поскольку, мол, не все здесь удовлетворены, писать коллективом заявление о пересмотре выплаты. Лично он не знает, сколько ему начислено, но ставит подпись, чтоб половину ему сняли.

Первой, подзуживая Ванецких, Акимочкиных и всех вековых, только что разбогатевших бабок, набравших вдруг голосу, взлетела на дыбы Фрянчиха, завизжала, что никаких пересмотров народ не желает, что Цатка Рагозина и прочие господа, недовольные расчетом, нехай покойнику Гитлеру пишут.

«Верно!», «По ушам их, рахитов!» — разом включились девки Любаши Фрянсковой, привыкнув теперь к руганкам, вроде к общественным спевкам. Залаялись натренированно, не употребляя старых слов, таких, как «малахольные», а кричали: «Менингитики!» Долбили недовольных, восстанавливали государственный закон не только молодые, но и солидные; и лилось все это, ничуть не завися от нее, Настасьи Семеновны, и опять означало: «Отстала».

Всегда гордилась она отсталостью от моды — тем, что не вывешивала на дверях кабинета «часы приема», не требовала ходить к ней по одному, а других ждать в прихожей, не покупала автомобиля-персоналки, несмотря что колхоз озолотился на винограде и область присылала лично председателнице разнарядку на «Москвича». Та «отсталость» шла от краснопартизанского духа Кореновки, от самого Матвея Щепеткова. Эта же была другой, шла от непонимания того, что нарождалось с Волго-Доном, с боевыми, бесщадными временами.

Короче: «Закругляйся».

Глава пятнадцатая

1

Анриан Щепетков колол кабана. В каждом семейном доме кололи кабана и осенью перед Октябрьскими праздниками, и весной, за месяц-другой до Первомая.

На суке груши висела «тулка», из которой Андриан жахнул Ваське в лоб, чтобы не рвался, не орал, когда сунут под ребро ножик. Вокруг Андриана, поодаль, молча, чтоб не погнажи, грудились соседские ребята, а вблизи — Андрианова жинка с тремя дочерьми на случай подать-прибратъ. На вынесенном из дома столе паровала цыбарка воды, блестели отточенные ножи для разделки, чернел каменный точильный брусок. Кабан, оскалая снежные зубы под закопченной губой, лежал на

боку, струя огня из паяльной лампы ходила по его трещащей, спекающейся щетине. Длинные щетины с загорбка Андриан, накручивая на гвоздь, уже выдрал — пригодятся для сапожничания вплетать в концы дратвы. На груше в ожидании поживы чичикали сороки. Андрианов борзой кобелек, сын Настасьиной Пальмы, худющий, как и требуется, чтоб был на охоте резвей, вгрызлся в окровавленный лед, рычал на кошку, которая его не боялась, обнюхивала место, брезгливо трясла испачканной лапой.

Если б кабан был тощим, а хозяин молодым, только женившимся, едва начавшим хозяйновать, во двор набились бы мужчины и, доводя парня до слез, один напеременку другому давали б советы:

— Ты, милый, возьми у меня ларь с-под пшеницы, сало складывать.

— Не! Покличь ветеринара, может, он покойнику укол даст, оживит еще. Дюже жалко. Какой, видать, скакун был: живот-то поджарый, ноги длиннай.

Но кабан был сальный, хозяин пожилой, злой, и заходившие во двор безо всяких шуток степенно курили. День стоял безморозный, из туч влажно дышало дождем, с ериков шел ростепельный запах тины. Курильщики говорили Андриану Матвейчу, что оттепель — дело временное. На календаре, дескать, начало весны, по-старому еще февраль — месяц лютый, мясо продержится и без соли... Вчера была выплата, сегодня «отгул»; взвинченные вчерашними событиями, мужчины говорили о погоде. Отдав дань неторопливости, переходили к главному, обсуждали, известно ли про такие дела генералиссимусу Сталину и не ударить ли телеграмму ему и всем здесь знакомому Буденному. Другие, вчера разбогатевшие, опускали глаза, разглядывали кабана. Полхутора уже выпило, играло по хатам песни.

Когда люди заходили, Андриан бросал слово-другое. Когда же оставался с домочадцами, молча шел гудящей лампой и скребком по щетине, будто выбривал, а поворачивая тушу, лишь глазами показывал жинке и дочерям, где держать. Жинка долго ждала момента и вдруг, словно вообще, словно бы в пространство, промямлила, что смолить лампой дюже хорошо, но огонь все же керосинный. А когда сверху соломкой подпечь — сало, кожичка-то! — получается духовитей.

— Что ж, — совершенно неожиданно согласился Андриан, — можно соломой.

Дочери, все некрасивые, по-отцовски мелкоглазые, носатые, Таиса, Евдокия и старшая, с чудным именем Жанна, кинулись за соломой.

— Слей, — вернул отец Жанну, подставил руки.

Жанна лила и знала: лить надо ровной струей, ни много ни мало, причем прямо в ладони, не выше. Иначе — беда. Линуть и подождать, пока отец с хрустом потрет рука руку. Сейчас все обошлось... Андриан скрутил сигарку вымытыми руками. Не выносил грязными.

Когда обсмоленный уже без лампы; раскаленный, политый из ведра кабан был укрыт для отпарки свежей соломой и шубой, Андрианскомандовал ребятишкам кататься поверху, греть. Пнул в малу кучу и барышень-дочерей:

— Грейте.

Был в редкостном духе. Хотя большинство ребятишек — Дарьи Черенковой, с которой он и оправляться б не сел рядом, равно как она с ним, он отрезал кабанье ухо, пропек в золе, роздал каждому по закопченному, жгущему губы кусочку, по ломтю вынесенного женой хлеба, насыпал в протянутые ладошки соли. Еще утром ходил к своему директору, Илье Андреевичу Солоду, позвал на обед, на свежую солянку. Позвал и невестку:

— Хватит, Настёнка, конфликтов, приходи замиряться.

2

— Работали мы с вами по-хорошему, так же надо и расстаться,— говорил Солоду Андриан за многолюдным, залитым жиром, уставленным тремя играющими патефонами столом.

Патефоны были клубные, отремонтированные Андрианом и еще не сданные. Андриан был хмельной, поэтому особенно строгий в поведении, расчетливый в медленно произносимых словах.

— Мне,— говорил он,— мало вчера выплатили за мой дом, и я это приветствую, это справедливо. А отчего, Илья Андреевич, ухажу с-под вашего директорства, поясню. Нехай слушает и моя невестушка.

Перед Настасьей кружка вина, как на солянке и полагается. Солянка — выхваченные из теплого еще кабана и прямо на сковородку потроха, куски мяса и сала, жаренные с солью, луком, перцем, кислыми мочеными помидорами. Блюдо это заведенное, под него, случается, опустошают сельмаговский запас водки, да и под широкий стол половинят самого кабана. Здесь шло поужее, были лишь родичи и близкие соседи. Хозяйничала Поля, подручной на подхвате — Андрианова жена; гуляющий хозяин поглядывал на бабушку Полю с явственным сыновним почтением, на супругу же кидал критические взгляды, действуя, как играет в песне:

Отцу-матери поклон,
Жинке — плетка с махром.

Подбавлять на стол жарковья требовалось быстрее, поэтому плиту раскалили, сало брызгало; сколько ни смахивай с плиты тряпкой, ни засыпай солью — горело, и синий чад стоял под потолком. Настасья была в тесных, на высоком остром каблуке туфлях, которые давно не трогала. Дома, когда уж надела на прозрачный, тонкий чулок, остановилась: «Ишь, вырядилась! Может, скинуть?..» Но пошла так. У печи, помогая хозяйкам, крутилась молодуха Ванцевская, забежавшая якобы за спичками и оставленная Андрианом. Она выпила водки за здоровье Ильи Андреевича — «своего золотого начальника», проходя за спинами, цепляла его то локтем, то боком; хихикая, ставила ему кушанья прямо через его голову, и Настасья сравнивала ее округлые румяные руки со своими — смуглыми, жесткими...

Смехота — до чего стала она, Настасья, цепляться за молодость. Со всем смехота, когда люди то поднимут ее настроение, то пихарнут, чтоб летело вверх тормашками. На днях звали ее комсомолки в клуб глянуть репетицию агитбригады. «Старуха я», — ответила она в уверенности, что на нее зашикают, разубедят. «Да, Настасья Семеновна, дело такое», — вздохнули девчата, и сердце Настасьи упало. А тем же вечером парилась в колхозной бане; женщины, оглядывая, не выдержали, позавидовали вслух: «И как ты, Семеновна, все добро сохранила, прям-таки девка!» — и опять она воспрянула. Назавтра отправилась в сельмаг набрать к лету веселого ситчика. «Вот, Настасья Семеновна, к лицу бы вам, солидно бы по возрасту», — предложил продавец, катнул по прилавку темный рулон...

3

Андриан через стол докладывал Солоду, отчего с ним расстается, пояснял, что ездил за соляжкой в Нижние Курмояры, а там выступал Голиков. Сергей Петрович. По слуху, выступал за эти сутки в третьей станице.

— Зеленый тот Петрович, как, извиняйте, гусиничий помет, когда гусей на траву пустишь. Пацан. Говорит: сами все решайте. И куда ехать,

и какую там садить культуру. Специалисты не мы, а вы, и правительство не ограничивает вас ни ёты.

Старательно владея жестяными губами, Андриан с выражением передавал слова Голикова, что, дескать, многие на Дону били атаманов и все как один били фрица. А как били? Под красным знаменем! Значит, должны под тем же знаменем свершать народное дело — сменять природу!

— И решился я, Андриан Матвеевич Щепетков, еще раз поверить!.. Да заключите патехвоны, к чертовой матери! — заорал он на дочек и, когда музыка и голоса оборвались, сообщил, что хоть много уж раз заливали ему сала за шкуру, а поверит! Уходит от Ильи Андреевича на виноградник, о чем объявляет при всем столе. И жену на виноградник!

— Их, — ткнул в дочек, — тоже. Мордами не вышли, сидеть им в вековушках, по-вашему, городскому, в старых девах.

Настасья толкнула под столом деверя, он отмахнулся:

— Чего лягаешься? Пусть сознают, рассчитывают на труд, на преобразование земель в данном случае.

Да, Настасье давно понятно: люди идут к новому. А она, будто сработавшаяся в тракторе шестерня, которая потеряла сцепление, вертится холостым ходом.

От выпитого вина, чада, праздничной неразберихи она осмелела, крикнула Солоду через стол:

— Илья Андреич, когда у шестерни зубья посбились, можно отремонтировать это?

— Наварить, что ли? — уточнил Солод, тоже, видно, в таком, как она, состоянии, потому что не растерялся, не стал поправлять галстук, а лишь покраснел. — Зубья наваривают, — сказал он, — производственным путем. Только дорого это. Смысла мало.

— Значит, поматросить и забросить, — заключила Настасья и, совсем осмелев, придя вдруг в отличное настроение, выпалила: — Чáдно тут. Проводите, Илья Андреич, на улицу.

Решительно стуча по полу острыми каблуками, пошла к дверям,глянула мимоходом в зеркало на стене. Лицо пылает, уши малиновые. Красивая все же!.. Ой, Настька, Настька, что ж ты делаешь? На дворе, под грушей, где резали кабана, копались налетевшие сороки, сынишка Дарьи Черненконой играл надутым для него кабаньим пузырем. Уже за калиткой, двигаясь в шаг сзади, Солод проговорил:

— Вы зимой еще предсказали, что Андриан вернется в колхоз.

— Колдовать умею! — Настасья засмеялась, подумав, что, может, действительно умеет. Ведь позвала ж Илью Андреевича — и он пошел, и они разговаривают, а небо вот не рухнуло. И плевать, что свекруха скосомордилась, что все за столом глядели на них. Даже замечательно!

В Настасье ходило вино, выращенное здесь, в Кореновском, давленное здесь, бродившее здесь. Оно — кровь ее кореновской земли — ходило и в Илье Андреевиче, и ходила весна в уже предвечерних дождевых, все не проливающихся тучах. Кругом в домах играли песни — «Цыганка гадала», «Разин», а в растворенной хате Руженковых, должно, переобраз уже всё, тянули, сатанюки, белогвардейскую: «Всколыхнулся, взволновался». Правда, в словах:

Всколыхнулся, взволновался православный тихий Дон, —

выводили не «православный», а «наш колхозный». Гуляющих хат было больше, но полхутора вчера еще рванулось в Шахты и в райцентр покупать с полочки мотоциклы. Не раздражая, а веселя Настасью, шли в

морских золоченых фуражках ребята, строящие маяк, грохотали по улице волго-донские грузовики с намалеванными на стеклах и бортах голубями мира. Весна! Илья Андреевич двигался все сзади, и Настасья рассмеялась:

— Да хоть держитесь рядом, а то аж шея болит оборачиваться.

Перед Настасьей визгнул тормозами, стал «козель» председателя левобережного колхоза «Зов Ильича».

— Семеновна! И в конторе ее замок целовал, и дома, а она вот она. Ясно!

Избитый оспой, с зубчатыми от оспы ноздрями и губами, жиманул Настасьины пальцы, подковыристо глядя на Солода.

— Квартирант это,— объяснила Настасья.

— Ясно! — совсем уже во все лицо заулыбался гость, и она цвела от его намеков.

Приехал он позычить виноградных чубуков, решил расширять на новой земле винные игристые сорта, а добрых, таких, как у щепетковцев, не найдешь. Это, мол, видать и по состоянию председательницы.

С ней, сточенной шестерней, которую и наваривать-то нет смысла, он обращался будто с исправной, покорно просил чубуков.

— Подъезжай,— сказала она,— завтра к бригадиру.

— А сейчас?

— Кабана режет.

— Солянка небось?.. Ясно!

Он рассказывал, какой в «Зове Ильича» и по всему левобережью сабантуй с разведками участков, с дебатами на улицах. С тех пор как ликвидировали коммуны, отучились станичники от партизанства и теперь снова приучаются. С перевыполнением. Не терпят не то что слова «приказ», даже слова «указание» не выносят, давай только «общеколхозное решение». Плюс к тому райком — сам Голиков! — уведомил, чтоб на перевыборах правлений кандидатур свыше не ждать, котлов в мешке вам не повезут. Кого не желаете для новых земель, того снимайте. Чтоб все как в Уставе: «Высшая власть колхоза — общее собрание колхозников».

На слова Щепетковой, что лично ему не паниковать бы, его и так вечно кроют за панибратство, он ответил, что оно так, а с веселого хода да еще при тайном голосовании — гляди, и влепят по шапке. Ничего, бывал танкистом, будет трактористом... Зато уж теперь художественная самодеятельность в станицах — Большого театра не надо!

— Глянем-ка наш театр. Репетицию,— сказала Настасья, ощущая, что надо спешить: уйдет хмель, и она не решится быть на людях с Ильей Андреевичем. А сейчас специально пойдет! Пусть уж когда станут прокатывать на перевыборах, обвиняют, что приходила несерьезная, не по-служебному счастливая.

Но девчонки в клубе, занятые собой, видать, и не заметили, какая она, с кем пришла, стали требовать средства на аккордеон, говорили, что в других хуторах покупают целые оркестры, что объявлен смотр театров переселяемых колхозов и щепетковцы готовят постановку — «Смерть Сухова».

Репетицией заправлял, как Настасье пояснили, «режиссировал», дед Лавр Кузьмич, сложивший и все частушки, в которых — Настасья поняла по намекам, по не очень доброму смеху — протягивались местные деятели и, наверно, она, председательница. Воинственный, хлопающий девчат по звонким тугим задам, Лавр Кузьмич находился здесь же, и было не понять — старик он или парень, и не понять: может, так и надо?.. Пока разговаривали, Михайло Музыченко гонялся за слабонервными с пожелтым человеческим черепом, держа верх в одной руке, че-

люсть — в другой, клацая, будто щипцами. Этот череп, нужный для роли Суховея, нашли в глине возле строящегося маяка, вытащили из немецкой каски, как орех из скорлупы. Был он удачный. Крупный, со всеми зубами, прекрасно сохранившийся в обветренной степной почве, и лишь дырка во лбу, как раз напротив дыры в каске, являлась дефектом.

Специально для Солода и Настасьи Семеновны раздетому до трусов Музыченко напялили шапку с приделанным вверху штырем, наткнули на штырь череп, обмотали Музыченко простыней, сунули в голые, неподобно длинные ручки косу. Астраханский суховея. На фоне извергающей воду плотины, намалеванной на фанерном листе, против астраханца-Музыченко должны были выступать агрономы, механизаторы, поливальщики с настоящими ведрами, полными воды. Во главе с Лавром Кузьмичом, вооруженным шашкой, загримированным под казака, они всей массой должны на глазах зрителей облить, истоптать, разнести Музыченко в клочья.

Настасья ухмыльнулась: «И разнесут!..»

Глава шестнадцатая

1

Районная партконференция шла к концу. В стекла било солнце, между рамами ближнего к президиуму окна, пригретая, точно в парнике, взлетывала ожившая прошлогодняя муха. Сергей Голиков, держа над блокнотом карандаш, но не записывая, даже не слушая выступлений, следил за взлетами мухи, будто школьник на контрольной работе, когда работа провалена и теперь все равно — ковыряться ли в ней без толку или глазеть по сторонам.

Собственно, Сергею следовало б радоваться. Он знал мнение обкома рекомендовать его. Но он не предполагал, что предварительно двое суток кряду его будут дискредитировать в глазах собравшихся, чтоб потом (это свершится через несколько часов) предоставить пост в таких условиях, когда надо или перечеркнуть свои принципы, или немедленно ломать себе шею.

Что подул скверный для него ветер, он ощутил еще вчера утром, за час до конференции, когда приехавший из Ростова третий секретарь обкома Игорь Иванович Капитонов, здороваясь, шутя назвал его атаманом казачьей вольницы. Такое от себя не говорят. Такое — установка. А ведь недавно сам Первый беседовал с Голиковым, оживленно, в мельчайших деталях расспрашивал о делах района, говорил, что опыт голиковской работы надо передать соседям.

Значит, установка вопреки Первому шла с еще более высоких, нежели областной комитет, верхов. Показательным было все: и что приехал не инструктор, даже не заведомом, а собственной персоной секретарь, и что был это именно Капитонов, не терпевший Голикова, и что сказал Капитонов о вольнице словами Орлова, и что Орлов за оба дня еще не выступал, желая ударить в конце, после всех, когда уже некому возражать, кроме «именинника», чьи возражения стоят не многого... Выскобливший волосины на подбородке, чуть порезанный и припудренный, в новом парадном джемпере, подарке Шуры, Голиков вчера в предконференционные минуты закуриваний и взаимных улыбок понял, что волынка с докладом, прениями, предложениями — то есть вся конференция — могла бы и не быть, так как и без нее он уже обвинен.

Свой отчетный доклад, дважды перепечатанный, вложенный в хрустящую папку, он от желания не сдаваться читал развязным, противным

самому себе голосом. Пока давал общеполитическую оценку достижений района на фоне успехов страны и кризиса заграницы, ему не мешали. Когда же заговорил о переселении, отметил, что проводится оно согласно решениям правительства о свободном выборе земель, он услышал из президиума:

— А вы не путаете свободный выбор с гайдамацкой сварой?

Это — опять же словами Орлова! — сказал Капитонов.

Реплика главного в зале лица явилась рекомендацией активу, как вести обсуждение. Хотя Сергей знал, что большинство делегатов внутренне поддерживает его и лишь не говорит это вслух, дабы не противоречить установке, он все равно поначалу кипел, писал, готовя Капитонову язвительную отповедь. Теперь бросил, сидел с забытым карандашом.

Какого беса! Разве не мечтал об уходе? Вот и уходи, подавай в аспирантуру, забирай жену с дочкой и катать! Но теперь-то уж катать не хотелось... Держало не только стремление довести свою линию. Держало и нечто душевное — очень удивительное, узнанное в районе. Это было то ли ребячье, то ли, наоборот, рожденное зрелостью чувство родства к людям станиц. Они выращивали зерно, виноград, птиц и животных и потому, наверно, сохраняли утраченную в городах наивную чистоту отношений. Когда человек строил дом, сходились улицей, за полдня кончали лепку самана или мазку стен, а потом тут же пили вино, но не так, чтоб заглотнуть и свалиться, а чтоб промытыми голосами исполнить хором не один десяток песен о любви, о походах, о войне, заброшенном на чужбину, вспоминающем детей, молодую красавицу жену. Все для души, как для нее же, несли молодым на свадьбу кудахчущих кур, пшеницу, сковороды и подушки.

Перед глазами сидящего в президиуме Сергея стояли живые хутора, где на улицах, вытянутых меж зарослями яблонь и жердел, каждый незнакомый человек непременно здоровается с тобой, незнакомым ему человеком. Поднимает к шапке руку и, явно вкладывая в слова значение, говорит: «Доброго здоровья». Ты, так же вкладывая значение, отвечаешь: «Здравствуйте» — и сразу на душе как бы прочнее и веселей. Ему, сменившему неудобную в поле фетровую шляпу на ушанку, реглан — на ватник, станичники говорили: «Вы, Сергей Петрович, совсем на казачка смахиваете!» Суть была, разумеется, не в ушанке и ватнике — в растущей близости, и это вливало силы, сменяло интеллигентскую нервозность на чисто районную выдержку. В Ростове перечеркивало сон не только тархтенье трамваев за закрытым окном, но даже тиканье часов на руке... А на днях, когда ночевал в чужой хате, хозяин принялся вколачивать в сапог гвозди. Хозяйка прицыкнула, чтоб не стучал — человек, мол, спит. «Нехай, — прозвучал голос, — спит на здоровье. Что я ему, по голове стучу?»

«И верно ж не по голове», — подумал Сергей и заснул. Утром, не открывая еще глаз, услышал, как вошедшая соседка рассказывала хозяевам о только что случившейся смерти какой-то Астафьевны: «Под коровою и стало ей худо. Шумнула невестке: «Иди додой»... Та сдоила, возвратилась с молоком, а свекрухи уже нема... Хорошо померла! — заключила женщина и с мудростью, недоступной для горожанина Голикова, соединила смерть с вечной цветущей жизнью — спросила хозяев: — Ну, а ваша-то голуба, значит, за Андрея выходит?»

Оказывается, Сергей портил этих станичников, «дозволяя» им решать их судьбу!..

Дела конференции не бывают тайной для улицы. Нынешним утром какая-то старуха с ведрами шмыгнула наперерез Сергею и, увидев его,

отступила: «Проходитя, Сергей Петрович, а то я с порожнём, пути вам не будет. Вам и без того сыплют»...

Муха, пригретая в окне солнцем, совсем ожила, взлетев, скрылась за портьеру, и Сергей принялся глядеть в зал. Конечно, сюда давно просочилась рекомендация обкома — избрать его, Голикова. Народ опытный, все догадывались, что на обком кто-то жал, что Первый — человек с норовом — давал рекомендацию на свой риск: мол, покритикуйте парня легонько и сохраните. Ну, а тут уж, на месте, шло с перевыполнением, и делегаты спокойно — излишняя критика не повредит — участвовали в этом не требующем напряжения, даже убаюкивающим ритуале.

Сергей терялся. Ведь угробляли идею вольного переселения!.. Ведь эти же делегаты в этих же стенах приветствовали б самостоятельность станиц, не будь Капитонова, натасканного Орловым. Орлов — единственный реальный в районе информатор — наверняка приложил к этому руку.

До чего же упорно рвется этот Орлов вредить станичникам!

2

Сергей ошибался. Орлов никому не желал зла. За свою жизнь отдал он людям сил в сто раз больше Сергея. Отдал по-деловому, без заигрываний, без демагогической трепотни, именуемой «личными беседами в коллективах»... Да о чем беседовать?! В Ростове, в промышленности, прежде чем выехать на очередной завод, он досконально изучал все данные о заводе и рабочих, точнее рабочих знал, что им надо.

Они, отсталые их элементы, желали улучшения быта. Но Орлов знал: им, рабочему классу, требовалось разворачивание шахт, машиностроительства, внедрение прогрессивных технологических процессов. Следовало представлять космичность капиталовложений на все это и трезво понимать, что на быт, исторически менее важный для пролетариата, нежели индустрия, ресурсов не хватало. То, что на него, Орлова, хватало — это тоже не расходилось с его принципами. Ведь условия для его руководящей деятельности нужны хозяевам индустрии — рабочим.

Приехав на село, он стал уже не рабочих, а колхозников считать хозяевами. Хозяев же — будь они в заводских комбинезонах или в деревенских ватниках — надо вести!.. Особенность эпохи. Разумность, какая была и при нэпе. Тогда временное отступление было в экономике, а нынче — в стиле руководства. Пятьсот слесарей-ударников или пятьсот самых напередовых доярок не решат вопросов, к примеру волго-донских, квалифицированной Орлова — руководителя профессионального.

Эту ночь Борис Никитич спал крепко, как двадцатилетний. С вечера, не включая в столовой большой свет, вспоминал с Ольгой Андреевной типографских ребят, хождение всей компанией по ночным, теплым среди лета булыжникам мостовых.

Я на «юнкерсе» летал,
Чуб-чура-чу-ра-ра,
Нигде бога не видал!

...Под ногами белела опавшая с акаций цветень. Она была смешана с подсолнечной лузгой, даже с былинками степного просыпанного сена, так как в те времена окраинные горожане держали коров и лошадей. Цветень, устилавшая булыжники, глушила шаг, так сияла при луне, что комсомольцы — злейшие враги мещанства — оставляли «юнкерса», запевали про любовь. Рассаживаясь на дорожном бордюре, проявляли пренебрежение к светлым парусиновым штанам, плюхались прямо на камень, покрытый пылью, и лишь для девушек расстилали носовые платки... Борис Никитич помнил: цветени у бордюров по щиколотку, а в серд-

не трепет, а рядом плечи подружек. Не всегда, увы, было плечо Ольги, за которой также ухаживал Аркашка Зарной, и она дружила и с ним и с Борисом...

Вчера с чувством победителя, одновременно с ревностью за прошлое он спросил, не жалеет ли Ольга, что оттолкнула Зарного. А она крикнула Борису, что он дурак; возмущенная, счастливая, порывисто, как девочка тех комсомольских времен, обхватила его шею.

Он чуть не проспал в кровати жены, вскочил в девять. Сейчас, взбодороженный вчерашним походом в юность, позволял своим чувствам еще поблуждать в той юности, разрешал себе побыть тем парнем, который впервые выпалил Ольге, что любит ее, который ушел в общежитие из домишка родителей, так как домишко был частным, а молодежное общежитие рабочих — дорогой к солнцу!

Орлов никогда не врал себе, не врал и сейчас. Факт есть факт: друзья по общежитию — по одну сторону, он — по другую... Но разве не мечталось на переломе той юности и железного возмужания вернуться к товарищам? Взять вот и ранним, серым еще утром не в машине, а крепкими ногами по гулким на рассвете булыжникам отправиться в цех. Сияя мордой, распахнуть дверь: «Здорово, братва, вернулся!..» Но мешали мысли, что на постах дашь больше пользы...

А разве здесь, уже в районе, не бывало ему, Борису, тоскливо? Не потому ли тянулся он к Сергею, что Сергей толкал на общение с людьми? Будто здоровый желудок, который требует не только деликатесов, но и ржаного хлеба, компанейская от природы натура Орлова требовала работяг-людей, непечатной мужской шутки, такой просоленной, что аж крякнешь, брыкаясь, покатишься на землю. Хотелось позубоскалить с шоферами, трактористами, заглянуть в чайную, сесть и, закуривая из одной пачки, хлопая друг друга по плечам, потолковать о делах, о семьях...

Думая об этом, Орлов работал — вел конференцию. Свой вчерашний черед председательствования он умело пропустил, чтоб руководить сегодня, в момент более ответственный. Удачно было, что отсутствовал уехавший в Москву в командировку начальник районного МГБ Филонов — член бюро райкома, член исполкома райсовета. Филонов во всем поддерживал Голикова. Почему? Орлов не знал... Сейчас, без Филонова, все шло в норме. Ораторы с заданных позиций скучно критиковали райком, и это, включая скучность, было правильно — страсти, даже критические, могли вызвать нежелательные повороты.

— Дайте слово! — раздался с кресел голос, и Орлов определил по тону, что товарищ пойдет вразрез конференции.

Выкрикнул Голубов — коммунист из колхоза Щепеткова, из одного гнезда с королем склочников Конкиным, с самим Голиковым, с молодой, но ранней девахой Фрянсковой. Выкрикнув, он одновременно и поднял руку, и встал, и пошел к сцене. Была возможность его задержать. В прения он не записан, черта записанных подведена, но Орлов оценивал его видную всему залу, чуть согнутую раненую руку, значок гвардейца над широченным квадратом орденских колодок, офицерский играющий шаг — все то, что на делегатов, вчерашних фронтовиков, могло вдруг подействовать сильнее «установок», и Орлов даже не спросил у зала, дать ли внеочередное слово.

— Пожалуйста, — сказал он уже взбегающему по ступенькам Голубову, отмечая, что в исполкоме лежит из колхоза сообщение, что Голубов — моральный разложенец. Может, правда, может, наговор.

— Значит, решили командира продать, а сами спастись? — крикнул Голубов. — Ведь мы ж, большинство, дрались под руководством райкома

за сознательный переезд! Да пощупайте ж, товарищи, в своих карманах партбилеты!!

Орлов не обманывает себя: его, Бориса Орлова, такие ораторы зажигают. В подобные мгновенья Борис сознает, что его, орловская философия о хозяевах, которых «надо вести», начинает трещать... Это зона запретная из запретных.

«Но ведь я — Борис Никитич, Борис Орлов, Борька, я кровью души люблю социализм, я насмерть воюю за него, я солдат социализма».

Борис Никитич, слушая Голубова, опять с облегчением отметил, что Филонов отсутствует, не сидит в президиуме. Делегаты были оживлены Голубовым, вот-вот полезут на трибуну, начнут говорить, что думают. Верных душой начальному ходу конференции сочтешь по пальцам. Вот парторг щепетковцев Черненкова. Она возвышалась над рядами мужчин, скрестя белые руки под могучей грудью, вздыбив скрещенными руками эту грудь. Чем-то походила Черненкова на Ольгу, только грубей Ольги, как бы бабистее, животнее, что ли. Орлов помнил, как на свадьбе Фрянской чмокнула Дарья его в губы,дохнула свежей водкой и этим бабьим... Сейчас взбешенно, вся порозовев, смотрела на говорящего Голубова; уж она-то выплет ему на своем бюро... Но таких, как Дарья, в зале немного, а Голубов завоевывал зал, заполнял его голосом:

— Чистую жизнь положено строить чистыми сердцами. Чистыми!..

Пора. Ухватив паузу, Орлов без большой еще уверенности произнес:

— Как связать эту чистоту с вашим поведением? С еженощными гаремами в вашей квартире?

Голубов смешался, и Борис Никитич размеренно, уже не боясь, сам уже с паузами спросил цитатой из письма:

— Какой среди обманутых вами процент комсомолок?..

Вот оно, лицо этих Голубовых — Конкиных! Этих «чистых», спровоцированных секретарем райкома, рвущихся затоптать его, Бориса. Они щеголяют своей любовью к коллективу, раскачивают ничуть не святые им устои государства, в котором живут, едят хлеб. Не помнящие родства Иваны!..

Орлов накалял себя нужным для выступления накалом, и это, привычное, шло легко.

Яростные крики Голубова, что его личные дела есть его личные, что о них он уже докладывал на колхозном бюро, что затирать вопросы конференции посторонними, специально пришитыми есть разбой — все это работало на Орлова, и он еще минуту не перебивал. Наконец постучал по графину, поднялся над столом в рост.

— Все! — твердо сказал он. — Разрешите, товарищи, мне.

— Суперечки нэма, — шутливо коверкая язык, радуясь повороту дела, откликнулся Капитонов, принимая на время председательствование.

3

«Пошло всерьез», — подумал Сергей.

Не очень далеко, за стенами зала, наливалось море. Там, даже в сотнях метров от берега, ноздри ухватывали запах волн и словно бы разрезанного на морозе арбуза. Везде, где рождалось море, был этот запах...

Позавчера в полузалитом хуторе стоял Сергей с двумя молодоженами-колхозниками. Годовалый их малец, спущенный наземь, кугыкая, не удерживаясь, хватался то за колени отца, то за юбку матери. Стояли среди огорода, у колодца с толсто обледенелым, будто стеклянным срубом, и ребенок тянулся к срубам, блистающему в солнце. Отец — сам еще мальчишка, с закинутой за спину двустволкой — цеплял за конец опущенного колодезного журавля застреленного коршуна, объясняя, что,

когда коршун на огороде, воробцы пугаются, не шкодят в посадке, и, сам понимая, что никакой посадки здесь, в затопляемом месте, не будет, что стрелял он коршуна не для дела, а от ребячества, все-таки привязывал его и, как глава семьи, требовал, чтоб смеющаяся супруга держала нитку. Внизу, под обрывом, рябились волны...

Существуют моря ледовитые, тропические и всякие другие, а тут начиналось особое, колхозное. Пятидневку назад его вода была мутнее, походила на речную, а теперь приобретала синеву, начинала брать краски у неба, свинцоветь на глубинах и на просторе; и это опьяняло и супружескую чету и Голикова, которому казалось, что он, Сергей, во всем: в сверкании волн, в небе, пожалуй, даже в коршуне и уж определенно в этих поженившихся, родивших сына девчонке и парне. Ребенок все царапался к колодцу, мать делала страшное лицо, показывая в колодец: «Там обез-зяна, нез-зя», но ребенок не пугался, хохотал звонко.

...Но как выдержанно всходит на трибуну Орлов и как стыдно обернулось с Голубовым! Почему Орлов знает о шашнях Голубова, а он, Сергей, не знает?.. Сейчас Борис Никитич отбросит постоянную свою выдержку, будет без обиняков, с оскорблениями, с эпитетами громить Сергея. Но и здесь Сергей ошибся. Орлов огорченно, как больного, оглядел его и мягко заговорил:

— Позволю себе не согласиться с определением Игоря Ивановича Капитонова — «гайдамацкая вольница». Загвоздка в других, бесспорно, искреннейших заблуждениях Сергея Петровича. Он, Сергей Петрович, человек молодой, категоричный, к сожалению, далек от какой бы то ни было вольницы!.. Наоборот. Любую волю, если это воля коллектива, он давит, заменяет собственным диктатом, искреннейше думая, что так нужно.

Орлов прошел по рядам глазами, остановился на Голубове, спросил делегатов, нужны ли далекие примеры, если вот этот только что выступавший поборник «чистоты» является жителем того самого колхоза, который недавно пострадал от диктаторства Сергея Петровича? Орлов пояснил, что в этом колхозе решался вопрос переезда, что колхозники проголосовали за хутор Подгорнов, ясней ясного выразили свою волю, а Сергею Петровичу не понравилось это...

— То есть,— Орлов покосился на далекую дверь, за которой в вестибюле могли быть беспартийные, и понизил голос.— То есть,— сказал он,— секретарю райкома пришлось не по вкусу решение коллектива колхозников... Я был там, пытался образумить и обязан к сведению конференции добавить следующее: права людей отрицал не один он, но также его сегодняшний адвокат Голубов. Действовали сообща. Сергей Петрович нарушил элементарные принципы демократии и решение отменил.

Слушая, Сергей задыхался. Не от лжи. От артистической подтасовки фактов.

— Фокусник,— бросил он Орлову.

Игорь Иванович застучал, но Орлов движением руки остановил Игоря Ивановича, повернулся к Сергею, огорченно глядя на него, давая до конца выговориться; и Сергей, чувствуя, что надо бы молчать, бросал Орлову оскорбления, сам себе портил; и Орлов не мешал портить, ждал.

Наконец развел руками, апеллируя к залу: сами видите, товарищи!

Бесспорно, делегаты видели неумное поведение Сергея, никак не меньше отмечали и предвзятось Орлова, его провоцирующие маневры, но, лишней раз воспитанные на примере Голубова, молчали, и оратор говорил о Голикове, тормозящем переселенческую кампанию, давал определения: безответственность, бесшабашность, беспрецедентность, бесконтрольность.

На днях Сергей заходил в Дом приезжих. Какой-то интеллигентный старик командировочный стоял в коридоре у общего телефона, разговаривал, вернее кричал по междугородному талону. Отвернувшись от слушающих людей, он закрывал трубку ладонью, смешно волнуясь, выкрикивал: «Лиза! Наливается! Море, говорю, наливается, сам видел. Слышишь, Лиза? Честное слово!..» Этот восторженный голос сливался теперь в горячем мозгу Сергея с голосом оратора, и Сергей морщился. Над трибуной был на стене барельеф. Ленин. Орлов стоял под Лениным, говорил, что райком игнорирует великие народные дела. Он пояснял, что это, без сомнения, не злоумышленно — непродуманно, но это так!

«Ведь знает же, — билось в Сергее, — что не так, а говорит искренне, потому что видел, как пробуждались люди от слов Голубова, заметил, как проклевывалось в людях сквозь сонность, сквозь эту скорлупу возмущение брехней, и теперь мстит — вколачивает обратно в скорлупу. Да еще смеет, патриотично дрожа голосом, произносить: «Партия и народ», «Народ и партия», «Народ!..»

Руки Бориса Никитича энергично взбрасывались вместе со словами «народное», «народ», сжимающиеся пальцы все поднимались.

Сергей встряхивал головой, ждал конца конференции.

Глава семнадцатая

1

Над Доном шел перелет. Треугольники гусей и журавлей, цепочки и ленты уток тянули на разных потолках — от вершины утреннего неба до низких сырых камышей, заполняли все пространство радостным, изумленным звоном, турчанием, шумами крыльев, похожими на треск рвущихся в воздухе полотен.

Облака — ровные, плотные — не пропускали солнца, но были им напитаны, будто лед светлой водой, стаи четко рисовались на облаках, откуда временами пробрызгивал дождь, сеяла снеговая крупа. Счастливые попутной низовкой, дующей под крыло, родным, полузабытым в Афганистане запахом снега, птицы тянулись без перерыва. Они не огибали человеческое жилье, шли над садами, улицами — и люди, улыбаясь, задирали головы, ловили падающее сверху кугыканье, слышное несмотря на лай дворовых собак, на треск моторов и стук молотков в тракторных мастерских.

Конкин стоял среди двора. Лишь час как возвратился он в хутор из больницы. Подремонтированный, какой-то, как ему ощущалось, тонкий и звонкий, вроде прозрачный. Голову кружило от счастья стоять не в больничных шлепанцах, а в добрых сапогах на жесткой толстой новой подошве. Было б отлично, если б даже был декабрь, стояла б ночная темень. Но было утро, весна, праздничным было все: и то, что под ногой какая-то проволока, и что Леля варит на завтрак кашу, и что каша на свином сале, пшенная, и что ему просто хорошо. Его плечам, его вынутым из карманов рукам, открытой неповязанной шее.

Вот только б закурить! Он вынул плексигласовый мундштучок, с самой зимы лежащий без дела в кармане и все еще невыветренный, чудесно пахнувший, смыкнул через него воздух... Везет же другим! Неделю перестрадают — и точка. А он месяцами видит во снах, как отрывает газету, делает ровчачок, насыпав махры, ровняет пальцем, и от предвидения блаженства чиркнуть спичкой, потянуть весь замирает. До комнаты, где махра и спички, лишь десяток шагов...

— А хрена! — говорит Конкин.

В его блокноте — продиктованный врачом Голиковой режим жизни, и он будет его соблюдать.

Он вглядывался в небо, в далекую утиную стаю.

Плотная, будто клуб дыма, когда горят камыши, она близилась стремительно. На подходе к хутору растянулась, попрозрачнела, пошла над крышами разорванной пополам лентой, и Степан глазом охотника ухватывал кофейно-коричневые грудки селезней, серые — крыжнячек. Как нарисованные виднелись вытянутые в полете шеи, прижатые к хвостам красные лапы. Трепет воздуха коснулся двора, утка, которую Леля держит к Маю, к торжественному обеду, взбросилась, поднялась на цыпочки, кряча мятежным, необычным для домашней птицы голосом, а Конкин зашумел:

— Ну поднимайся ж, идиотка, гонись! И без тебя на праздник обойдемся, колбасу купим.

— Степан Степаныч! — крикнула из калитки Люба Фрянскова, зашагала навстречу.

«Шишка. Глава Совета! — отметил Конкин. — Уже не бегают, а ступают!..» Но Люба побежала. Она как бы побольшела, расцвела за эти недели; колени сверкали из-под короткого, тесного в груди пальтишка; лицо темнело загаром.

— Поцелуемся! — предложил Конкин. — Я уж не инфекционный! — И, слыша на щеке Любины заветренные, твердо-жестяные губы, вздохнул: «Давно не целовался с молодыми».

На улице зачастил топот копыт, оборвался у забора, над калиткой в седле возник Голубов — и Люба так вдруг смешалась, что на висках проступила влага, какая бывает в зной на листьях пшеницы, чтоб защищаться от солнца... Голубов с размахки стиснул Степана Степановича, по-деловому кивнул Любе, и Степан определил: это не камуфляж, а неразделенная любовь... «Эх, и болван Валька, вот уж болван!» Но как он хорош глазу Конкина! Как хороша потупленная Люба, страдающая чудесной болезнью; дай бог всякому такие болезни!

Непривязанный Радист забавлялся столбом калитки. Брал цепким, как долото, зубом торец столба, раскачивал, обнажая красные десны, шкодливо и вызывающе косясь на людей. Валентин уже по-летнему подстриг его гриву, свел на нет к ушам и холке, а посередине оставил на полчетверти, отчего образовалась стоячая щетка, и это тоже нравилось Степану — являлось весной, когда шея жеребца не должна потеть под длинной гривой.

Из сарая вырвалось чудное дребезжащее свистенье — такое яростно пронзительное, будто кто-то для забавы затурчал в милицейский свисток. Степан, смеясь, отворил двери, выпустил недельного жеребенка. Это была дочь Соньки и Радиста. Прошлой зимою, когда шел очередной сельисполком, а возле Совета не было еще коновязи и Степан Степанович на час загнал в соседний двор свою Соньку, Радист увидел ее и, как был в наборной, украшенной раковинами уздечке, в седле с болтающимися стремями, перемахнул плетень, трубя, поскакал к Соньке, которая отнюдь не убегала. Сейчас жеребенок, ослепленный миром, стоял на мягких, словно детский ноготь, копытах, наверно, чувствовал ими крошки земли, что пугало и восхищало его. Низовка шевелила под его подбородком длинную густую ворсу — ганаш, лошадиный младенческий пух, который с месяцами вытрется; и от шевеления, от обилия света жеребенок улыбался, морщил резиновые беловатые губы.

В другое время Степан Степанович чертыхался б, что дворняжка Сонькина кровь взяла верх, ни штриха не оставила от благородного Радиста, влила в детеныша даже мышастую масть, даже мерзейший характер, что уже было видно по презрительно сощуренным глазам же-

ребенка, но сегодня, в прекрасное утро, в перелет уголк и мелькающих в вышине журавлей, Конкина восторгало все. Он толкнул плечом Голубова.

— Породнились с тобой! Кем теперь приходимся? Сватами, что ли?

Он повел его и Любу в дом — обсудить, как готовиться на завтра.

2

Назавтра население хуторов Кореновского и Червленова чуть не в полном составе было высажено на пустоши.

— Гуляйте, товарищи, осматривайтесь!

Доставили людей два червленовских грузовика, два щепетковских и тридцать пять организованных Конкиным эмтээсовских и каменнокарьерских. Внеочередной этот рейс шоферы совершили на рассвете, «до звонка», а о втором, обратном, договорились на обеденный перерыв. Ночью, сослепу, выпал снег, омолодил равнины, бугры, покрыл напушалками сухие зонты дудника, макушки татарников. Но сама природа понимала: это не всерьез. Щебетали пичуги; вчерашние облака, упавшие снегом, разгородили солнце, оно вставало, умытое белизной, и люди шурились из-под новых шалей и капелюх.

Подъемные деньги были как бы шальными, потому даже скопидомные одинокие бабки стояли на снегу в магазинных стромких валенках, туго вбитых в сверкающие галоши, а во ртах бабок светились стальные коронки, которые понадевали им протезисты, присланные облздравом в порядке заботы о переселенцах. Лавр Кузьмич Фрянсков, лет двадцать беззубый, фигуравший во время прибауток шамканьем и свистением как особенностью актера — любимца публики, теперь перестроился, сделал челюсти, похожие на ярко-красные половинки мыльницы; и здесь, на морозце, когда они выпадали, возвращал их на место не сразу, а для всеобщего обозрения полировал о рукав ватника.

На снегу, точно рельсы, тянулись следы ушедших машин, стояли сгруженные бутылки колхозного вина, лежали котомки с личными харчами. Разведчики, изъездив десятки мест, каждое забраковали и теперь опять начинали от печки, от пустоши.

Среди них в васильковом берете и васильковом шарфе крутилась Лидка Абалченко. Беременность она переносила легко, словно кошка; выпирающий живот носила с гордостью. Каменный карьер она бросила давно, на лесосеке тоже не бывала, а активничала в клубе. Когда выбирали разведчиков, кто-то ради смеха выкрикнул Лидию Абалченко, народ, ради смеха же, голоснул. В женской консультации она узнала, что беременным полезен моцион, и она ежедневно носилась по полям и буеракам на обследование территорий. Сейчас, стоя перед высыпавшими из машин хуторянами, тыкала пальцем, где будет глубина, а где берег, поясняла, что Волга — крупнейшая река Европы — никогда не имела и только теперь наконец получит выходы к океанам.

— Ты без тех выходов, что ль, не разродишься? — кричали ей.

Конкин делал строгий вид, призывал к серьезности.

— Чего серьезного?! — протестовали мужчины, косясь на колхозное вино, зная, что заправишься — способней дебатировать. Да и личные, прихваченные в дорогу поллитровки перестанут оттягивать карманы, мешать жестикуляции!.. Привыкнув за время обследований ублажаться на легком воздухе, люди сыпали волго-донскими оборотами:

— Пропустим в нижний бьеф и благословимся к разговору. До ажюра все обговорим. По-стахановски будем говорить.

3

Сергей Голиков задолго до партконференции видел, что под его руководством творилось в затопляемых колхозах.

Колхозы — коллективные хозяйства — перестали под началом Голикова быть коллективными хозяйствами, превратились в коллективные говорильни. У разведчиков и выезжающих с ними вольных охотников диспуты приняли особо завлекательный характер. Прибыв на очередное место, до осипения наспорясь, они по добрым станичным правилам не держать винную посуду наполненной осушали ее и, шумя еще больше, обнимаясь, поворачивали домой, чтоб назавтра снова правиться в следующие развеселые рейсы.

...Что ж, он сам, глава райкома, собственными руками выпустил из бутылки разухабистого духа. Следовало еще давно, еще до конференции, заглянуть в больницу к Конкину, обсудить ситуацию, но после первого посещения не хотелось снова рвать нервы. Со дня конференции прошло трое суток. Сергей, рискуя билетом, ждал, что в станичниках пробудится совесть и они сами, без окрика, сдвинутся с места. Но совесть не пробуждалась, они дебатировали и гуляли, будто доказывая, что они не просто колхозники, а казаки, что недаром со времен царя Петра славятся они эмблемой: нагой, до нитки пропившийся рубака верхом на винной бочке... До чего нелепо измочаливать на них сердце, если они сами плюют на свою участь. Как легко управлять, когда дух взаперти!.. Сиди этот дух невыпущенным, потури Орлов в шею переселенцев — они б давно обживали новые участки.

— Получается, истина за Орловым? — спрашивал Сергей Степана Степановича, подъехав на пустошь и отозвав его от рвущейся к веселью толпы.

Раскаленный проработкой на конференции, возмущенный колхозниками, за которых клал там голову и которые теперь и не думали почесаться, Сергей обмерял взглядом Конкина — улыбчивого, сияющего во все лицо. Значит, плевать не только колхозникам, но и близким друзьям, которые науськивали, а когда линия Орлова — Капитонова взяла верх, разбежались. Расхлебывай сам.

— Персонально мне не требуются никакие пустоши! — чеканил Сергей, сдерживая голос, так как вблизи топтались ждущие выпивки хуторяне.— Да если кругом такая разлюли-малина, то зачем мне вообще это секретарство?!

— Вы смотрели,— спросил Конкин,— фильм «Золушка»? Там король, чуть где ему не так, дерет с головы корону, трахает об пол: «Не желаю быть королем»... Да неужели ослепли? Неужели замстило вам, что победа одержана!

Сияя, он говорил, что, конечно, тетка-переселенка не Долорес Ибаррури и рядовой переселенец не Карл Либкнехт. Они крестьяне. И потому тянут кота за хвост, примеряются: «Не сдешевить бы...» Но ведь именно то, за что дрался Голиков, свершилось: переселенцы уже не пешки Орлова, а хозяева! И уже облазили все собственным глазом, уже созрели для выбора.

— Вот и дайте им пропить по-казачьи старые хутора,— говорил Конкин Сергею, на которого уже надвигались мужчины, требуя дернуть с ними по маленькой.

Сергей буркнул, что у него бюро, махнул всем рукой, включил скорость.

* * *

— Раскубривай, Степаныч! — галдели колхозники и в доказательство, что с переездом решено, отшвыривали сапогами снег до черного

грунта. Мол, наглазно же — зѐмли способные. Да и разведчики докладывают, что ни попелухи, ни кучугуров, ни хрящей нет; одни черноземы. А Подгорнов?.. Что Подгорнов! Чего сиженные углы нюхать, когда вот она, широта.

Действительно, широта распахивалась в весенних прозрачных красках; и хоть зѐмлеробу краски ни к чему, а все же, когда они особенно легкие и по травинам скачут пичуги, цвенькают, не боясь людей, словно приветствуя, — сердце людей мягчеет. Из принципа-то следовало б возражать, так как сами зимой затюкали пустошь. Но с другой стороны, и зерно не в принцип придется кидать, а в землю. И главное, раз по своей воле, сами, дескать, бракуем да опять возвращаемся, то, значит, такое желание нашей колхозной пятки, такая наша личная фантазия!

— Раскубривай.

Но Конкин отлаивался: мол, голснуть — дело секунды, и тогда любая выпивка не пьянство, а лекарство.

— В шеренгу по четыре, кореновцы — направо, червленовцы — налево станови-и-сь! — запел он, раскинул руки, показывая, какому хутору куда; и народ, загораясь игрой, пихаясь, греясь на снегу, стал разваливаться на две половины, не умея из-за баб выровнять шеренги.

— Предколхозов! — перекрывал галдеж Конкин. — Ваших голосочков не слышу.

— Р-р-равня-у-айсь! — подмигивая, раскатился червленовский председатель, армейски-наторенно, спиной назад пошел перед червленовцами, а Настасья Семеновна, отучась за последние месяцы шутить, чувствуя, что окажется смешной, если не бросит серьезность, по-генеральски надула щеки, крикнула, вызывая общий гогот:

— А ну, равняйтесь!

Перед Конкиным стала Дарья Черненкова, объявила, что цирка не допустит.

Дарья всегда самой кожей чуяла опасную самостийность Конкина, живущую в нем, в его выкормышах — Голубове, Любе Фрянсковой, поражалась: отчего секретарь райкома, будто ослепнув, не берет их к ногтю?.. Все же, пока дела шли в русле ее бюро, она поддерживала, даже превозносила Конкина. Но когда на партконференции верх взял Борис Никитич — железный, единственно удобный, понятный Дарьиной душе, — она повернула на сто восемьдесят. Сейчас, в степи, испугала бывшее либеральничанье, держалась за формулировку Орлова, что «гайдамаки» всяческими фокусами мытарят колхозников, тянут на отдаленную пустошь, когда в одном шаге лежит хутор Подгорнов, где такие ж, как всюду, «советские земли, советские золотые люди»; поэтому Дарья восставала против пустоши.

— Не будет, — гаркнула она, — цирка!!

— Зачем шуметь, Даша?

— А что я с тобой, мелодично должна?! — отчетливо, чтоб слышали обе шеренги, чтоб рассмеялись и тем поддержали ее, ответила Дарья. — Выпить? Пожалуйста! Пейте, товарищи!! А для собрания положены стулья, помещения. И ты, Степан, дурей себя не ищи.

Конкин галантно вручил ей Устав сельхозартели:

— Ищи, лапушка, пункт: незаконность собраний на свежем воздухе, — и лейтенантски скомандовал председателям: — Р-р-рассчитать людей по порядку!

Кворумы в обоих хуторах были, президиумы выбрали бесканительно: Дарья права, на стоячку долго не проволынишь; и главный вопрос повестки — переезд на пустошь — голоснули с ходу. Также с ходу утвердили заявление на имя хозяина, колхоза «Маяк». — дескать, принимайте в свою трудовую семью, разрешите здесь обосновываться. Все

произошло в мгновение. Ошеломительно. Раз — и с закрытием необычайно короткого собрания отрезалось. Аминь.

Цвила у нас розочка — нежной цвет,
 Была у нас барышня — типерь нет,
 Повязали барышню, эх, помчали! —

резко повел Лавр Кузьмич, копируя засвтанную, голосащую на плаканках девчонку, в приплясе оставляя на снегу вмятины деревяшки, но его оборвали:

— Сберег, хрыч, одну ногу — катись на ней, пока целая!..

Лишь ломая шеренги, ощутили хуторяне, что они — от века коренные донцы — кланяются пришлой иногородшине, деревне Маяковке. Не станице. Деревне!! Десятки лет и умом и самою уже душой думалось старикам, что нет ни коренных жителей, ни иногородних, и вот ворохнулись вдруг в дедовской крови запавшие с ребячества, с царских времен побаски: «То-то хохло-то, мохло-то», «Хохло окаянное. Его хочь перевари, перекипяти — он все хамло». Конечно, это глупость. Это, как проклятый позор прошлого, еще с наипервых дней революции отрубили — прикончили в отряде Щепеткова, а после и на всем колхозном Дону забыли отличать коренного станичника от иного человека. Но а куда ж сию минуту подашься, когда правда и то, что «свекор — он батюшка, да не родный», что народ в «Маяке» грызливый, гутарит не подонскому, песни не играет, ревет, а все одно езжай туда примаками, христарадничай...

— Раздушаночки-красавицы! Бабочки! — в рупор ладоней взывал Конкин. — Берите в золотые, бриллиантовые свои ручки и кореновскую и червленовскую закуску, раскладывайте общей линией.

Женщины выворачивали вареной птице ноги нехотя, как бы гадясь салить пальцы, перебрасываясь:

— Готовим поминки по себе, сами рассказываемся.

— Девы, стаканов один на пятерех.

— И что? Друг с дружки потравимся — хоть помрем на старосельях...

И лишь когда повытягивали из бутылей, из горловин забитые курузные початки и на морозце потянуло вином, женщины залотошились моторнее, реплики стали меняться.

— На Фрянчиху глянь. Привезла единого куренка, а соседскую колбасу, навроде свое, ломает четвертый уж круг.

— О! И Лидка, Лидка припожаловала! Ей корова не дается доить, такие у нее, у залёпы, ручищи грязные; так она ими за общее сало хватается.

Харч, как на блюда, выкладывался на опорожненные котомки, уложенные на тающем уже снегу; деды с почтением приглашали Полю, супругу бывшего своего командира:

— Пристраивайся, милая, тут, коло этого красностопа.

— Не. Я, соколы, к водочке сваженная!

К полудню, к близкому возвращению грузовиков, шапки мужчин были на затылках, платки женщин на плечах, открывали головы солнцу. От пира, от первых с зимы жгучих лучей лица были красными, свежеприпеченными, а небо, которое, может, ни разу, как существует земля, не выдавшее здесь столько людей вместе, будто приблизилось, вслушиваясь в звяканье кружек и стаканов о горловины бутылей.

— С полями ясно. И с огородами ясно. А где планируются виноградные сады?

— От того вот бугра ломи прямо.

— Пошли глянем вместе. Только давай внаподвозки. Ты меня на горбу сто шагов, я тебя сто шагов.

Тут же пьяные бабьи голоса:

— Запясняй, Андриан Матвееч, песню. Заводи «Мужа дома нет, соколика».

— Не! Давай «Вспроти миленьких ворот».

— Стойте, наломаю гóлоса.

Он наламывал, тянул вверх и вниз: «А-а-а... А-а-а-а-а» — и женщины ждали, общались с соседями:

— Куманьки, идите еще винца, курочки.

— Будя. Наедены и напитки.

— Да нет, еще...

— Где им еще?! Они и так натрескались — хвоста не прижмут, — отмечал Андриан и поворачивался к другим мужчинам, окружившим красного, затравленного бухгалтера Черненкова. Видя, что мало высекают в бухгалтере огня, вносил свою лепту: — Ну как же ты ее, свою Дарью Тимофеевну, обнимаешь? Ручки ж у тебя мацупенькие, рази обхватишь, когда у нее что тут, что, гляди, вот тут!..

Бухгалтер, вроде и ему весело, хихикал, менял тему:

— Скорей бы построиться, товарищи. Там вода разоряла кажнова года, а тут поднимем экономику.

— Это так. А все же супруга твоя небось дама игреливая, может тебя до инфаркта довести. Да и неувязка у вас: она секретарь бюро, а ты вне рядов...

Выпив вина и водочки, да, кажется, и самогончику, Настасья Семеновна улыбалась, но ясно представляла, как завтра отправится она с червленовским председателем в «Маяк», где будет принято их заявление, и к ночи вернутся они уже не председателями, а бригадами, хутора их превратятся завтра из колхозов в бригады, и Щепеткова, уже отрезав это, разглядывала активную Дарью. Положение Дарьи было трудным. Для служения Орлову полагалось конфликтовать с Конкиным, но как парторгу ей следовало взбодрять народ, то есть работать на Конкина, идти против себя самой; и она делала это, зычно хвалила место. Народ шумел всякое:

— Оно наиздальках казалось жутко, а увидели наблизу — ничего.

— Что такое пустошь? Закрома запустеют... Маяковка — значит маяться. Не так мы поступили.

— Так — не так, перетакивать не будем! — орал Лавр Кузьмич, ширяя пальцем в повернутые к будущему морю крутосклоны. — Это ж соминая, сазанья глыбы!

— Красота, — поддерживала его Дарья.

— Не. Полкрасоты. Красота сверканет, когда волны тут заиграются, стихия!!

Мир пел, пил, грохотал; пил даже Конкин, даже Вера Гридякина, даже Лидка, зыркая, не видит ли супруг, чокалась с пристающими к ней мужчинами, проливая на оттопыренное пальто, с восторгом ожидая обратных машин, чтоб привычно, как положено беременной, влезть в кабину к Музыченко, совершать моцион в приятной компании. Требовался моцион и Милке Руженковой, которая знала, что в ней ребенок от Ивахненко, думала о проруби, о петле, но из каких-то сил улыбалась среди смеющихся.

Ничего этого Люба Фрянскова не видела. Солнце ласкало ее висок и щеку. Все один висок и одну щеку, потому что Люба смотрела лишь в одну сторону — туда, где Голубов. Кто знает? — не всегда ж срываться женскому счастью. Вдруг да и разрастется оно вопреки всему миру, зацветет благоухающим и весной и зимою прекрасным долгим цветом!.. Люба знала, что Голубов ездил в соседние колхозы к фронтовым друзьям, увещевал переселяться, что вечером опять поедет вместе с Конкиным, что районный партактив, записав райкому — завершить переселение срочно, сейчас занимается переселением, и, бесспорно, Голубов — самый значительный в этих делах... Люба видела, что Валентин Егорович счастлив. И не просто выбором пустоши, а и тем, что гораздо открытее заживут теперь червленовцы и кореновцы, что продует их в «Маяке» (как давно мечталось Валентину) крепким ветром, будет где показаться им, уж подзастывшим в былых своих заслугах!.. Глаза резало сверкающим небом, белизной талого, наверняка последнего уже снега; слепило, наверно, и Голубова, он шурился и, как все кругом, пьяный, смешной, клялся, обнимая бабушку Полю:

— Принципиально не сдохну, пока самолично с этой вот площади не увижу вершин коммунизма. Безо всяких уже телескопов, без биноклей.

Глава восемнадцатая

1

У Любы было три рекомендации — Конкина, комсомольской организации и Голубова. Через несколько минут на партийном собрании ее будут принимать в кандидаты. Много читала она о торжественности этих минут, знала, что минуты эти прекраснее первой любви, и теперь ждала в себе этого.

Это, конечно, было. Но сильнее был страх. Не пугали ни биография, ни работа. Из-за отличной работы Конкин и порекомендовал оформляться.

Пугала Любу необходимость выступать перед народом, молча сидящим на скамьях. С глазу на глаз легко разговаривать, как угодно спорить с каждым отдельным человеком. Но сойдись они вместе, образуйся пространство между ними и тобой, всходящей на возвышение, — и ты гибнешь. Исчезает даже первая, заранее выученная фраза... Люба всегда завидовала тем ораторам, которые в переполненной зале вольготно облакачиваются о трибуну, даже ложатся на нее животом. Они не только не спешат уйти, а растягивают удовольствие — пьют воду или, подняв рукав, глянув на часы, морщатся: экая, мол, беда — истекает регламент. У Любы получалось иначе. У нее еще в техникуме сохли губы, если записывалась в прения, а когда приближалась очередь, в голову лезло совсем идиотское — сказать, что заболела...

Она томилась позади конторы, где назначили прием, боялась, что народ будет раздраженный, так как за эти три дня — с секунды, как грянул гром и колхоз перестал существовать самостоятельно, влился в «Маяк», — коммунисты задержались от мероприятий. Позавчера шло партсобрание о задачах в новой обстановке, вчера — партгруппа, сегодня опять внеочередное собрание!.. Там, за закрытыми окнами, наверно, уже был Голубов, перед которым придется стоять, не находя места рукам.

Она вошла. Никто еще не сидел, все курили, разговаривали — и на душе полегчало, тем более что Дарья Тимофеевна по-домашнему лузгла семечки, не сплевывая, а удерживая на губе лузгу, и лишь порой жменею снимала ее, бросала в корзину для бумаг. За эти три дня Черненкова вообще помягчала, не «сыпала жару под хвост», не «ломала хвоста» ни отдельным комсомолкам — активисткам Совета, ни самой Любе. Разве что сегодня станет бросаться?.. Но она протянула Любе семечек, понимающе спросила: «Боишься?» — и показалась точно бы старшей доброй сестрой, а остальное пошло совсем радостно.

Было объявлено, что на повестке два вопроса — прием в кандидаты и персональное дело Голубова. Люба не осмыслила этого — «персональное дело». Она будто висела в воздухе перед слитыми в один цвет лицами. Ее не экзаменовали по теории, ее вообще не терзали надобностью выступать.

Черненкова сама громко зачитала ее заявление, и когда спросила сидящих, прослушивать ли биографию, все благодушно загудели: «Чего там? Знаем. И отца знаем!» Люба увидела поднятые за нее руки. Они выросли не чуть-чуть над головами, а вскинулись высоко и дружно.

— Ну, поздравляем! — с чувством произнесла Черненкова. — Теперь у тебя новая жизнь. Держися достойно.

Потом сказала, что нехай товарищ Фрянскова остается на второй вопрос, с места в карьер узнает дисциплину.

Все в душе было так перемешано, что даже когда Черненкова уже несколько минут говорила о безобразном, собственно, уголовном проступке Голубова, Люба вбирала слова без их смысла. И все же наконец дошло, что происходит. Вскрывалось страшное и, главное, действительно бывшее вчера на займище во время субботника. Бывшее не с кем-нибудь. С Валентином Голубовым! В момент происшествия Люба работала далеко, увидела лишь спины людей, уже сбежавшихся, окруживших Валентина Егоровича...

2

А здорово начался вчерашний субботник! С темна собрались на хоздворе, разместились по машинам и подводам.

Займище, когда покроется морем, оказывается, войдет в район траловых участков, где рыбу будут ловить тралами — глубинными сетями, ползущими по дну. Поэтому деревья нельзя рубить, оставляя пни, а надо ликвидировать целиком, взрывать. Из воинских частей прибыли подрывники-саперы, хуторам же следовало вытягивать взорванные деревья. Вытягивание называлось трелевкой, на эту трелевку и поехали с хоздвора.

Еще находились на спуске, когда внизу бахнул разрыв. С займища поднялось в рассветном воздухе стадо уток, а перед обозом выскочила лисица, весенняя, линиялая, поскакала под улюлюканье народа.

Ближних к займищу домов, что всегда стояли под склонами, уже больше месяца не было — их хозяева перебрались на горовые улицы к родичам, переволокли за собой разобранные строения, — и обоз грудился среди непривычных глазу пустырей. Впереди забахало еще. К небу величественно взлетали облачки; кони и быки водили ушами, машины стали. Гул оборвался, дым отошел, а далеко, где только что были деревья, открылась пустыня, такая же голая, как склоны хутора, и Любе казалось: надо всем этим пролетело необходимое эпохе, бунтующее, боевое, безудержно веселое Разрушение!..

Солдат с флажком показал, куда можно ехать, куда нельзя. В запрещенной зоне маячила маленькая армейская машина и под купами

еще не взорванных верб несколько фигурок. Этот отряд работал на займище неделю, подготавливая сегодняшние взрывы: дорога к займищу все дни была закрыта.

На месте, куда солдат указал дорогу и куда подъехали, пахло порохом и лежали деревья. Они не касались земли стволами, опирались с одной стороны на ветви, с другой — на растопыренные свои корневища. Песчаные воронки были закопчены, по их краям под слоем листвы виднелся снег — тоже закопченный, оплавленный, — а над снегом толкались в воздухе прошлогодние комары, какие-то вялые то ли от холода, то ли от взрыва. В запретной зоне на глазах Любы побежала от рощицы машина с саперами, и следом плеснулась земля, стали взлетать вербы. Рокотало и в районе хутора Червленова, и выше, и ниже по Дону, по-над всеми займищными хуторами. Всюду действовали саперы... Взорванное требовалось вывозить, начиная от берега, где вода уже лизала сваленные деревья, и их цепляли тросами к машинам, к конским, бычьим упряжкам, чтобы выволакивать на бугры.

Люба объединилась с Верой Гридякиной, с Мишкой Музыченко. Они продевали конец троса под ствол вербы, самой близкой к берегу. Ствол был лохматым, в бородах водорослей, вившихся прошлой весной по разливу, теперь сухих, унизанных ракушками. Под водорослями из коры пробивалась молодая ветка, уже пахла пробужденной жизнью; оборванные корни, похожие на белые мочалки, сверкали соком, и Михайло, сдавая грузовик, выглядывая из кабины, смешливо крикнул:

— Оль райт. Преображаем природу!

Гридякина вдруг заплакала, а Люба стала думать, что ничего, что зато рыбаки без помех будут бросать здесь тралы.

Канонада то рядом, то где-то у дальних хуторов раздавалась часа полтора и смолкла. Видна была увозящая саперов машина, она прихватила солдата с флажком; уехали, наверно, и другие отряды, обслужившие соседние участки, и на займище осталось только привычное для земли конское ржание, смешанное с тарахтением моторов, с говором колхозников, и весна стала весной, какую знала Люба, приезжая сюда на каникулы... Льдины, плывущие у берега, терлись, позванивали. На пригреве, на илу, шевелились не проснувшиеся толком лягушки, медленно, точно загипнотизированные, двигали ногами. По длинному стеблю взбирался жук, между сухостоем желтели невзрачные цветки гусяного лука, расцветающего рядом со снегом. Из этого ноздреватого грязного снега сочились бриллиантовые капли, а высоко в голубизне летел ворон, ронял такие светлые воркующие трели, какие, казалось бы, не может испускать такая мрачная птица.

* * *

На взгляд работающего топором Голубова, дела в мире шли превосходно. Все затопляемые колхозы определили, где им строить новую жизнь, сняли тяжкий этот груз с Голикова, не дали-таки Орлову с его компанией потанцевать на секретаре райкома!.. Что касается пустоши, куда вложил Валентин не один моток нервов, то она уже осваивалась; Валентин проверил там все планировочные колышки на местах закладки своих ферм, ничуть не конфликтовал с архитекторами — свойским, толковым народом. Да и очистка займища шла будь здоров! В общей куче работали кореновцы и червленовцы, которые хоть и жили рядом, а все же еще от прадедов враждовали на кулачках, доходя до увечий, случалось — до убийств, а теперь, сообщая избрав пустошь, трудились единой дивизией!.. Деревья, как плыли, шли на гору, трелевались и эм тээсовским тракторным парком, и грузовиками молкомбината, и даже—

с поганого козла шерсти клок — сам молкомбинатовский директор Ивахненко орудовал при своих грузовиках. Чтоб не раздражаться его видом, Валентин отвернулся, продолжал рубить.

Не каждое дерево вылетело при взрыве из воронки. Иное, лежа, держалось туго натянутыми корнями, и Валентин подсекал их с левой руки, а правой, нерабочей, откидывал шевелюру. Подсекал с Еленой Марковной, шел от вербы к вербе.

Многих царей пережили вербы. Судя по расщепленным вершинам, по обгорелым вершинным сучьям, они и снарядами были биты, и молниями. Молнии жгли сверху, народ — снизу, с близких от земли дупел, подпаливая на рыбалке в холодные ночи сухую подтрухлевшую сердцевину, и она выгорала, превращая ствол в обугленную изнутри трубу, которая жила, не сдавалась.

Принимали раны и от топора, от пилы. Ветки пилились в разное время, были торцы более свежие, лет тридцати, были и совсем древние — черные с прозеленью, но все ж каменно-крепкие. Перед Голубовым и Еленой Марковной в изломе ствола краснела ржой пароходная цепь. Когда-то, в разлив, швартовалось судно к вербе, обмотали ее матросы цепью, потом почему-то бросили, она вросла; а вот расселся от взрыва ствол, открыл старую цепь в древесном мясе. Звенья фигурные, каких теперь не производят...

Елена Марковна придержала над корнем взмах топора, сказала: — Посмотрите, Валя, что Ивахненко делает.

Ивахненко легко, будто она картонная, двигал вербу, и только малиновое лицо выдавало напряжение. Показывал силушку своим молкомбинатовцам. Заметив взгляды Валентина и подошедшего к жене Конкина, благодушно крикнул:

— Волго-Дону веселей с такой работы. Не то что с языковой.

Но Валентин глядел уже не на него, а на Орлова, проезжающего в «Победе». Орлов щурился через стекло, с колес инспектировал субботник. Валентин ткнул плечом Конкина:

— Ответь. Почему все-таки Орловы с Ивахненками могут процветать в наших условиях?

— Ты, чудило, возьми осот, злейшего врага пшеницы.

Конкин помаргивал от сияния неба, философствовал об осотах, которых черта два загонишь на непаханое, а подавай лишь взрыхленную почву: они на мягоньком цветут. Детеныши культурного земледелия; так сказать, болезнь роста. И не отменять же пахоту из-за этих осотов. Конечно, и выпалывать не сахар, корни-то у них поглубже, чем у пшеницы...

Разморенный теплом, потягивающийся, он изрек, что, возможно, Орлов сам по себе рубаха-парень.

— Да плевать, какой он! — взвизгнул Голубов. — Эти дырки, — он тыкал себя в руку, в плечо, в живот, — понасверлили мне, может, замечательные гитлеровские ребята.

— Тоже верно, — согласился Конкин и, определив, что «Победа», обогнув участок кольцом, вернется с разворота сюда, объявил, что эвакуируется, желает подэкономить нервы.

Елена Марковна, глядя вслед мужу, хвалилась, каким он после больницы стал сговорчивым, спокойным, и это представлялось Голубову изменой. Все спокойные!..

«Победа» тормознула возле молкомбинатовцев, улыбающийся Орлов с заранее вскинутой для пожатия рукой шагнул навстречу подбежавшему Ивахненко. Они стояли, оба смеялись, радуясь друг другу, и Валентин напряженно смотрел. Две осотины. Одна — хуторская, на-

уськивающая Фрянсковых, Гуцковых, Ванцевских строчить на полхутора доносы; другая еще злее — районного масштаба!

Валентин встроил топор в вербу, пошел к ним. Они оборвали разговор, выжидательно глядели. Братья по духу. Дружки. Самое ж основное — они не единицы, они плодились в любимую Голубовым, обильную свершениями эпоху, как после дождей в тепле плодятся комарье.

Голубов стал вплотную. Все трое молчали. Ивахненко наконец шевельнулся, взял Голубова двумя пальцами за воротник гимнастерки, смеясь, поддернул:

— Чего ты, сосед, вылупился, как бешеный баран?

Эх, просто было с сорок первого по сорок пятый! Вот свои, а вот оккупанты. Бей их, беги на них, хоть в глазах черно, хоть не сознаешь — живой ты еще, мертвый, но бить надо, надо очищать землю, хоть тонешь, горишь... Да, но какая сволочь объявила, что сейчас не надо очищать?!

Голубов рванул воротник из руки Ивахненко, отчего рука дернулась, звучно клацнула о подбородок Голубова. Отскочив, Голубов схватил с земли неподъемную дровеняку. И с криком, то ли перепрыгнув, то ли наступая на упавшего Орлова, кинулся на Ивахненко, и Ивахненко, оглядываясь, неожиданно легко побежал по сухим веткам.

Первой сзади уцепилась Елена Марковна:

— Валя, остановитесь.

Потом подбежали, схватили за руки молкомбинатовские шоферы. Валентин попросил у них спичку, закурил.

3

Теперь это обсуждалось. На табурете рядом с Любой сказали, что, может быть, Фрянсковой, которая еще не утверждена райкомом, удалиться? Но кто-то возразил: мол, ничего, пусть поприсутствует. Голубов сидел за столом, где только что была Люба, ни разу за все время не поднял глаз. Еще вчера, на займище, говорили, что он тяжело ответит, но что это свершится — Любе не верилось.

За столом стояла Дарья Тимофеевна, уже не та добрая, что вела прием, а совершенно другая, требующая кары за многое, начиная с грязных бытовых дел, с аморальности Голубова, которую совсем недавно уже разбирали коммунисты.

О шашнях Валентина Егоровича Люба знала давно, но ее почти не терзало, что он занимается этим, грубой физиологией, которая — говорят — положена несемейному мужчине. Другое дело — ушедшая жена Голубова... Она чем дальше, тем ядовитее отравляла Любину жизнь. С каждым днем все достоверней, все яснее представлялось, как Валентин целовал свою красавицу, как та смеялась, отвечала или — что еще ужасней! — отталкивала его, и он просил, унижался... Представляя все это, Люба почти умирала.

Но сейчас было не до этого.

«Если в партии, — думала она, — так же, как в комсомоле, то Голубова будут долго прорабатывать, всячески стыдить, а потом предупредят и вынесут выговор. Может быть, даже строгий».

Какая ни зеленая, Люба понимала: после превращения колхоза в бригаду, а значит, возможных ломок в бюро Дарье Тимофеевне невыгодно раздувать дело, и она ограничится жесткой своей речью и такими же речами товарищей.

Так оно и складывалось, пока не появился Орлов. За окнами грохотали волго-донские грузовики, поэтому Люба не слышала, как подошла машина Бориса Никитича, увидела лишь его самого, когда он

возник, спросил разрешения присутствовать... Все, что началось потом, было мучительно, как приснившаяся душная овчина, наваленная на лицо, не дающая ни дышать, ни проснуться. «Вон Голубова из партии!» Об этом говорили всеми словами... Народным свершениям мешал именно Голубов, и выход был один: изгнать его из рядов, очистить от него ряды!..

Еще в школе, когда изучали Французскую революцию, Люба поражалась, как это вожди масс — Робеспьер, Дантон, Марат — шли на гильотину или гибли от кинжала, а какой-нибудь ничтожный тихонький французик-лавочник, переждавший все громы за своей плотной ставней, не бывший ни за якобинцев, ни за жирондистов, а лишь за свое мышинное благополучие, оставался здоровым, преуспевающим, был французским «народом», для которого сочинялись и лозунги, и «Марсельеза», и, позднее, воззвания вернувшихся королей.

Тогда, в детстве, казалось: будь она парижанкой маратовских времен, она б вопила среди улиц, что преследовать героев — это измена. Теперь же, на собрании, молчала. Самым жутким для нее было то, что собрание шло с удивительной пристойностью. Слова Конкина и начальника карьера Солода в защиту Голубова звучали словно бы неприлично, и Борис Никитич на протесты Конкина ответил:

— Зачем же вносить нервозность? Голосование все покажет.

Он пояснил, что сейчас эпоха демократии, а не какой-то военный коммунизм с матерщиной, с наганами, и когда Конкин перебил: «Почему о военном коммунизме говорите как о бандитизме?» — Борис Никитич словно бы не заметил, сказал, что мы — руководящая партия, критиковать которую не дано никому; значит, мы сами должны критиковаться.

Конференция района вынесла приговор Голубову, а в этой комнате, говорил Борис Никитич, отыскались такие, кто вопреки конференции и несмотря на вопиющие новые факты покрывает погромщика, вместо того чтоб отдать под суд по соответствующей статье.

Говорил это Борис Никитич деликатно, никого ничуть не оскорблял, и в этом, наверно, было самое страшное, Любе казалось, что Валентина режут. Действуют не простым ножом, а особенным, ватным, которым орудует Орлов, встав над собранием.

Все ужас...

«Нет, — боролась себя Люба, — ужаса нет. Права Гридякина: есть подлецы, берегущие свое благополучие, или дураки, не понимающие, что именно на собраниях, то есть когда люди собрались вместе, специально сошлись в единый коллектив, тогда вот и надо выкладывать истину».

Она подняла руку.

— Я, — заговорила она, — выучила Программу и Устав. Могу повторить на память. То, что делается здесь, противоречит и Программе и Уставу. Там нигде не написано, чтоб изгоняли лучших.

Стало очень тихо. Черненкова, чтоб снять впечатление, бросила шутку:

— Ты, наверно, не те конспекты захватила.

— У меня нет конспектов, — ответила Люба, не поняв, что это шутка. — Я считаю: надо или не вступать в партию, или высказывать правду.

— Ну, высказывай, что ты видела на займище?

— Ничего не видела. Увидела, когда у товарища Голубова уже отняли дубину.

— Значит, дубина была?

— Конечно, была. Но если он схватил дубину, значит, так было надо.

— Постой,— загудели уже хором, уже веселея.— А если б он попроламывал головы, тоже было б верно?

— Тоже! — ответила Люба и, чувствуя, что надо остановиться, приказывая себе: «Дура, остановись!» — начала объяснять, что факты— мелочь, важна душа, а душе большевика Голубова она верит. Верит, и все. Верит, хотя бы он действительно поубивал тех, с кем дрался.

Когда по ходу собрания поступило предложение пересмотреть первый вопрос, воздержаться от приема незрелой Фрянсковой, тем более что один из рекомендующих — Голубов, когда это проголосовали и Люба — опять беспартийная — покидала помещение, ее задержал Конкин. Нарушая пристойность собрания, встал, сказал то, что, вероятно, каждый в комнате ощутил вдруг сам:

— Вот теперь-то тебя и следует считать коммунисткой, товарищ Фрянскова.

Глава девятнадцатая

1

Андриан запрягал быков. Зная, что в дороге не почешешься, они ударяли носами, шершавыми языками в бока, оставляя мокрые зачесы. Бабы-виноградарши вели их к подводам. Мозоли на бычьих шеях, с осени не тертые ярмами, подзаросли ворсой, потеряли отполированность, загорбки раздобрели, и стстоянные гладкие быки, все тридцать шесть пар, взбрасывали башками.

— Ге, ссатанюки!..

Первые километра четыре обоз, груженный водою, двигался ладно. Дорога на пустошь шла в гору, лежала камневатая, катаная, колеса не скрипели — Андриан еще загодя сам проследил, когда мазали оси, лично обстукал спицы и ободья. Бочки тоже проверил лично, прочаканил, заменил с Лавром Кузьмичом обручи, поставил на место подтрухлевших клепок новые, желтевшие сейчас на черных боках свежей дубовой древесиной. Все хорошо. После надокучившего Андриану карьера опять родное бригадирство. Не совсем, правда, бригадирство, поскольку сам колхоз стал бригадой, и кто теперь он, Андриану еще не сообщили. Оно ему и без надобности. А вот что на пустоши сажать ему? Разве ж это — в душу с душеньками! — виноградное место?! Ровизна, как под картошку. По-научному — плато... От этого слова багровело в глазах. Вчера Андриан загонял в сарай овечек, старая матка загатцевалась у двери, кинулась к поленнице, и он дрючком снес ей полчерепка на сторону. Ночью—куда денешься?—свежевал, а в ней два ягнака... Плато! В этом плато ни семечка кремня, ни родников в глубине, ни южного склона, где и прикапывать осенью не требуется толсто, и круглый год от астраханца закрывка, и с марта до ноября солнце — значит, сахар в ягоде.

Старики говорят, посадка на плато — дурачья работа; лекторы говорят — мечта человечества.

Ну, плато, ладно. А что пихать туда?.. Еще в бытность на карьере исповедывался он у Голикова. У Сергея Петровича. Молод тот Петрович, но Андриан тоже был молодым, когда свершал революцию. И спросил:

— Чем засадим равнины? Объясни, Петрович, по секрету.

Тот аж засмеялся. Какие, дескать, секреты, когда и правительство и все государство знает рапорты с Дона? Виноград — гордость станиц — перевезется наверх до единого наималейшего корешка.

— У вековых виноградов,— Андриан усмехнулся,— маточные корни толщиной в работную хорошую руку. Их, Петрович, сотни верст, этих корней, и вжились они в глину с кремнем, в подземные водотоки. Разве перевезешь? Ну, пойдём на убийство, пообрубам. Но хоть по метру круг куста и вглубь надо брать? Это, считай, с грунтом самое малое тонна. У меня сорок тысяч кустов, сорок тысяч тонн... А ты, милый человек, о рапортах!..

Нет, ничего этого Андриан Щепетков не сказал. Много раз воображал он такой разговор с секретарем райкома и не сказал. К чему пихать некованого парня на склизкое? Андриан сам ответит за эти дела. Объявят срывщиком переносок — значит, объявят. А кто он — он знает сам. В бригадном подполе у него штабель саженцев-чубуков, резал осенью для продажи. Их и посадит.

Андриан шел позади обоза, девчонки и женщины судачили впереди, строили хаханьки. Когда земля оттаеется и начнешь втыкать чубуки, на каждый понадобится воды хоть ведерко... Все ж есть бог! Отыскал Андриан на пустоши, в зарослях терновника, в байраке, каменный пустой колодец. Страшенный, утопишь полколхоза; остался, видать, от помещиков-коннозаводчиков. Поили табуны. Позавчера вбухнула бригада в тот колодец обоз воды, сейчас двигалась со вторым, будет наливать каждые два дня. Бычата добрые, выдюжат.

Не против техники Андриан Матвеевич. Хороши ему и тракторы и реактивные самолеты, что лишь взвоют на одном краю неба и уже глхнут на другом... А все ж дорог ему этот, что шагает рядом, бороздный вол Тишка. Рог тавренный, уши тоже мечены, надрезаны, с черной губы тянется, словно мед, нитка слюны, падает на дорогу, как падала в детстве Андриана с губ ихнего вола, тоже Тишки, и другого, безымянного. Ходил шестилетний Андриан рядом с ними погоньчем, когда отец направлял сзади плуг; поил их Андриан в летнюю жару, потной ладошкой хлопал под их глазами налипшую мухоту, бил на спинах оводов, впивающих под шерсть головки. Просыпаясь за теплой материнской спиной, видел над полем меркнувшие, утомленные к утру звезды и в шаге — как два расплывчатых бугра — дремлющих быков, переставших жевать на зорьке... А уже перестарком, уже после гражданской заварухи, в которую было не до свадеб, гулял с будущей женой, и опять же были быки, в решительную минуту отгородили их в поле от косцов, и он обнимал ее, напеченную зноем, удивлялся, какая она, будто девчушка, маленькая, всего лишь до груди ему.

Шагал он, думал о жене, которую затыркал, сделал, молодую еще, старухой, думал о жизни, которая затыркала его, хотя он за нее дрался, получил семь дырок, думал, как поговорить с Голиковым, которому поверил. Разве скажешь ему, что переноска кустов — заведомая брехаловка, что нельзя было не обмозговать это кровное, крестьянское во всех станицах, что поднять бы на позор, на тюкалку тех, кто возгласил подлые рапорты, что вынужден он, Андриан, совершать правильное дело сподтишка, будто жулик, который ворует...

В первой же балке, должно, после выпавших где-то в степи дождей стояла мокрядь; Андриан месил ее, рядом бороздный бык Тишка переставлял раздвоенные, как рачьи клешни, копыта; меж клешнями звучно, напряженно вычвыркивалась грязь напополам с кремневой мелочью, а Тишка как взял в хуторе ход, так, не сбавляя, и тянул, как тянули все тридцать шесть пар... На эти «авто» марки «МУ-2» сколько уж сезонов зарились уполномоченные по мясозаготовкам, да, спасибо, виноградные крутосклоны трактором не обрабатываешь — закувыркается, — вот и отбивал колхоз заготовителей, спасал от ножа Тишек. А они прямо кулацкие. От рога до другого в размах рук. Загорбки в темных тигриных полосах,

отъевшиеся, тугие, давят в ярма, тянут через балку, где любая техника сдастся. Любой грузовик — хоть подсунь бревно, хоть сбрось с плеч шинель, кинь под буксующий скат — втопчет, прошвырнет назад вместе с ошметками грязи, а перегретая машина, взывая, паруя, будет все безнадежней зарываться, пока не сядет всем мостом.

У противоположного края стали проседать быки по колени, колеса — по ступицы, а останавливаться нельзя — засосет. Бабы покидали на подводы сдернутые с себя ватники, матерясь, работали кнутами, упирались плечами в бочки и, когда выбрались к подъему, окружили Андриана. Остановленные волю водили боками, дергались взад-вперед от сиплого дыхания. Фелицата Рагозина со своими адъютантками — мрачной Лизаветой Чирской и ясноглазой, яснолицей Марфенькой Гуцковой — все со сбившимися платками, заляпанные, дышащие не лучше быков, стали перед Андрианом.

— Выливай, Матвейч, воду, поворачивай назад.

Не умел Андриан балагурить, но тут, вытирая мокрую, как облитую, шею, улыбаясь, едва из-за одышки толкая слова, уверял, что перемелется — мука будет.

— Костяная? — спросила Рагозина. — Ты кто здесь такой? Здесь все равные; одна Настька бригадир и та до выборов... Выливай, бабы, воду.

Лизавета, даже тихая Марфенька, увлекая других, кинулись к подводам, но бочки, заготовленные к крутой дороге, были привязаны к дробицам проволокой, взятой на закрутки, — сразу не вывернешь. Забыв на лице улыбку, так и улыбаясь, Андриан сдернул с подводы оглоблю, прихваченную на случай подважить колесо, вскинул над головой. К нему бросились дочери — Жанна с Таисой, с Евдокией — и секретарь комсомольского комитета Милка Руженкова. Заведующая клубом, она не имела отношения к виноградику, а почему-то напросилась идти с обозом.

— Андриан Матвеевич, отдайте, пожалуйста! — хватала она оглоблю.

Андриан отдал, пошел вперед, и женщины загáкали на быков, повели дальше в гору. Под тонким наилком был мокрый, отполированный водой лед, копыта оскальзывались, быки падали на колени и даже от ударов поднимались не сразу, отдыхали под свист кнутов. Затем, качнувшись корпусом вперед, вскакивали, скреблись снова.

Спуск в следующую балку был резким, ярма ссовывались с загорбков вперед, налезали быкам на рога, на головы. Андриан гальмовал колеса, подкладывал под шины железные башмаки на цепках, гальмы, чтоб колеса не вертелись, притормаживались; под грязью был кремень, гальмы грелись, из-под них шел пар... В третьей, самой обрывной балке по дну играли ручьи. Андриан остановил обоз, спустился один, пересек низину, буруня по высокой, выше колена, жиже. Хотя выехали на кочетах, уже вечерело. Можно б над обрывом заночевать, в обозе шла арба с сеном, с водопойным корытом, но запохаживало на дождь, а тогда вовсе не пройти затопленными низинами, и Андриан приказал двигаться.

2

В конце лета, когда еще не падает с дерева лист, а рыба на тихой, похолодевшей глади всплескивается не от весенней свадебной резвости, а от сытости, от набранной силы, в станицах убирают виноград.

Хоть сотня метров, хоть больше до винпункта, а ловят ноздри сыростное свежее брожение — всегда веселое, как бы легкомысленное, заранее заставляющее улыбаться... За околицами, среди освобожденных от гронок, попрозрачневших лоз перекликаются голоса, фырчат машины, груженные штабелями мящиков. Руки женщин, резак в руках, фартуки —

все пропитано липким сахаристым соком, и пчелы не летят на цветы, уже редкие, скудные, а вьются здесь, тычут в сок хоботки. Крутится и детвора с пыльными сладкими губами, с раздутыми пузами, глажеет от винограда... Он навалами на брезентах отдельно — розовый, янтарный, сизый, терново-черный, подернутый необмятым дымчатым, густым, как роса, налетом; и девки рассортировывают его по ящикам — винные сорта небрежней, им скоро в давальню, столовые — гронка к гронке, а поверху в виде укрышки зеленые листья.

Не спят и во дворах. Любая старуха, что не доползет зимой от кровати до печи, срезает возле дома виноград, укладывает в круглые, плетенные из ивы корзины-сапетки, обшивает поверху мешковиной. Для базара...

Безмолвна займищная дорога от хутора Кореновского к Дону. Слабо пробитая через кусты, вьется она сонная, пустынная; лишь изредка пролетит над ней цапля, положив на спину голову, выставив вперед клюв, и растает, словно упадет за камыши. А «в виноград» людно, колесно здесь! Тянутся, буксуют в песке машины, набитые «королями», мотоциклы с сапетками в люльках, бычьи и конские брочки — все к пароходу. Из Кореновского не видать за вербняком Дона, и кажется — сверкающие стекла палубных надстроек приближаются прямо по лугу. Клуб пара — и тогда лишь долетает с недолгой стоянки гудок. Пошел виноград на Ростов...

Идет виноград и сухим путем в заготконторы, идет и на заводы шампанских вин. Рядами — не счесть — тянутся вдоль заводских дворов бочки, сходные с автоцистернами, и сколько в тех бочках застольных душевных бесед, свадеб, именин, проводов, приводов в милицию!.. Что ж, и хлебом тоже обедаются, даже счастьем, бывает, обедаются; а виноград — его и создал господь для того, чтоб пить вино из его ягод, а прежде подавить те ягоды.

Давят и на заводах, и в каждом колхозе работают прессы, в каждом личном дворе векодавние давилки, и любит командировочный народ эти дни в станицах, веселы в эти дни, не тверды на ногах люди местные, люди приезжие, не обойдена и живность, жирующая на виноградных отжимках; и даже гуси, наклевавшись дома косточек с кожурой, лежат на лугах светлыми на солнце стадами — издали точно белье многих солдатских батальонов, что полезли в воду купаться. А пролетит чайка — и с пьяных глаз всполошатся гуси, загогочут, махая крыльями.

В такие дни Андриан Щепетков заносит в тетрадь цифры с нулями — сданные центнеры винограда, честь, громкую славу колхоза.

3

Андриан выбирал, где ехать бездорожно. Получалось хоть дальше, а проходимее. Милка Руженкова первая пихала под оси тяжелую осклизлую вагу, давила на нее плечом; женщины, наверно, думали: вот-де пример дает; а Милка, чувствуя, что в ней растет ребенок, желала надорваться, чтоб скинуть.

Когда волы падали и, уже зануженные, засмыканные, ударялись о лед подбородками, Андриан давал знак не бить, дать малость отлежаться — и воловь бока ходили, как жабы выхваченных на ветер сазанов. Андриан усмехался: «Это по ведру на саженец везем. А ну-ка по бочке бы на куст, да сорок тысяч тонн тех кустов, да все это за одну неделю — от отмерзания грунта до пробуждения лозы. А в городе так и верят: «Ни корешка не бросят под морем донцы-молодцы».

— Ге, ге!

В забитых чопами бочках хлюпало, от бочек пахло тиной весенней воды, дубом, едва-едва дышало выветренным вином, но Андриановы ноз-

дри чутко улавливали, в какой бочке хранился прошлый год рислинг, в какой красностоп, алиготэ—все то, что рождалось брошенными кустами...

На подъемах быков счетверяли. Цепками подвязывали к дышлу передней подводы вторую бычью пару, выволакивали наверх, а там распрягали и спускались с порожними быками к следующей упряжке.

Людей — поди разбери почему? — все больше охватывал азарт работы, безумие работы, куда большее, чем безумие гульбища, пьянки, в которой — черт не брат! — пропивают капелюху, сапоги, баркас... Андриан знал это безумие работы и в личном былом хозяйстве, и в колхозном хозяйстве, особенно по новинке, по началу колхозов, или после немцев, в разор; знал это состояние в обеих войнах, в тяжкие — считай, без такого азарта — последние в жизни минуты и не удивлялся ни бегущей бегом Фелицате, ни другим женщинам, ни даже заразившимся этой азартностью волам. Тупое существо вол. Обидел его крестьянин, забрал у него радость призывно хрипеть, швырять копытом землю при виде коровы, лишил его отцовства, обрек смолоду до дряхлости, до бойни глядеть лишь в черную дорогу; а вот чувствует вол состояние человека, рвет за него жилы.

На пустоши были уже в сумерках. Кругом чадили костры, белелись палатки геодезистов, археологов, гидрогеологов, техников, мгновенно, едва утвердили место, наехавших сюда довершать планировку. «Они-то,— думал Андриан,— довершат. А чем поливать виноградники, когда примутся?»... Андриан в курсе: у нового хозяина, у маяковцев, цыбарка молока дешевле кружки воды. Из-за тридцати земель везут для гуртов цистерны с водой. Завидят гурты пыль на шоссе с-под цистерн — глаза выпучат, хвосты в гору и скачут наперерез. Преследуют даже обычные идущие с горючим бензовозы. Овца — на что уж смиренная тварь, а тоже звереет. Бросаются отары к корытам, не дают налить; а присосутся — и сотни штук, как одна машина, взад-вперед от глотания... Уже и воды давно нет, и не оторвут, бедолаги, ноздрей от влажных досок.

Геодезисты и другие шли от костров к подъехавшим кореновцам, совали письма, прося бросить в хуторе в ящик. Подходили и свои. Животноводы. Трое уж суток живут здесь, вкапывают стояки для ферм по приказу сумасшедшего Вальки Голубова, который хоть и под суд, по всему, отправится и билет будет выкладывать, и не снижает активности. Чудной мужик! Считает, что если его даже исключить, то его все равно нельзя отставить от партии! Животноводы, поглядывая на обоз, говорили: — Спасибочко Андриану Матвеичу, ублаготворил скотину.

Андриан не отвечал. Бочки, доволоченные за оба раза,— капля в море. Еще б рейсов хоть двадцать. Зиму берегли Тишек, скормили им не одну скирду, а они уж заклили, дрожали на ровном ногами, сквозь грязь попроступала кровь на сбитых коленках, на бородах...

Гулко, как не о воду, а об дно, заплескалась в колодец струя из первой бочки. Андриан зажег пук сена, бросил в черную шахту осветившегося на миг колодца. Воды не было, лишь чуть блестела вылитая только что из бочки. В камнях на дне был тек, все ушло в землю.

Глава двадцатая

1

«Пожаловали нашего генерала в сержанты»,— в спину Щепетковой язвили подруги. Другие вздыхали: «Еще всплачемся по ней». Бумаги из организаций по-прежнему слали ей как председателю; кто теперь кто — не разберешь; руководство Совета и обоих бывших колхозов оставалось на местах, было, по определению Мишки Музыченко, царизмом в агонии.

В утро, когда обоз Андриана двинулся на пустошь, кореновцев собрали возле конторы. Прибыл настоящий председатель. Елиневич. Белорус. Синие очки, верхняя губа перебитая, заячья. Нос тоже перебитый, отчего Елиневич гундосил. Он поднялся на крылечко конторы. Сгрудившимся снизу сообщили, что у нового председателя степень — кандидат наук, но хорошо это или плохо, хуторяне не знали, и молодуха Ванцецкая выкрикнула:

— Нам хуч ба пес, абы яйцы нес.

Вместо «л» у Елиневича звучало «в». Вошадь, вошка. Когда он интеллигентно попросил, чтоб бывшие щепетковцы, влившись в «Маяк», работали не по принципу — один с сошкой, семеро с вошкой, Музыченко, сияя, вскинул руку:

— О каких вошках, товарищ председатель, указание? У нас гигиена, поизвели и вошей и клопов!

Елиневич, тут же окрещенный в «воши», не улыбнулся. Веселости, жесткости, какую в руководителях уважают, у него не было, а была унылая деликатность; он бубнил, что колхоз, куда товарищей приняли, именуется «Маяком» — значит, теперь, подобно яркому лучу, обязана засверкать жизнь товарищей.

«Ну чего треплешься? — думала Щепеткова. — Знаешь же: мы тут без тебя рукав не жевали. Пышки с каймаком жевали». Щепеткову перекручивало, что им, богам по винограду, которые влились в жалкий «Маяк», будут приносить «Маяку» невиданные доходы, Елиневич не только не кланялся в ножки, но еще и вычитывал мораль, еще и шутками их был недоволен!.. Привык с маяковскими мужиками сидеть в пыляке набыченным.

Да и казачий характер перевелся!.. Раньше б, пока эта синеочкастая воша гундосит, распрягли б позади конторы его лошадей, а пролетку вперли б на крышу амбара, на самый конек. Два колеса туда, два сюда. И шлеи с хомутами, с вожжами туда же покидали б. Стаскивай, как сумеешь, чтоб другим разом держался уважительней!!

Но сейчас, в период культуры, сглатывалось все, и Щепеткова молчала. Вчера в райисполкоме тоже молчала, услышав, что, несмотря на общий курс выдвигать женщин в руководство, с нею, с Настасьей Семеновной, поступили правильно. У нее семь классов, а Елиневич — кандидат, у него даже бригады есть с высшим образованием, так что, мол, и бригадирство Щепетковой под вопросом, к сожалению.

Тю! Да о чем сожалеть ей?! Впервые за годы безо всякой заботушки вольготно стоит она в толпе, слушает шепот трепача Музыченко, что, дескать, нарушен принцип ООН, ликвидирована суверенная Кореновская держава; слушает гунявые рекомендации Елиневича немедля снести усадьбы.

Хозяева и без подсказок несколько уж дней разбирали свои жилища, но где валить эти разборки на пустоши, кому какую занимать на новосельях усадьбу — этого Елиневич не затрагивал. Дело бригадное. Молчала и Щепеткова, поскольку лично Степан Конкин взялся отвечать за обе бригады — и кореновскую и червленовскую. Вопрос этот, мнившийся наиздальках плевым, наблизу обернулся гвоздем, жигал куда острее, чем прошедшая инвентаризация и даже выплата подъемных.

Каждый домохозяин желал усадьбу над водой; те, что и здесь жили у берега, доказывали: «Такое наше право с предвека»; те, что оседлывали здесь бугры, орали: «Нужна справедливость, почему нам и тут и там терпеть обиду?»; третьи, также желавшие только к воде, хотели строиться обязательно рядом с нынешними своими соседями: «Мы от рождения друзьяки, у нас одна чашка-ложка»; четвертые, наоборот, обзывали соседей тварьскими ехиднами, требовали усадеб на противоположных кон-

цах, но тоже, конечно, у воды; и Щепеткову поражал Конкин, взявшийся утрясать все это. Кто он, наконец? Святой или малахольный?! И без того хватает ему: все говорят о партсобрании, где измолотили его, исключили и Вальку Голубова — его друга, и Любку Фрянскову — его секретаршу.

Когда пролетка Елиневича, так и не взгроможденная на амбар, укатила, Конкин, задержав Настасью и других членов сельисполкома, сгонял машину за исполкомовцами червленовскими, доложил обстановку с заселением. Объявить самотек — значит, официально открыть кулачки меж домохозяевами. Распределять властью Совета — значит, опять же открыть кулачки, но уже не внутри населения, а между домохозяевами и Советом. С верхов никакого правила не спущено, надо изобретать самим.

— Рекомендую, — сказал Конкин, — поскольку ничего умнее со времен Разина не придумано, действовать, как действовал он. Дуван дуванить. Брать шапку, у кого поновее, покрасивее, кидать в нее жеребки и тянуть.

В прениях высказались, что способ, конечно, столетиями проверен. Но район может надавать по холке: «Советских законов вам не хватает, что обращаетесь чуть не к богу?..» Однако, коль в данном разе бог сработает на Волго-Дон, постановили рискнуть, и уж если равняться на Разина, то равняться до конца, рубануть с ходу! Пока район не дознался, не отменил — дуванить завтра же утром, а сейчас объехать дворы — оповестить все население.

2

Народ утром поднялся рано. Какой сон, если тянуть жеребья?!

Разбуженный шагами, за переборкой встал и Илья Андреевич, вышел в сад. На яблонях сидели прилетевшие ночью скворцы, выпускали нежные, изумленно-радостные трели. Солнце, всплывая, простреливало деревья, съедало застрявший в них туман, плавило на ветвях налет инея, отчего ветви сыростно пахли своим внутренним соком...

Пахли и грядки, освобожденные от снега. Мерзлые в глубине, схваченные холодом снаружи, они все равно гнали из себя побегии — сейчас омертвелые, скованные за ночь морозцем. Но солнце ликующе поднималось. Солод уже знал: скоро оно коснется побегов, они отпотеют, покроются зернистыми каплями, начнут слышать, как, по-детски дребезжа, блеют ягнята с еще не отпавшими пуповинами, как мычит в хлеву Зойка, бьет о доску рогом... Все вместе было чудесами, о каких Илья Андреевич никогда прежде не знал и предположить не мог, что они существуют. Да, прожил человек жизнь и лишь впервые приехал в деревню, пил не порошковое магазинное молоко, а от этой Зойки, ел яйца этих вот кур, яблоки с этих ветвей, капусту с этих грядок — вообще ничего не ел, не пил, что не рождалось на этом куске земли.

Сейчас все начинало новый тур. Если на заводе рабочие непрерывно бьются за план, а план сопротивляется, то здесь наперекор планам бросать землю она гнала из себя ростки, как гнало из себя ростки все вокруг: и обгулявшаяся скотина, и куры, которые упорно, свирепо лезли в корзины с гнездами, и опузатевшая, рычащая на индюков Пальма, и даже бадья под балконом, в которой, когда таяла пленка льда, шныряли головастики... С балкона, со ступеней покатились шаги сбегающей Настасьи Семеновны, и Солод торопливо отошел.

Давно, после андриановской солянки, когда он вернулся с Настасьей в пустые комнаты, он обхватил ее пугливой ненаторенной рукой, ничего в тот момент не испытывая, кроме деревянной от страха мысли, что пришло время обхватить. Обоим стало тягостно, особенно, наверно, ему,

жуликовато ждавшему секунды. Был он, к счастью, в шапке, в пальто и сразу ушел. С тех пор силился бодриться: «Баб — вас много, черта ли мне в тебе?!» Бодрился так и сейчас, издали оглядывал Настасью. Она, по-девчачьи легко сгибаясь, ни разу не оборотясь, вымела площадку перед садом, подожгла кучу мусора, крикнула в дом:

— Идите, мама, улики выставлять.

Машина еще не пришла за Ильей Андреевичем, да он и не спешил: люди будут «тянуть судьбу», с утра на карьере не появятся. Он глядел, как хозяйки выносили из подпола жилища пчел, опускали на такие же чурки, на каких зимуют в хуторе баркасы. Пчелы слышали, что они уже на улице, гудели; Настасья приподнимала крышки, выдергивала из-под них полы старых ватников, тянула из летков паклю — и на волю выползали рыжие, дергающие брюшками пленницы, чьим медом зимними вечерами угощала Солода бабка Поля.

За калиткой остановился Лавр Кузьмич, уже готовый к жеребьевке, выбритый, в яркой сине-красной казачьей фуражке; прокричал, что нонче выпускают и колхозных пчел.

— Твои, Семеновна, пожирней, поантиллегентней. Ты им, чтоб не путать с колхозными, подрежь вухи!

Был морозец, цветов, разумеется, не было, но бабка пояснила Солоду, что пчелам нужен облет: они, божьи терпеливицы, всю зиму не опорожнялись, ждали этого утра. Действительно, они, полетев сперва поодиночке, ринулись затем густо — «шубой», облепливали стену дома, поспешно оставляли следы. Одна села на глаз Пальме, та не сбила лапой, не лязгнула зубами, явно зная: это не муха, обижать запрещено.

На осокоре, на скворечне, упоенно свистели скворцы. Трепеща встопорщенными перьями, задрав клювы к небу, торжествовали прилет в родной дом.

— Сбить надо скворечню. Птенята вылупятся, а осокорь валить, — со злобой бросила Настасья и, заметя недоуменный взгляд Солода, пихнула от колен щенную Пальму: — Цуценят потопим. Куда их, чертей?!

3

Бесил Настасью Солод. Мстила ему за унижение, за сегодняшнюю ночь — пустую, обидную.

Ночью отчего-то, должно от собственной бабьей нежности, взбрело Настасье, что и он там, в своем залике, чувствует то же, что она; и она торопливо оделась, вышла на балкон, нарочно стукнув дверью, чтоб услышал, понял... С юга по-темному летели скворцы, опускались на деревья; с разлива вместе с шорохом льдин тек холод; зябнувшие плечи Настасьи требовали, чтоб руки Ильи Андреевича сжали их — даже пусть так же растерянно, как тогда... Теперь она засмеется, поможет. Она ждала, знала, что пойдет на все, лишь бы звякнула за спиной щеколда. Но щеколда молчала, никто не выходил. Она вернулась в дом, в свою боковушку. А нужна ли она кому?.. Да и вообще-то кто она, что выходит на свидание, ждет? Какая она есть?!

Засветив в лампе огонь, она спиной отгородила свет от спящей Раиски, стала смотреться в зеркало. Не минуту, не две. Долго смотрелась. Цыганка, да и все. Даже с зимы темная. На лице родинки. Говорят, счастье на гульливую жизнь... Какое ж счастье, если никого, кроме Алексея, не знала ни разу? Правда, уж и любила-то, господи! Было, поссорилась среди ночи с Алексеем, тот оделся — и на улицу, в мороз. Она за ним, удержала в калитке. Стояла, просила, а он не заметил, что она босая на снегу. И она не замечала. Ничего не замечала, кроме него. Разве выскочила б так за квартирантом?..

С ужасом понимала, что выскочила б. И не на снег, а на уголья, на острые ножи — дура бешеная — сейчас выскочила б. И было стыдно, что чувствует к нему такое, а он небось дрыхнет за стенкой, как апостол.

Опустила от стыда голову, расплетенные волосы ссыпались на сундук перед зеркалом. Хороши, ничего не скажешь. А морщинки вот — хуже... Ладно у рта, а с чего на носу вдруг! Прибавила к лампе огня, раскрыла шею. Шея — если особенно уж вглядеться — жатая, но под ней, у ключиц, смуглая девичья гладкость. Обернувшись на Раиску, размывала кнопки дальше, до груди, крепкой, будто не выкормила двоих детей, сама понимала — красивой. «Для кого берегу? В гроб забирать, что ли?»

Потому теперь, возле ульев, и бесилась, слыша мирный разговор свекрови с квартирантом. Праведник!..

* * *

На месте жеребьевки, возле Совета, грудился народ. Конкина не было, он отправился к червленовцам, а управление здесь доверил Любе. Народ глядел на широкий белый лист, приколоченный высоко над крыльцом. Протолкавшись, Настасья увидела, что это чертеж пустоши, разбитый на прямоугольники, которые заселять людям. На каждом свой номер. Особые номера для малосемейных, особые для тех, у кого ртов много, а значит, и площадь полагается большая.

Под чертежом суетился молодой, похожий на конферансье мужчина, повязанный не галстуком, а черным бантиком-бабочкой. Ловко, как фокусник, он обводил очищенным от кожуры белым прутиком самые крупные на листе квадраты, пояснял, что это общественные здания, спроектированные с творческой мыслью, все рядом, чтоб новоселы не утруждали себя далекими хождениями; что творческая мысль архитекторов торжествует также в планировке ферм: дворы скотины намечены ниже по рельефу, дабы сточные воды не текли в поселок; что учтено и направление господствующего ветра: на людей не будет тянуть миазмами животных. Расшаркиваясь на крыльце, будто на сцене, он сообщал, что детские ясли тоже обеспечивают комфорт, как говорится, сервис, располагаются именно на пути новоселов к участкам работы.

— Так что, женщины, — возгласил он, — будьте активными, заводите побольше вот этих. — Он сделал движение, будто качает ребенка, подмигнув, рассмеялся.

Ему не ответили, и он обиженно закруглился, уступил место Любе — бледной от необходимости начинать жеребьевку, действовать самостоятельно.

Щепеткова понимала Любу, которую и на приеме в кандидаты на днях завалили, и теперь решением Конкина выставили перед народом. Девчонка поднялась, зажимая пакеты с фантами, потом набрала воздуха и глотнула. Из группы стариков хихикнули:

— Тихо! Атаман трухменку гнет!..

— Товарищи! — сказала Люба и оттого, что прозвучало это с должной громкостью, ободрилась, приказала приблизиться тем, у кого семьи из двух человек. С переднего, с Лавра Кузьмича, сняла яркую его фуражку, высыпала в нее фанты из пакета с цифрой «2», сунула список с той же цифрой, распорядилась вызвать товарищей и давать тянуть фанты.

Получалось занятно. У Щепетковой — она сама чувствовала — так бы легко не вышло. Щепеткова понимала: «людям тянуть судьбу», а девчонка по молодости не понимала, и в этой молодости-глупости была сила. Девчонка расстанавливала следующие группы, требовала, чтоб шапки под жеребья давали новые, так как разыгрывается новая жизнь

на новых землях. Опьяняясь командованием, заметив Лидку Абалченко, приказала пропустить как беременную вне очереди, пусть тянет фант на четыре человека, поскольку — видать! — родит двойняшек; и народ поощрял Любу:

— Разошлась барышня.

— Той барышне прицепи роги — черт!

Настасья тоже вытянула свою бумажку. Архитектор стоял под чертежом, всякому, кто имел уже фант, показывал концом прута его усадьбу. Ткнул и для Настасьи в какой-то квадратик... Больше Настасье Семеновне делать здесь было нечего, она пошла в сторону от толпы, от шума.

Не думая куда, шагала вдоль садов, представляя, как начнет обживать свой квадрат, устанавливать разобраный, привезенный туда свой дом... Илье Андреевичу неловко огинаться наблюдателем, и он тоже станет мастеровать. Уж здесь он лихач! Видывала Настасья его в работе!! Куда тут и вахлачество его девается?.. Оживляясь, Настасья представляла ухватку Солода, с какой будет он ладить в комнатах полы, настилать доски на матицы... Звенит гвоздь, цепко впивается в толстенную плаху, за ней в матицу; обух топора вгоняет шляпку заподлицо с ровизной струганого пола, даже глубже, оставляя вмятину, чтоб впрессовать шпаклевку. Настасья здесь же, на подаче материалов. Мастеру некогда произносить долгое: «Дайте, пожалуйста, Настасья Семеновна»; он шумнет: «Давай, Настя», или еще веселее: «А ну вертись-ка быстрее!..»

Она шла, улыбалась. Никто на пустой улице не мешал нести на лице улыбку, мечтать, и было досадно, что из Андрианова двора окликнула, метнулась навстречу золовка, жена Андриана.

Еще на жеребьевке говорили, что вернулся Андриан под утро с пустоши с зануженными быками — такими разбитыми, опалыми, хоть подвешивай на вожжи. За сутки превратил в скелетов, на костряки — шубу вешай. Главное, ездил-то целовать потекший колодец!

Золовка хлюпала, показывала на выбитое в доме окно, затуленное подушкой, на свежие осколки под окном, объясняла, что вернулся Андриан Матвеевич с пустоши, намылил было лицо, как раз глаза, а сок в умывальнике заело. Так он как дерганул тот умывальник с крюком, с мясом, да в окно, на середину улицы. Развернулся и давай посуду колотить; всю чисто побил в муку, с чего теперь есть-пить — неизвестно... Она жаловалась и, выученная мужем, готовая в мгновение сменить заплаканное лицо на веселое, зиркала на дверь.

— Дома, что ли? — спросила Настасья.

— Дома. Лежит на койке в чем был.

Дверь скрипнула, вышел сам — от сапог до плеч в зачерствелой, потресканной грязи, словно вывалянный, обсохший боров. Глаза красные, в углах белесь. Взглядом отправил жену в дом, спросил Настасью, как поступать теперь с поливом винограда. Дескать, дело все же общественное, человеческое.

«А я не человек? — спрашивала себя Настасья. — Мне навек, что ли, запрещено заниматься собой, своим личным? Ивахненко с Милкой занимаются ж!»

Она думала о Милке, доставленной с пустоши, с этого андриановского похода. Выкидыш у нее, вся в кровищи, а кто отец — признаваться не желает. Любит. Не Ивахненко — и квит! Сунулись к Ивахненко — грозит за наговор судом, намекает: ищите среди спецов вроде Голубова, его, мол, не зря за такие штучки с партии гонят.

Всем дозволено любое. Лишь дура Настасья за общественное радей! Со своими семью классами образования!..

Она злобно стояла перед деверем, а над головой свистами раскаты-

вались скворцы, ходили по Андриановой крыше — родной для них, долгие месяцы снившейся им в их птичьих снах. Но вопрос был не в скворцах, не в Милке с Ивахненко, а в воде для виноградного чубука...

Что в Маяковке с водой, Настасья нагляделась, когда ездил с поклоном, с хуторским заявлением. Самовидица. Где там поливать, если людям попить нету. До дна выбирает народ колодези, в очередь перебалтывает цыбарками, а под вечер — котелками на веревках. Дома отстоится — половина осадков. Легонько, чтоб не колыхать, снимали при Настасье сверху кружкой. Пока холодное — ничего. Чуть степлилось — солонимое. Глотать можно, ну и сготовить, чтоб соль экономилась... А постираться — нет. Мыло свертывается, плавает хлопьями; так что будь даже той воды с головою — для нежного чубука не годится.

Глава двадцать первая

I

Еще недавно Сергей знал о винограде лишь столько, сколько требуется человеку, покупающему виноград в магазине. Теперь столкнулся с этой ягодой по-иному.

Запутанность, как выразилась Щепеткова — «алала», с посадками царила всюду, где народ избрал участки над морем, и Сергей, прихватив Щепеткову с собой, объезжал эти участки. Разлив приближался к буграм, но бугры были высотой в восемнадцать — двадцать метров, обрывались отвесно, и добыть видную на глаз воду колхозники не могли.

Забрать в райцентре мощный пожарный насос и передавать его из колхоза колхозу по очереди? Но очередность здесь, оказывается, не годилась, так как всем колхозам требовалось сажать одновременно, и притом срочно, ухватив тот момент, когда отмерзшая почва уже перестанет «мазаться», но еще не начнет выветриваться... Оставалось одно. Предстать перед начальником строительства Адомяном — посмеиваясь или как там уж придется, христарадничать, клянчить по числу колхозов насосы с движками. Выцыганить и сотни метров шланга, чтоб доставали от подножий бугров до еще далекого разлива. Мало этого. Для переброса воды от берега к местам посадок требовались порожние бензовозы... Короче, «дайте, тетя, напиток, а то так есть хочется, что аж переночевать негде!..». Скрепя сердце Голиков решил просить у генерала Адомяна аудиенции.

Только что завершилось переселение затопляемого райцентра. Методом сверхскоростным. Частица «сверх» приставлялась теперь ко многим словам. Сверхскоростной, сверхплановой, сверхпередовой, сверхмощный, сверхдосрочный. Сверхскоростно перешел и райцентр на новое место. Это новое располагалось на высотах вблизи плотины, рассчитывалось на экскурсантов (на показ туристам) и заранее было отстроено за счет гидроузла, украшено парками, курортного стиля лестницами, стадионом, театром. Административные здания были оснащены колоннами, на широких приморских улицах разбросались коттеджи, каждый с балкончиком, верандой, с разбитыми во дворах, черными еще клумбами, с заасфальтированными дорожками. Один такой коттедж предназначался Голиковым, но Сергей поймал себя на том, что прижился к старому саманному домишке в старом райцентре, и когда скарб Голиковых был вынесен и Сергей обошел с Шурой пустые уже комнатенки, потрогал дверную притолоку с черточками (помесячные вырастания Вики), в нем что-то екнуло. Наглядные курсы: мол, почувствуй, что же должны ощущать настоящие переселенцы!.. В общем, к драке за их права Сергей был готов.

2

Он вошел в кабинет начальника строительства, генерала Адомяна, минутой позже его самого. Адомян — в расстегнутом кителе, с рукой, запущенной на грудь под сверкающе-белую рубаху, — сидел у включенного настольного вентилятора.

— Фу-уф, — здороваясь с Сергеем, возвращая руку под китель, чтобы снова растирать грудь, произнес он и рассмеялся. — Удивительная глупость! Выхожу из дома, вижу — девочка-шпингалет прыгает на одной ножке. Не просто на месте, а направляется в школу с портфелем и не желает идти нормально, хохочет, скачет по грязи на одной ножке!.. Допрыгала до конца улицы, заворачивает за угол. Мне интересно — сколько ж она еще проскачет?!

Генерал любовался своею простотой, какую можно показать неподчиненному человеку, и Сергей был рад удачному началу, давил в себе желание сострить по поводу генеральского детолюбия.

Пожилой, кавказского типа человек, Адомян говорил без акцента, только слова, расставленные грамматически четко, произносил с особой ясностью, подчеркнута правильно.

— Я бегом за ней, а она уже в конце второго квартала, и все на одной ножке!.. Кругом никого. Вот и решил попробовать, как она. Ее способом. Прыгнул раз, два, а оно как закололо...

Сергей, улыбаясь, смотрел на Адомяна, этого не князя, нет, — бога, взнесенного над графиками строительства, над судьбами неисчислимых людей, и думал: где же он настоящий? Неужели и там и здесь?.. Порою Адомян поднимал урчащую телефонную трубку. Аппарат не трезвонил сполошенно, а, отрегулированный, журчал вкрадчиво, как зуммер. На провод попадали только отфильтрованные секретарем крупные команды — главный инженер, начальник политотдела, хозяева строительных участков. Не снимая с лица благодушия, Адомян выслушивал говорящего и вежливо отвечал:

— Нет, нет. Разговоры о трудностях рассматривать не будем. Выполняйте.

Или прижимал трубку плечом к уху, чтоб руки были свободными, листал испещренные цифрами бумаги, долго, одно за другим давал чудовищные по сложности, немислимые по срокам задания и — опять же очень вежливо — кончал перечень деликатным словом «прошу».

Генерал нравился Сергею, был в его представлениях эталоном мужества, действительно богом, поднятым в недостижимую высь, одновременно находящимся в самом центре стройки, как ее стальной живой стержень. Всегда медлительный, чего не хватало Сергею, он не только все успевал, но перевыполнял вдесятеро, давал указания перевыполнять и слушал о перевыполнениях, не позволяя себе даже намека на поспешное слово или быстрый жест.

В огромную стеклянную стену, завешенную светлой шторой, в упор било утреннее солнце, вентилятор шевелил полотно на смуглой выпуклой груди генерала, которую он массировал, смеясь своей выходке.

Минута, чтоб просить, была подходящей... Сергей много уж раз совался с челобитными. То требовались запчасти для колхозных машин, то на недельку экскаватор или бульдозер — и всегда Адомян давал туго. Нынешняя же челобитная вообще выходила за рамки... Но в Сергее все органичней приживалась «кулацкая» черта: желание большего, как можно большего для своего района, для своих переселенцев.

— Артем Суренович, — выдавил он, — для переноски лоз необходимо на десять дней семь насосов со шлангами, к ним семь движков и четырнадцать бензовозок...

Не давая Адомяну возразить, отрезать, он заговорил об уникальных

донских виноградниках, существующих столетия, пополненных казаками атамана Платова, которые, возвратясь из Франции после разгрома Бонапарта, привезли (хозяйственные ребята!) в седельных сумках лозы Шампани; говорил об искрометном цимлянском вине, которое воспевал сам Пушкин!..

Адомян не торопился. Отказать сразу, видимо, считал нетактичным: все же секретарь райкома перед ним. Он застегнул китель, сказал, что ему нужно на объекты. Заодно посмотрит. «Будто не знает, собака, что у него есть, чего нету,— думал Сергей, но зажимал самолюбие.— Ладно, переморгаю... Зато, может, выклянчу технику».

Они отправились вместе.

Сергею везло. Артема Суреновича ничто не раздражало на объектах, да и утро стояло такое яркое, детское, что обязано было расположить генерала к великодушию. Сергей заискивающе смотрел на его смуглое лицо, плотно-синее, несмотря на недавнее тщательное бритье, смотрел на белые интеллигентные руки с неестественно длинным выхолненным ногтем на мизинце левой (причуда генерала) и чувствовал, что хорошо, изумительно будет относиться к этому ногтю, если получит насосы и бензовозки. Он всегда, встречаясь с Адомяном, поглядывал на этот дамский, идущий длинным, узким желобком отполированный ноготь...

Припекало. Генеральский вороной «ЗИМ» притягивал лучи, стекла для сквозняка были спущены, солнце сияло так, что в его лучах не слепили искры автогена. Сюда, где не было ни метра непокалеченной земли, не зеленело ни единой травинки, насильно врывалась весна, и люди, в поколениях пахари — в прошлом все были пахари! — подчинялись зову весны, когда человек должен пахать, в поте трудиться, и люди с особым рвением трудились здесь, на этих, не деревенских, работах.

Генерал остановился у экскаватора. Знаменитого. Берущего в ковш сразу четырнадцать кубометров грунта. Описанного армией журналистов. Шагающего. Сейчас он не шагал, стоял на плановой получасовой профилактике у основания недопереброшенной им земляной горы. На его двери белел лист: «До окончания переброски — 40 часов».

— Выполните за сорок?! — крикнул Адомян.

— Никак нет, товарищ генерал! — отрапортовал командир шагающего. — Выполним за тридцать!

Вокруг знатного шагающего и знатной его бригады работали бригады обычные. Вспугнутая голосами, из огромного экскаваторного ковша, лежащего челюстью на грунте, выскочила влюбленная парочка — видать, потревоженная в самый ответственный момент. Оба отряхивающие с себя влажную налипшую землю. Парень угнулся, потрусил к своим, а женщина, рослая и хотя потрепанная, но резко красивая, плавным движением оправила перекрученную юбку, вызывая подмигнула генералу:

— Ничего, товарищ генерал! Весна!.. Щепка на щепку и то лезет.

Смеющийся Адомян переглянулся со смеющимся Голиковым, оба уличили друг друга в неположенных по их должностям мыслях. Адомян задержался у четырнадцатикубового, этого тысячадвухсоттонного шагающего дредноута, а Сергей, все оглядываясь на красивую бабу, поживаясь, подошел к экскаваторам обычным. У крайнего производилась звукозапись. Спортивного вида радиокорреспондент записывал быстро. От магнитофона шел проводок к эбонитовой раковине, которую он держал в руке, подставлял к губам говорящих.

— Есть еще передовики? — спросил он и посмотрел в список. — Порханов... Кто это?

— Я,— отозвался пожилой человек.

— Эх... О Порханове в печати было часто,— вздохнул корреспондент.— Ну да ладно.— Он начал передачу: — Стахановец экскаваторщик Порханов освоил три смежных специальности — бульдозериста, скрепериста, слесаря. Сейчас товарищ Порханов подходит к нам издали,— передавал он, хотя никто ниоткуда не подходил, все стояли кружком вокруг слабо гудящего ящика.— Вот он уже подошел,— сообщил корреспондент в раковину, сунул ее к губам Порханова, и тот, явно уже привыкнув к подобному, все же особым, «культурным» голосом заговорил о процентах.— Над нами,— пояснил в раковину корреспондент,— красуется лозунг: «Помни, что график — закон. Родиной он утвержден!»

Сергей огляделся — никакого лозунга, а корреспондент пафосно продолжал:

— Лозунг выгибается под напором суховея, который словно бы злится, что Порханов и его товарищи несут степям воду. Суховой клубит пыль над экскаваторами,— вещал он в то самое время, когда ничто не шевелилось в сияющем ласковом воздухе, и Сергею стало противно от себя самого, обхаживающего Адомяна.

Он вернулся к Адомяну, без обиняков спросил, будет ли для переселенцев техника.

— Будет,— улыбаясь, ответил Адомян.— Вы люди застенчивые. Где завтракали, туда и обедать идете.

«Вали, уж вали!» — думал Сергей.

Генерал, довольный и слаженностью работ, и, наверно, шуточкой лихой смазливой бабы, действовал широко, предложил свой персональный катер, чтобы Сергей Петрович проехал над берегами, сориентировался, где ставить насосы.

3

Отчалил Сергей не один. Он захватил встреченного на улице фольклориста Роза, который бросился к нему, как старый знакомый, умолил взять.

Капитан стоял в стеклянной рубке, катер, полувзлетев носом, мчал, будто автомашина по шоссе, отбрасывая нарзанно кипящие борозды, качнул плавучую гидрометеостанцию, зацепленную за тяжелый якорь — оставшийся на двадцатиметровой глубине немецкий танк,— качнул, в мгновение оставил позади рыбацкие баркасы; и море раскрывалось все больше своей широтой, все разительней походило на огромную выпуклую линзу, упертую краями в горизонты, пахнущую весной, свежестью, ивовым прутом, рыбой. Роз, взволнованный окружающим, стоял с фетровой смятой шляпой в руке, с развевающимися волосами, говорил о записанных вчера народных песнях, пояснял, что прекрасная песня в отличие от женщины вечно молода, что влюблялись в нее сто лет назад, влюбляются в нее, в ту же самую, сегодня, будут влюбляться в нее же и через тысячу лет.

«Морская чаша», которая заполнялась поначалу в лютую стужу все намерзающим льдом, заливалась теперь водою. Вечно сухая степь уходила под водяную толщу вместе с норами, кротовинами, и поверху плыли захлебнувшиеся суслики, хомяки, кроты, змеи. Их прибывало к берегам, к плотине, стаи ворон, коршунов, орлов выхватывали добычу, пировали, отъедались.

На ветке плывущей вербы, привыкнув к катерам, не пугаясь, сидела ворона, тяжелая, как перезимовавшая у хорошего хозяина курица, балансировала, гнула тонкий прут. Рядом другая (такого Сергей еще не видывал) купалась. Окунала голову, скатывала по спине воду, оживленно била растопыренными крыльями и хвостом.

— Приветствуют новую обстановку,— крикнул из рубки капитан, стал говорить, что все здесь, на море, перемешалось, что вчера причалил он к затопленному кургану, видит — осталась одна макушка, на ней дрожат мокрые, жмутся бок к боку впритирочку теленок и здоровенный волк. Ну, теленка забрали живьем, волка — по башке ломиком...— А под плотиной,— докладывал капитан,— плещутся, хотят пройти в верховья, отметать икру осетры, белуги, и по ночам бьют их, опускают в воду концы проводов высокого напряжения.

Да, перемешалось все... Под катером проносились в глубине фундаменты снесенной, залитой станицы Потемкинской, бывшей Зимовейской. Сергей знал, что это родина Емельяна Пугачева, что когда Пугачев был схвачен, обезглавлен, велела Екатерина забыть слово «Зимовейская», заменить «Потемкинской» по имени своего фаворита Потемкина-Таврического, а родню Емельяна, многочисленных зимовейских станичников Пугачевых, именовать Сычевыми. Сейчас над Зимовейской-Потемкинской плыл телеграфный столб с изоляторами, блестели ленты мазута... Ушли под волны и старые виноградные подвалы, в которых, по легенде, бывал Петр; давно размылись дождями, затравенели бугры, порытые там, где пытался соединить он, великий преобразователь, Дон с Волгой.

— Великий? — кричал Сергею Роз.— Сколько их было, великих! Екатерина — пожалуйста, великая. Грозный — великий. Петр — великий. Ну, а я — смерд, умелец тех времен, кем был я? По какому праву каждый великий хватал меня, бросал в войну, в каторгу, в пеньковскую петьелку, в кандалы, на плаху! Вы, секретарь, марксист по профессии, сумеете растолковать, что в мире философски важнее: все взятые вместе великие дела или одна, единственная одна жизнь труженика, который ладит топором избу для своих детей?

Роз кричал перед ухом, что велик только народ со своим свободомыслием. А до чего удивительно, изумляющая речь народа! Он, Роз, от бабки, говорившей о налоговом инспекторе, записал вчера выражение «химерный». Откуда докатилось оно в хутор Соленовский? От химер собора Парижской богородицы?.. Как интернационален язык колхозников, как, если б Сергей Петрович прислушивался, могуча, здорова их критика!

Бесспорно, чего-чего, а критики у казачков переизбыток!.. На днях Фрянсков Лавр Кузьмич, хитрый черт, дегустируя с Сергеем винишко, развернул газету — проект монумента генералиссимусу Сталину у слияния Волги и Дона.

Этот высотой в шестьдесят метров монумент поражал Сергея расчетами и грандиозностью размеров. На одном лишь погоне генералиссимуса мог свободно стоять автомобиль «Победа»... От края газеты Лавр Кузьмич оторвал полосу на козью ножку и, оглядывая темнеющую на столе на клеенке библию, вроде уже перейдя от газеты к этой библии, изрек:

— Не сотвори себе кумира...

Сталин был для Сергея именно кумиром. Но и старик Фрянсков был народом, был сразу всеми колхозниками, которые защищали государство, кормили государство, создавали море.

Это окружающее со всех сторон море захватывало душу. Дикие утки отныривали от катера, качались на волнах, каждая волна была переполнена солнечным сиянием, щедро отражала его, потому весь воздух тоже сиял. Было радостно это видеть, соглашаться с сообщениями специалистов, что морское зеркало удваивает радиацию солнца, создает местами субтропическую обстановку, в которой начнут вызревать лимо-

ны, инжир. Ученые наперебой напоминали в газетах, что пыль поглощает ценнейшие ультрафиолетовые лучи, пропускает лишь жгучие инфракрасные и красные; море же, очищая воздух, обязано дать солнечные потоки в полном ассортименте. Сейчас этот «ассортимент» чудесно ласкал кожу!..

На границе воды и неба вставали крутые свежие облака, и Сергей с удовольствием думал о прогнозах метеорологов, сообщал Розу, что испарения пойдут в Астраханские степи, обрушатся дождями, снова воспарят, переместятся до барьеров Тянь-Шаня, Памира и там, оседая в горах снегом, дадут воду Сыр-Дарье, Аму-Дарье, опять вернуться к стройкам коммунизма!

Это было здорово. Но довлело ощущение противоестественного, как довлело вчера, когда Сергей, разговаривая с Голубовым о его сложных партийных делах, приехал с ним в его отару.

Экспериментальная отара котилась. Несколько месяцев назад в один и тот же час молодых ярочек искусственно, путем шприца, осеменили, и теперь они, двести двадцать рожениц, ворочались в кошаре и возле открытой кошары. Иные секунду как родили; лежа выворачивали головы, тянулись носами к маленьким спинкам, чтобы вдохнуть запах мокрых своих детенышей. Другие, стоя на дрожащих ногах, уже начали кормить. Третьи на глазах Сергея производили на свет живые существа, пока еще наполовину покинувшие брюхо матери. Четвертые с распертыми угловатыми боками ощущали лишь начало, тревожно блеяли, томились; и все они, не видевшие в глаза барана, лишённые любви, невинные овечьи богородицы, выполняли хозяйственный график, казались Сергею жертвой, как эти заливаемые волнами норы зверей, живые подснежники, травы.

Что ж, раз человеку нужно — значит, нужно. Да ведь и разрушает здесь человек гораздо меньше, чем создает. Ягнята небось резвятся сейчас на солнце; море — новый объект на карте страны — уже факт!

Ветер, тугой, как бечева, рыл светлые буруны, каждый бурун насыщал воздух озоном, веселой морской свежестью. Об этом, наверно, и мечтал Ленин, когда писал о задонских равнинах — унылых, скупых, пыльных, выжженных!.. У берега брунжало течение, так гнуло подтопленные кусты, будто за них были привязаны дергающиеся огромные рыбины. Прибывающий разлив топил местность, на глазах менял ее, и Роз, волнуясь, выкрикивал:

— Слушайте! Скоро родятся здесь названия мысов, а тут, где наполняются балки, — названия заливов.

Сергей ухмылялся. Новые названия еще появятся, а новые приморские жители — переселенцы из дальних станиц Сталинградской области — уже появились, кипели страстями, трагедиями.

Трагедии боком выходили Сергею Петровичу Голикову. На днях ему доложили, что лезла в петлю приезжая старуха. Ее сняли едва живую, на место выехали следователи.

Оказалось, сверхоперативный Роз уже побывал там, беседовал с переселенцами и сейчас, на катере, объяснял, почему вешалась старуха. Вопрос чисто сословный. Аборигены посчитали прибывших не за казаков, а за «кацапов», так как изъяснялись прибывшие на северном диалекте: «давнёшний», «поддёржка», «бьяда», «дяла». Аборигены начали трунить: какие, мол, вы станичники?! Едва скажет приезжий «энта», а ему сразу хором: «Ента, утента, таво, етаво, как иво. О-го-го...»

Роз втолковывал, что презрение к иногородним отмечено в азбуке донской фольклористики, на память приводил Сергею классические выражения:

— С хохлом побалакаешь, с казаком — поговоришь. Не бань здесь ножки, мама. Здесь выклятый чига воду пил...

В низовьях, в бывшем хуторе Государевом, нынешнем Донском, Роз собственноручно записал: «Кумушка, дай хамлета на базар сплавать». Это значило, что мать кучи оборвышей-детей, горькая жалмерка-казачка, рвущая жилы на бахчах крепких казаков, вплоть до советской власти не ездила на базар через Дон с бабайками в руках. Блюдя станичное достоинство, усаживалась на корме, раскрывала зонтик над головой, а батрак ее хозяев, «иногородний хам», громадил... Вот приехавшая в район Голикова старуха и не стерпела, что ее — семьдесят восемь лет казачку — стали величать хамкой.

— Это вам не водоем залить, а проникнуть в сословные пережитки, — наставлял Роз.

Круг партийных обязанностей Сергея расширялся; действительно следовало проникнуть в сословные пережитки, но сию минуту была другая задача. Надо было думать о поливах винограда, тем более что катер мчался уже под буграми, под каменисто-ракушечными и меловыми обрывами.

Глава двадцать вторая

1

Жара, как обычно в степи, ударила без перехода от зимы к лету; тотчас за морозом понесло горячую пыль. Упусти пятидневку — все обезводеет, дуром ляжет зерно меж заветренными комьями.

Колхоз Щепеткова каждую весну жил вольготно. Даже и охвати щепетковцев общерайонный посевной энтузиазм, все равно из-за паводка не смогли б они торопиться. Паводок подходил к безлистым еще садам, полонил крайние курени, вода гуляла там в подполах, журчала вровень со вторыми этажами. Улицы превращались в Венецию, жители приковывали осмоленные уже баркасы прямо к балконным перилам, плавали на этих баркасах от двора к двору мимо затопленных по шею деревьев, благодушно покрикивали друг другу:

— С добрым здоровьичком, кум, с водичкой!

Водичек было две. Сперва, как вскрывался Дон, шла холодная, из местного снега — «казачья», а недели через три, когда «казачья» уже спадала, с заворонежских верховий скатывалась другая — «русская», прогретая по дороге на юг, теплая; долго держалась, сровняв займище до горизонта, оставив лишь верхушки верб, давая рыбе нереститься. Все это время народ прохлаждался. Женщины на высоких склонах обихаживали виноградники, мужчины без спешки ждали, чтоб спал разлив, провеялась напоенная, заиленная земля, а пока суд да дело, панствовали — ловили рыбу, стреляли перелетных уток.

Нынче ж задолго до общерайонной посевной горячки потеряли спокойствие, ринулись на вытянутые по жребью усадьбы долбить в неотмерзлом еще грунте ряды ям под фруктовые саженцы, выкапывать те саженцы и в старых садах, и закупать в райплодопитомнике, перевозить и своим, и попутным, и нанятым транспортом, переплачивая левым шоферам, мучаясь, что летят денежки под хвост кобелю. Еще больше терзались, что грунт на усадьбах недостаточно скован, мало в нем мерзлоты, что саженец, и без того обиженный, втыкаемый не осенью, а весной, идет в едва влажную землю, — и пытались ухватить хоть эту влагу. Не dokonчили садовых посадок — в степях грянул сев. По приказу Елиневича, который, оказалось, умеет приказывать, и Кореновский и Червле-

нов по тревоге выехали в степи «Маяка», горбили без разгибу, а все одно не осваивали разверстанные на них гектары. Гектаров приходилось не по двадцать, как в Кореновке, а — ни много ни мало! — по девяносто четыре на трудоспособного, требовали они «по сту часов работы в день», а душа ныла, что собственные, воткнутые на пустоши, деревца ветрятся без призора, сосут отмерзлую жалкую влагу; скоро высосут, и что дальше?..

2

В подвалах Андриана — единственно не снесенных еще на хоздворе — держалась зимняя изморозь, сцементированные углы искрились проступившим к весне инеем, а чубуки все равно оживали. Чужая земля, они рождали в себе ростки, как под ледяной водой клубни камыша, как в холодных сыпных ямах картофель. Андриан скрипел зубами, прикасаясь к оплывшим торцам, к запыленным припухлым утолщениям, где почки, недвижные зимой, теперь шевелились, хотели грунта. Нарезанные в октябре из лозин, связанные по сотням, чубуки красовались бирками, надписанными рукой Андриана: «Мадлен-Анжевин», «алиготэ», «красностоп золотовский», «плечистик»... Искони «плечистик» звался на Дону «горюном», но слово «горюн» отдавало унылостью, не подходило к нынешним, полным свершений временам, заменилось «плечистиком».

Времена действительно поражали Андриана. Над морем против всех новостроевских колхозов будто по щучьему велению встали присланные с ЦГУ — Цимлянского гидроузла — насосы с движками. От них спускались шланги, тянулись понизу от подножий до разлива; а вверху перед каждым насосом дожидалось по две порожних бензовозки, готовые наполняться водой, обслуживать посадку. Действуйте, виноградари!

Тут бы и навалиться Андриану со всем народом. Но народа черт-ма, весь на севе; а старые и малые, оставленные от сева, пытались заливать на пустоши фруктовые саженцы, таскали жижу из просыхающих по оврагам колдобин. Андриан вывел этих работников в непаханую степь, заставил рыть лунки и, долбя в центре кольями, вставлять в каждую дыру чубук. Над головами дожидался мощный бензовоз с пятью тоннами воды, заполнял готовую лунку, снова ждал, чтоб продвинуться на шаг. Второму же бензовозу вообще работы не было, хотя народ долбил без отрыва, а сам Андриан, семижильный, напряженный, будто мотор на отчаянных оборотах, свирепо швырял лопатой. Ветер, точно песок, пересыпался в бурьянах, сажальщики гудели, что посадка дурная, все посохнет.

Шоферы ЦГУ, ражие блатные ребята, оставив помощника-мальца на одном бензовозе, выключили мотор второго, растелешились до трусов, загорали на скинутом барахле вверх брюхами, повыставив на груди, на ногах татуировку — якоря, корабли, голых девок. Проходил первый день из семи, на которые была отпущена техника. За этот день следовало посадить шесть тысяч чубуков, а посажено было лишь триста. Другие, замоченные Андрианом, ждали без толку. Даже вынь их из чана, они, уже напившиеся, начавшие бурно жить, требовали посадки, и Андриан пытался не давать сажальщикам минуты на завтрак, на обед, сверкал красными, будто залитыми вишневым соком глазами.

Вечером, когда народ уже из-за темноты бросил лопаты и молодежь собралась к морю, где шоферы и мотористы, отоспавшись за день, раздобыв где-то водки, играли на баяне, дочери Андриана решили переодеться в чистое. Вымотанные, они особенно походили сейчас на отца жилистостью, мослаковатостью; чудней, чем всегда, звучало сейчас имя старшей — Жанна. Двадцать семь лет назад, когда записывали новорож-

денную, был Андриан Матвеевич выпившим, согласился на уговор молодого сельсоветчика — дать младенцу имя замечательной французской патриотки...

Теперь, когда все три девки наладились с подружками к берегу, Андриан подлетел к дочерям, рванул чемоданишко с запасной их одеждой, с маху расколол под ногами.

— Гулянки в башках?!

Мать кинулась на защиту дочерей, и Андриан, озверев, стал рубить топором выходные туфли, юбки с блузками, с чулками. Весенняя земля была мягкой, рубленое вминалось в землю. Односельчане годами наблюдали всяческие Андриановы номера, всегда посмеивались, даже как бы гордились, что в их хуторе водится такой скаженный, но тут цепной реакцией покатилося бешенство. Люди взъярились от вида летящих кусками блузок, белых туфель, крыли друг друга, Андриана, жарюку, которая уже всерьез долбанет нынче-завтра, вконец доконает виноградник. Да и на дьявола этот виноградник!

Когда подбежал подъехавший на самосвале Степан Конкин, они возились за грудки под переливы далекого баяна, зовущего девчонок на берег. Конкин, как малец с яркой игрушкой, прибыл на виноградник с прекрасным своим настроением. Давно полагалось Степану Степановичу поддуть легкие, давно обмякла физическая сила, с которой возвратился он из больницы, а настроение, напротив, перло в гору. Да где там в гору? В облака!.. Широченными шагами — Ленин непременно сказал бы: «семимильными» — шли к пустоши высоковольтные фермы, украшались свеженарытыми каналами поля, готовились брызнуть листвой молодые лесополосы, наливалось первое в Ростовской и Сталинградской областях колхозное море!.. Все остальное, мешающее, казалось Степану чепухой, даже требовалось, чтоб не восторгаться с праздно сложенными руками, а действовать.

Двое суток он был с Голубовым в Ростове на слете ветеранов войны; в перерывах вырывался в комиссию партийного контроля, доказывая преступность исключения Голубова и Фрянсковой, утверждая, что даже если райком выправит дело, все равно надо привлечь Орлова — организатора расправы над коммунистами. Не заезжая из Ростова домой, направил Голубова на карьеры к Илье Андреевичу — выпросить у него и доставить на виноградник прожекторы, — а сам примчался сюда.

— Эх вы! — разборонив дерущихся, кричал он, возмущаясь, что не добыли сажальщиков. — Показать вам, как добывают?

* * *

Через полчаса он выпрыгнул из самосвала в хуторе Кореновском. Народ толпился вдоль безлунного берега. Вода разворачивалась кругами, вздыхала на той высоте, куда еще не поднималась в самые буйные разливы.

Сегодня пошла рыба. Валила негусто — плотина отрезала ей путь в верховья, — но все же было что ловить, и мужчины, отработав день в степях Елиневича, как один прикатили сюда на ночь новехонькими своими мотоциклами. Обл- и райторги, выполняя задачу — на «отлично» обслуживать героев дня, — сполна обеспечили их «уральцами», «К-125», «ижами»; каждый хуторянин газовавал теперь на работу — с работы, и перед глазами Конкина стояли вдоль берега горячие еще мотоциклы. На черной металлически-блесткой воде, носами на сухом, темнели баркасы, окруженные спешащими рыбаками. Под кормами хлопало, скороговоркой лопотало течение, на седушках буграми возвышались сети — не древ-

ние, нитяные, а из тончайшего капрона с пенопластовыми белоснежными поплавками.

Вскочив в толпе мужчин на баркас, Конкин распорядился бросать рыбальство, ехать на виноградник, куда, мол, начальник карьера Солод повезет сейчас свои прожекторы, будет освещать посадку. Отборная матерщина, полетевшая навстречу Конкину, изумила его.

— Ругать? — спросил он. — Меня ругать?

Его сдернули с баркаса. За спинами в темноте грудились правленцы и члены сельсовета. Они не цапали председателя, но и не вступались, а натихаря даже подзуживали передних, охваченные азартом рыбалки, весомостью барыша, жгущего ладони, учащенно дышащего в лицо. Фрукте-то нынешний год крышка, вину — крышка. Не то что продать вина, но самому выпить — побежишь в магазин, а рубли на постройку давай и давай. День сеяли, метнулись за счет сна порыбалиться, заткнуть хоть малую дырку, а тут смехота — балабонишко этот!..

Но Конкин отказывался признавать реальное, хотя преотлично видел его, легко мог повернуть людей на ихней же завертевшей их корыстной волне. Лишь объяви: «Кончим, ребята, с виноградником за четыре ночи. На остальные три даем вам гидроузловскую технику, будете от пуза заливать личные свои сады» — и бросит народ рыбальство, ринется на пустошь...

Только как же воздвигать лучезарный дворец, подкупая строителей подачками? Да для этого ли Сталин сидел в Турухане, для этого ли в семнадцатом палила «Аврора»?

— Не отпущу! — крикнул он, прыгнув по пояс в воду, ухватясь за борта двух баркасов. — Не отцеплюсь. Топите! А ну, сельисполкомовцы, выходи из-за спин, начинай.

Разлив, освещенный далекими сполохами гидроузла, выгибал бока, искрился то рябью, то тяжелыми, будто плугом напаханными бороздами, явственно звенел. Казалось, плескали, выкатывались наверх рыбы спинные плавники, хвосты, и возбужденная толпа не знала, отрывать ли, вязать этого сумасшедшего или действительно топить его, к черту. Он не отпускал борта лодок, и, хотя стоял по грудь в ледяной воде, горло его пересыхало, он хватал ртом эту воду, выкрикивал, что мужчины-сельщики обязаны сажать виноградник ночью. Днями сажать будет прочее население Кореновского и Червленова. Поголовно. Останется на фермах лишь по одной доярке на сорок коров. На свинарнях, воловнях, в кошарах — по одному человеку. Остальные к чубукам. Сельсовет, все конторы — на замки. Школы и то на замки.

Глядя снизу вверх, выйдя по пряжку командирского потрепанного ремня, спросил:

— Что получается?.. Школы закрыть, пацанят в лямку, а куда нас?.. Да отомкните наконец, товарищи, — заорал он, — запертые свои сердца! Да разве ж на этой самой земле вы с Матвеем Щепетковым так уж часто пугались, так уж часто дрожали, как овечьи хвосты? Свержение атаманов — лотерея. Но разве останавливала вас безвестность? Разве не пели вы «Нас еще судьбы безвестные ждут!!»? А «мессершмитты», «фокке-вульфы», танки Клейста пугали нас, заслоняли нам, гвардейцам, дорогу к победе? Неужели ж сегодня заслонит нам горизонты вяленый задрипаный судак на бечевке?!

Люди молчали, а Конкин, поняв, что выложил главное, что задел этим главным самолюбие и теперь имеет право добавлять все, вышел на берег, скомандовал:

— Управиться быстро! В сэкономленные дни взять себе технику гидроузла, оросить личные усадьбы. Залить их от пуза. Хоть по горло.

Глава двадцать третья

Крылья офицерского седла мягко поскрипывали под коленями Щепетковой, жеребец зябко передергивал в рассветном холодке кожей, со вкусом втягивал запах начавшейся степи. Хутор за спиной был пуст, словно выдут: жители, собранные Конкиным под гребло, еще ночью выехали на посадку чубуков, и Щепеткова, проверив, что на оголенных фермах, отправлялась следом.

Ни привычной срочности, ни привычного кучера — инвалида Петра Евсеича, ни высокой председательской тачанки, окованной надраенной медью, запряженной парюю одномастных широких жеребцов, играющих по сторонам щегольского дышла. Вместо всего — один из прежней пары жеребец, собственноручно напоенный, собственноручно подседланный; и это было свободой, разрешало думать о чем угодно своим, позволяло безо всякого дела, а просто для удовольствия разглядывать окружающее.

Степь, едва начавшая одеваться зеленью, просыпалась, у дороги сверкали молодые травинки, отпотелые за ночь, покрытые каплями. Сколько весен ездила здесь Щепеткова, а за недосугом никогда не вглядывалась в такую мелочь, как сверкающие капли. Теперь смотрела... Ветер, еще не прогретый и только-только при вставшем уже солнце берущий силу, сушил росу, нанизанную на зеленые шильца; копыта ступали мягко по земляной песчановатой обочине, не перебивали звона жаворонков, сусличих пробужденных свистов. Усмехнувшись, Настасья Семеновна перегнулась с седла, сорвала стебель прошлогоднего ожившего молочая, проколдовала: «Коза, коза, дай молока!» — и на обрыве стебля выступила крутая белая капля, и все вокруг как бы омылось ею, стало оборачиваться совсем таким, как бывало в ребячестве. Суслик с огромным живым глазом, с гладкой, точно облитой головкой; рдяные яблоки навоза, перееханные колесом; два жука, деловито толкающие по дороге шарик, сделанный ими, вдесятеро больший, чем они сами... Один жук толкает передними ногами, другой идет головой вниз, вертит на себе шарик задними, а надо всем этим высится тот же, что в детстве, Акатнов курган.

Правда, не совсем тот. Всегда маячила на Акатнове каменная баба, годами смотрела на восход, а прошлым летом забрали ее в музей, заместо нее водрузили угольник — тригонометрический пункт...

Еще маленькой знала Настя диковинное об этом кургане; сидя на материнских коленях среди вечерующих на улице соседок, слышала, что караулят это место тени старых оружных воинов, что начинается под Акатновом золотая цепь, идет аж до Зеленкова ерика. Одни уверяли: закапывал эту цепь, кованную из боярских червонцев, Степан Разин, другие — что далеко до Разина схоронил ее хазарский царь. В разные времена — и прежде и в памяти Настасьи — рылись в кургане охотники разбогатеть, ставили даже бревенчатые козлы, чтоб вытягивать на вожжах бадьи с землей, но с годами все затянулось, затравенело — и курган, забыв царапины, стоял равнобокий, четкий, как терриконы под городом Новошахтинском, только был не черный, а белесый от мохнатой, цинковой на солнце полыни, подрагивал на ветру этой полынью.

Раздолье!.. Дыши, гляди, куда желаешь. Никакой пакости, ни одного человека кругом.

— Сука ты, Настька, — сказала Щепеткова, снова убеждаясь, что противно ей с людьми, безынтересны успехи хутора.

А собственно, о каких успехах разговор? Взять нынешний выезд на

чубуки. Не выезд, а генеральная ассамблея: ночь напролет дебатировались!.. Глухих бабок — Фрянскову, столетнюю Песковацкову — и тех Конкин уговаривал: дескать, высказывайтесь, какое у вас моральное отношение к выезду?.. Ну и поперли высказываться. Ведь, как к водке, поприучивались к разговорам, каждый вечер слушают доцентов, понавезенных Голубовым, спорят с ними. Молодые, те и вовсе ликуют. Играют в спектаклях разгром суховея, ездят в Шахты, в Новочеркасск, взяли приз в Ростове на смотре театров. Работа ж побоку, значит, самое время клоунам.

Но что ей до тех дел? Ничего ей, кроме Ильи Андреевича, не надо, плевать ей, что рушится все привычное. Даже весело от грохота!..

Она вглядывается в дальние, желтые среди равнины выгрызы — карьер, где сейчас он, Илья, и сердце бухает — такое душное, жгущее, хоть выдергивай руками на ветер... Сколько лет была спокойной, думала — кончено отмеренное ей, а оно вот как!! И не поцеловал он еще, вахлак, ни разу, нежного слова из себя не выдавил, а она, бесстыжая, рвется к нему сердцем, и жутко ей, и всюду чудятся дурные приметы... Летала этой ночью вокруг ее лампы бабочка-ночевница. Все рвалась, рвалась на горячее стекло, сыпала, дура, с себя пыльцу, а потом, почернелая, напитанная керосином, лежала в керосинной, подставленной под лампу тарелке.

Обгори так же Настасья — разве кто запечалится? Обрадуются. Особенно Тимур с Раиской. Расстарались какие-то из соседешек, послали Тимке письмо с намеками на квартиранта, и в ответ прибыло Настасье сыново указание... Тимур Алексеевич — сопли блестят под носом — указывает ей, как жить. В голосок указывает! Заодно ставит крест на мать. «Ты, — пишет, — женщина старая. Бросай это дело». Раиска туда же. Все ластилась к Илье Андреевичу, а теперь как волчонок. Объявила: «Выйдешь за квартиранта — не буду тебе дочерью, хату спалю!»

Над дорогой тянулась озимь, потравленная астраханцем, лишь кой-где зеленая. Настасья спрыгнула с седла, по привычке контролировать выдернула, положила на ладонь кустик. Паутины корней, листья, а посредине, вроде сбоку припека, легкий порожний кулечек от зерна, давшего жизнь, теперь выпитого, похожего на нее, Настьку Щепеткову. Она ехала, не бросая куст, глядясь в него, как в отражение, и плакала. В голос, во всю волю, с прихлебами, как не удавалось еще со смерти Алексея. Слезы сбегали по носу, подбородку, она их не вытирала, лицом не пряталась — благо вокруг только небо. Плакала от горя не вовремя любить, оттого, что ничего не отнимала у детей, а они наступали, рвались отнять; плакала от жалости к отцу детей — Алексею, от любви к постояльцу, от зряшных лет председательствования, когда не было ничего, что дается на свете доброму бабьему сердцу, а только казенное, казенное.

Чуя, что хозяйке плохо, жеребец не тянул в стороны, двигался шагисто.

Впереди замаячили экскаваторы «Донводстроя», роющие каналы. Настасья знала, что сотни километров оросителей роются в эти дни ниже моря, полосуют низинные площади, по которым вода двинет самотеком.

Но и здесь, выше плотины, где она не потечет без насосов и где никто не ведал, появятся нынешний год те насосные станции или не появятся, все равно велись работы. На перевыполнение!

Техника распугивала вереницы перелетных птиц в небе, изумляла степных колхозников, которые выползали из своих глинобитных, кры-

тых соломой хат, толпами и в одиночку шли и ехали смотреть, как взъерошиваются небеса густо плавающими стрелами экскаваторов, как разверзаются пашни под ударами стальных живых ковшей. Вчера Настасья проезжала в «Маяк» свободно, степи были степями, а сейчас не узнавала места. И дорогу и горизонт перегораживали свеженаваленные насыпи, под ногами зияли свеженарытые траншеи — черные на верхних срезах, глинистые, масляно-охряные в еще необветренной отвесной глубине. Испуганный жеребец, точно боров всхрюкивая, шарахался от траншей и экскаваторов, был словно незаконным среди всей этой современности, как незаконной была и Щепеткова — тетка в седле. «Чернявая, покатай», — слышала она. А тут еще задурил проклятый жеребец — хотя вчера лишь гулял на случке, взыгрался вдруг с лишнего жиру. Несмотря на машинный дух, перекопанная весенняя дорога, наверно, отдавала для него лошадыми, и он, хлебая ноздрями, забрасывал круп влево — вправо, залиvisto трубил, а из кабин улюлюкали, горланили советы, как успокоить героя...

* * *

Дорогой на виноградник Щепеткова завернула к полям, где сеяли кореновцы. Стала возле своих заправщиков. Теплынь была летняя, не по сезону томящая. Несмотря на восточный сухой ветер, при котором отродясь и не пахло дождями, в небе душно висели грозовые облака, все шло навыворот.

Из-под горизонта двигались на заправщиков тракторы «С-80» — могучие, точно армейские бронетранспортеры. Они сеяли, охватывая широченный фронт, двигаясь один за другим строгими, как на параде, уступами.

В Кореновке в лучшем разе запускали маломощный «Натик» с парой сеялок. Но крутиться «Натику» от одних верб до других было тесно, да и недолго кувыркнуться на резких покатосях, и чаще пользовали колесный «СТЗ» или «Универсал», таскающий одну-единственную сеялку. В разречьях же, меж ериков, обходились попросту лошадыми. Плавили их до места работы вплынь; рядом на счаленных баркасах вместе с чувалами семян, с котлом для варки ужина везли перевидавшую виды конную сеялочку, налаженную кузнецом Сережкой Абалченко и дедом Фрянсковым. А здесь было, как на слете, когда после официальной части демонстрируют на экране передовые производства.

Каждый «С-80» вел за собой раму на колесах, к каждой раме было прицеплено враз по шести сеялок — не конных, низких и куценьких, а мощных тракторных, каждая на двадцать четыре пары дисков. Агрегаты шли по ровизне, гладкой от неба до неба, тянули за сеялками шеренги катков, цепков, боронок, и все это гроыхало, окутывалось пылью, заволакивалось едким выхлопным газом... Конечно, милее весна среди тихих разлапых верб на берегу ериков, но деловой, цепкий мозг Щепетковой сам собою прикидывал гектары скоростного сева, будущей машинной, тоже скоростной, уборки.

«Ну, а дальше? — спрашивала себя Щепеткова. — Что получишь за эту скоростность? Знамя с махрами? Так мы и у себя его имели. Вдобавок имели виноград, вино, рыбу, птицу, яблоко...»

Бесспорно, не сравнить коней с моторами. Кони душевнее!.. Один — безотказный трудяга, другой — себе на уме, дипломат. Третий или двадцатый — подлиза, не отвертишься, будет ржать, выклянчивать корку, когда завтракаешь. Все известны тебе еще с кобыл, что их вынашивали, с табунщиков — твоих родичей и кумовьев, что холили тех жеребых

кобыл. С каждым конем и зябла ты в морозы, и плавилась в разливы через воду. Тот легко держится на волне, этот хужей. Выставит только сопло, едва не черпает в уши, громадится сбок баркаса, глядит тебе в самые глаза с выражением, как человек...

— Никого не рвануло на пахоте? — спросила Щепеткова заправщиков, зная, что у соседей прошлой ночью взлетел плуг, напоролся лемехом на неразорванный снаряд. В послевойну пахали поверху, теперь, по агроправилам, глубоко, вот и заговорили дождавшиеся капсулы.

— Рвануло, — ответили заправщики. — Конкин всех средь ночи на чубуки зафугасил, псих чахоточный.

Агрегаты шли мимо. Настасья побежала по грузким комьям, вспрыгнула на подножку сеялки. Тут же рядовым прицепщиком ехал Дмитрий Лаврыч Фрянсков, а парень из «Маяка» указывал ему на регулировку, орал, краснея молодой, без того розовой шеей, и Дмитрий Лаврыч — сколько лет несменяемый член правления, главный полевод Щепетковой — не возражая кивал.

Настасья отвернулась, глядела вверх на дождевую тучу, вставшую вполнеба. Туча была рядом с солнцем — черная, полная дождя, ослепительно сверкающая накаленным срезом. Она клубила, передвигала в себе эту густую дождевую черноту, и Щепеткова, силясь не думать о главном полеводе, о хохле, который шумел на главного, думала, что хорошо бы туче продержаться до конца сева, а уж затем хлынуть, чтоб приняла в себя равнина зерно, потом рухнувшую влагу и затяжелела б, как баба.

Подняв крышку ящика, Настасья оглянула вытекающую пшеницу. Воронки были одинаковы: пшеница текла ровно. Настасья присела на зыбкой, подрагивающей на ходу подножке, всматриваясь вниз. Керосиновый дым ударял в пахоту, железные диски, будто сложенные ладони, раздвигали комья земли, вкладывали и вкладывали зерна.

* * *

Ливень захватил Щепеткову у берега. Она спрыгнула, загородилась лошадью от первых косых струй, офицерское седло пожалела, накинула на него жакетку. Туча уже не стояла рядом с солнцем, а задвинула его; темный дождь носил по залитым бурьянам водяную дымку, но больше падал в море, белеющее далеко под обрывами. Поблескивало. Все вверх ногами: молния после морозов... В километре слева и справа было солнечно, дождь сек лишь здесь, черт-те где от засеянного поля, точно насмеялся: «Завоевываєте природу? Ну-ну. Давайте!»

Завоевывали природу и высаженные лесхозом жерделы — полоса деревцев ростом до пояса, толщиной в палец. По их крайним рядам виляла возле Настасьи глубоко выбитая колея, где буксовали зимой, в распутицу, колонны самосвалов, вминали под себя стволики и ветки. Вероятно, давая газ, дергаясь, расшвыривали машины вязкие катухи глинозема. Пудовые ошметки с впечатанными узорами тугих баллонов и сейчас лежали на крайних рядах, на изломах детски голенастых краснокорых саженцев... Щепеткова давила в себе мужицкую злобу, объясняла себе: «Грузы волго-донские, срочные, вот и правили шоферы на лесополоску, чтоб буксовало меньше».

Ливень играл долго, минут десять. Стих, как начался. Разом.

Настасья держала захлюстанного жеребца, солнце в промытом воздухе выкатилось жгучее, отразилось, как на медном чищенном тазу, на конском крупе. Затем потянуло с земли пар, стало пригревать Настасью. Она ладонями отжала на себе одежду, потом распустила косы,

сложила вчетверо, как белье, и, наклонясь, выкрутила. Мокрая рубаха цепко стягивала кожу, нахолодалую, туго закрепшую от воды, и было словно прежде, когда барышнючкой купалась Настя с подругами по пути с бахч, прыгала с берега прямо в платишке, а потом всю дорогу домой несла свежесть. Сейчас было так же свежо, хотя пар струился от ног и плеч, от выжатой, снова брошенной на седло жакетки. Паровали и дождевые лужи, стекающие к обрыву, в море.

Впервые одна, без свидетелей, столкнулась Настасья с морем. Лужи, коричневые от земли и глины, уже не пузыристые, ослабелые, упрямо сочились в это море, по-донскому мутное у края, а чем отдаленней, тем больше сходное с небом. Под горизонтами и было не разобрать, где вода, где синий воздух. Красиво, никуда не денешься!..

Будто копилка, вобрало море потаявшие снега, теперь на глазах Настасьи вобрало дождь, целиком вбирает весь Дон, ерики, реки, речушки, не брезгует бьющими с-под обрывов криницами. По жменям, по ведрам входит в него и колхозный пот, перемешанный со слезами... Что ж, и детей рожают — плачут. Больно ведь. И социализм строят — веселятся через раз. Даже сивок-бурок заменяешь на мощную технику — и тоже с переживаньями. А ну заменялось бы наоборот!..

Она рассмеялась, глядя на обрывки туч, передергивая лопатками, чтоб отлипла кофта; швырнула в сторону моря кусок ракушечника, который, не долетев и до откоса, шлепнулся в лужу, и опять засмеялась. Не строилось бы море или не существовало б на свете камня ракушечника, не снялся б со своего Таганрога Илья Андреевич, не стал бы в ее доме.

И об этом прикажете тосковать?

Кинула на холку через взбросившуюся конскую голову повод, потянула к стремяни ногу, но севшая от дождя юбка не пускала. Настасья подпернула ее, перед глазами кругло сверкнуло мокрое колено — крепкое, смуглое, как у цыганки-подростка. Держа ногу в стремяни, оглядывая ее как бы глазами своего постояльца, Настасья хвастливо прищелкнула языком: «Чем не молодуха?! Ладно уж тебе, дура! — оборвала она. — Садись-ка!»

Глава двадцать четвертая

1

Четыре сотни лопат, девяносто кольев, сто двадцать мотыг долбили грунт на смежных делянах — кореновской и червленовской. Государственные шоферы, вымотанные за ночь работы, насосавшиеся утром дарового хуторского вина, дрыхли в бурьяне, передав баранки колхозным водителям, и те без зазрения совести гоняли бензовозы.

Сергей Голиков долбил колом в середину лунок. Подъехав час назад, увидав в рядах сажальщиков Голубова, Черненкову, Конкина, взялся показать, что секретарь тоже не лыком шит, и теперь не находил возможным отставать, тем более бросить. Мышцы покамест еще служили, но жгли набитые, раздавленные водянки, а главное — резал глаза пот, натекая со лба, и приходилось на ходу, на взмахе рук, отирать брови плечом. Сергей был на ногах трое суток, с момента, как по линии берега началась установка поливной техники.

Сейчас техника работала, колхозы все до единого сажали.

Правда, сажали лишь чубуки — коротенькие палочки, а отнюдь не двухсотлетние прославленные цимлянские кусты, о переноске и полнейшей сохранности которых в громе фанфар гласили рапорты с Дона...

Сергей объезжал берег, понимая, что спокойней бы «не знать», что сажают новоселы, пребывать в райцентре, как это делает Орлов. Пройдет номер с чубуками — Орлову плюс. Не пройдет — Орлов доложит: «Секретарь райкома не только не согласовал с исполкомом, а даже не поставил исполком в известность». И ведь истину доложит!..

Отрывая глаза от лунок, Сергей видел разгуливающих поодаль лошадей. Свободные от хомутов, охваченные после зимней конюшни простором, лошади нежились, на их спинах по островкам недолинялой шерсти ходили блистающие на солнце стрекочущие скворцы, выщипывали для гнезд ворсу. Жеребята сосали маток; стреноженные матки, прыгая от бурьянины к бурьянине, взбрасывались всем корпусом, и детеныши взбрасывались следом, не отставали от материнского вымени; а вдали, в лагере червленовцев, маячили верблюды — любимцы бывшего червленовского председателя, теперь бригадира, расхаживали на своих мягких звериных лапах, древние, удивительные на фоне привезенных с карьера прожекторов.

Но удивляться Сергею было некогда, следовало долбить.

Уже после второго-третьего удара в руке напарника, крепко выпившего Лавра Кузьмича, появлялся чубук, повисал над головой, требуя места в недоконченной лунке; одновременно притормаживал бензовоз, тоже требовал места, чтоб лить воду. Поэтому Сергей не отирал уже на взмахах лицо, только долбил...

— От дают! — называя его во множественном числе, смеясь, выкрикивала молодуха Ванецкая, легко орудуя лопатой, и Сергея брало отчаяние от этой ее легкости, от веселой легкости всех окружающих, из которых любой — подросток ли, инвалид, женщина — все теоретически должны быть слабей его, здорового мужчины. Опытный физкультурник, он едва держался, ждал второго дыхания, которое случается при долгом беге, если человеку повезет. Ему порой казалось: хуторяне разыгрывают его, специально из-за него не делают перерыва; тут же он убеждался, что излишне мнит о себе, что его попросту забыли, а вот ему-то давно пора вспомнить свои обязанности в других колхозах и ехать!..

Момента не находилось; Сергей видел, что оскандаливается в труде, к которому ежедневно, зачастую раздраженно, призывает колхозников.

Но все же бог был, второе дыхание секундами появлялось. Оно росло. Чем резче сох пот от жара напряженных, не тренированных на полевою работу мускулов, уже перешагивающих через усталость и отчаяние, тем большее ликование охватывало тело — совсем молодое, быть может, еще растущее, веселое тело, так часто, так противоестественно костенеющее на долгих совещаниях.

— Бей! — орал Лавр Кузьмич, и Сергей бил, смешивал выдохи с выдохами босых учительниц, молодухи Ванецкой и могучей Дашки Черненко. Все они, ударяя, будто кланяясь, слепили грудями, прыгающими в вырезах кофт, поражали белизной незагорелых с зимы икр, шли рядом с дедами, с детьми; и Сергей видел: будь посадка мероприятием приказным, дефилируй здесь с руками в карманах поверяющие, именуемые в колхозах американскими наблюдателями, — и не была б работа такой удалой, убили б ее перекуры дедов, бесконечные, вразвалочку, хождения женщин через все поле за кружкой воды.

Спрыгнув с седла, оглядываясь, Настасья позавидовала Конкину. «Сумел, черт! Поднял-таки людишек!..»

— Включайся, Семеновна, — крикнул ей Конкин, орудуя мотыгой.

Красный резкими пятнами, он дышал в сторону от соседей: видно, снова был плох, опасался заражать. Голубов — такая же калечь — выворачивал землю левой рукой, а правая, раненая, направляла лопату. Словно в подборку, с ними шла бабка Поля. Надвое согнутая в поясице, окостенелой еще с довойны, она зажимала держак внизу, у самого железа, но вся троица вела шеренгу, перекликалась с соседними, и Щепеткова, как солдат, вступивший в строй и — хочешь не хочешь — берущий ногу, заняла участок.

Мимо с вязанками саженцев носилась Раиска. Дома не заставишь побанить стакан за собой, а здесь бежки бегают. Еще бы, раз на митинге спрашивали ее мнение!.. Кума Цата со своим штабом — Лизаветой Чирской, Марфенькой Гуцковой — била лунки, специально оборотясь к Настасье задом. Кончились, мол, денечки, когда мордой к тебе стояли.

А била хорошо!.. Как циркулем, ровняла края, с одного взмаха толкала всей грузностью своего дородного тела; не теряя взмахов, переступала вперед, к следующим лункам. Двигались и прочие крепкие женщины и девки, и замшелые, бог весть с каких времен не сползавшие с печи доходяги. Шли без розгиба. Свирепо шли.

И все ж не с тою красотой, как умела Щепеткова, как ходила девчонкой, потом барышней, затем женщиной, вплоть до председательствования... «Замстило вам память, бабочки?!»

Она обминула свекруху, Конкина с Голубовым, надавила на грунт. Ясно, не та у ней туша, что у бездетной кобылы Цаты. Зато привычка! Она врзала лопату на весь штык, до упора ноги в землю, вывернула глыбу, скинула бодыльями вниз, корнями кверху, пристукнула с ходу лезвием, чтоб рассыпалось, стала врезать и выворачивать, словно играя... Такая уж была мода в прошедшие безмашинные времена, когда парни не сидели на тракторах и в конторах, а ставили по виноградным буграм сохи, ухватисто вжикали на глазах девок отточенными жалами топоров, и девки, даже мужние бабы, в свою очередь выставлялись перед кавалерами, хоть рученьки отпадай, хоть трещи хребтина, — плыли от лунки к лунке летным пухом, форсисто, как с прабабок велось на виноградах...

И Щепеткова, вспоминая, плыла тем же манером. Без спешки, без дурачьей — упаси бог! — суетливости, а как бы для забавы, для собственной фантазии плескала водичкой, но ничуть не долбила задровенелый бурьяном грунт. Стараясь догнать Настасью, обходя прочих сажальщиков, шла, дышала за Настасьиной спиной непонятная, уродливая Вера Гридякина, неумело, но безостановочно, упрямо, как тракторный плуг, взрывала землю.

Чего этой Гридякиной — репатриантке, пришедшей вологодской девахе — надо в чужом для нее хуторе, на чужом для нее поле? Почему она, страхолюдина, которую не любят и обижают, работает с такой душой? А может, она самая прекрасная здесь? Может, больше всех хозяйка?

Настасьина одежда, обветренная после ливня лишь поверху, держала свежесть, застоялые мышцы требовали хода, а душа отдыхала, глаза любовались, как рушится под лопатой земля, отмечали в земле и каждый корень, и разрезаемые луковицы тюльпанов, и эту, что застряла меж стеблями, прозрачную шкуру змеи-выползня... Где эта змея? Затаилась рядом в трещине или — едва освободилась от старой кожи — уползла, масляно блистая свежими чешуинами? Или заглотал ея ястреб, который — вот он! — по-кошачьи верещит, носится над головами?..

Было просто думать эти легкие мысли и тешило, что свободно об-

щелкивает лучших сажальщиц, да еще идет не на пределе, а, как добрый конь на скачках, держит запас; и она надбавляла скорости, чисто для подначки посверкивала на выхватах лезвием.

— Сы-ышь! — вопил Конкин. — Сыпь, Семеновна!

Ее ладони, так же как у Голикова, были для полевых работ изнежены, схватывались водянками, бабы поджимали «бывшую», и это веселило ее. «Стараетесь, мать ваша курица? Ну-ну!..» Она прибавляла темп, видела, что и женщины дышали не из последнего, но уже всерьез взыгрывались характером, шли навыпередки, молча, экономя силу и злость.

3

Вчера Андриан грозил сажальщикам, художествовал топором над дочерним чемоданом, выказывая натуру на глазах людей.

Теперь с угодливостью тянул для них разметочный шнур, проворно подавал чубуки, и огрей его кто лопатой за его задержку — не огрызнулся б. Люди в работе. Это было отлично, но сосала Андриана тоска, что сажаются виноградники не по-хуторскому — по-хамскому.

Всю жизнь закладывал он Донские Чаши. Выбирал на крутосклоне уступчик шага на три в длину и в ширину, тщательно ровнял его. Выше по откосу и ниже ровнял другие такие же уступы, и на каждом по четырем углам сажал в кремень чубуки. Когда начинали чубуки укрепляться, выбрасывать лозу, им в подпору, по углам же, по квадрату, вбивал Андриан мощные жерди высотой в полтора человеческого роста, именуемые сохами; обтягивал эти сохи, словно бы обручами, тонкими жердочками — слегами. Каждое строение оплеталось лозами, шло от грунта узко, а чем выше, тем все разгонистей, открытей для солнца, особо жаркого на южных обрывах; и когда кусты начинали плодоносить, набирали с годами могучесть, с высоты, вроде действительно из великаньих чаш, свисали тугие, сплошные, прокаленные лучами пудовые грозди; и походила каждая чаша на рог изобилия, отпечатанный в старых руководствах по виноградарству, и высилась любая чаша там, где подсказывал батюшка склон; и хоть от одной этой красоты до другой лазить по обрыву нелегко, но своя тяжесть — она в удовольствие, точнее в гордость!.. Ведь чаша эта потому и Донская, что нет ее ни в Крыму или на Кубани, ни в Ставрополье, а только на здешних склонах! Завтра накроет море эти склоны — чашам капут!..

Агроном, живущий в Андриане, приказывал представлять, как по степным молодым виноградникам весело побегут за тягачами плуги вдоль отбитых шнуром, прямых, без единого поворота шпалер; будут осенями, в «закрывку» стремительно нагребать пухкий чернозем на сваленные к зимовке лозы; веснами, в «отрывку», опять же любо-милу запустят лемехи вглубь, выворачивая перезимовалые лозины к солнцу, к воздуху. Сравни-ка это с лопатками баб, скребущихся по откосам, где и сам черт ногу сломит!

Агроном говорил сущую правду, утешал мозг, но не лечил душу; и Сергей Голиков не поверил бы, что Андриан — заглавный сажальщик — страдает, что, проживи Андриан сто лет, собирай урожаи во сто крат большие, чем прежде, все равно будет помнить Донские Чаши; что будут помнить их все старики, как помнят уборку хлеба звонкой косою; что у каждого кореновского хозяина до сегодняшних дней хранится под крышей сарая его коса, смазанная непросоленным салом, бережно обернутая тряпицей.

Но сейчас, окруженные непаханой, требующей заступа степью, хуторяне, вздувая ноздри, рыли, сажали, и Сергей, не управляя, а под-

чиняясь, упоенно работал со всеми. Недавно, на сломе кореновского клуба, он тоже пытался работать со всеми, но тогда Лавр Кузьмич строго зашептал ему в ухо: «Езжай отсудова, с нашего дела. Докажи, что не гадишься людей, ткни пару разов ломиком, матюкнись, что, мол, времени нема заниматься этой сладостью,— и отваливайся. Иначе подумают: за работой прячешься от руководства.— Уже возле машины пояснил: — Мы все ж казаки, народ строевой, знаем — где положено быть командиру».

Теперь он не заикался о месте командира. В «строевом народе» бурлило иное. Жадность. Мужичья жадность к целинам. Как все, охваченный этой жадностью, богатый ею, Сергей копал, презрительно жалел нищего Орлова, который пугливо отсиживался в райцентре. Освирепелая жадность к новому сантиметру нетронутой степи и еще, еще к новому сантиметру звала красноглазых от бессонья, злых, веселых, не сдающих темпа сажальщиков; и Сергей, тоже стараясь держаться; понимал: не будь в мастерах пашен этого крестьянского чувства — давно б среди крови, взрывов кончилась на земном шаре жизнь людей.

4

В минуты, когда солнце ушло, а темнота еще не наступила, объявили ужин.

Сергей жевал обветренную, теплую от солнца половину пышки — угощение Лавра Кузьмича,— не садился, боясь, что не сможет потом овладеть ногами, встать. В светлом по-дневному небе летела белогрудая, тушево-черная сорока с длинным, тонким, как спица, хвостом.

— Донской хвазан,— заметил Лавр Кузьмич, фигурия словом «фазан», жуя свою половину пышки, клацая пластмассовыми, девичьи-нежными зубами. Кругом раскладывали харчи, будили натруженных, повалившихся еще при солнце ребятишек.

— Хочь когти им обгрызай,— сказала Сергею бабка Поля.

Другие спрашивали Сергея, не надо ли чеснока, соли, и он гудящими пальцами брал, что ему давали, борясь со сном, глядел на высаженные ряды. Из-за дальнего их конца, из мелкой падинки, возвращались женщины, ходившие туда до ветру хохочущей компанией. Четкие на фоне розовеющего неба, они вдруг резко, во всю мочь, будто на гулянке, завопили:

Ой вы, бабочки,
Вы козявочки,
Шельмы вольнаи,
Вы роскошнаи!

Жующий народ с ухмылкой оборачивался: «Уж не ларек ли там, в балке, не приложились ли запевшие теточки?» Какая-то, играя молоденькую, на редкость правдиво-жалобно повела соло:

Свекор-батюшка,
Пусти погулять.

А какая-то, отвечая, имитировала злое стариковское хрипенье:

Гулять не пушшу,
Кожу спущшу.

Хотя певицы шли далеко, но слышалось, как все сразу набрали воздуху, завыли с какою-то степной, необузданной, чисто звериной страстью:

Кожа волочища,
 Гулять хочища,
 Украдуся, нагуляюся,
 Наворуюся, нацалуюся,
 Ох, да навор-р-руюся!..

Глядя на поющих, к Сергею подошла Дарья Черненкова с ножиком и чубатой курицей: мол, не наедаетесь всухомятку, будет куринач, горячая лапша. Курица клевалась, Дарья безжалостно правила ножик о колесо арбы и, улыбаясь Сергею, держа свою жертву, объясняла, что подлая эта кура — сколько ни окунай ее, ни купай в бочке, неделю квохчет, отказала нестись.

Голикову льстило, что Дарья его приглашает, хотелось думать: приглашает не потому, что она парторг, а он ее начальство, а потому, что к нему все здесь привязались и он привязался ко всем, даже к этому коню, что звучно чешется об угол арбы, качает тяжелую арбу. Колесо, на котором Черненкова правила ножик, было обтянуто железной шиной, севшая на шину роса пробудила запах железа, и Сергей, не курия весь день, очистив дыхание, слышал этот запах, смотрел на проснувшихся гидроузловских шоферов, которые требовали перед ночной работой опохмелки, на высаженные длинные ряды чубуков, плывущие в сонных глазах. Ряды были обильно политы из добытых Сергеем у «князя» Адомяна бензовозов; на ходу засыпающий Сергей явственно чувствовал, словно бы видел, как в глубине, в залитой почве, под тонкой корой размоченных чубуков шевелились новорожденные нежные ростки, пробовали свою силу...

* * *

А Степан Конкин думал не о чубуках. Их могло и не быть, вместо них могла быть и картошка и свекла. Важно, что новоселы целые сутки отдавали душу не прежней земле, а уже новой, волго-донской, уже начали ее любить; и свались он, Конкин, снова в больницу — не страшно: дела двинулись. Эх, кувыркнуться б через голову, пойти вдруг колесом возле этой молодежи и возле этих вот древних бабок — таких прекрасных с их седыми космами, с черными морщинами. Давно с бабок этих порох сыплется, сто лет уж не бывали они в поле — и вот выехали! А забывшая обиду Настя Щепеткова! А пацан Голиков!.. Ведь сколько прошло на глазах неопытных секретарей, которые, становясь опытными, давили в себе молодость... А этот вот — брешете! — не задавит!!!

Сумерки чудесно густели, согретая движением, говором, людная степь не была уже пустошью. Люба Фрянскова запрокинула голову, продирала гребнем русые, светлые в темноте волосы. Из гребня, из волос сыпались искры, и Степан Степанович, перечеркивая собственную жгучую зависть ко всему молодому, злился на дурака Вальку Голубова, который не понимает своего счастья, не смотрит на Любу.

В ночи плеснулись фары мотоциклов — с сева ехали сюда, на ночную смену, мужчины. Салютуя им, кто-то включил крайнюю прожекторную установку, луч уперся в вышину овальным пятном, прокатился по небу, упал, озарил в червленовском таборе лежащих верблюдов. Их горбы были слиты с кустами, а змеиные головы на длинных шеях удивленно, неодобрительно заколыхались. Ударив вдруг вблизи, прожектор высветил враз несколько влюбленных целующихся школьных парочек. Яркие-серебряные, будто горящие среди вспыхнувшей серебряной травы, они под гогот людей шарахнулись друг от друга.

— Осваивается земля, — констатировал Конкин, растолкал уснувшего Сергея: — Да бросьте ж вы наконец дрыхнуть! Поехали по берегу в другие колхозы.

Глава двадцать пятая

I

О неблагополучии в Кореновском Совете Илья Солод услышал от следователя. Следователь прибыл на карьер, сидел в конторке. За окном стоял «газик» с ростовским номером.

— Знаете ли Конкина? Знакомы ли с Голубовым?

Солод отвечал односложно: «знаю», «знаком», а прибывший писал много, покрывал буквами большие листы, лежащие к Солоду вверх ногами. Лобастый, белявенький, лет двадцати двух, он работал строго, верхняя детская губа вспучивалась, точно он держал под ней кусочек сахара.

— Как выступал Конкин против партии, когда его заместительницу — Любовь Фрянскову — отказались принять в кандидаты?

Илья Андреевич было заорал, потом осекся. Очень уж желторото выглядел приезжий. Пацаненок, какие за жизнь Солода бессчетно являлись под его начало в цех, мужественно лупили молотком, попадая не по зубилу, а по руке, уже набитой, багровой от ссадин, и мгновенно косились — не смеется ли мастер?.. Так же косился этот. На лацкане его пиджака белел ромбик, какие носят ребята, окончив вуз. Должно, работает следователь совсем недавно. Илья Андреевич тоже был в таких делах новичком — не судился, даже никогда не был свидетелем.

Он душевно заговорил о кристальности, о редкостной чистоте Конкина, но малец не вносил это на бумагу, стал угрюмым. Затем протянул исписанные уже листы:

— Читайте.

Солод читал о Конкине, который ведет подрывную деятельность в Совете, сколотил из неустойчивых лиц группу. Под его влиянием разложенец Голубов противопоставил эту группу партии, что выразилось в его хулиганском выступлении на районной партконференции. Он же, Голубов, под воздействием Конкина покушался на председателя райисполкома и директора молочного комбината Ивахненко — демобилизованного офицера Советской Армии, депутата.

Сам же вдохновитель Конкин, уже не прикрываясь, а демонстрируя свою платформу, заявил на колхозном партсобрании, что истинными коммунистами являются лишь те, кто изгнан из рядов монолитной партии Ленина—Сталина.

— Прочитали?

— Да.

— Подпишите.— Следователь протянул авторучку, и Солод понял: надвинулось Нечто, до этих пор неизвестное ему лично, ходившее мимо. Оно оказалось как смерть. Посылаешь ее к ядреной матери или, наоборот, постоянно думаешь о ней, а ощутишь, лишь когда подойдет,дохнет... Он одеревенел от легкости, с какой Оно надвинулось, а главное — от подлой похожести на правду в каждой строке.

— Все ложь,— произнес он и почувствовал, что вспотел от сказанного.

Его не ругали, как, ему приходилось слышать, бывает в подобных беседах. Следователь только заметил, что в деле фиксировано — пока что! — не все. Не внесен тот факт, что Солод в отличие от других свидетелей не сообщил о партийном собрании, где он присутствовал и где велась агитация за «истинных» коммунистов.

— Почему вы не сообщили? Сами поддерживали агитатора?..

Парень стал писать. Глаза Солода видели вспученную от прилежания губу, белявенькие, должно быть, очень мягкие волосы, хранящие над крутым лбом след сброшенной кепки. Да, совершенно подручный

слесарек — толковый, аккуратный, которому смотреть бы исподлобья на Солода, улыбаться, когда Солод хвалит...

Ударник, потом стахановец, затем, через годы, уже в солидном возрасте, знатнейший отличник послевоенного производства, Илья Андреевич привык к почету, к неременному громкому звучанию своей фамилии на конференциях, считал естественным, что секретари горкома, проходя с ним в праздничный, торжественный президиум, берут его под локоть, пропускают вперед, называя по имени-отчеству.

Все это можно удержать. Черкни пять букв своей фамилии — и следователь вернется в Ростов, исчезнет, словно не появлялся.

— А хрена! — сказал Солод.

Он не был на фронте, не стрелял по вражеским солдатам, у него ни разу в жизни не было случая определить, труслив он или нет. Теперь определилось. Хоть жутко, но удивительно прекрасно было знать, что, как в дальнейшем это ни обернись, он останется человеком.

— Хрена, говорю, — ласково повторил он, придвинулся к встревоженному следователю, разглядывая его розовое лицо, вмятину от кепки на его пушистых волосах.

— Учили тебя, хлопец, хорошему мать с отцом. С твоим папой. И в детсадике учили... А ты липу составляешь на Конкина. Отлично знаешь, что липу.

— Нет, не знаю. Именно не знаю! — крикнул парень.

— А ты узнай! Но ты ж и не притронулся к бумаге, когда я говорил о нем!..

Мальчишка подозрительно глянул на притворенную дверь, потом жалобно и ненавистно Солоду в глаза. Было ясно, что не требуется ему собирать о Конкине доброе, и Солод жалел аккуратного, сбитого с толку хлопца.

— Кем твой отец работает?

— Убит он. Был фрезеровщиком.

— Порадовался б на тебя... Короче, ничего я тебе не подпишу. И не горюй, что слабый: никому не подпишу. Езжай себе!

До ночи Илья Андреевич писал о председателе сельского Совета Степане Конкине, доказывая, что привлекать надо не это лицо, а клеветующих на него бандитов, требовал считать, что он, Солод, отвечает за обвиняемого своей красной книжкой, которую носит тридцать один год. Составил несколько экземпляров, адресовал областным и центральным органам, отправил с уезжающим шофером «Донводстроя», чтобы опустил письма в Ростове.

2

Утром, умываясь под яблоней, куда Щепетковы вынесли теперь ручноймойник, Солод наблюдал дворовую живность.

Индейки не ходили, а вытанцовывали перед индюком, который, вспучиваясь, гулко лаял, докрасна накалял синюю пупырчатую голову. Рядом петух, тоже опьяненный весной, клокчущий, царапал вокруг кур землю напряженным крылом. С разлива доносились всплескивания — по воде гонялись друг за другом гуси. А в лучах солнца на коньке дома восседала голубка, и два белых крупноглазых голубя воевали за нее.

Тихие, нежнейшие существа, узаконенные птицы мира, они свирепо долбили не приспособленными к бою аккуратными розовыми клювами, стараясь поточней угадать в глаз друг дружке. Весна!..

Всю неделю в доме хозяйничала лишь бабка Поля. Пробыв на чубуках день, она вернулась к скотине и птице, а Настасья приехала с Раиской только этой ночью... Пчелы перед лицом Солода ходили по вет-

кам, тыкались хоботками в зеленые разрывы набрякших влажных почек, наверно, пили. С полотенцем через плечо, с мокрыми на висках и затылке волосами, Илья Андреевич зашагал в дом. Райска еще спала, старуха спускалась по ступеням вниз — значит, возле Настасьи никого...

Ляда в белой от солнца, натопленной с ночи кухне была открыта, внизу, в черноте погреба, мерцал каганец. Настасья управляла на дне бочек оставшиеся с зимы соленья — снимала плесень, ополаскивала в ведре камень-гнет. Услышав шаги Ильи Андреевича, медленно поднялась наверх, поставила на стол корец с мокрыми соленьями. Обветренная, похудевшая за неделю в степи, глянула исподлобья. Потом тронула на плече Солода полотенце.

— Грязное какое. Дайте сюда.

Ее руки пахли огуречным рассолом, были близко. Илья Андреевич хотел сжать, крепко схватить их, но даже качнулся от этой мысли.

— Ляда растворенная, еще ввалитесь. Со смелости!! — сверкнув зубами, с презрением бросила Настасья, пошла в комнаты.

Солод двинулся ватными ногами на улицу... Под балконом в открытых дверях низов стояла бабка, делала ему знаки, чтоб приблизился. Перед ней лежал живой уж, свернувшись, будто круг колбасы, поводя маленькой головкой с красными серьгами.

— Неси молока блюдку, — крикнула бабка в дом, объяснила Солоду, что уж это ихний, живет в низах, спал зиму в старом валенке, а сейчас услышал, что Настёнка возится в погребе за перегородкой, и проснулся.

Старуха давно учуяла отношения квартиранта и невестки; ревнуя за сына, обходилась с Ильей Андреевичем суше, но человек он солидный, мирный, и разговаривать — куда денешься? — полагалось. Уж сверкал стремительным, блестящим язычком, уклонялся от молока.

— Обдичал, — извиняла его перед квартирантом Поля. — В омшанике под уликами мышей ловит, полозит, где кошке не дано. Хозяин!..

В углу в корзинке сидела на яйцах гусыня с полуголым зобом, который она выщипала, укрыла пушинами гнездо для будущего потомства. Обеспокоенно разговаривая, она вылезла, зашлепала по доскам пола, по пролитой воде, словно человек босыми ногами. Уж шипел на нее тонко, почти свистел, а она шипела с хрипом, намерялась долбануть могучим оранжевым клювом.

— Ладно вам, — успокаивала Поля.

Все трое были в дверях, в прямом солнце; поодаль Настасья на корточках длинной хворостиной подсовывала «хозяину» блюдце; уж, будто тугая струя олифы, скользил по запыленным доскам, к его белому масляному брюху по каким-то законам не липла пыль; в дверях гудели пчелы, мелькали в солнце, словно вили золотую пряжу; и больничным бредом казался факт, что лишь вчера во все это врывался малец, приехавший на машине с ростовскими номерами. Малец, который ни разу небось не видел, как пьет уж молоко, как гусыня щиплет из себя пух, чтоб согреть птенцов, которые вылупятся. Ничего этого не знает, а уже допущен решать участь Конкина.

Здесь рука Орлова, ведь не сам же малец затеял это... И не колхозники! Разве такое затеют люди, растящие гусей, пчел, деревья в своих садах?

Кореновскому требовались две гулянки. Первая за общими, сдвинутыми в ряд столами, где следовало обмыть общественный виноградник. Вторая — индивидуальная или вскладчину на пять-шесть дворов. Эта по поводу засадки личных усадеб на пустоши.

Но дело с первым весельем, широким, общеколхозным, упиралось в отсутствие колхоза... Овечки, то есть жарковье, были описаны и хотя находились здесь, а числились уже за «Маяком», как числилась птица, мука и прочее, необходимое на длинные столы. Однако, по ловкости кладовщика, в акт не вошли бочонки с вином, и правление Щепетковского колхоза, до сих пор никем еще не распущенное, постановило раздать вино в виде натуроплаты хуторянам. Пусть сами устраивают веселье. А маяковцы к вину непривычные, им вредно...

Хутор поделился на компании, самая крупная сколотилась у Андриана.

В Андрианов двор ташили на чем есть-пить и на чем усаживаться. Поскольку хаты были уже развалены, мебель вывезена, к Андриану тянули чурбаки, доски, устанавливали в виде столов и скамей прямо под деревьями, благо на воздухе теплечко, а комару рано. У воды, подмывающей откос на краю усадьбы, вспарывали, будто кабана, севрюжонка, на картофельной невзрытой грядке — так и пойдет в море некопаная — разводили под котлом огонь.

Приглашенный загодя, явился секретарь райкома с женой. Увязалась Шура, чтоб передохнуть от осточертелой нянюшки, которая веснами с особенной агрессивностью проявляла стародевичий характер. Но поездка была и деловой: было необходимо осмотреть Конкина. Он пропустил поддувание, на посланные открытки не реагировал, а когда Сергей передавал ему вызовы, отвечал, что здоров. В хуторе его не оказалось, ждали его к ночи, и Шура, чтоб что-то делать в незнакомом дворе Андриана, стояла на грядке возле огня.

Все казалось ей стилизованным — и котел в огне, и безлистые, но уже сверкающие цветками абрикосы, и зевающая, похожая на акулу рыбина, из которой вынимали смоляные, лакированные брусья икры... Входящие во двор расфуфыренные колхозницы: «ручкались» с Шурой церемонно.

Они были Народом, умереть за который — самое высокое счастье, о чем с юношеских литературных вечеров знала Шура. Не только знала, а чувствовала в обжигающих душу словах: «Пока свободою горим, пока сердца для чести живы...» Но в современной мирной действительности требовалось не умирать за народ, а всемерно улучшать его жизнь, и Шура избрала медицину — реальное служение людям. Этим вот теткам, из которых каждая в лучших, чем у нее, туфлях, с лучшими часами, все с выражением на лицах: «Хоть ты и секретарская супруга и мы проявляем уважительность, а сгодишься ль ты нам, для нашенской компании,— это, цыпочка, еще разберемся!»

В больнице, сидя с фонендоскопом, чернеющим из белоснежного нагрудного кармана, Шура поднаторела уверенно принимать колхозников. Здесь же принимали они, и это было трудно. Лишь когда появилась ее пациентка Мария Зеленская, затараторила с ней, своим доктором, о болячках — ну их под растакую качалу, — о погоде и свежей севрюжиной икре, пошло свободней. Не окровеняя браслетки часов, женщины елозили икру по натянутой над ведром сетке, которую называли «грохотом». На грохоте оставались прожилки, а чистые икрины падали в рассол, тоже имеющий свое название — тузлук... Севрюжати́на шла в котел, рубленая на куски, а сазанов плюхали целиком, они были лишь исполосованы меленькими поперечными надрезами.

— Покарбованы,— объяснял Андриан Матвеевич гостье.

Он подносил ей парующий половник, предварительно, для остужения, мотал в воздухе и давал «покушать на соль». Из его рук дегустировали и пожилые тетки — густо пахнущие кремом, завитые, кокетливо

повизгивающие. Вдоль берега резал волну катер с надписью «Гидролог», на носу стоял очкастый юнец с представительной, мощной дамой в тугих фиолетовых брючках, и женщины покатывались, вопили очкастому:

— Че ждешь? Топи ее, как Стенька Разин княжну!

Андриан залил под котлом огонь, позвал к столам. Громобойная рыжая красавица, Шуре сказали — это парторг, распорядилась, чтоб мужья садились не с женами, а попеременно, как степовые цветики. Колыхая затянутым в крепдешин бюстом, плюхнулась возле Голикова, а Шура попала между хозяином и старушонкой, которую тотчас отодвинул сухопарый парняга в морском кителе, втиснулся чуть не на Шурины колени, отрекомендовался:

— Музыченко. Михаил.

Он дал ей полотенце вытирать руки, другое ловко прицепил вверху, на абрикосовые ветки, чтоб заходящее солнце не било ей в глаза, отступил от нее рюмочку, с деликатностью придвинул огромный граненый стакан. В ней шевельнулось: «Подлаживается к секретарю райкома, показывает ему, что и его супруга не из последних...» Но с неожиданной легкостью Шура перечеркнула это. Ей нравились ухаживания Музыченко — явно местного донжуана, — она чувствовала, что похорошела, особенно когда после строго-торжественных слов Андриана Матвеевича: «Дай бог не по последней», выпила весь стакан. Парторгша переваливалась затянутой крепдешинной грудью через спину Сергея, требовала от Зеленской запевать какую-то гостевую. Хозяйке, мол, некогда, запевай, Маруся, вместо нее.

— Правильно! Нехай и докторша поучится! — подхватили женщины, и Шура, внимательно оглядывая их, ощутила, что именно это ее наивное, будто у школьницы, внимание вызывает особенную оживленность.

Дорогие гости, посидитя у меня,
Я вам, дорогие гости, зарезу бугая,—

постно и, будто монашенка, елейно повела Зеленская под непонятные Шуре реплики и подзадоривания.

А бугай—он дурак—приздумался, глядит,
У того бугая...

Андриан Матвеевич зажал Шурины уши ладонями, Музыченко отдирает его руки, Зеленская, силясь громче, чтоб Шура слышала тоже, горланила какие-то лихие, заглушенные жесткими ладонями слова; и хохочущие женщины, когда Андриан отпустил уже руки, лупили его по спине.

— Энтиллегент! Спугался повисить семейную квалификацию докторше.

В эмалированных тазах, в каких, на взгляд Шуры, полоскать бы белье, паровали вынутые из котла рыбины. Юшку разливали по отдельным тарелкам. Икра высилась в солдатских мисках, и Михаил, придвинув ближнюю с воткнутой в центр деревянной ложкой, советовал:

— А вы, Шура, кушайте так прямо.

Голиковым положили в тарелки по сазаньей голове, объяснили, что человек, который съел голову сазана, умрет на Дону, и примета в том не грустная, а, наоборот, означает, что, где бы ни носило, ни мытарил человек, он выдюжит и хоть через сто лет, а непременно вернется к своим донским светлым берегам! Михаил инструктировал, как разбирать на кусочки голову; абрикосы, зацветающие над столом и по всему саду, казались слетевшими на землю облаками, и Шура совсем забыла, что приехала смотреть больного.

С той ночи, когда Степан Степанович, наладив посадку чубуков, отправился по другим колхозам, щепетковцы видели его лишь один раз. На следующее утро. Он появился в груженной цементом трехтонке и, потный, веселый, гулко кашляющий, стал уговаривать Андриана бросить на время посадку, зацементировать прохудившийся помещичий колодец. Дескать, исправите — будете и наполнять его, и брать из него воду одной бензовозкой, а вторую в порядке высокого братского сознания отдадите колхозу «Рассвет», где нету ни лишних рук, ни колодцев, а задача та же: на зависть врагам создавать чудесную, цветущую жизнь!..

И хотя дебаты едва не дошли до мордобоя, а все ж, вконец измучив, истерзав, заговорив односельчан, Конкин пробудил-таки ихнее братское сознание, угнал бензовозку, из кабины прокричал Елене Марковне, что скоро вернется.

После жары засеверило, задождило, крыша у сажальщиков по всему берегу была одна — небо, и Степан, без того простывший в жесткой воде, когда агитировал рыбаков, теперь добавлял — свистя тугими легкими, мотался по колхозам, организуя от имени райкома взаимосодействие между сажальщиками, ремонтируя движки насосов, гоняя к Андриану записки: «Поделись чубуками, у тебя их выше ноздрей!»

Посадки были завершены, теплынь вернулась. Елена Марковна отправилась сегодня искать мужа, а он, разминувшись, добирался попутной машиной до дома, зная, сколько ждет там неотложных дел, а тут — черт его знает! — опять это сволочное, железно нарастающее удушье.

— Вы не бухикайте, держитесь, — советовал незнакомый мальчишка-шофер. — Давайте перекурим.

Нарушая табу, Конкин брал папиросу, закуривал. Он бы и водки выпил, если б оказалась. От затяжек кашель утихал, голова хмелела, он приваливался к боковому приспущенному стеклу. Сверху от быстрого хода машины били струи ветра, трепали волосы, отрадно врывались в горячую, охваченную удушьем грудь, отчего Степану Степановичу весело, удивительно прекрасно казалось, что ему семнадцать лет, что он грудью режет на турнике свежие воздушные волны.

...На белой майке комсомольца Степана — алые буквы: «Лензавод». Знай лenzаводских физкультурников! Они с утра, едва освободилась от ораторов первомайская трибуна, установили на ней турник, демонстрируют всей площади физкультурные достижения. Степан исполняет коронный свой номер — крутит «солнце». Ладони, натертые для цепкости магнезией, чудесно скрипят, тело, выгнутое на полете скобой, разрезает воздух, в глазах летающего вокруг перекладины Степана — площадь, небо, снова поющая, гудящая площадь. Ни одного шелкового флага, только кумачовые: режим экономии. Из фанерных, крашенных черным решеток высунуты руки, машут алыми косынками: «Помни, товарищ, об узниках капитала!» Демонстранты несут над головами картонный аэроплан. Вместо пропеллера — красный грозный пролетарский кулак: «Наш ответ Чемберлену». На высоком шесте — чучело самого Чемберлена, оскаленного, в высоком цилиндре. Девчата тянут снизу за шнурки, чучело дергается. Это предсмертные агонии империализма, и Степа, обхватив пружинистую, наполированную ладонями перекладину, тренирует для боев мускулы, клянется добить Чемберлена!

Нет, Степан не любит боев, вечно пересиливает себя, когда нужно драться. Но хочешь не хочешь, надо драться, грызть, бить наотмашь, наповал, чтобы всюду затихли войны и стало прекрасно, как вот в этом

детски-улыбчивом двадцать первом веке, куда, спрыгнув с турника, вдруг взял и шагнул он, Степан Конкин...

Да, вокруг коммунизм! Он на всей планете и на этой первомайской площади с турником посередине, с круглыми ребячьими лицами дружков по комсомолу, по Лензаводу. Солнце заливаает флаги, смешного Чемберлена в руках девчонок, лучи отблескивают от зубов товарищей, улыбающихся, сообщающих Степану: «Кончились драки! Швыряй, Степа, винтовку к едреной бабушке!!» Степан задыхается от волнения, от переизбытка сияющего огненного солнца, нестерпимо жгущего кожу, голову, плечи. Он открывает глаза, видит себя в кабинке мчащейся машины, осознает, что у него температура. В кабине душно от запаха разогретого газа, резины, жарко от трения поршней в цилиндрах, от методических взрывов горючей смеси. Ручищи шофера, полнокровные, ребячьи-тугие, крутят баранку. Видать, не воевавший, не траченный. Присохшая папироса на заветренной ласковой губе; и Степан с силой отрывает от баранки пальцы шофера, шагает с ним через площадь своей юности, знакомит с ребятами. Все, как прежде, хохочущие, безусые, не постарели, ничуть не согнулись к двадцать первому веку! В свертелескопы смотрят с других планет любопытные тамошние существа, видят на Земле и прежних, неумирающих бойцов, и новых людей, которые забыли матерщину, просто взяли и повычеркивали за ненужностью обидные слова; и Степан, хвастаясь, ликуя, орет глядящим в телескопы:

— Хотите счастья? Бейте чемберленов. А главное — своих местных бюрократов!

Он толкался о шофера, который не знал, куда везти, светил фарами на въезде в Кореновский.

5

Андриан наполнял перед Шурой то одним, то другим вином стопку, деликатно беря за донышко, подносил к лампе. Огни ламп колыхались от песен, освещали над головами ветви с висящими фуражками.

У ног Андриана стояли принесенные из погреба бутылки «собственной коллекции» и вода в старинной посуде — кварте. Он ополаскивал стопку, тщательно протирал, чтоб — упаси боже! — не смешать предыдущий запах со следующим... Наполнив из очередной бутылки, пояснял, какой здесь букет, чем особенным — для недонских людей, для тупаков — неуловимым, отличен от другого букета.

Шура, уже наученная, как дегустируют, растирала пару капель языком по небу, с восторгом убеждалась, что она не «тупак», что улавливает те «букеты», о каких говорит Андриан Матвеевич. Она действительно слышала в вине то аромат поздних, опавших садов, по словам Андриана, припеченных для живости морозцем, то запах майской степи, где нетоптанные, нехоженые травы, где далекая синяя лента Дона чернеет, рябится в солнце!.. Андриан был сосредоточен. Катая на скулах бугорки, жевал несколько капель, а остальное выплескивал через плечо.

— Нехай землице. Под водой уж не попробует этого.

На разливе тархтела моторка, временами выключалась, и невидный в темноте рыбак пел:

Конь вороной с походным вьюком
У церкви ржоть, ковой-то ждеть.

Голос заглушался лягушачьим турчанием. Свадебное, могучее, оно, казалось, раскачивало воздух, звенело над прибитыми к берегу камышами, переходило в стрекот, в густое шлепанье, сходное с работой паровых лопастей.

— Дают товарищи лягушки! Хуторская фауна! — подмигивал Шура Музыченко, придвигался плотней, но Андриан отстранял его, как отстранял и самого Голикова: дескать, муж не муж — не мешай дегустации... Считая себя все же на работе, Шура не пила, лишь пригубливала, что раздражало женщин, ревнующих ее к хозяину.

— Пей, а то за сиськи выльем! — кричали они, и Шура принимала их терминологию как нечто законное; все выглядело здесь, под ночными деревьями, законным — даже лечение одноногого Лавра Кузьмича, который подавился рыбьей костью и которому приволокли с берега напуганного мокрого селезня, покрытого тиной.

Селезень бился, выворачивал зеленую бархатную голову, но ее вместе с глазами всадили вперед клювом в раззявленный дедов рот, держали, пока от «дыха» селезня кость не «перегорит».

Шло ряжение. Женщины наводили пробкой усы. Лавр Кузьмич, уже излечась, крутился на табурете, выраженный русалкой. Он в одно спеленал полотенцами культу и здоровую ногу, вплел на конце — в виде русалочьего хвоста — веник и, под общее ржание трепеща этим веником, голый до пояса, в набитом паклей бюстгальтере, влюбленно бросался на секретаря райкома, в то время как Михаил Музыченко изображал даму. Крупногубый, крупнозубый, сиял из-под разодранного соломенного бриля, вместо вуали натянул кусок рыбачьей сетки, намалевался Шуриной помадой, ринулся с топором в сады, откуда из-за деревьев, из темноты раздалось отчаянное собачье визжание, а затем перед столами в свете появился Михаил, держа искусанной рукой лохматый отрубленный хвост.

— Горжетка! — обвивая хвост вокруг шеи, сообщил он валяющимся от хохота людям, и Шура чувствовала, что именно так и сто и двести лет назад гуляли в хуторах казаки, что она прикоснулась к миру, где звериные шутки живут рядом с чудесной поэзией вина, что без таких шуток скудней лилось бы вино, бедней выглядели б и сами столы, и опрокинутое над столами небо — многослойное от звезд, легкое. Ее изумляло, что эти хохочущие старики еще недавно — в Отечественную — пластались на горячих конях, пригинаясь к гривам, избочась, рубили; а теперь рядом с ней, Шурой, пьют созданное на своих берегах вино, пахнущее осенним садом, майскими степями... Она наклонилась к заросшему седым волосом уху Андриана, зашептала:

Приготовь же, Дон заветный,
Для наездников лихих
Сок шипучий, искрометный
Виноградников твоих.

— Искрометный! — подтвердил Андриан, выплеснул воду из кварты, по ободок наполнил кварту красностопом.

— Подними, — сказал он, — за Степу Конкина. Когда б не он, не повидели б мы нонче молодых виноградников!!

6

Легчало с этого трясущемуся в кабине Степану Степановичу или было ему все равно, но пили за него много, с чувствами, и когда через несколько минут Шура и Андриан стояли перед ним у подъехавшего на огни самосвала, за столами, еще не зная, кого принесло, дружно наполняли стаканы.

Конкин умер к утру, а до этого доктор Голикова управляла событиями. Послала мужа в райцентр за кислородом, распорядилась никуда

не везти больного, даже не волочь в душную хату, а уложить здесь же на матраце. На воздухе. Народ, принеся со столов лампы, стоял спокойно, так как предсовета хворал часто и всегда выкарабкивался, а тут еще и свой доктор — отпечалует! Шура же понимала: Конкина нет, это лишь оболочка, привыкшая служить и теперь уже без нужды упрямо хватающая ртом воздух. Классическая легочно-сердечная недостаточность с гипоксией мозга.

С первого курса института училась Шура вытравлять в себе жалость, мешающую работе врача, заменять сердоболие профессиональным спокойствием. Это удавалось. Она смеялась в анатомичке, когда остряки-студенты щеголяли мужеством, намахиваясь друг на друга пугающими, извлеченными из формалина препаратами... Но в районе, сталкиваясь с глазами больных, с их допотопной верой в доктора, наблюдая неухоженную серьезную детвору, приходящую к безнадежным лежащим мамкам, она стала терять приобретенную в институте бесстрашность.

Теперь же, взясь со Степаном Степановичем, который допекал ее в больнице за малейшие ее жалобы, считал нытье едва ли не бандитизмом, она совсем сникла. Ей чудилось: сознание в Конкине еще есть, Конкин уверен, что, оскользнувшись, упал и сейчас вскочит, будет драться с Орловым, как всю жизнь дрался со всеми Орловыми, которые, меня фамилии, меня должности, появлялись в селе и, наломав дров, возвращались в город. Конкин убеждал Шуру в больнице, что искоренит их, да и вообще успеет все, наверняка водрузит над миром знамя Советов — и оно заполыхает ярче, чудеснее утреннего солнца!

Существует выражение «ут аликвид фиат». То есть если врачу ничего не остается, надо делать для порядка, для окружающих хоть что-нибудь, и Шура отламывала головки ампул, наполняла очередные шприцы.

Развиднялось. Женщины убрали лампы. С Голиковым приехала Инеса, вынесла из машины тугую кислородную подушку. Присев к матрацу, спросила:

— Что сделано? Дали кордиамин?

— Да. И строфантин внутривенно. Час назад, — ответила Шура, поднося зашипевший кислородом раструб ко рту Конкина.

Опытные пальцы Инесы подержали запястье, затем громко — Шура понимала: это не для нее, а для секретаря райкома — Инеса произнесла:

— Коллега! Вы делали все, что было возможно.

* * *

На обратной дороге Шура сидела среди надутых до звона кислородных подушек. Затылок Сергея возвышался впереди, рядом с волнистой прической Инесы. Шуре вспоминалось, как по Инесиному заданию она сделала больным доклад о Волго-Доне, а потом ее отозвал Конкин, поинтересовался, не совестно ли ей, что понасовала, понавпихивала кучу цифр, и все дохлые, ни единая не повернута, чтоб пронзила воображение, взвихрила б его!

— Да неужели ж не могли ткнуть ногой в эту половицу, объяснить, что если именно от нее, от этой вот половицы, проткнуть земной шар до Америки, до Вашингтона — будет двенадцать тысяч километров! А мы, — отчитывал Конкин, — каналов провели не двенадцать тысяч, а куда больше! Наши каналы в вашингтонское небо воткнутся. Черт-те куда за ихние небоскребы, за ихние облака!..

Здесь облака, нежно-розовые от восхода, плыли перед глазами Голикова за стеклом летящей машины, а внизу набегало шоссе, вливалось в райцентр, в главную его улицу.

Было рано, Сергей развез по домам Инну Васильевну и жену, поехал в райком. Вслед за Сергеем в кабинет вошел начальник районного МГБ Филонов, положил на стекло стола бумаги.

— Тебе на визу, Петрович. Ознакомься.

Это были материалы на арест Конкина. Сергей листал их, Филонов ходил. Удивительный все же парень этот Филонов. Будто никогда не понимал он, что ему по его должности можно, чего нельзя. На заседаниях бюро поддерживал самые резкие, «левые» предложения Сергея, а с глазу на глаз ни разу с ним не говорил. Пожалуй, ни с кем не говорил, занимался только своей работой и огромным семейством — парализованной женой, двумя сиротами-племянницами, четырьмя дошкольниками-сыновьями — дважды двойняшками.

— Вело областное управление, — кивнув на бумаги, пояснил он. — Обошлись без нас. Железно заделали.

— Орлов? — спросил Сергей.

— Орлов... Кстати, знаешь, его отзывают на другую работу.

— В область?

— Да нет, выше хватай. В Москву. Немедля едет.

Сергей листал бумаги, ясно представляя, как появится в столице энергичный Борис Никитич со своей вроде бы идущей от широкой колхозной земли правдой, прямоотой и чувствовал: надо кричать во все репродукторы, на всю Москву: «Товарищи! К вам направлен Орлов. Я виновен, что не одолел его, выпустил. Но вас много, вы — столица. Не верьте его обаятельности, его словам, распознайте его!»

Глава двадцать шестая

1

Вчера, в день смерти Конкина, сады цвели лишь в четверть силы. Теперь же, в ясное, сверкающее, как на пасху, утро, распустились разом. Каждый цветок, кипенно-белый, с округлыми, до отказа распахнутыми лепестками, открывал лучам липковатую сердцевину, источал запах.

Ароматы повисли над улицами Кореновского, заглушая в скотных базах аммиачные испарения, перекрывая на шоссе бензинный дух волгодонских машин. Несмотря на безветрие, ветки качались от гуда пчел, от их густого кружения. Фруктовый цвет затапливал дворы, недоразобранные дома, бугры, заборы; и казалось, что вздутое шапкой пенное молоко, надоенное во всех фермах со всех коров, опрокинуто на сады, сверкает, пронизанное синевой неба, оглушенное скворчиными трелями.

Но колхозники, выполняя план, строили жизнь за много километров отсюда.

2

Пустошь осваивалась. Скотоводческие помещения вздымали над равниной стропила; свежими прямоугольниками проступали фундаменты административных зданий.

Двинулся и частный сектор. Еще в первые после жеребьевки часы, еще с неизмятыми фантами рванулись сюда пионеры трех мастей. Сверхбоевые вроде Голубова, дисциплинированные вроде Черненковой, а с ними хитромудрые, такие, как Фрянчиха, смекнувшие, что, когда переезд пойдет валом, транспорта не допросишься, а спервоначалу инициатива

даже поощряется, заказывай себе хоть машину, хоть трактор. Действительно, пропустившие время ехали теперь лошадьми и быками.

Доволоченные бревна не сваливали с грохотом и треском, а бережно опускали в порядке номеров, наклеванных при разборке лезвием топора или выведенных суриком; тут же ставили ведра с выдернутыми из досок гвоздями. Затем катили по земле круглый каравай хлеба. Обычай старинный, глупый, но его исполняли, чтоб иметь перед женами основание распечатать поллитровку, когда покотившийся хлеб упадет, укажет правый угол фасада. Пускали, подлаживаясь, заранее спланировав, где какому углу быть...

Владельцам новых домов МТС выделяла специально смонтированные катки, чтоб крепкие дома со старого места на новое волочь целиком. Понаехавшие из редакций фотографы — бойкие, балагурящие ребята — уговаривали хозяек не убирать с подоконников герани, с улыбками выглядывать из окошек и, щелкая аппаратами, делали для журналов фотографии: «Казачки-переселенки едут с комфортом!..» Лавр Кузьмич — плотник, каменщик, столяр, кровельщик — был нарасхват. Собственный, сразу ж перевезенный флигель он как бы для рекламы украсил галереей, по-донскому «галдарейкой», вделав в нее фигурную раму в виде восходящего солнца, вмазав разноцветные стекла; и у него под карнизом завелись воробцы, которые отроду не жили тут, на открытой равнине, а теперь, с человеком, появились.

Хотя новому поселку разлив не грозил, хуторяне по привычке закладывали низы-верхи, обводили извечными балконами на столбочках; другие ж, подражая Ростову, плановали городские строения с просторными окнами — «итальянками».

Многие кореновцы еще не рушили дедовских гнезд, перевозили лишь живность и сено; а чтоб скирдушки не разносило дурачьим городским ветром, обтягивали их на месте рыбацкими сетями. Ругаясь, что иссушается ценная капроновая сеть, хозяин ставил на колок пригнанную корову, обеспокоенно мычащую, непривычную к месту; а через несколько часов для коровы уже был навес, окруженный беломясой древесной щепой; для индеек с индюшатами — какая-никакая огорожа, и птица долбила попавшие в огорожу дикие степовые цветы — тюльпаны.

Намеченная вехами главная улица уже именовалась Морской, две другие — Приморской и Пятиморской, контора «Дорстроя» уже вела по краю поселка шоссе; московская комиссия, изъездившая берег на шести «ЗИМах», посчитала пустошь перспективной, даже показательной, вынесла решение возвести за счет государства монументальное, «организующее» здание клуба, и авторы доключили в чертеж двухпролетное строение, украшенное колоннами и барельефом. Оно вершило архитектурный ансамбль поселка с его стеклянностенным магазином, библиотекой, шло в общем полукольце этих зданий, обрамляющих площадь. Проектом предусматривался и открытый обзор моря, и комплекс цветников, и скульптура перед яслями — счастливая мать с ребенком, — но не было учтено кладбище.

В идеях, устремленных к расцвету, к сияющей созидательной жизни, кладбище попросту выпало, и хуторяне дебатировали, где хоронить Конкина. В парадном галстуке, повязанном Еленой Марковной, в свежесотутюженном костюме, он покоился на остановленном среди пустоши грузовике, устланном клубной президиумской скатертью. Остальные машины стояли в кильватер позади, и пока вылезший народ обсуждал положение, Голубов с Андрианом принялись рыть в центре площади. Место вольное, высокое. Сельсовет, клуб, само море будут видны Степану Степановичу. Он за эти места дрался, ему и лежать в центре.

Лицо Степана Степановича было мирным, разгладились морщины

у глаз, стали белыми полосками; а прежде всегда были туго сжаты то ли от прищуря на ветру, на солнце, то ли от вечной привычки подтрунивать.

Все мужчины напеременку хватали лопаты, рыли быстро, ибо поджимало время, ибо прибыли одновременные телефонограммы из эвакопункта, с ЦГУ, из райисполкома, каждая приказывала безотложно снести в старых хуторах сады вместе с остатками домов; были это приказы, против которых не поволынишь, так как в верховьях обрушились ливни, в низы прихлынула вода и, уткнувшись в плотину, двинула назад, подпирая и сверху и напротив обычного течения; гляди, накроет сады, тогда ныряй за ними!.. А они ценность. Зимой на голой равнине все в печку пойдет — стволы на основное топливо, ветви на разжижку...

И люди, отдавая Конкину долг, торопились. Сказали слова, какие произносят на юбилеях и у разрытой земли, оставили с окаменелой Еленой Марковной Зеленскую — «побудь, Маруся, мы твой сад управим» — и, говоря, что поспешился Степаныч, что вот и пристроили его, пустили на новосельях корень, вернулись быстрыми грузовиками в Кореновку, взялись за инструмент, а машины, тут же нагруженные скарбом ближних к разливу дворов, загазовали обратно.

3

Не переодевшись после похорон, докуривая вторую пачку «Беломора», Голубов бродил по хутору. Шла ликвидация садов. Будто коровы, выпущенные из зимних помещений на траву и враз залоснившиеся, сияли налитые по-весеннему стволы. Народ врезался пилами в блестящую восковатую кору. Шло сокоддвижение; разогретая в парующей земле влага поднималась от корней кверху, и зубья пил шуршали мягко, жмени падающих опилок были мокрыми, а когда деревья падали, на торцах пней выступала влага, стекала, точно с краев переполненных тарелок.

Эти картины не волновали Голубова. Час назад, на пустоши, он разглядывал маячащие по всей степи сажены. Каждый саженец стоял там в центре широченной, с высокими бортами лунки; еще недавно Степан Степанович отпускал на две ночи хуторянам гидроузловскую технику, хуторяне расстарались, вбахнули в каждую лунку по полсотни ведер, и теперь, хоть и с опозданием, почки расселись, обнажая на вишнях и яблоньках проклюнутую зелень, на жерделах — белизну завтрашних лепестков. В шаге от провожающих и от машины, покрытой красным, стояла жерделка, раскрывшая первый и, наверно, потому особенно крупный цветок, по которому ходила пчела. Должно быть, единственная на всю округу, черт-те откуда залетевшая, она по-хозяйски раздвигала цепкими лапами лепестки, лезла головой в упругий сияющий венчик цветка; и Голубову тот цветок был в миллионы раз дороже всех деревьев, что свистели вершинами, падали вдоль кореновских улиц.

Остановясь у двора Дарьи Черненковой, Валентин глядел, как дружно, во главе с матерью-командиршей валили сад ребятишки — упитанные, серьезные, мал мала меньше. Невыразимо потянуло к ним, да и шевельнулся интерес — как поведет себя хозяйка, так убежденно изгонявшая его из партии? Он приблизился, сказал:

— Дайте инструментишко, подсоблю.

— Нюся! Подай дяде ножовку, — приказала Дарья.

Голубов стал в шеренгу, ребята ни на миг не оторвались от дела, подсекали стволы, которые тоньше, на которые указывала мать; а сама она вдвоем с мужем рубила с двух сторон полтораобхватную грушу, легко двигала добрыми восемьюдесятью килограммами литого своего тела. Удержав вдруг очередной взмах топора, она расхохоталась:

— А здорово, Валя, тогда на займище Орлов с Ивахненком от тебя прыснули. Я ж видела — винтом пошли!

Бухгалтер и дети заулыбались.

Из халабуды, заменяющей снесенный дом, семенила средняя дочка, неся в руках тарелку, полную супа, а на закорках годовалого брата, зажавшего ее шею обветренными толстыми руками. Дарья оторвала его от дочкиной шеи, принялась кормить, наряженного в пуховый чепец, бесштанного. Суя в рот ему ложку, делала губами движение, какое должен делать ребенок, чтоб брать суп.

— Не желаешь больше? Ступай, завтра деньгами получишь,— сказала через минуту Дарья, цапнула подбирившую крохи курицу, пощупала, нет ли яйца, с сердцем швырнула.— Обрато потеряла яйцо!.. Ну так как, Валя, твое дело в райкоме?

Поскольку разговор поворачивался не для беспартийного супруга, он, не медля полсекунды, пошел валить дальнее дерево.

— Матриархат! — ухмыльнулся Валентин. Потом грустно сказал:— Ведь ты тоже убивала Конкина. Хотя бы на моем исключении убивала. Зачем?

— Тю! — ответила Дарья.— Да разве ж он не понимал, что райком не утвердит исключение, что не отдаст тебя первый секретарь? Нет, Валя, Конкин — он прелестно сознавал: Черненкоу — парторгу! — нельзя было иначе.

— Да отчего ж нельзя?

— Желала подладиться к Борису Никитичу, вот отчего! И горжуся тем желанием!

Ляснув себя по плечу, размазала кровавого комара, попросила папирску, умело затянулась.

— Я, Валя, душой переживаю, что забрали от нас Бориса Никитича. Считаю его правильной и тебя, и нонешнего покойника, и самого Голикова!.. Могу иметь персональное мнение, или не дозволяешь?! Орлов,— резала Дарья,— понимал: на быков влияй кнутом, а не лекцьями: дескать, «пожалуйста да распожалуйста». Без кнута бык так пахать будет, что не только заморит хозяев, а и сам с голоду сдохнет... Может, через мильен пятилеток, когда мозг у него под рогами достигнет извилистостей, как хотя бы у тебя или меня, поймет бык это «пожалуйста».

Ее глаза смотрели злобно, а руки гладили стоящего у колен малыша, сами собой нежно ходили по его вздернутому носу, по упитанным щекам, по глазенкам; и малыш, посапывая, млея, зарывался в материнские широкие ладони.

— Золотая ты баба, Дашка. Почему ж ты в партии такая стерва? Я тебе любя говорю.

— Я тебе тоже скажу любя. Не цепляйся ты за партийный билет. Не сейчас, так через год попрут тебя, Валя, и верно сделают.

Она отцепила от колен сынишку, передала дочери, няньке. кликнула остальное семейство валить грушу. Тяжкое дерево росло без наклона и, подрубленное у корней почти до сердцевины, не падало. Дети, пихая, рвали пупки, отец с матерью давили шестом над их головами. Валентин с другой стороны тянул бечевой на себя. Увидав шагающую по улице зареванную Любу, крикнул, чтоб подсобила, и она подбежала, взялась за бечевку рядом.

Со дня партсобрания Голубов терялся при ней. Эта девчонка, даже не сознавая, что делает, при всем зале кричала о святом, сжигающем своем чувстве, а он, дурак, считал ее прежде бесчувственной овцой... Но что делать, если и потом не к ней, а к жене тянулась душа и если Любе нужно было не то, за чем бегали к нему веселые кралечки... Но сейчас каменная тоска пересиливала растерянность. Хотелось отойти с Любой, всегда дорогой Степану Степановичу, уйти с ней от народа, который рядил во дворах о Конкине, что вот-де в канун Мая отмаялся человек.

Пожалуй, и отмаялся. Во всяком случае не будет больше заниматься партийными делами Голубова. Что ж, Голубов продолжит сам. Продолжит как под аккомпанемент, как под музыку, под советы Дарьи выложить билет.

«Нет уж, господа Ивахненко, Орловы, Черненковы! — думал Валентин. — Считаете, без Степана Конкина всему крышка? А хрена! И закон найду, и сто лет назло вам, на страх вам буду жить, и коммунизм наперекор вам построю!»

Бечева под руками Голубова и Любы пружинила, дерево стрельнуло у места подруба, пошло вершиной по небу. Голубов пихнул Любу, неторопливо отодвинулся от просвистевших ветвей.

— Под Берлином не убили черта, так он здесь дожидается! — рывнула Дарья, подходя к поверженной кроне — огромной, как хата, горе цветов, где каждый светился, выставлял раскрытые пестики и тычинки...

Ясно, рубить следовало б в холода. Но супругам Черненковым, как и всему хутору, мечталось, чтоб пчела не упустила майский дорогой взяток. Словно понимая хозяев, охваченные азартом пчелы облепливали и нетронутое и поверженное, мчались пороженем из ульев, другие, отяжеленные, комковатые от пыльцы, летели густой «шубой» в улы; и все они значили для Валентина меньше той утренней, на жерделовом саженце.

Когда на пустоши саженцы еще не торчали, ходил там со Степаном Конкиным Валентин; горячась, загибал пальцы, перечислял, чего нет для посадок. Ни времени, ни рук, ни самой, наконец, воды, а предсовета кивал: мол, да-да, ничего реального, и вдруг как подколотый взвизгнул: «Валентин Егорович! Плохому танцору и мошонка мешает!!»

Стоя у сваленной черненковской груши, Валентин вспоминал тот день, вспоминал Конкина, озябшего, с пустым мундштучком в клыкастых зубах, злого, и, чувствуя, что больше не вмоготу, зашагал прочь от Черненковых, зажмурясь, вбирая в плечи голову.

— Не надо. Пожалуйста! Ну... — бормотала Люба, настолько счастливая, что не слышала под ногами земляных комьев, будто бы летела по воздуху рядом с Голубовым. Господи, да, конечно ж, смерть Конкина — ужас; но жизнь торжествовала сама собой. Яблони — даже срубленные — цвели, скворцы — даже согнанные из рухнувших с деревьями скворечен — летали над головой, блестя в солнце, радуя глаза, воспаленные от утренних слез.

И разве торжествовали только глаза? Торжествовали руки, все мускулы, кожа... Стыдно? Нет! Все, что относилось к Голубову, было правильно, чудесно, и Люба знала: не было никакого Василя, никакого замужества, была всю юность мечта об этом часе, об этих глухо звучащих рядом словах:

— Надо держаться.

Конечно, надо! И пусть во всех — куда ни глянешь — дворах падают белые яблоневого шапки, и не важно, что топоры не звенят, а чмокают, врезаясь в мокрую древесину, что по стальным полотнам режущих пил течет влага, что у ног Голубова и Любы синееет скорлупа скворчиных яичек. Ничего! Птицам пять минут лета до нового поселка, а весна лишь начинается — ну и стройте новые гнезда!!

Глава двадцать седьмая

1

Работы на гидроузле настолько завершались, что генерал Адомян выехал в Куйбышев возглавлять очередной объект преобразовательных штурмов, а здесь, на Цимлянской плотине, брандспойтами смывали пыль

с поднятого в небо шоссе, привинчивали бронзовые многопудовые медальоны. На башни головного шлюза поднимали фигуры казаков на вздыбленных конях, со вскинутыми ввысь шашками.

Эти медальоны и фигуры нравились Голикову.

Нравилось и девичье-розовое округлое лицо Вадима Ильюхина, старшего инженера по монтажу турбин. С этим лицом Голиков познакомился вчера по обложке свежего «Огонька», где во весь блестящий глянецовый лист улыбался ярко-синеглазый нежно-румяный юноша... Сейчас этот юноша — вчерашний студент Ленинградского энергетического, сегодня прославленный специалист — показывал секретарю райкома зал управления турбинами, прохаживался по необтертому линолеуму меж бархатным креслом и ореховым бюро. Держался он непринужденно, соединяя вежливость гида с чисто питерской мальчишеской ироничностью. На бюро, еще не заваленном бумагами, лежала пара резиновых бубликов-эспандеров, которыми, если мять их в руках, нагоняются мускулы.

— Ваши?

— Мои,— ответил Вадим и, видя в посетителе понимание, сжал одной рукой спинку кресла, другой — край сиденья и, даже не снимая пиджака, легко выжал стойку

— Отойдите,— сказал Голиков и тоже, не сбрасывая пиджака, не ослабив на шее петлю галстука, взялся за кресло, взбросил к потолку ноги.

Вадиму было двадцать три, Голикову двадцать девятый, и все же он четко сделал ногами медленные широкие ножницы, довольный, встал перед мальчишкой... Зал, в котором они не опозорились друг перед другом, находился под водой, в теле плотины. Где-то, намного выше высоченного потолка с его неоновыми, дневного света трубками, плавали рыбы, еще выше темнели, наверно, днища проходящих катеров; но все это словно бы отрицалось бархатом кресел, сухим воздухом просторного зала — легким, точно в поле на солнышке.

Ухо Вадима было вверху выщиплено. Он небрежно сообщил, что отморозил его на открытом, и Голиков кивнул, отлично понимая это «на открытом», помня, как в любую стужу, при любой «плотности» пурги в свете прожекторов, какие налаживал, наверно, и Вадим, кипели вокруг плотины бригады; каждый сантиметр дна очищался от плавунов, укреплялся и мертвым бетоном, и подвижными пластинами эластичного, устилался специальными «подушками», водогасителями; и все это ушло теперь от человеческого взора...

— Что на поверхности осталось? Гребешок плотинки? — процедил Вадим и, растягивая по ленинградской манере слова, бросая неупотребимое на юге «сапог», «ни фигá», заметил, что станет здесь путешествовать на белоснежном теплоходе какой-нибудь мистер Твистер, будет щуриться через светофильтровые очки, зевать во всю пасть. Дескать, вода и небо, больше ни фигá.

Голиков с удовольствием слушал Вадима, именующего плотину плотинкой, что было у молодых франтоватых специалистов особым стилем, от которого Голиков отстал, но который был для него своим.

Да, не увидят туристы ни подводного бетона, ни накопанной по трассам каналов земли, которую сложить бы воедино — и вознестся б конус вдесятеро выше Альп, порос бы лесами, заселился б джейранами; альпинисты в куртках-штормовках восходили б по откосам за облака!

— Советская власть плюс электрификация,— огрекомендовал Вадим, кивнул на вмонтированные в мраморный щит кнопки запуска турбин.

— Надавил — и все! — констатировал Голиков, на что Вадим лишь пожал плечом: мол, чего особенного? Мы ж тут не в куколки играем.

«Один — ноль! — отметил Голиков. — Это, значит, мы в сравнении с гидроузлом играем в куколки». Под щитом поблескивали телефоны, соединяющие морское дно с райцентром, Ростовом, Москвой. Он позвонил в райком, что едет по колхозам, и, заражаясь от Вадима хвастливостью, предложил:

- Хотите, покажу хозяйство? Машина здесь.
- А баранку дадите повертеть?
- Да.

2

Машина мчалась в утреннем солнце по морскому берегу. Между строящимися поселками управлял Вадим, на людных улицах — Голиков. Он притормаживал, показывал гостю, что дела райкома не менее ответственные, нежели кнопки на мраморном щите.

В поселках тянуло то сухим запахом полей, то влажным духом волны, а над головами, соединяя в одно две стихии, кричали морские чайки и степные кобцы. Вчера по требованию Голикова и нового председателя райисполкома из Новочеркасска прибыли семнадцать бригад мальчишек-плотников, выпускников ФЗУ. Они вгоняли в стропила скобы неверными пацанячьими руками, и Сергей, выходя из машины, убеждал ругающихся хозяев, что ребята старательные, лишь подкорми их молочком — у них мгновенно руки покрепчают.

Яркие в солнце бревна гудели от ненаторенных ударов пацанвы, от ловкого стука пожилых мастеров. В еще не огороженных палисадниках щетинились свежеприкопанные, тоже залитые солнцем прутья сирени, и Голиков, проявляя компетентность, объяснял, что сирень впервые на Дону появилась в турецком мусульманском Азове и что когда станичники одолели крепость, вывезли трофейные пушки и сорванные с петель кованые ворота, то заодно прихватили вот эти азовские кусты, которые с тех пор именуются в станицах «азовками».

— Турецкий цветок введен, грамота еще до Петра введена, а вот форточки в домах, — возмущался Сергей, — представьте, не ставили!.. Улицу, мол, натопишь, что ли?!

Он показывал на сгружаемые с машин откидные фрамуги, которые выпускает теперь райцентр, отдает за бесценок, и новоселы ставят их, впервые в своей истории вводят вентиляцию.

— А гляньте на крыши. Ни единой камышовой или соломенной! Только железо, этернит, шифер!

Голиков щеголял перед «делегатом от плотины», думал, что поражает его и новыми крышами, и всей жизнью над сверкающим морем, словно гофрированным от мягкой зыби. Да и как не радоваться морю?! Будто гигантский, упертый в горизонты рефлексор, оно отражало собою все небо, отдавало лучи воздуху, берегам с их молодыми поселками, зеленью, с каждой береговой песчинкой. Но Вадим, щурясь от переизбытка света, спросил, известно ли Сергею Петровичу, что искусственные, запертые плотиной водоемы осаждают в себе ил, мелея с каждым паводком, отчего со дня рождения обречены на смерть? Известно ли, что на этих чудесных берегах поднимают они грунтовую воду, а с нею соль, губительную для растений?

Голикова поразила не суть, давно известная, обсуждаемая специалистами. Поразил спокойнейший тон этого парня.

— Вас, — спросил Голиков, — устраивает, что реки ежевесенне абсолютно ни на что, коту под хвост сбрасывают миллиарды тонн воды, которой летом нет на полях и одного литра? И вообще для чего вы живете, морозите уши на плотине?

— Люблю свою специальность.

— И вкладываете ее в дохлятину, в заведомо обреченные водоемы?

— Да ведь кто, Сергей Петрович, вас, современную деревню, знает? Вероятно, вас любые водоемы устраивают на вашей стадии... Вот вы аж цветете, что ликвидировали соломенные крыши, тогда как я уверен был, что их нет даже в музеях. Не обижайтесь, у вас средневековье, понятное лишь вам, сельскому партработнику.

«Послать его? — думал Голиков. — Или все же растолковать насчет музеев, крыш, заиливания водоемов... Да разве ил — беда? Да, быть может, это бездонная завтрашняя кладовая ценнейших удобрений!!!»

Вадим, человек вежливый, к тому же благодарный за экскурсию и за то, что водит машину, щадил провинциала-собеседника, выбирал слова, какие покорректней.

— Вам бы, — говорил он, — развернуться по-производственному. Объявлено: нет грани между городом и деревней; так на фигá выискивать особую сельскую святость? Кончай с этими двориками, деревцами, насаждай скоростным методом сплошные тысячегектарные массивы! Разумеется, ваши «азовки» и разные всяческие эмоции новоселов — очень мило!..

Да, было нелепостью метать бисер перед этим типом.

— Хождение в народ, — процедил рядом Вадим. — Разве это было хоть когда-нибудь действенным? Я бы...

— Вали от машины! — скомандовал Голиков. — Ну!! — гаркнул он и, не оборачиваясь, довольный собой, включил скорость.

3

Но все будто сговорились его испытывать. Едва завернул он на пустошь к Лавру Кузьмичу выпить стакан молока, как хозяин, не введя в строящийся дом, взмахивая на солнцепеке, на горячем ветру рубанком с вьющейся стружкой, закричал:

— Ты, Петрович, не только действуй, а также думай. Ввел ты хворточки. Ладно. Это кислород. Ну, а возьми новые крыши!..

«Дались им эти крыши!» — передернулся Голиков.

— Так вот крыши! — повторил хозяин. — Железо, равно шифер, — городская видимость. А под крышей отмененной, камышовой, летом держался холодок, зимой в самые наилютые морозы — теплынь. Также полы!.. На прежнежитиях лежали полы некрашенные, струганые. Младенец елозил голым задком — не простужался. Нонче ж застройщики и половую краску и линолеум хватают, не мыслят. Тебе же, Петрович, следует мыслить, иначе и огороды нам асхвальтом позальешь! — Оглянув Сергея, поинтересовался, рифмуя слова: — Что? Разговор на эту тему портит нервную систему?

По случаю жары он щеголял в магазинной динамовской футболке; физкультурная одежда как бы требовала от него спортивных движений; он размашисто ширнул рубанком в сторону улицы на привезенные для новоселов штабеля строительного материала, сплюнул, будто перед ним какая-то дрянь; и нельзя было обложить его в пять этажей, потому что был это не Орлов, даже не Вадим, а колхозник, которому служил Голиков.

Под хатой лежал тополь, срубленный в Кореновском, доставленный сюда. Превращенный в скамью, он был коротко обпилен, но из него, сверля изнутри кору, выбивались ростки, сияли зелеными упрямыми листьями.

— Жить хотят, — сказал хозяин. — И мы хотим! — крикнул он. — Желаем воздвигать дома, как веками воздвигали-ликовались. А ты нам понавез казенной штабели.

Голиков еще не завтракал, с рассвета лишь курил; а хозяин, только что отполднивав, явно чувствуя подъем, доказывал, что душа застройщика — любого, к примеру Никанора Ивановича, — ограблена, что от века каждый строительный брус, даже поведенный, кривоватый, являлся для Никанора Ивановича целой жизненной историей.

...Видел Никанор плывущую по разливу ветку, поднятую над бурюнами торчаком, смекал, что раз идет ветка высоко и без качаний — значит, не мелочишка несется по стержню, а крупная верба! И громадился Никанор до нее баркасом, буксовал к берегу, привязывал, чтоб, когда спадет половодье, осталась бы находка на сухом, легчала б на ветерке и солнце, распотешивая, как медом обливая сердце Никанора.

— Все? — мрачно спросил Голиков.

— Где все! Штабели и жулик-экспедитор доставит, тогда как твое дело — людская моральность!

Действительно, делом Голикова была «моральность», и он сдерживался; а хозяин, видя, что гость оседлан, продолжал про чувства людей; со всеми приемами хуторского ораторствования (шепча, вливаясь разоблачающим взглядом) объяснял, как уже среди лета, прямо на бережке — не волочь же зазря лишнее! — тесал Никанор Иванович пообсохшую вербу, загодя прикидывал глазом — выйдет ли для хаты матица? А нынче предъяви акт — и вот они, матерьялы!..

— Теперь все?! — уже не сдерживаясь, перебил Голиков и услышал в ответ, что с ним, Сергеем Петровичем, хорошо бы дерьмо кушать наперегонки. Первый похватает.

Что ж, может быть, самое трудное в работе секретаря — допускать разговор на равных. Может быть, это и есть правильный стиль?

Из смежного строящегося двора донесся крик молодухи Ванцевкой, что ихний хряк в форме и можно пригонять дедову свинью. Выпущенная из загородки свинья, будто понимая, что предложила Ванцевка, хрипло взвыла, кинулась рысью на голос хряка, и Кузьмич, пожелав вдогонку: «Обгуливайся с богом», стал рисовать дальше обиду Никанора Ивановича, который приглашал, бывало, плотников-колдунов и все вел с ними по адату...

Громоздят они матицу — им матичные подарки. Поднимают на кровлю первую доску, в ней и весу ничего нет, но требуется, чтоб кряхтели: «Не подыдем». С мальства видел он, Никаноша, как отец гондобил свой курень, блюл священнодействие; должен теперь и сам Никанор чувствовать: «Дом ставлю. Шаг жизненный. Поэтический!..» А плотники: «Ой, опять не подыдем!» — и несет Никанор квартиру самогона, а для убедительности, что не отравит, лично пригубливает. Однако держит в себе место, чтоб губить также с печником, иначе обидится тот, вмажет — ты и не заметишь! — в дымоход свистелку, будет проклятая свистелка заподвизгивать, скулить ночами; потому и для печника делай спектакли, во здравие с ним угощайся!!

Перед глазами Сергея высились на соседних участках коробки домов с сияющими на коньках, вырезанными из блестящего цинка петухами, а чаще голубями мира, даже лозунгами: «Миру — мир». Это было художество Лавра Кузьмича, бесспорно, угощавшегося в каждом этом доме, явно угостившегося и сегодня и потому наседающего на Сергея, которому давно пора и в другие колхозы, и на сессию исполкома.

Из двора Ванцевких возвращалась свинья. Она уже не скакала, не голосила, шла разомлевшая, и Кузьмич, суя в ее сторону рубанком, зарорал, что вот так же Никанорова душа желает ублагодвориться. А ты — главный, мол, заправила — со своими фезеушниками отнимаешь это.

— Значит,— тоже заорал Голиков,— твоему Никанору все скверно! Фезеушники душу сжирают, на линолеуме под городскими крышами холодно!

— Отчего же под крышами холодно? — спросил Лавр Кузьмич.— Уложи на полати настилу потолще — и не замерзнешь. Зато этернит — это противопожарность. Или линолеум! — оживился он, оседая на деревянную ногу.— Линолеум же не надо песком да кирпичом тереть. Думаешь, бабе лёгко струганые полы тереть? Сам попробуй!.. Да и младенца нечего с голой задницей пускать. Надень штанишки...

— Так какого ж дьявола ты голову мне морочил?

— Переоценил тебя, вот какого! Считал, что знать тебе надо все повороты в психологию, в мозгу застройщика. Или, по-твоему, оно секретарю лишнее?!!

Глава двадцать восьмая

1

Как в хлебозаготовках, где девяносто пять—девяносто семь процентов плана выполняются легче, чем последние, совсем ничтожные, так и с очисткой «морской чаши»... Эвакуированные станицы, словно не решаясь до конца оторвать болючую кожицу, держали на старосельях недоразобранные сараи, недовывезенный скарб, прикрытый брезентами, под которыми, будто цыгане в шатрах, упорно гнездились старики, присматривая коров, пасущихся в затравенелых, порубленных садах, следя за гусями-утями, что жировали по разливу с молодыми выводками.

Разлив давно накрыл не только нижние улицы, но и высокие, бунтовал на горах, где в жизни не снился, но по самым наивысоким улицам люди, будто заняв оборону, продолжали держаться, хоть бей по станицам из пушек. Вечерами сходились компаниями, играли песни:

Сабли вострые в ножнах,
Леворверты в кабурах.

Руководство райкома и райисполкома, получив из области по второй серии выговоров, чуть не слезно упрашивало: «Да имейте совесть! Не тянуть же вас за руки», на что люди божились нонче же все выполнить, но так и тянули б эту резину, когда б не грянули сведения, что из-под Воронежа, с верховий, движется основная, «русская» вода и когда б в каждое староселье не пришли автоколонны с расписаниями — какого числа, с какого часа по какой очистить данное место.

2

Хуторам Кореновскому и Червленову выпал срок: 31 мая, с пяти утра. Накануне стала подходить техника, а из пустоши, понимая, что шутки кончены, явилось все население, оглядывая чужих шоферов и грузовики, строящиеся в шеренгу. Будто в войну, когда на пушках блистали свежей краской звезды, указывая количество подбитых танков, красовались сейчас звезды на волго-донских грузовиках, соответствуя тысячам пройденных километров; и эти звезды, стрельба моторов, сигналы будоражили душу.

Обойдя с приехавшим Елиневичем хуторян — дескать, готовьтесь,— Настасья Семеновна вошла на свое подворье. У нее был гость — прибывший на неделю Тимка. Из-под листов фанеры, укрывающих невывезенную мебель, торчали его ноги: он отдыхал после обеда. Настасья

Семеновна тихо взяла пилу, принялась расчленять сваленный осокорь. Целиком завтра не попрешь. Над ее головой остановился сын.

Прыщи, которыми крупноносое сыново лицо было покрыто уже год, еще больше порозовели, набрякли, переполненные здоровьем, дурной силой. Время женить кавалера... На нем была купленная на строительстве ковбойка в громадных красно-голубых квадратах. Он пнул осокорь и, проявляя техническую наторенность, заметил, что «лучковой» пилой много не наработаешь, нужна поперечная. Бабка Поля принесла поперечную, взялась за одну ручку, мать — за другую, а Тимур в расстроенности курил.

Еще в момент приезда, едва спрыгнув с попутки, он сразу увидел предмет своих терзаний — Лидку Абалченко под руку с мужем, который опять ходил в секретарях комсомола. Лидка семейно несла мужнину фуражку, улыбалась, но главное — была с таким пугающим уродливым животом, что Тимурово сердце закипело от оскорбленности. Настроение безнадежно упало, не поправляясь от бабкиных пышек с каймаком, от благости хоть и взбаламученной, а все же домашней жизни. Томили и отношения квартиранта с матерью, о которых был ему чей-то сигнал и о которых он — человек рабочий, прямой! — напрямик написал матери!.. Но с глазу на глаз с нею, целующей его, глядящей его руки, он испытывал тягость. Его мальчишьи беспощадные глаза видели в матери старуху, не прощали старухе отступления от правил, тягость наедине с матерью росла; и сейчас, когда стали подваливать люди, он обрадовался. Пришедший дядька Андриан отстранил женщин, начал пилить сам, явилась Раиска с одноклассником, Петюней Ванцецким; фасонно подкатила на «МАЗе» Римма Сергиенко, та самая малява, что зимой описывала дворы, заикалась от смущения. Теперь — с макинтошем на руке, с планшетом через плечо — прибыла хозяйкой всей автоколонны...

Хотя мать давно уж ходила не в председателях, а лишь в бригадирах, что остро ранило самолюбие Тимура, Римма Сергиенко уважительно просила у нее советов по завтрашней очистке. Мать отвечала, одновременно наливала Раиске борщ. Раиска игриво косилась на своего ухажера — сопляка Петюню Ванцецкого — и, приложив к губам лист, тянула в себя воздух, чтоб стрельнуло. Под мышками у нее сверкали пробившиеся уже волосинки. Петюня, краснея ушами, силился отводить глаза. Все это было удивительно, но правильно. А вот постоялец и мать вызывали в Тимке ужас. Неужели она целуется с постояльцем, как целуются возле клуба девчонки с ребятами?.. Матери положено вздыхать с бабкой на кухне, покупать одежду сыну и дочери, думать об их учебе!

На месте бывшей калитки хлопнул дверцей кабины Солод, и, когда подошел, вздернул к шляпе руку, Тимур отвернулся. «Снился б ты мне». Но бабка Поля, видать, специально дожидалась квартиранта, отозвала его, усадила поодаль среди сваленной мебели, принялась говорить что-то доверительное. Это было ударом. Бабка всегда гордо, воинственно оберегала честь отца Тимура и Раиски, а вот повела гада-квартиранта ото всех в сторону, чтоб никто их не слышал. Секреты у них... «Хватит! — решал Тимур. — Я и Раиска — мы тут лишние».

3

Еще не зная, что это, Илья Андреевич взял из рук бабки стопу древних тетрадей, наугад раскрыл, пошел по строчкам глазами.

«Организовать по примеру красного Питера светлую Коммуну. Недрожащей рукой реквизирировать у капиталистов и атаманов продукты, одежду, шикарные особняки, — читал Илья Андреевич какое-то по-

становление.— Объявить гражданам: мы не обещаем, что у нас будет рай. Но каждый пусть знает, что все одинаковы, что нет сытых или голодных, а что все или сыты, или голодны».

«Слушали: просьбу Новочеркасского торгового общества не облагать мелкую армянскую буржуазию. Постановили: рабочим и революционным казакам, взявшим в городе власть, не интересы той или другой нации дороги, а всего трудового народа безо всяких наций и других различий».

Этими протоколами были заполнены тетради, вынутые Полей из сундучка. Окованный, покрашенный в зеленое солдатский сундучишко был оклеен изнутри цветными полусодранными картинками, на дне лежали четыре Георгия и орден Красного Знамени. Годы хранила это Поля на чердаке, последние недели — под вынесенной во двор мебелью и вот показала. Мол, куда его?..

«Слушали: письмо заключенных в тюрьме воров, которые просят доверить им, предоставить свободу. Постановили: огненные крылья Революции, опаляющие каждого из нас, жгущие в нас проклятое прошлое, не могут не коснуться и этих отверженных людей. Надо допустить их к вольному труду, не попрекать их, а разъяснить им, что не штык и тюремная решетка, а вера в каждого человека является нашей силой».

— Что это все? — спросил Солод.

— А я знаю? — ответила бабка и, отмахнувшись от Настасьи, зовущей по какому-то делу, пояснила, что был такой конник, Френкель. Из студентов. Записывал всякое... Добавила, что студент этот на могиле расстрелянных подтелковцев на камне написал палачам твердое обещание. Она подвигала проваленным ртом, вспоминая слова обещания, и, вспомнив, произнесла:

Вы убили личности,
Мы убьем классы!

Листы тетрадок были испещрены буквами, какими давно уж не пишут. Каждая с аккуратнейшим твердым нажимом, с плавными переходами к тонкой, будто детский волос, линии или заковыристой, лихому завитку. Должно, перебелил записи опытный штабной писарь.

— Вслух давай, — распорядилась бабка, и Солод давал вслух:

— «Предстаешь ты, агитатор, в чужой станице, пред вооруженным собранием, подверженным белому влиянию. Думай, как в своей речи обратиться к этой враждебной массе. Скажешь глядящим на тебя фронтовикам: «Товарищи фронтовики!» — и конец тебе. А уж и совсем не помысли сказать старикам это «товарищи»... Но тем паче нельзя уронить честь своо знамени, величать стоящих вокруг тебя «господами». Выкрикни старикам: «Родные отцы!» Выкрикни фронтовикам: «Дорогие братья!» И тогда уж действуй по станичному адату. Поклонясь в пояс, начинай, где родился-крестился, как взрастал в тяжелой доле».

Оказывается, чубатые вожаки не только рубили с выдохами, с «потяжечкой», но и отлично, будь здоров, умели без конспектов, без шпаргалок владеть дипломатией. Поля не могла ответить, кто именно проводил с агитаторами этот записанный в тетради инструктаж. Записывал студент и самого Федора Подтелкова, и Щепеткова, да и других многих, и когда писари перебеливали, не проставили — кто из них кто.

— «А увидел, — читал Солод, — что потеплелись к тебе сердца, — напрямик давай, что не власть нагайки должна торжествовать, а власть Советов, говори про офицерье, которое с обнаженными кинжалами носится по залам, пляшет перед своими дамами наурскую, тогда как борцы за свободу обливаются кровью со стонами: «Боже, ой да тише, сестрица, ведь мне больно». Они стонут: «Мне больно», а офицер жрет в

гостинице «Московская» котлеты де-валяй. Нет, не позволим белорогому бугаюке строить на нашей крови дворец веселья, близок час мирового господства справедливости!»

— А вот древко,— указала Поля на тонкий, в обхват руки, шест, обернутый тряпицей, лежащий рядом с сундучком.— Это со знамени Щепетковского отряда.

Она развернула край тряпицы, обнажив заточенный в виде пики конец. Потрогав острие, обмотала опять, заковыляла к Андриану и к Настасье с детьми. Там, у распиленного осокоря, шел напряженный разговор. Илья Андреевич не вслушивался, но яростный Тимкин голос сам собою врывался в уши.

— Надо радоваться,— злобно звенел Тимка,— а вам поперек горла все преобразования в государстве. Позор!

Мать торопливо-горестно отвечала, что она не против преобразований, но одно дело, когда был он, Тимка, на Волго-Доне, рядом, а теперь собрался в Куйбышев — это ж чужедалье. Как она останется с малой дочерью?

Покачивая коленкой, уставясь на мать и подошедшую бабуку, Тимур спросил — кто это здесь станет тосковать без Раисы? Кому тут Раиса так уж шибко зандобилась?.. У нее и справка сельсовета и метрики уже на руках. К вечеру завтра снимается с ним вместе с якоря, едет в Куйбышев.

«Сволочь ты, Илья»,— твердил себе Илья Андреевич, а сам ликовал, был счастлив таким поворотом в семье. Нет, девчонка и Тимур, особенно Тимур, нравились ему. Он, если что, усыновил бы их, не держись они волчатами, будь они другой крови, что ли... Но они отнимали его единственное, Настасью. Не просто отнимали, а умело мучили ее, с убежденностью считали, что такие их детские права — мучить!

Тимур, должно быть, поняв, что все же не так бы ему следовало держаться, стал объяснять вскрикнувшей, осевшей на осокорь матери, что в Куйбышеве будет сестра ученицей на кране, что нечего ей после семилетки делать в хуторских захолустьях. Не навоз же с-под коров нюхать или дядьки Андриана трепотню выслушивать!

Андриан, осклабясь, глядел на невестку. Дескать, «воспитала по-своему — и расхлебывай». А Поля, видать, взвинченная чтением мужниных бумаг, сощурилась на Тимку:

— Думаешь, без тебя тут потеря? Воображаешь, консомольца лишаемся?! Какой ты консомолец, если неделю здесь и не доложил в ячейку — требуешься ты им на эту неделю или не требуешься?

Обморочным движением притянув Раиску, Настасья пыталась: чего ей, невозросшей, загомозилось ехать? Там же ругаются по-соромному и по-всякому.

— Ты девчонку подбил? — спросила она Петюню.

— Нет,— отрезала Раиска.— Я его! Он тоже едет.

— Это неверно, Настасья Семеновна, что вы их так допрашиваете,— вмешалась Римма Сергиенко.— Они на передний край отправляются, и вам стыдно бы нарушать их моральное состояние!

Из всех подворий неслись удары топоров, народ расчленял деревья. Тимур, снова проявляя техническую наторенность, хмыкнул:

— Чиликаемся. Сотняжку электропил сюда — и всем яблоням, всей этой муре в секунду капут!

Солод понимал мальчишку. Неостывший, свеженький пацан только-только оттуда, где громовые темпы, неохватные разумом масштабы. На строительстве в ветреный день одной лишь пыли вздымается столько, что осадит ее, эту летящую по воздуху пыль,— и земли будет больше, чем во всех взятых вместе хуторишках... А главное — сам Волго-Дон тоже

уже мелочь в сравнении с тем, что разворачивается на Волге под Куйбышевом, в Каракалпакии под Тахиа-Ташем, на Украине в Каховке. Да и это уже отсталость на фоне кружащих голову проектов — превратить в миллионы киловатт, перегородить реки Сибири. Зачем же ему, Тимке, этот замшелый тихонький Дон?.. Илья Андреевич листал тетради, читал, что говорили о Доне деда Тимура. То ли Подтелков, то ли Матвей Григорьевич Щепетков, поднявшись на стременах перед хуторянами, сжимая, быть может, это самое, что лежит возле Солода, древко, вещал от имени Дона:

«Пускай мои буруны шумят о том, чего хочет в самом деле советская власть!

Пускай высокие зеленые камыши на моих берегах шелестят каждому казаку, проходящему мимо: бери мою силу.

Пускай ветры — низовой, верховой — разносят весть, что только мозолистым рукам отдаю свою мощь».

До слуха Ильи Андреевича доносилась дробь соловьев. Согнанные водою с займища, с островов, соловьи облепливали на буграх за хутором кусты терна и, не зная, что эти кусты тоже зальются, ладили гнезда, ежедневно, еще при солнце, начинали концерты. Удивительно, как пичуга размером с воробья, вся тоненькая, обладает такими могучими легкими, таким голосом, слышным за километры?.. Видать, как у людей, среди которых есть и тупаки и таланты, так же у птиц... Солод ясно ухватывал отличимые ото всех прочих голоса соловьиных Лемешевых. Их прапрадеды услаждали когда-то того, кто вырубал в лесу древко для знамени, и того, кто ненавидел это знамя.

Читать становилось темно, и Солод слушал, как, входя в азарт, начинали во всех концах хутора работать враз по сотне, по две сотни певцов. Щелканье — поразительно четкое, гремящее — резало воздух. А в Кореновку все шли машины, пересверкивались фарами.

4

Чушь говорят, что лишь внучата нужны старикам, что мечты стариков такие же медленные, как их движения... Эх, дураки молодые, когда думают это!

Поля в ночной темноте расчесала на две половины волосы, по отдельности заплела, обкрутила голову косами и, скрюченная, накинула шелковую, приготовленную с вечера шаль — черную, с серебряными листьями. Усмехнувшись, заковыляла от фанерного навеса со спящими среди мебели детьми и невесткой. Квартирант в своей машине тоже дрых, лишь светлеющая в темноте Пальма, доказывая, что стережет, повела хвостом, вскинула уши. Поля шла на свидание с местом, где до первой германской, до переворота, много раз ждал ее Матвей, а за год до Матвея — Костя Чирской — белочубый, голубоглазый, целиком повторивший свое обличье во внучке. В Любке, нынешней секретарше Совета... А ведь вроде вчера ревновался Костя, перестрелял у всех углов легкую на бегу, быструю Полю, да не помогло ему, затмил его маленький, во всем резкий лихач Матвей.

Нажимая на клюшки, бабка бесшумно двигалась по-над машинами, что стояли вдоль улицы, вытянутые в шеренгу, воняли бензином, соляжкой, резиновыми баллонами. Выбравшись за околицу, Поля пересекла километровую толоку, остановилась в тернах. Соловьи, смолкшие на минуту от появления старухи, опять защелкали рядом. Еще сто шагов — и вот оно, место!.. Лишь разницы, что теперь вплотную под ногой двигалась вода, брунжала подтопленными кустами, а прежде был это сухой курган. Вот и бугорок, не смытый за все годы дождем, не стертый ветрами. На него вроде случайно садился всегда Матвей возле Поли, так как

ростом был ниже ее и если стоял, то выручали двойные высокие набойки на каблуках и пробковые подушечки, всунутые в сапоги под пятку. Но и когда сидел, Матвей противился быть ниже.

Бабка, не нарушая правил, опустилась рядом с бугорком, положила клюшки, стала ощупывать траву. Кожа ладоней была черствой, словно на пятках, пальцы шевелились деревянно, о пояснице и вообще какой уж разговор, когда врачи заявляют: там известь, соли... Но женщина, даже совсем изломай ее, скрути ее узлом, отними зрение, язык, она всегда женщина, и Поля слышала на своих хохочущих молодых губах крепко пахнувшие табаком губы лихача Матвея, его колкие, фасонно подкрученные усы, его небольшие, наглые, лезущие под кофту цепкие руки, его шепот.

Правильно жила! Не ломалась, не мучила излишне Матвея на этом месте, не мучила и потом, когда рожала ему детей и когда слышала не шепот его, а покрывающие густую копытную дробь его выкрики: «Ге-ге-ге!» — и сама кричала на скаку: «Ге-ге-ге», а после, меж боями и штабными делами Матвея, любила его где ни попадя. На походной ли бричке под шинелью, в отдаленном ли поле, откуда едва виднелись костры бойцов. Ох и любила!.. Отзывчивей, слаще, чем в тихие, мирные годы...

Правильней бы вспоминать все это у поднятого сторчаком камня, под которым столько лет покоился супруг и с ним сыновья, но уж декада, как вывезли останки со старой хуторской площади на новую, в новый поселок. Под бочок к Степану Конкину. Рядом оказались кореновские председатели — последний и первый.

На кустах продолжали звенеть соловьи; в стороне белела необъятная бетонная плита, недавно залитая на месте скотомогильника, на ее белой ровизне проступали обрубки арматуры; далеко за спиной бил в небо прожектор с вершины только что построенного маяка; и хотя ночь уходила, прожектор все работал. Должно быть, электрики испытывали его, включали то слабее, то ярче.

Плюхнув под ногой Поля, ссунулась подмытая глыба вместе с росшим на ней кустом. Вода прибавлялась, сияла в светлом уже воздухе, отражала проснувшихся, летящих в вышине чибисов, цапель, зеркально-четко рисовала каждый прибрежный лист. Ключья пара отражались тоже. Не шевелясь, они висели местами над теплой с ночи, парной гладью; и лет сорок назад Поля, чтоб броситься, проплыть, скинула б с себя все и, остановясь на берегу, наверно, загорланила бы модную тогда частушку:

Я в Дону купалася,
Сама себя видела.

— Господи,— сказала она,— а уж теперь-то повидеть себя — ужась какая...

И все одно бунтуется душа, прет вразрез уродливым ногам, рукам, проклятой, растак ее мать, старости! Поля сложила, сунула за пазуху шаль и двинулась к хутору, где уже рокотали моторы. Тапочки на ее ногах были стоптанные, но мочить их в росе, портить она не желала. И юбку, чтоб не подрать о терновник, отводила на сторону, хоть была та юбка латаной-перелатаной, самый раз Пальме на подстилку.

Нет, на революцию не обижалась. Когда стреляла-колола, не думала за эти дела ходить в бархатах. И сынов брала у нее Совдепия не за бархаты, и были б еще сыны — их тоже, не спросилась бы, отобрала; и Поля снесла б это, как положено... Но вот хоть раз бы вызвали ее в правительство, поинтересовались: как считаешь, товарищ Щепеткова, верно ли живем? За это ли именно или, может, за что другое сметала ты оружием белых гадов?

Но дела шли без согласований с нею, гремели и первыми «фордзонами», и в Отечественную гулом «катюш», а нонче — беззвучной водой, накрывающей дорогу, по которой еще ночью было сухо идти. Не сбредали сводки. Паводок на глазах заполнял дорожные колеи, втекал в балки, все больше делался морем; и Поля, взгадывая, как пела в армейском строю «Интернационал», как словами гимна клялась построить новый мир, не отрекалась от клятвы.

Нет. Раз революция — значит, революция, в этих делах на полдороге не запинаются. И хоть отдавать тихие берега значило для Поли все одно, что вновь хоронить Романа, и Азария, и Алексея, но она — красногвардейская сабельница Полина Щепеткова — своим сердцем клятву не продавала. Не та выучка. Моторы в хуторе рокотали все громче, рушили старый мир до основания; шла атака, и бабка видела своего Матвея Григорича впереди наступающих, отчетливо слышала его покрик: «Ге-ге-ге!»

— Давайте! — шептала она.

Глава двадцать девятая

1

Будто прислушиваясь к Поле, люди перевыполняли график. Не было шести утра, а Кореновский закруглял очистку.

Скинув с души тяжесть ожидания, народ проворно грузил на машины мебель, баркасы, ульи с забитыми паклей летками, с гудящими внутри пчелами. Кошек не брали по старинной примете, что в кошке завистничество, ехидство, и нехай оно остается на старосельях. Собак привязывали позади бричек, скотину сбивали в стада — отдельно коров, отдельно овечек; все это попеременно с грузовиками, с тракторами строилось кильватером, выравнивалось, так как организовывалась торжественная киносъёмка.

Но торжественность нарушалась сверлящим ревом связываемых, кидаемых на машины кабанов, криками ребятишек, которые вылавливали в траве последних индюшат, с радостным визгом падали в траву животами. А тут еще шоферы для веселья добавляли шума, нажимая на клаксоны.

По разливу, белея, как лилии, плавали гуси Андриана, и он, сорвав с машины уже погруженную кайку, спихнув с берега, кинув на корму ружье, орал: «Постр-р-реляю!» — относя это то ли к растяпам-дочкам, то ли к гусям, вчера ручным, а сейчас идущим в лет от хозяина.

Народ вопил:

— Шумни им, Матвеич, что ты член правления, они вернутся!

2

Среди двора Настасьи Семеновны высилось прогнившее брошенное крыльцо. На ступенях упорно лежала со своим щенком Пальма, беззвучно подняв губу с черным гребешком над клыками. Ярко-желтые ее глаза были пронзительно ясными, а младенческие глазенки сосуна — мутными, благодушно-тупыми; и когда старик бульдозерист, сгребя стволы яблонь, развернул бульдозер на крыльцо — мол, тоже для печки сгодится, — Пальма пошла вниз. Щенок скатывался под ее животом, считая ступени кудлатой спиной, не выпуская растянутого, как резина, соска.

— Эх! — сказал бульдозерист.

Настасья и Солод грузили стволы; кажется, никого, ничего, кроме друг друга, не видели; наверно, даже не замечали, что грузят. Поля жарила на костерке пышки — детям в дальнюю дорогу; Раиска трамбо-

вала коленом свой рюкзак, Петюня помогал, а Тимур, договорясь с Риммой Сергиенко, что она всех троих везет из пустоши в Цимлу, оттуда до Куйбышева, воровато кидал глазами в соседский, абалченковский двор. Лидкиного мужа не было; комсомольский вождь, он занимался где-то общественными погрузками, и Лидка, не скрываясь, таяла от взглядов Тимура, облизывала, чтоб блестели, крашенные, тугие, словно искусанные комарами губы и, призывная, суматошная, как мартовская кошка, носилась, несмотря на огромный живот, то вдоль колонны, то по двору. На советы женщин побережься восклицала, что ей и супруг и доктора рекомендуют моцион; и даже, демонстрируя Тимуру лихость, рванулась, вскочила на ходу в стронувшийся грузовик.

Колонна уже двинулась, киносъёмщики застрекотали аппаратами, грянул духовой агитбригадный оркестр, но, перекрывая его, зазвенели крики, что на проулке Крутом светопреставление. Народ ринулся к Крутому.

На самом коньке, на крыше недоразобранного сарая, сидела его хозяйка — ударница колхоза, бывшая монахиня. Зажав юбку коленями, далеко отведя Евангелие от вздетых на нос очков в коричневой пластмассовой оправе, зычно читала об ангеле, который вылил чашу на престол зверя, о людях, кусающих языки свои от страдания.

Внизу стрекотал бульдозер; девчонка-водительница, в майке, в спортивных шароварах, краем бульдозерного ножа нерешительно вспарывала глину стены, жалобно грозила развернуться, долбануть с ходу.

— Рушь! — отзывалась монахиня и, обращаясь к народу, говорила, что не сдвинется, что пусть волны погребут ее.

Сарай уже в самом деле был взят в клещи водою, гусеницы бульдозера разбрызгивали ее; рядом кружились несколько сазанов и, вроде подтверждая конец света, будто не находя уж места в море, перли в берег, в бульдозер, обнажали на мелком крутые спины, хоть коли их вилами. Народ, даже молодой, не ронял ни реплики, стоял замороженно, лишь Вера Гридякина, эта репатриантка, решительно тянула к сараю длинное бревно, чтоб вскарабкаться, стащить агитаторшу.

— И семь царей, из которых, — ясно выговаривала чтица, — пять пали, один есть, а другой еще не пришел, и когда придет, недолго ему быть!..

Обгоняя грузную Дарью Тимофеевну, подбежала Римма Сергиенко — руководитель колонны, спихнула водительницу и, сама ухватясь за рычаги, обратилась к монахине:

— Прекратите. Я серьезно говорю, прекратите...

— Шик модерн! Жми, Риммочка! — вопил Михайло Музыченко, в котором со вчерашнего вечера, с появления Риммы, снова играли прежние чувства.

На бульдозер, раскинув крестом руки, шла квартирантка монахини, тетка Любы Фрянсковой — Лизавета. Взлохмаченная, одухотворенная, хрипела:

— Отступитесь. Из рода в род прокляты будете. Из рода в род!..

Замершая в толпе Дарья Тимофеевна совершенно точно знала, что бога нет. Но она была беременна, слышала в себе живую тяжесть плода — уже беспокойного, бьющего то коленом, то, наверно, локотком, — и потому думала, что все же хорошо, что дела взяла на себя чужачка Сергиенко, с радостью видела, как эта девица резко обминула Лизавету, бросила машину вперед. Вышвырнутый на берег сазан прыгал, никто его не хватал, бульдозер долбанул лбом стену, монахиня, скользнув по закачавшейся крыше, слетела; ее вместе с Лизаветой втиснули в кабину под выкрик Музыченко: «Гуд бай». Моторы заработали, женщины, как на могилу, стали падать на дорогу, совать в платки родную

землю, киносъёмщики отворачивали от них объективы, выискивая жизнеутверждающее, а самодеятельный оркестр снова ударил марш авиаторов: «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью!»

3

Сочная в апреле, степь уже заменяла маслянистость красок на сухую пепельность, и народ, ехавший преобразовывать эти равнины, приближаясь к месту, вздымал пыль, белую в солнце. С древком щепетковского знамени, как с пикой, Голубов верхом обгонял обоз, спешил к финишу, где сельсоветчики готовили митинг.

Всю ночь Валентин читал с Елиневичем переданные Солодом тетради Матвея Щепеткова, жил в отгремевшей гражданской войне. Заново жил и в своей, Отечественной, поглядывая при слабой копилке на Елиневича, который сдернул темные глухие очки, мешающие читать, обнажил сине-багровые, обгорелые в танке веки и подглазья. Жуткие, они были прекрасны, величественны для Голубова, как величественны для него были и разлепешенный осколком нос, и несросшаяся, леченная, видать, не в госпитале, а на передовой губа Елиневича. Они курили, читали до рассвета, прервались на словах Матвея Григорьевича: «Хрен собачий получат те, кто ждет от нас отступлений» — и Елиневич, дравшийся и в регулярных частях и в партизанских — чешских, французских, белорусских, — поклялся фронтовику Голубову, что красный командир Щепетков не уйдет из людской памяти, что сегодня же, на митинге, Елиневич возгласит призыв к людям: дать имя Щепеткова объединенному колхозу. Валентин ощущал: это бой и за Степана Степановича, который рвался до высот первого сельсоветского главы, за что всякая сволота объявляла его психом, толкающим смехотворные в нашу эпоху идеи...

На рыси Валентин потряхивал длинным, прогонистым древком. Зажелтое от годов, со следами гвоздей, когда-то крепивших полотнище, с пулевыми проклевами, оно было отполировано ладонями знаменосцев, было, словно эфес шашки, ловким для обхвата. Радист, обряженный по случаю солнцепека в белую полотняную панамку, косился на нее, выворачивал белки, картинно кидал головой и, отфыркиваясь от синего автомобильного газа, срывался на галоп.

Вездесущий фольклорист Роз, сидя в набитом колхозницами грузовике, провожал красавца Радиста взглядом. Считай, перевелись на Дону кони. Остались лишь песни о них, а сами они уступили дорогу моторам, которые бессчетно выпускает страна, гонит и гонит в деревню. Что же, Роз приветствует это. Он давно желает записать песни о моторах, но их не слагают колхозники. Возможно, просто недосуг народу в сумятице преобразований, бурных взрывных перемен?..

Женщины в кузове обсуждали: организуется ли автобусная трасса колхоз — Цимла; девчонки спорили о названии уже запланированной многотиражки, о стадионе с велотреком; даже старухи толковали: «Слава богу, не толочь уж грязюку по улице, гудрон будет», словно иллюстрируя положение, что захолустья милы лишь курортнику с удочкой, а хуторянину подай культуру!! Над головой кружил самолет-кукурузник; из люльки мотоцикла, обгоняющего грузовик, гремел голос кинооператора:

— Привет, казачки!

— Были казачки, теперь морячки! — хохотали барышни, заглушая мяуканье патефона, что крутили за спиной у Роза. Его глаза не дотягивались ни до головы колонны, ни до ее хвоста; а под горизонтом параллельной дорогой двигался хутор Червленов, плыли тракторные прицепы, усеянные точками-людьми, рыжели гурты коров, вышагивали

верблюды, светлелись отары овец; надо всем стояла пыль, все походило на библейское переселение народов, а за спиной Роза патефон выводил: «Саша, ты помнишь наши встречи?»

4

План предусматривал: 1) слияние колонн у границы «Маяка», 2) совместное следование на торжественный митинг.

Получилось точно. У бугра, откуда уже открывались ажурные контуры высоковольтки, в арьергард кореновской колонне влилась червленовская, обе вступили на свою новую территорию. Кореновцы орали:

— Вы чего верблюдо́в в коммунизм приперли? Каменный век вам?

— Гля! — отзывались червленовцы. — И вас под водой не оставили? Зря! В светлом быте сачки не требуются.

— Верно. Первые должностя вам. В сменку с верблюдáми встанете на виноградниках пугалами. Только пыляку с себя не смывайте...

Вокруг уже зеленели свои поля, но какая-то пробка, застопорка техники впереди остановила движение. На место ринулась Дарья Тимофеевна с широкой улыбкой, с воткнутой в волоса парой ромашек. Она не знала, изберут — не изберут ее в секретари общего двухбригадного бюро, и шагала с энергией, резко перекачивала и взбрасывала тугой, могучий зад, стянутый блестящей юбкой, басила мужчинам: «Зараз, мальчики, все пробки раскидаем!» Коровы перли в пшеницу, громоздясь друг на друга, взбрасываясь хребтами и рогами; пчелы, пробившиеся из растрясенных ульев, мелькали в воздухе, жалили; какой-то петух мчался по машинам, сея перьями, оскользаясь на выпуклых крышах кабин; молодежь дудела для смеха в оркестровые трубы.

5

Ожидая среди поселка колонну, Люба с помощницей — Еленой Марковной Конкиной — обтягивала кумачом трибуну. Перед Любой возле невыключенного своего «МАЗа» стоял Василь Фрянсков, знатный волго-донской шофер, хватал ее за руки:

— Ты мне законная жена! Регистрированная!

Его машина красовалась не одной-двумя, а шестью выведенными в линию стахановскими звездами. Видать, его натура мужика прекрасно вжилась в рабочее ударничество. Успевал он и на стороне: за одно лишь нынешнее утро на глазах Любы делал третий «левый» рейс, перебрасывал за калымы имущество хуторян.

«Хабарник. Куркуль!» — старалась думать Люба, но это не помогало, она мучилась, оглядывая парня, чью фотографию носила когда-то на груди, с кем по согласию, по доброй воле делила постель. «Господи, а было ли?..» Ведь даже ее руки, ноги были тогда не ее, а какими-то посторонними. Был только стыд, была неловкость, о которой требовалось не говорить. По правде, даже ужаса тогда не было. Ужас появился только потом. Ужас был теперь.

— Есть законы. Ты — Фрянскова. Жена мне! — давя ее пальцы, повторял Василь, чтоб слышали все: и секретарь комсомола Абалченко, и Музыченко Михаил, подкативший с Елиневичем и девчатами-активистками, а главное — Голубов, который спрыгнул с Радиста.

Не имея сил выдернуть пальцы, Люба четко сказала:

— Отрезано, Василь... Да скройся наконец!! — крикнула она, заплавав, поворачиваясь к людям; и девчонки, так же как утром монахиню с Лизаветой, втиснули Василя в кабину, поскольку в часы громовых перестроек было не до психологий, требовалась оперативность.

...Шелковое сельсоветское полотнище, разостланное на ступенях трибуны, крепили к щепетковскому древку. В места старых гвоздей Ва-

лентин Егорович вколачивал новые, Люба натягивала кромку материи. На отдаленной клубной крыше копошились фезеушники, высоко над ними летел баклан; внизу, по дороге, мотыляли на одном велосипеде два пацаненка в трусах, третий бежал сзади, швырял в счастливец горстями пыли, которая летела на него же, и все это виделось Любе из-под рук Валентина Егоровича. Его гимнастерка пахла неотполоснутым мылом. Вероятно, стирал сам, не успел дополоскать. Люба чувствовала: если вдруг он когда-нибудь возьмет ее за плечи, поцелует, повернув к себе, это будет первым в ее жизни поцелуем. Только случится ли? Когда?..

— Пальцы убирай. Молоток ведь! — бросал над ухом Голубов.

Народ торопился, поглядывал на шоссе, откуда ожидалась колонна.

— Точка. Двигаем навстречу! — скомандовал Елиневич.

Все набились в кузов. Музыченко помчал через площадь мимо почетных могил. На более старом, более заветренном холме Конкина алено что-то яркое, сходное с тюльпанами. В дни поминальной Фоминой недели положил кто-то безбожнику Степану пасхальные крашенки; со рока расклевала их, но скорлупа сверкала под солнцем.

Елиневич с Голубовым подняли древко, уперли торцом в округлую, скользкую крышу кабины, ветер с удара развернул полотнище; Музыченко показывал класс, уже мчал через молодые виноградники, а новоселов все не было.

Новоселы стояли в степи. От головы колонны несло:

— Лидка Абалченкова рожает.

— Нашла время!

— Угадалась.

— Всю утру гацала с подолом в зубах — и на!..

Наскакавшись перед Тимуром — самой чистой своей любовью, своей розой-фиалой, — Лидка стала разрешаться в машине, где сообщила вдруг мальчишке-водителю: «Ой, сейчас ребеночек пойдет». Малец тормознул, вылетел из кабины от Лидки, шоферы переволокли ее через кювет, бабы погнали их и прочих мужчин. Развернутое под небом тело Лидки было беспомощно-бесстыдно, глаза упирались сквозь натекающий пот в Марусю Зеленскую и Щепеткову, черная краска с бровей, красная с губ смешивались, и надо всем этим стояла колонна, оседал газ. Гидроузловская тетка-трактористка включила свой гусеничный «С-80», запускала на полные обороты, глуша вой роженицы, не положенный чужим ушам.

Мотор смолк. Над степью заверещал неопытный голос, вплелся в шум мира; и мужчины, перемигнувшись, откидывая полы пиджаков, ползли за поллитровками. Дескать, «раз освятилось место — начинаем жить здесь».

Лавр Кузьмич оглядел курящих вдалеке, сбитых отдельным косяком кавалеров, не однажды знававших Лидкину доброту, вслушался в набирающий звона, веселой наглости плач младенца и отметил:

— Наш, кореновский, орет!..

Под общее гоготанье сверкнули брызги, выбитые ударами ладоней в донца посуды. Вместе с пробками летели капли на разогретую придорожную пшеницу. «Уж ладно, знай нашу милость, пробуй!» А навстречу, видный всем, мчался грузовик, бросал пыль, нес в высоте красное, стреляющее на ветру знамя.



МИХАЙ ВАЦИ

★

ИЗ ПОСЛЕДНЕЙ КНИГИ

С венгерского

Минувшей весной во Вьетнаме, в Ханое, умер венгерский поэт Михай Вацци — лауреат премии Кошута, депутат парламента. Это имя пока что мало известно у нас: подборка в «Новом мире» (№ 4, 1968), еще одна в «Иностранной литературе» (№ 4, 1969), стихотворения в газетах. Но можно высказать уверенность, что по мере того, как стихотворения Вацци будут становиться доступными нашему читателю, будет расти интерес к поэту. Не может не найти встречного отклика его отзывчивая муза, чья редкостная нравственная требовательность придает стихотворениям большую силу и притягательность.

Явления общественной жизни были для Вацци удивительно мощным побудителем поэтической активности, вдохновения, и хотя во многих своих стихотворениях Вацци проявляет себя как тонкий лирик, особые свойства его поэзии порождены его публицистическим темпераментом. Публикуемые ниже стихи — яркое свидетельство этому.

КРАЙ РОДИМЫЙ

Край родимый, прими меня в сердце свое
сыном преданным, верным!

Атила Йожеф.

Сёла твои
на меня осыпали росу,
как подвядшие розы, они в мои руки просились;
хутора, как репы, на штанах повисали —
я не сбрасывал их, уносил.
Хатки твои
пестрели стадами буренок
на откосах времен, на веселых весенних лугах.
Церкви твои,
словно аисты на пересохшем болоте,
брели голенасто, охотясь на мелкие души.
Чистым голосом Тисса свои распевала псалмы,
ей в ответ полыхали хоругви
золотых и серебряных рощ.
Возносилась река в синеву простодушной молитвой,
и деревья — послушная паства —
вполшелеста вторили ей.
Косолапые звери — мосты
в мои ноги носы утыкали;
пароходов тяжелые вздохи,
как корыта, сносила река.
По откосам времен шли угрюмо твои города,
громыхали в строю сапогами.

А из грязи — из грядок
смеялась фиалками глаз
рассада — жилые дома.

Ливни твои,
как колосья, кололи лицо —
сколько раз я сквозь них продирался!
Пел,
как после грозы распевают цветы,
как безумные, дивные, пьяные розы.
Ветры твои
в своих седлах носили меня,
я, вцепившись в косматую гриву,
у грома сидел меж рогов,
градом землю лупил,
струны-молнии дергал
островерхим твоим топольком.

Я был черною тучей твоей,
был потопом твоим, саранчою.
Я был праздником весен твоих —
журавлиным курлычущим клином,
первой песней дрозда, лебяжьим крылом
и гнездом аистиным.
Был тоской по тебе,
взмахом крыльев — защитой твоею —
и ликующим гимном восторга.
Я на солнечной арфе играл,
я был пасхи твоей благовестом,
небосводом, из песен сплетенным,
хороводом на майской росе.
По станку созидания бойким сновал челноком,
на мече революции отблеском молнии был я,
был страданьем твоим,
был киркою твоей,
проповедником веры и правды.

Трактором первым твоим я принес тебе новь:
я прополз сквозь испуг мужиков,
проревел сквозь насмешки господ,
пропахал твои горы и доли,
кровь господскую с потом мужицким я в почву твою замешал,
чтоб они, перегнив, обернулись ее плодородьем,—
и признали меня мужики, облегченье почуяв.

Край родимый!
Ты — юный зеленый росток,
оттого-то и нянчит тебя майский дождь, оттого и лелест.
Ты — грядущего ранняя сладость,
колосок чуть повыше колен, молочные зерна.
Ты — и тоненький саженец, и плодоносное древо
в нежном весеннем цвету, в тяжких осенних плодах.
Дай обнять твои корни, прижаться к стволу,
ветви гладить,
свить гнездо средь твоей изумрудной листвы!

Как люблю я тебя — властелин и покорный слуга!
 Это — как жеребенку скакать по простору стерни,
 это — коже влюбленных в ночи узнавать поцелуи,
 а ягненку — тепло молока.
 Это юным супругам — постель,
 старикам — уголок на припеке.
 Это милая родина, мать,
 это — Венгрия, остров любви,
 сад, доставшийся нам от иных поколений,
 отечество — отчий очаг,
 камелек для гостей, для друзей, для застольной беседы.
 Это — тихая вера и буйная ярость моя,
 это — гибкая юность моя и гранитная зрелость,
 лоно рождений моих,
 отечество — отчий порог
 для солдата, идущего в бой,
 для пропавшего блудного сына.
 Для меня — заповедник любви,
 оправдание прожитых лет,
 нынешних дней разворот и грядущего дивная завязь.

Голову гордо держи!
 Стану оком твоим прозорливым,
 путь твой прозрю: копытами выбитый след,
 твоих сабель клинки, твоих стягов истерзанных шелест.
 Дай увижу, как смерть на полях твоих косит косою,
 как томится под гнетом твоя животворная сила,
 как дымятся кровавые раны твоих революций.
 Родина, бранное поле,
 край родимый в терновом венце!
 Дай прозреть твои славные раны!
 Дай познать это бремя любви,
 не оставь молчаливо погибнуть!
 Будь же оку — слезою, а сердцу —
 топотом диких коней,
 радость твоя да слетит с моих губ завещаньем.
 Край родимый, позволь тебе честно служить,
 удостой этой чести последней.
 Но и сам будь достойным любви твоих верных сынов.

Перевел Дм. Сухарев.

ДУРАЛЕЙ

Ну, полюбуйся, дуралей;
 такая жизнь тебе милей?
 Уже ты выбился из сил,
 язык повесил на плечо —
 чего же хочешь ты еще?
 И кто, скажи, тебя просил,
 чтоб ты слова произносил
 не за себя, а за него?
 Чтоб ты любил сильнее всего —
 его? И заслонял от бед?

Простой вопрос — простой ответ:
 никто, никто тебя не звал,
 никто команды не давал,
 никто подобием свечи
 не назначал светить в ночи.
 Ты сам повел в свои бои
 силенки страстные свои
 и песню им вложил в уста,
 чтоб дрались с пеною у рта.

Еще ответить не забудь:
 а в том нуждался кто-нибудь?
 Ведь ты силенки порастряс
 за тех, которые как раз
 вполне прекрасно, дуралей,
 живут без помощи твоей,
 и века объективный ход
 к желанной цели их ведет.
 Так что же, как не детский сад,
 вот это все: кричать с эстрад,
 в колоннах песни распевать,
 на людях сердце раскрывать,
 рыдать у мира на виду,
 предательств видя череду?
 О, дурень, дурень!

Чуть беда,
 встречаешь всюду и всегда,
 чуть первый выстрел прогремел,
 уже ты лезешь, неумел,
 бежишь на штурм, кричишь «ура»...
 Пехота,

пешка,
 пехтура!
 Для тех, кто чуточку позлей,—
 посмешище!
 О, дуралей!

А как хотелось стать слугой
 прекрасных дел! Какой другой
 мечтою мог еще мечтать
 парнишка тощенький, чья мать
 была прислугой у господ?
 Мечтал слугой прийти в народ —
 учителем или врачом...
 А как, бывало, увлечен
 своей заботой, хмур и рьян,
 ходатайствовал за крестьян!
 А как, бунтарь средь бунтарей,
 из кожи лез, чтоб поскорей
 помочь истории, помочь!
 (Кафе — листовка — хутор — ночь...)
 А помнишь ли девиз тех лет:
 «Завод — кслодец — школа — свет»¹...

¹ Измененная цитата из Аттилы Йожефа («...Так нужна мне Флора, как деревне нужны электрический свет, каменный дом, школы, колодцы»).

Помочь истории!.. Легка ль
 работа — и для мужика ль?
 Когда ему не по нутру,
 он желчной речью на пиру
 пугает праздничных людей;
 он с торбой писаных идей
 привык носиться по стране;
 в словесности он груб вдвойне!
 Он там и тут дает совет,
 он кипятится! А в ответ?
 Прикрикнут там, одернут тут,
 потом совсем рукой махнут:
 пускай шумит нелепый хам,
 мол, дайте срок, уймется сам.
 И ты шумишь день ото дня,
 а корм, выходит, не в коня.
 Но ты шуми, шуми, мужик,
 чтоб всюду слышался твой крик!
 Не важно — слушают иль нет,
 не важно — будет ли ответ,
 важна лишь праведная речь
 и право истину изречь.
 А коль закрыть заставят рот,
 ори сильнее, чтобы тот,
 кто сам не может слов связать,
 твоею глоткой мог сказать!
 Шуми, мужик, и кипятись,
 и кулаками колотись
 в сердца людей, как сердце в грудь!
 А надорвешься — будь что будь,
 протянешь ноги — не жалея,
 дурило,
 дурень,
 дуралей...

МЕТРО

Под грохочущим городом, под ресторанами, под
 современными зданиями, замками, виллами, под
 театральными сценами, барами или соборами,
 под парламентами, министерствами и конторами,
 под витринами универмагов и под бульварами,
 фестивалями песен и демонстрацией мод,
 под конгрессами, банками, биржами, под
 переговорами и компромиссами,
 немудреными радостями и любовными вздохами,
 под поцелуями и под ракетными базами, под
 нестихающим гулом надземных работ
 ты проходишь,
 подземка.
 Ты, прекрасная, ты, под сердцем моим грохочущая,
 моей песне диктуя все ритмы свои,
 в темноте вызревающая, как землетрясенье,

дальний гул, приближающийся ко мне,—
о, ты знаешь грядущего звонкую песню,
вся наполнена светом и тенью уплывающих вдаль деревень,
до удушья заполненная тревогой усталых рабочих
Португалии, Индии, Корсики или Алжира,
обитателей пальмовых хижин и лачуг камышовых,
под сегодняшним днем и грядущим,
под Европой и Азией, под
современною цивилизацией, под
человеческою жизнью
ты проходишь,
подземка.
Так прорви оболочку непрочную прочного этого мира,
прорывайся сквозь слой асфальтированных тротуаров,
сквозь бетон автострады
и сквозь полосы взлетных площадок
и катись по нарядным бульварам,
вверх на землю,
подземка.

Перевел Юрий Левитанский.



Ю. ТРИФОНОВ

★

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ

Повесть

В начале мая ударила тропическая жара, жизнь в городе сделалась невыносимой, номер накалялся с одиннадцати часов и не остывал до рассвета, у меня начались одышки, головокружения, одна ночь была ужасной, и я, промучившись эту ночь бессонницей, стеснением в груди и страхом смерти, к утру смалодушничал и позвонил в Москву. Был девятый час, значит, в Москве седьмой. Я услышал испуганный голос Риты: «Что с тобой?» Через секунду, вспомнив о том, как я себя вел, она заговорила спокойней и суше, даже с ноткой недовольства: зачем звонить в такую рань, если ничего страшного не случилось? Но ведь я позвонил в седьмом часу! После почти двухмесячного молчания. Это что-нибудь да значило. Могло значить — бедствие, желание примириться, раскаянье, тоску, что угодно, и все вместе взятое. Но она тут же успокоилась, когда я сказал: «Ничего страшного, просто жара, тридцать четыре в тени, и я хочу прилететь сегодня или завтра, как достану билет». Она сказала: «Ну, прилетай. У тебя что, давление поднялось?» Я сказал, что не мерил, но, наверное, поднялось. Получил совет принимать раувазан и показаться врачу прежде, чем брать билет. Совет был разумный, я согласился. В общем, была сделана глупость: если уж возвращаться, то безо всяких звонков. Ночной перепуг. Нечто старческое. Вот это меня больше всего и огорчило. Однако улетать отсюда немедленно я решил твердо.

Утром пришел Мансур и отговорил. Мой благодетель сказал, что устроит меня в Тохир, что там чудесно, прохладно, можно спокойно работать, можно отдыхать, как в магометанском раю. При этом Мансур подмигивал, его широкое рябое лицо намекало на что-то, и он делал большим пальцем правой руки загадочные жесты, имеющие целью заинтриговать, но я-то знал, что ему главное — чтоб я не уехал, не закончив работы. Какой уж там магометанский рай! Вода с перебоями, сортир во дворе, а вместо райских гурий — несколько пенсионерок из профсоюзного санатория.

Но не было денег на билет. Вообще — на жизнь. И я не мог улететь.

Я ехал в Тохир на старом, дребезжащем, как разболтанный велосипед, допотопном «ЗИМе». Его где-то списали за допотопность и ветхость; Мансур приобрел этот катафалк для своего учреждения, и я, кажется, догадываюсь почему. Не последнюю роль тут сыграли пыльные, но чрезвычайно просторные сиденья: на них можно было лечь втроем, вчетвером, раскинуть скатерть и даже положить целую тушку джейрана. Я сидел на барском сиденье, дышал горячим ветром, бив-

шим в лицо, ощущая в то же время не истребимую никакими сквозняками пыль и легкий запах духов — катафалк с хорошей скоростью мчался по шоссе на юг, — и представлял себе, как Рита сейчас мечется по Москве, не зная, что предпринять. Мой звонок, конечно, выбил ее из колеи. Матери она не скажет, а Кириллу, может быть, и обмолвится с чувством некоторого торжества: «Звонил отец. По-моему, подбрасывает хвост», на что мудрый сыночек, которому все совершенно все равно, скажет: «А я что говорил? Я ж говорил, что он больше двух месяцев не продержится». Советоваться она побежит к какой-нибудь из подруг, скорей всего к Ларисе. Дружба с Ларисой мне представляется постыдной, несколько раз я пытался открыть Рите глаза, увещевал, требовал, бывал с Ларисой намеренно груб по телефону и даже дома, когда она появлялась, — никакого успеха. Рита не хотела видеть правды и, в своей манере, действовала назло, а Лариса прощала мне самый оскорбительный тон и отвечала лестью и шуточками. Вначале, когда дружба лишь зародилась — дамы познакомились в Ессентуках лет семь назад, — Рита отзывалась о Ларисе с простодушным восторгом. Поразительная женщина, как она умеет жить! Идеальные отношения с мужем, идеальные — со свекровью, идеальные — на работе. При этом мужа рогатит почем зря, свекровь глубочайшим образом презирает, а на работе устраивается так, что ни фига не делает, то берет работу на дом, то у нее свободные дни, то командировки. Работает Лариса вот уже десять лет в каком-то комбинате каким-то инженером по реализации. Тогда еще Рита относилась к этим милым качествам своей приятельницы хоть и с восторгом, но как к чему-то далекому и чужому, поражалась со стороны, иногда даже с юмором и не без тайной горделивости: а я вот так не могу! Тогда она говорила: «Лариса — это не подруга, это — учреждение. Ларисбюро. Все может организовать». Верно, диапазон гигантский: рейтузы шерстяные, билеты на Райкина, путевки, курортные карты, встречи с нужными людьми, до которых обыкновенным смертным просто так не дорваться. Постепенно, однако, учреждение превращалось в подругу. Что-то я упустил, проворонил, и теперь, когда мне, в сущности, все равно, они — закадычайшие подруги. Созданы друг для друга. Сейчас, например, советуются: как быть?

Сидят на кухне в однокомнатной квартирке Ларисы в доме-башне у Сокола, пьют кофе из болгарских чашечек и говорят о моем здоровье. Обе в курсе дела. Два года назад, когда меня шлепнул гипертонический криз — летом, в электричке, ехали на дачу в Хотьково, и вдруг я поплыл, стал задыхаться, выскочили на первой же станции, в медпункт, Рита проявила мужество, — Лариса устроила мне некоего Печенегга А. Е., знаменитость. К нему в клинике стоят по два месяца в очереди, только чтоб записаться, а она притащила его запросто домой, чаем угощала и пластинки мои французские ему крутила, чаровала, как могла. Не знаю уж, что у нее за чары. Но что-то есть. Как женщина она, на мой взгляд, непривлекательна: толста, малоросла, посадка низкая. Но лицо миловидное, круглое, и глаза всегда блестят, лучатся. Этакая протобестия с румяными щечками, не скажешь, что сорок лет. О, господи, при чем тут Лариса? Какое мне дело до Ларисы? С мозгами что-то неладно. От жары, от давления и от — ну, конечно же! — от того, что разваливаюсь на ходу, по болтам, по железкам, как темнофиолетовый катафалк. Не Лариса же виновата в том, что случилось девятнадцатого марта.

Но сейчас Лариса тем не менее дает советы, а Рита — внимает. «Александр Ефимович мне сказал, антр ну, как говорится, что с таким сердцем, как у Геннадия, можно прожить сто лет. Вот так. Чтоб ты знала». — «Я знаю. Он говорил мне то же самое. Но если Геннадий по-

звонил... Ты представляешь, с его самолюбием?» — «Ритуля, до чего ж ты наивна!» — «Я понимаю, но все же...» — «Только не раскисай, пожалуйста. Прилетаешь? Хорошо. Болен? Будем лечить, достанем лекарства. Устроим хорошую больницу, если нужно. Но болезнь, к сожалению, не может зачеркнуть того, что ты натворил, тех страданий, которые ты причинил. За все надо платить, мой дорогой. И пока ты не поймешь... Линия, по-моему, должна быть только одна». — «Ты так считаешь?» — спрашивает Рита. «А как же иначе!» — говорит Лариса, изумляясь и возмущаясь одновременно тем, что могут быть какие-либо сомнения.

За стеною, в комнате, гудит электрический полотер. По случаю воскресенья Цебриков, муж Ларисы, натирает паркет. Делает это так рьяно, с таким увлечением, что можно не опасаться визита на кухню. Вообще Цебриков превосходный хозяин и замечательный муж: чуть выдастся свободная минутка — он тотчас за совок, за веник, начинает мести ковер, а то полощет чашки, пылесосит диван или же затеет маленькую постирушку. Лариса достает из холодильника бутылку армянского, слегка початую, две рюмки из шкафчика. «Витасик! — стучит в стену. — Хочешь рюмку коньяку?» — «Не-ет! — Бодрый крик сквозь шум мотора. — Возьмите лимон, я купил утром! Только ошпарьте кипятком!»

Девятнадцатого марта, когда я вышел на улицу в снег, в полночь, я думал: если уж дома, в своем скворечнике, в том, до чего никому нет дела, кроме меня, я не могу быть независимым, не имею права совершать поступки — тогда я ничтожество, насекомое.

Ну, что такое Тохир? Это шестьдесят километров от города, на юг, где кончается пустыня и начинаются горы. Когда-то местечко принадлежало персам. У некоего хана, как рассказывает Атабалы, была очень красивая дочь Тохира, и в ее честь хан назвал местечко Тохир.

Радио сообщает, что в городе тридцать два. А здесь, верно, как в другой стране: воздух прохладен, дуют ветры, шумят деревья. Когда выйдешь на улицу — она одна в поселке, длинная, полого спускающаяся в тени вековых тополей и чинар, — слышно, как, не умолкая, с чеканным клетотом бежит вода в арыке. Первое время, слыша этот клетот, я невольно оглядывался, ища глазами: казалось, где-то шумит водопад.

От персов в Тохире не осталось ничего, кроме двух жалких глинобитных домиков. Один полуразрушен, другой превращен в сарай: Атабалы держит в нем свои мотыги и грабли. Из окна комнаты я вижу это бывшее шахское владенье из кизяка и думаю: «Also sprach Zarathustra». У меня есть пристрастие к цитатам, словечкам. Из книг я выковыриваю цитаты. «Also, — думаю я с удовольствием, — sprach Zarathustra...» Изумительно точная цитата. Одна из тех, что сопровождает меня всю жизнь. В ней есть философское отношение к жизни, начитанность, интеллигентность, знание языков, а также — ерунда и обман. Ибо знания мои приблизительны, интеллигентность показная, я никогда всерьез не читал Ницше и ничего по-настоящему не знаю ни о Персии, ни о Заратустре, а немецким и французским языками владею лишь в той степени, чтобы в туристской поездке сказать кельнеру в ресторане: «Пожалуйста, еще хлеба!»

Когда-то я дурил голову одной девочке, ей было тринадцать, а мне четырнадцать. Дело происходило в центре Москвы, на улице, которой сейчас не существует. Дома, естественно, тоже. Дом был крепкий пятиэтажный молодец в стиле дешевого модерна начала века. Я помню лестницу, пахнущую кошками и нечистотами, но чугунные тонкие ре-

шетки на полукруглых окнах были изысканны, как рисунки Бердслея. Помню квартиру, запутанную, как аквариум, полный водорослей. Было несколько коридоров, заставленных шкафами до потолка, где можно было проплывать только боком. Девочка сидела на диване, от ее рук шел запах йода, и она читала собственные стихи, на мой взгляд прекрасные. Я же спросил ее: «А ты читала «Also sprach Zarathustra»?» И после этого были какие-то полудетские достижения, основанные на мелком обмане.

Also, я живу в деревянном домике на территории дачи работников культуры. Таких домиков на территории пять, сейчас они все пусты. Сезон начинается в июне. Устав от работы, от сидения на одном месте, я выхожу в сад и веду беседы с директором дачи — он же садовник, он же сторож — Атабалы Кульмамедовым. Милейший человек. Ему лет пятьдесят пять. Он худощав и высок, какими бывают туркмены из племени «теке», в его сухом, черновато-смуглом, небритом и вытянутом, со впалыми щеками лице видна постоянная озабоченность, что не удивительно для человека, у которого орава детей; он очень работающ и одновременно добродушен и, если видит, что мне хочется с ним поболтать, отложит любую работу и будет разговаривать со мной час и два. Он угощает меня чаем и вареньем из алычи, покупает сигареты, если я попрошу, и оказывает другие небольшие услуги. Жена Атабалы тоже текинка, она полная, статная, медленно двигается, ходит в длинном темно-вишневом платье «куйнак». Ее зовут Язгуль. Лицо Язгуль усталое, пыльно-коричневого тона, несколько квадратное, отчего напоминает львиное, все в морщинках непрестанного материнства, а руки, обнаженные до локтей, — молодые, сильные. Наверно, и тело Язгуль с большим животом, низкой тяжелой грудью, едва очерчивающееся под складками «куйнака», — еще сильно, полно жизни. Ей лет сорок шесть, сорок семь. Старшие дети давно женились, живут отдельно. Сейчас здесь, в Тохире, осталось пятеро: три дочери и два сына. Самого младшего зовут Дурдкули. Это важный, медлительный пятилетний человек, от которого не добьешься лишнего слова. Как-то я спросил у него: «Дурдкули, сколько тебе лет?» Он не ответил и, важно повернувшись, побежал прочь, но ладошку с растопыренными пальцами держал сзади на штанах, показывая: пять. Вечно он куда-то пропадает, мать его ищет, и по саду разносится ее крик: «Дурдкули-и!»

Язгуль неграмотна, по-русски говорит очень плохо, но в отличие от многих деревенских туркменок лишена утомительной восточной стеснительности. Разговаривая со мной, с трудом подбирая слова, она спокойно и прямо, не мигая, смотрит на меня своими желтыми неподвижными глазами.

— Язгуль, — спрашиваю я, — у вас есть ножницы?

— Сейчас. — Язгуль величаво кивает и, обращаясь к кому-то в глубь дома, кричит по-туркменски.

Выходит одна из дочерей и, глядя вбок, мимо меня, протягивает ножницы. Иногда я прошу кусок мыла, лампочку, нитку с иглой, чистую тетрадку, клей, и все это находится в доме Язгуль. Разумеется, я стараюсь вручить Язгуль деньги, но она никогда не берет.

— Ай, — говорит она и делает плавный, презрительный жест рукой.

Однажды долго не мог заснуть, думал о Язгуль. Меня это даже слегка напугало. Хотя что может теперь меня напугать? Была какая-то секундная горечь. Человек осознает свой возраст с опозданием. Вроде того, как с изменой жены: все уже всё знают, а ты не догадываешься. Но есть нечто, существующее помимо сознания, какой-то тайный часовой механизм, который вдруг подает сигналы. Помню, как ехал под-

ростком в трамвае и увидел молодую женщину, сидевшую напротив, ничем не примечательную, загорелую, грудастую, с сумкой на коленях, с голыми ногами, которые она скрестила небрежно: то, как я увидел эту сидящую женщину, было для меня внезапно и ново и тоже, как теперь, слегка напугало. Сразу после того, как думал ночью о Язгуль, перекинулся на мысли о себе. Это связано неумолимо: как только задумываюсь о времени, тут же перескакиваю на свою дорогую персону. Кто я, что я и так далее. Иногда думаешь: все ничего, я в порядке. А иногда — тоска. Нет, думаешь, толку не вышло. Всю жизнь делал не то, что хотелось, а то, что делалось, что позволяло жить. А мог бы, наверное. Вот если б тогда, сразу после института, в сорок каком-то... Ну, и так далее, и тому подобное.

Мне уже сорок восемь, а выгляжу еще лет на десять старше. От сидячей жизни и неумеренного курения мое лицо приобрело желтоватый оттенок, одрябло, под глазами у меня мешки, которые темнеют и увеличиваются, когда накануне «расширишь сосуды». Раньше я пил порядочно, называл это «расширить сосуды», теперь же врачи запретили, да и сам чувствую: после трех, а то и двух рюмок сердце колотится неимоверно и задыхаюсь. Курить тоже заставили бросить. Но дело не в том. Совершенно не в том! Можно болеть, можно всю жизнь делать работу не по душе, но нужно ощущать себя человеком. Для этого необходимо единственное — атмосфера простой человечности. Простой, как арифметика. Никто не может выработать это ощущение сам, автономно, оно возникает от других, от близких. Мы не замечаем, как иногда утрачивается это вековечное, истинное: быть близким для близких. Ну, что за ветошь: возлюби ближнего своего? Библейская болтология и идеализм. Но если человек не чувствует близости близких, то, как бы ни был он интеллектуально высок, идейно подкован, он начинает душевно корчиться и задыхаться — не хватает кислорода.

Когда он сказал мне: «А ты чем лучше? Производишь какую-то муру, а твоя совесть молчит?» — я почувствовал, как у меня что-то остановилось в груди, в аорте. Я двигал ртом, ничего не мог произнести, а он смотрел на меня уже не так, как раньше, а с испугом. Наконец я сказал: «Негодяй! На эту муру я тебя поил и кормил семнадцать лет, довел до десятого класса! На эту муру ты покупаешь себе джинсы, пластинки и всякую дрянь! И сам ты дрянь!» И тут я его ударил. Он согнулся и побежал в свою комнату. Я знал, что ему было больно. Но я не чувствовал никакой жалости к нему — хотя я бил его редко, может быть, два или три раза за всю жизнь, — я только чувствовал пустоту и отчаянье, которое эту пустоту заполняло. Фраза, брошенная мне в лицо, была давно придумана, и в ней были ненависть и презрение, накопленные месяцами и, может быть, даже годами. Там был, конечно, не один Кирилл, но и Рита. Так они разговаривают обо мне между собой. И, главное, в этой фразе был я! Я, я! Узнал свои словечки: «производишь муру». Презрение — вещь заразительная. Я никогда не вскипел бы так бурно, если б не почувал в этой фразе себя, свое тайное, как дурная, скрываемая болезнь, презренье к «муре», и к своей собственной тоже.

Но ведь парень ничего этого не знал. Он получил затрещину и убежал ошеломленный, давясь слезами.

Тот день начался с того, что я нашел у Кирилла в комнате в ящике стола — очень хотелось курить, я искал сигареты — маленькую книжечку в кожаном переплете с запором. Заинтересовался, открыл: ключик лежал рядом. Это оказался дневник, начатый Кириллом несколько месяцев назад. Я пробежал по диагонали страниц двадцать, исписанных крупным и жидким, полудетским почерком, — было неловко, но я ска-

зал себе, что с позиций воспитателя имею абсолютное право. Много было ерунды, описание футбольной встречи с другой школой, рассуждения о какой-то научно-фантастической книге современного автора, по-видимому порядочной гадости, взаимоотношения с неким А. и некоей О., описанные многословно и туманно, с многоточиями, и затем запись о праздновании собственного дня рождения. Накануне — подробнейшие прогнозы насчет того, кто что подарит. Эта страсть к получению подарков, которую Кирилл демонстрировал с такой замечательной искренностью и прямоотой, — началась в младенчестве и продолжается до сих пор — всегда меня коробила, но все же я к ней привык. Не новость. То же самое было у Риты. «Посмотрим, на что расшибется папа. Еще летом обещал мне маг, ну не «Грундиг», конечно, на это его не хватит, но хотя бы «Комету». У Серого «Комета» работает клёво, так что я буду вполне satisfied». Развязный тон слегка задел, но я проглотил, читал дальше. Действительно, я подарил парню «Комету». Причем, помню, предвкушал впечатление, какое произведет подарок. Я-то был уверен, что для него это сюрприз, летнее обещание совершенно из меня выветрилось, но он все помнил железно. То-то я удивился: он хоть и благодарил, но как-то спокойно, без восторга.

Допекла меня другая запись: «Приходила кикимора и принесла какой-то жалкий альбомчик для открыток и набор красок. Рубля на три всё вместе. Недаром мама говорит, что старые девы отличаются подозрительностью и жадностью...» Это было сказано о моей сестре и его тетке Наташе. Если б Наташка прочла — брр! Я содрогнулся. Мне захотелось вырвать страницу, чтоб этого страшного никогда не случилось. Но остановился: страница могла понадобиться. В бедной Наташкиной памяти остались наши дни рождения, когда альбом для открыток и краски считались ценностью. Нет, возмутило не то, не торгашеская — в рублях — оценка, а хладнокровное лицемерие. Ведь он, подлец, тетку благодарил, даже чмокнул в щеку, улыбался приветливо и задавал, как нежный племянник, вопросы: «А что у тебя на работе? А когда ты будешь отдыхать?» И в тот же вечер: кикимора...

Я тупо рассматривал книжечку, кожаный переплет, запорчик, ключик (не Наташка ли подарила год назад?) и размышлял: говорить подлецу или промолчать? Решил — молчать. Иметь в виду на крайний случай. Но предчувствовал, что не сдержусь. И верно, в тот же день вечером он канючил билеты на американский джаз. Приставал сначала к матери, потом ко мне. Рита сказала, что она против категорически: во-первых, на другой день была какая-то ответственная контрольная, во-вторых, дорого, два билета по пять рублей, он собирался идти со своей девочкой, и, в-третьих, Рите не нравилась девочка. По мнению Риты, она плохо воспитана и, когда приходит к нам в дом, ведет себя недостаточно скромно. Ну, бог с ней, я этого не замечал и возражал по другим причинам. Тот продолжал ныть со своим обычным упорством. «Па-а...» — нудил он плачущим голосом, как обиженный маленький мальчик. «Билетов нет и достать их невозможно. Всё! Конец! — сказал я. — Иди в свою комнату и занимайся». — «А попросить тетю Наташу?» Я поглядел на него с большим интересом. Голубые глаза смотрели ясно и преданно. Наташа работает в министерстве, иногда достает дефицитные билеты. «Тетю Наташу?» — «Ну да, помнишь, она доставала на Дина Рида?» — «А тебе не будет ли неприятно, — сказал я, чеканя каждое слово, — получать билеты из рук кикиморы?»

Он уставился на меня обалдело. «Какой кикиморы?» — «Но ты ведь называешь тетю Наташу кикиморой?» И тут я увидел, как лицо моего сына мгновенно и на глазах — как светочувствительная бумага — покрывается темной краской, начиная с ушей. «Ты читал дневник? — вскри-

кнул он.— Как же ты мог...» Его лицо исказилось, глаза сузились, я увидел бешеное презрение, и это был его истинный взгляд. Разумеется, я объяснил ему, что не «как же я мог», а «как же он мог» — писать так гнусно о своей тетке, родном человеке, который его искренне любит. Я говорил очень взволнованно. Рита пришла из своей комнаты и стояла молча. Хотя отношения у нас были натянутые, она не пыталась взять сторону сына, который не слушал меня и только повторял, качая головой: «Эх, ты... Эх, ты...» Наверное, ей было неприятно. Но тот не понимал ничего. По-видимому, был сражен тем, что я мог прочесть его глупости по поводу А. и О. Наконец Рита раскрыла рот и произнесла укоризненно: «Кирка, действительно, как ты мог написать такую вещь?»

Я сказал: «А ты не удивляйся. Он написал то, что ты говоришь вслух». Конечно, был возглас протеста, оскорбленное лицо и мудрый, педагогический вывод: «Кирилла я не оправдываю, но тон твоего разговора меня возмущает!» После этого она ушла. А Кириллу только того и нужно. Он сказал, что я всех оскорбляю, и его и мать, что у меня самого нет совести, если я читаю дневники. Но я закричал, что у меня есть право отца. Что пока ему нет восемнадцати, сопляку, я обязан знать, чем он живет, его личную жизнь, всю его подноготную, потому что несу ответственность за него, а после восемнадцати — может катиться на все четыре стороны, пожалуйста, не возражаю. «Я тоже не возражаю», — пробурчал этот наглец. «Но сейчас, когда я вижу подлость, — гремел я, — я не намерен давать тебе потачку!» — «Я тоже, если увижу подлость...» Вот так мы пререкались скандально, базарно — с каждой минутой я все более ощущал свое бессилие, — и потом он сказал фразу «производишь муру», после чего я его ударил, ладонью по губам, и он убежал. Сначала в свою комнату, потом — из дому.

Он исчез на сутки. Это были, наверное, самые кошмарные сутки в моей жизни. Потому что я казнил себя и терзался. И Рита, конечно, не умолкала, но ее беснованья меня не трогали. Я просто отупел от ужаса, от того, что я себе представлял и в чем видел виновником себя, одного себя, несчастного идиота, неврастеника, — подумаешь, распустил руки, назвали сестру кикиморой! Ну и что? Устраивать из-за этого допрос, мордобитие, так унижать и оскорблять парня? В третьем часу ночи дежурный по городу сообщил нам, что в Коптеве найден труп юноши лет семнадцати, зарезан ножом. Не было ли на нашем мальчике меховой шапки и кожаной, безрукавной кацавейки на меху? Меховая шапка была! Была! Но кожаной безрукавной кацавейки не было. Он мог взять кацавейку у товарища. Мог зачем-то поехать в Коптево. Вызвали такси, помчались в Коптево, на другой конец города. В машине Рите сделалось плохо, остановились, я массировал ей сердце, шофер побежал за лекарством — в медпункт Белорусского вокзала. В морг Коптевской больницы я пошел один, Рита осталась в машине. Хотя я был совершенно уверен в том, что наш мальчик не мог очутиться здесь, ноги мои подгибались, когда я спускался по лестнице в узком каменном коридоре. Юноша был черноволос, один глаз открыт, другой заляпан черной кровяной коркой. Мы приехали домой в пятом часу.

В семь он позвонил и сказал, чтоб мы не волновались, что он у девочки на даче, здесь нет телефона, поэтому он не сообщил вовремя, виноват, excuse me. А сейчас звонит со станции. «Ты не пойдешь на контрольную?» — с внезапной и, как обычно, изумившей меня трезвостью спросила Рита. «Нет. Пока!» Это «пока» было сказано залихватски, этакое веселенькое, забубенное — снова живем! — затем шелк, трубка повешена. Рита тихонько плакала, а я сидел в кресле, закрыв глаза, и видел рассветную тьму на станции, будку автомата, промерз-

шую, как погреб, запах гари и низкую, над лесом, луну. Двое бегут на лыжах: сначала по лыжне вдоль путей, потом сворачивают в лес. За калиткой их встречает собака, на даче тепло, в печке горят березовые дрова — впрочем, это из моей юности, на даче у «девочки», наверное, батареи водяного отопления, топят углем или газом. Все было когда-то и у меня. Какие там контрольные! Он про отца-то, раскровенившего губу, и думать забыл...

Моя необходимость отпала. Это было ясно. Ну — деньги, кормежка, билеты на джаз, полезные знакомства, это само собой. Некоторое волнение, когда мне бывает плохо. «Папа, тебе дать что-нибудь? Нет?.. Ну, я побежал! У меня деловая свиданка. Ты лежи, не вставай». А что еще нужно? Один приятель, папаша моего возраста, сказал: «Скажи спасибо, что он тебе не ответил крюком слева в печень. Мой однажды меня нокаутировал». Наверное, все нормально, но я просто не знаю этого: когда я был в возрасте Кирилла, у меня не было ни матери, ни отца. Мать подолгу болела, месяцами в санаториях, отец погиб в тридцать девятом на Карельском перешейке, он был военный инженер. Воспитывала, тянула изо всех сил старшая сестра, Наташка. Из-за меня, может быть, и осталась «кикиморой». Откуда мне знать, нужен ли парню отец, когда у парня рост метр восемьдесят, канадская стрижка, бас, когда он может три часа танцевать без усталости, прочитать за день целиком английский детективный роман и подойти на улице к любой девушке и взять у нее телефон?

Летом оказалось, что отец пока еще нужен. «Папа, там кафедрой руководит такой Меченов, Александр Владимирович, он и экзамен будет принимать. Я точно выяснил, что он друг твоего Рафика. Будь добр...» И он и мать знают, что я не люблю такие дела. Не потому, что чересчур принципиален и мое нравственное чувство возмущается, а потому что — неврастеник, не люблю одолжаться. Что такое Рафик? Они ведь не понимают, что такое Рафик. Им кажется: если говорят «ты», пьют коньяк в «Национале» и изредка бывают вместе в Лужниках или на бегах (Рафик — игрок, болельщик), то, значит, истинные друзья. Рафик дает мне работу. Я от него завишу. Ну, не на сто процентов — я получаю работу еще в восьми местах, — но в значительной степени. Рафик для меня ценная фигура, ферзь. Я в нем заинтересован, а не он во мне.

Вот этого никак нельзя было растолковать Рите. Как всегда, когда начинались какие-нибудь домашние кампании, она впадала в панику и творила глупости. Ей казалось, что Кирилл ни за что не поступит, если не мобилизовать Рафика. Честно говоря, я считал, что он и с Рафиком не поступит. Все-таки он обалдуй, наш парень. С его ростом, басом и такой наружной, молодеватой независимостью он еще какой-то пацан и рохля. Сочинения писал посредственно, почерк ужасен, в математике сосбражал слабо. Газет и журналов не читал вовсе, кроме «Советского спорта» и «Экрана». Английский язык? Ну, разве что. В детстве силой заставляли ходить в английскую группу, а потом пристрастился к detective story. Но ведь только лексика, а в грамматике — как в лесу. Кроме того, наш парень, наглый и очень бойкий на язык дома, совершенно меняется с чужими людьми. Тут он слова не может вымолвить, мямлит, конфузится и вообще производит впечатление Митрофанушки. Где ему выдержать бой на вступительных! Вначале говорили, что двенадцать человек на место, потом оказалось — девять, тоже не ерунда.

Надо было идти к Рафику. Никто не знал, как это мне не по нутру. Рафик из тех людей, которые ни одного доброго дела не могут сделать просто так, без расчета на ответ, без «два пишем, один в уме». Нет, не

вульгарно «товар — товар», а в смысле лобызания своего благородства, вымогательства дружбы, ощущения вечной благодарности и так далее. Все добрые дела Рафика надо хорошо помнить. Это нудно, но ничего не поделаешь, входит в правила игры. А я со своей расхлябанностью и ленью часто нарушал правила, вот же в чем дело. Этого никто не может понять, как ни объясняй. Надо знать Рафика, этого самодовольного сморчка, но, в сущности, добрейшего человека. Незадолго до того, как возникла проблема Меченова, я получил от Рафика большую работу, очень солидную, она заняла у меня потом полгода интенсивнейшего труда — спасибо ему по гроб жизни, thank you very much, как сказал бы наш обалдуй, — но вышло так, что, получив сию работу, я тут же исчез с Рафикова горизонта. Провалился. Схватил и уполз в нору. А где дружба? Где вечная благодарность? Вместо этого вдруг явлюсь с новой просьбой. Я отлынивал, искал другие возможности, но ничего не находилось, Рита и Кирилл наседали на меня — самым недопустимым было, конечно, то, что Кирилл посвящался во все секретные предприятия! Я много раз делал за это выговор Рите — и кончилось тем, что Рита, потеряв терпение, втайне от меня сама позвонила Рафику и встретила с ним.

Помню, как однажды в июне она пришла вечером какая-то молчаливо-напряженная, с пятнами на лице — эти аллергические пятна всегда выдавали ее возбуждение — и вдруг объявила, что только что видела Рафика, все ему сказала и он все сделает. Она была на бегах, выиграла полтора рубля.

Оказывается, у Рафика был игровой день, он назначил встречу у метро «Динамо», откуда, разговаривая, дошли до ипподрома, и там уж она решила — «чтоб сделать ему приятное, потому что он сказал, что новичкам всегда везет» — пойти с ним на бега. Мудрейший шаг! Вначале он был сух, а расстались друзьями. Во-первых, он действительно выиграл. А во-вторых, она ему понравилась, это точно. Эге, матушка, да не пьяна ли ты? Нет, пила лишь воду, съела мороженое и два апельсина, угощал Рафик в буфете, но, в самом деле, она как будто пьяна. Потому что все замечательно удалось. Жалко, что он такой страшненький, такой уродушка-квазимодушка. Познакомил ее с какими-то дядьками, они целовали ей руку и говорили «мадам». Меченов его старый приятель, они из одного города, так что — дело в шляпе...

Кирилл ликовал: «Мать, ты гений!» Я испытывал неясное чувство. Конечно, хорошо, что дело сделано и, может быть, поможет нашему обалдую, но — я представлял себе выражение лица Рафика, когда они встретились, и Рита, покрываясь аллергической сыпью от волнения, бормотала первые слова. «Он был сух!» Слабо сказано. Надо знать Рафика. Он тут же решил, что я подослал ее, и, наверное, возмутился: «Какова скотина! Почему я должен без конца делать ему одолжения?» Но потом она его как-то размочила. Никаких подозрений, ни намека на ревность я не испытывал. Эти студенческие чувства теперь посещали меня довольно редко, так же, например, как желание поиграть в волейбол — у Риты было, кажется, то же самое, — и, кроме того, известно, что Рафик женщинами не интересуется. Всю эту историю я отнес к разряду Рафиковых чудачеств. Но там были еще какие-то дядьки, целовавшие ей руку и говорившие «мадам». И почему надо было горчать до последнего заезда?

В результате всего, как в сложной задаче, где много различных действий, делений, умножений и извлечений корня, осталось одно: чувство неловкости и возникшее отсюда раздражение.

Я смотрел на Риту, сидевшую в небрежной позе, положив ногу на ногу, на диване с сигаретой в зубах и с еще не отошедшими пятнами

на шею и старался увидеть ее так, как ее видели Рафик и дядьки на ипподроме. Рита относится к тем женщинам, которые выглядят явно моложе своих сорока. Сорок-то лет видны, но одновременно видно и то, что выглядит моложе. Она хорошего роста, статная, длинноногая, правда, если отпустить все крючочки, стать заметно деформируется. Но это не беда. Она еще вполне ничего. Когда-то, лет двадцать назад, когда я отбил ее у одного молодого человека, сына гомеопата, она была красоткой. Ради нее я оставил первую жену, сына (он геолог, где-то тут, в Средней Азии), ради нее тяжело ссорился с матерью, которая была против развода. Просто мать, при ее бесконечной доброте, должна была кого-то жалеть. Ей делалось больно, когда кому-то причинялась боль. Потом-то она подружилась с Ритой. И жалела ее, когда ей казалось, что я ее обижаю. Далеко же это ушло. Давно нет ни матери, ни той Риты, которая обижалась, ни моей любви, ни нашей старой квартиры на Житной, коммунальной толчеи, тесного дивана, криков Кирки по утрам и знобящего чувства, что — все впереди, все еще случится, произойдет. Не надо было Рите бросать работу. Не надо было сооружать этот кооперативный храм в шестьдесят два метра жилой площади, не считая кладовки.

И вот я смотрел на женщину с красивыми длинными ногами, в красивом шерстяном платье, с красивым и несколько бледным лицом, на котором читались намеки на увядание, но и прекрасная зрелость, вегетативный невроз, холецистит, любовь к сладкой пище, ежегодные морские купанья, и говорил ей спокойно: «Ты ему понравилась? Дело плохо. Это должно тебя насторожить». И она отвечала так же спокойно: «Очень остроумно!» Не надо было жить вместе двадцать лет. Also sprach Zagathustra: это слишком долго. Двадцать лет, шутка ли! За двадцать лет редеют леса, оскудевает почва. Самый лучший дом требует ремонта. Турбины выходят из строя. А каких гигантских успехов достигает наука за двадцать лет, страшно подумать! Происходят перевороты во всех областях научных знаний. Перестраиваются города. Октябрьская площадь, рядом с которой мы жили когда-то, совершенно изменила облик. Не говоря уж о том, что возникли новые африканские государства. Двадцать лет! Срок, не оставляющий надежд.

Я перевожу громадную поэму моего друга Мансура, три тысячи строк. Называется «Золотой колокольчик». Колокольчик, как можно догадаться, это прозвище девушки: односельчане прозвали ее так за звонкий, мелодичный голосок. Поэма будет напечатана здесь, в Москве и в Минске. Не знаю, почему в Минске. Это уж его дело. Я спешу, мне нужны деньги, и мне надо уехать отсюда не позднее десятого июня. Нынешняя жара временна, она может ослабеть, смениться дождем, но с июня жара ляжет прочно, чугуном — не даст поблажки ни облачку, ни капле дождя. Я делаю по тридцать строк в день, это много. Вдохновения не жду: в восемь утра выпиваю пиалушку чая, принесенного с вечера в термосе, сижу за столом до двух, в два обедаю в паршивенькой чайхане возле почты и с трех сижу до пяти или шести, когда начинает давить в затылке и мухи мелькают перед глазами. А что делать? Переводить стихи — моя профессия. Больше я ничего не умею. перевожу я с подстрочника. Практически могу переводить со всех языков мира, кроме двух, которые немного знаю — немецкого и английского, — но тут у меня не хватает духу или, может быть, совести. Слава мне не нужна, это уже было (не слава, разумеется, а нужда в ней).

Говорят, скоро, числа двадцатого, откроется сезон в летнем ресторане «Чинар». и жизнь моя станет легче. На днях, доработавшись до черных мушек, я пошел в чайхану — это обыкновенный трактир, по-

нашему «павильон» или «забегаловка», где, кроме водки, воды, пива, крепленого красного вина, крутых яиц, лука, пампушек, рыбных консервов, бывают иногда чай и плов из мяса неопределенного происхождения, боюсь, что верблюжьего,— и, чтоб ободриться, выпил рюмки две дрянной ашхабадской водки. Пил с удовольствием, но с некоторым страхом. И она на меня странным образом подействовала. Не то чтобы я опьянел — сказалось, должно быть, долгое воздержание,— голова работала ясно, все было в норме, кроме одного пункта, как в мире Кафки, где все достоверно, кроме какого-нибудь одного обстоятельства: того, например, что Замза превратился в насекомое. Мне представилось, что дрянная ашхабадская водка, стоявшая на моем столе, есть подстрочник, который я должен перевести четырехстопным амфибрахией на русский язык, и тогда это будет бутылка «столичной». В тот день я перебросал сорок с лишним строк. Ночью проснулся от тяжелого знакомого сна — моей обычной лестницы. Будто поднимаюсь по каким-то бесконечным ступеням, каждый шаг все тяжелей, все невозможней, не хватает дыхания — и когда уж, кажется, конец, асфиксия,— вдруг просыпаюсь. Болело сердце, стал искать воды. Термос был пуст: вчера выхлестал весь чай после водки. Вот болван! Ведь знал же, что ночью может понадобится питье.

Оделся и вышел в сад. Была отличная ночь. Светила луна. Давно я не видел такой ночи. Две чинары стояли, как две скалы, вокруг них конусом легла черная непроглядность, зато акации, туя и разные другие более мелкие кусты и деревья светло серебрились под светом луны и шевелились, журчали, дышали. От их дыхания воздух был сладок. Его можно было пить. Я прошел несколько шагов на слабых ногах, сел на скамейку и пил воздух. Ну и ночь! Самая подходящая для смерти. Думал о том, что могу умереть. Мыслей о смерти не бывает. Мысли о смерти — это страх. Я сидел на скамейке, спиной к теплему стволу дерева, и беспорядочно думал: позвонить, Мансур, он приходит в девять, машину, кардиограмму, рублей пятнадцать, при инфаркте боль гораздо сильнее, удар топора в грудь. Ах, какой идиот — пил водку. Потом, когда боль утихла и дыхание стало ровней — раза два удалось глубоко вздохнуть,— я подумал о том, что это было бы слишком бессмысленно. Ведь должен же быть какой-то смысл. Какой-то итог. И уж после того. Теперь мои мысли стали спокойнее.

Когда боль исчезает, думать о смерти легче. Где-то далеко на горной дороге шла машина — в тишине отчетливо слышалось, как шофер сбавлял газ на поворотах.

Нет, смерть меня не пугала. (Боль прошла совершенно, я поднялся со скамейки и двинулся по аллее. Хотелось дойти до колодца и набрать в кувшин воду на всякий случай.) Конечно, обидно: маловато успел. Со стороны может показаться, что вовсе не так. Я и то, и это, пятое, десятое. Но уж я-то знаю, что чепуха. Задумано было иначе. Хотя как же иначе? Что я мог сделать иначе? Мальчишкой попал на фронт, был ранен под Ленинградом, болел, лечился, потом хватал и грабастал жизнь в веселых послевоенных вузах, женился рано — от той же жадности. И все было так: одно хватал, что попроще, а другое — откладывал на потом, на когда-нибудь. И то, что откладывалось, постепенно исчезало куда-то, вытекало, как теплый воздух из дома, но этого никто не замечал, кроме меня. Да и я-то замечал редко, когда-нибудь ночью, в бессонницу. А теперь уж некогда. Времени не осталось. И другое: нет сил. И еще третье: каждый человек достоин своей судьбы. Так, успокоенный, рассуждал я о своей жизни, подходя к дому Атабалы, где во дворике был колодец.

Какие-то люди разговаривали в темноте. Я подошел, увидел Ата-

балы и коротконового уродца с большой головой — Назара. Этого Назара я встречал в чайхане. Он ростом с десятилетнего мальчика, и, когда я подходил к дому Атабалы, мне показалось вначале, что Атабалы разговаривает с мальчиком.

Назар хрипло вскрикивал, вырываясь из рук Атабалы. Они боролись при свете луны. Атабалы тихонько хихикал.

— Ай! Эй! — давясь смехом, говорил Атабалы. — К женщинам хочет пойти, такой фулюган!

Я подошел к колодцу и начал качать, наклоняя и поднимая деревянную ручку. Воды не было долго. Говорили, что когда-то это был прекрасный колодец, но в прошлом году случилось землетрясение, где-то сместилась почва, и воду заклинило. Наконец потекло очень тонкой струйкой. Атабалы и Назар продолжали вполголоса браниться.

— Нет! — говорил Атабалы. — Фулюган, иди спать!

В соседнем домике, где жили в сезон отдыхающие, а теперь в трех комнатах жили несколько женщин, служащих санатория и официанток, хлопнула рама, и женский голос строго сказал:

— Пошел, пошел домой, Назарка! Рожа твоя бесстыжая! У-ух!

Снова хлопнула рама. Уродец покачался, двигая большой головой из стороны в сторону, как качается тяжелый подсолнух, потом повернулся молча и ушел куда-то.

Атабалы сказал:

— К Вале приходил. Жениться хочет.

— На Вале?

— Да... — Атабалы зевал. — Ай, час ночи... Вот фулюган, час ночи, всех будил.

Валя была рослая, сочная, лет двадцати шести. Работала медсестрой в санатории, и я два раза просил ее измерить мне давление. По утрам видел, как она бегала, сверкая икрами, из своего домика в другой конец сада.

Я спросил:

— И она пойдет за такого? — Я показал рукой: аршин от земли.

— Э, ты не смотри что маленький. Он сильный. Бить может любого-каждого, хоть вас, хоть меня. Сразу кидает. От него падаешь, как все равно с ишака — головой в землю. С верблюда падаешь боком, а с ишака — головой... Да, такой фулюган, черт. Пьяница он. Его бабы жалеют.

Я побрел назад, к своему домику — он стоял на отшибе, в глубине сада. Была смутная ночная радость. Именно н о ч н а я, неясная. Утром ничего не поймешь: почему? А ночью вдруг желание жить и радость от этого воздуха, шелестенья. Хорошо, думал я, что карлики с большими головами хотят жениться и пьют вино, а женщины смеются над ними, отворив окна в сад, и хорошо, что люди выходят ночью из дома и разговаривают. У меня ничего не болело. Я шел легко. Услышал, как на пустой веранде звонит телефон. Кого это в такой час? В домике с верандой никто не жил. Летом сюда приезжает начальство, оно и провело телефон, который при мне никогда не звонил.

Я должен был спать, ничего не слышать. Чистая случайность, что я проходил мимо. Но звонили, может быть, как раз мне. Звонила, может быть, Рита. Она узнала, что я в Тохире, через Мансура, а его телефон через министерство. Сейчас там десять часов, еще не поздно. Ведь после моего звонка прошло шесть дней! Я снял трубку. Спрашивали какого-то Садыкова. Не приехал ли Садыков. Говорила женщина, и голос ее дрожал.

— Не знаю, — сказал я. — Может быть, и приехал.

— Наверное, нет, если вы не знаете. Передайте же... — голос женщины задышался, — чтобы он непременно, сразу же позвонил домой! Непременно, непременно позвонил бы домой!

Рафик что-то сделал, чем-то помог. Хотя кто его знает? Он говорил, что сделал и помог, но проверить-то невозможно. Предприятие закончилось успешно, так что он имел основания приписывать успех себе, но мне почему-то казалось, что он не сказал Меченову ни слова. Кирилл говорил, что Меченов гонял его зверски, не отпускал тридцать минут, и «четверка» заработана честно. Клялся, что в глазах Меченова не мелькнуло ни искры интереса, когда он подошел к столу и назвал фамилию. А Рафик каждый раз потом при встрече спрашивал: «Как там мой подопечный?» Не важно, дело сделано. Потом была Лидия Николаевна, старушка дворянского рода, готовившая по-английски, и потом появился Гартвиг, Герасим Иванович. Скоро он стал Герой. Привела его Лариса, рекомендовав как одного из лучших в Москве репетиторов по истории. Кирилл занимался с Гартвигом несколько раз, за что была уплачена солидная сумма — рублей, кажется, сорок или сорок пять. Если б не Гартвиг... Да что уж теперь говорить!

Гартвиг — человек особый. В чем-то я ему завидовал, за что-то глубоко его презирал и даже, наверное, ненавидел. Но, разумеется, и отдавал ему должное: свой предмет он знает великислечно, и, главное, знает то, что нужно знать, и Кирилла натаскал здорово. Кроме того, его приятель оказался секретарем приемной комиссии. И этого секретаря, малоприятного господина с рыжей разночинской бородкой, удалось заполучить однажды на дачу к нашим знакомым в Снегири — там он надрался до положения риз, всем надоел, хозяйева еле вытерпели, на силу отправили с попутной машиной в Москву, но впоследствии это сыграло нужную роль. Все было хорошо, большое мерси и до свиданья. Но Гартвиг не исчез из нашей жизни, как другие. Наоборот, он стал нам близок и дорог, как никто. Кирилл говорил: «Мы едем с Герой на водохранилище», «Гера сказал, что фильм т у ф т а — я не пойду».

Рита говорила: «Гера достал билеты на Глюка. Ты, конечно, пас?» Гартвиг был такой человек: если он шел по улице и где-то раздавалась музыка, он должен был непременно прислушаться и объявить: «Ага, вот и товарищ Бах!», или: «Кажется, мы имеем товарища Моцарта!», или еще как-нибудь в таком же дурацком стиле. Рита при этом краснела и обращалась ко мне с укором: «Ну почему ты так невежествен в музыке? Ведь это твой большой недостаток». Она могла сказать даже более агрессивно: «Нет, ты не можешь считаться в полном смысле интеллигентом!» А я и не считаю себя таковым.

Но вовсе не потому, что я не корифей музыковедения.

Да, серьезной музыки я не понимаю, устаю от нее, а вот шлягеры и всякие джазовые мотивчики доставляют мне удовольствие. Даже сам их насвистываю. А на симфонической — начинаю дремать или думать о делах, работе, всякой ерунде. Что я могу поделать? Да, недостаток, изъян, прореха духовной культуры, но зачем же постоянно меня этим корить? Боже мой, сама по себе любовь к музыке ничего не говорит о человеке! Не определяет человеческого. Змеи тоже любят музыку. Есть целые нации, которые можно назвать немзыкальными, например англичане, и, однако... Так что не надо преувеличивать и чересчур возноситься. Можно любить музыку и быть циником.

В таком духе я раза два давал Рите отпор в присутствии Гартвига, причем нарочно нажимал на «цинизм». Я-то сразу понял, что за птица этот Гера. Он помалкивал или иронически ухмылялся, как лицо заинтересованное, и только однажды позволил себе раскрыть рот, якобы шут-

ливо и деликатно, но с достаточным ядом внутри. «Вы не с той стороны пытаетесь воздействовать на Геннадия Сергеевича,—обратился он к Рите.— Надо не упрекать его за отсутствие интереса к музыке, а, так сказать, жалеть, сострадать ему!» И рассказал некстати анекдот про Сократа и грубого человека, оскорбившего Сократа на улице. Я заметил: «Герасим Иванович, по-моему, так не принято в лучших домах Филадельфии: учить жену, как она должна вести себя с мужем!» Он засмеялся и сказал, что это, мол, шутка. Но я не желал все сводить на шутку, нарочно принял твердый, суровый тон, и ему волей-неволей пришлось извиниться. При этом я заметил, как он и Рита переглянулись.

Гартвига я виню не за то, что он, воспользовавшись праздностью и манерой развешивать уши моей жены, а также моим легкомыслием и душевной усталостью и еще тем, что мы чересчур много недель в году были с ней в ссоре, без труда подчинил Риту какой-то своей власти. Я не принадлежу к идиотическим ревнивцам. Может быть, между ними ничего и не было. Не знаю, не хочу знать. Дело не в этом. Намекала Лариса — что само по себе показалось мне отвратительным, даже более отвратительным, чем то, на что был намек. Мы с Ритой давно и негласно установили некий кодекс взаимной независимости. Вернее, так: внутренне мы допускали полную независимость каждого. Но когда лучшая подруга намекает мужу на свою лучшую подругу! Мне было жаль Риту. Но дело совершенно не в этом. Я виню Гартвига за то, что он внес в наш дом — на почву, правда, достаточно благоприятную — свой цинизм, свою манеру все переоценивать, переворачивать, ничем не дорожить.

Я сам не люблю голубоглазых оптимистов и всегда смотрел и смотрю на мир, на людей критически, но такое отношение к окружающим, как у Гартвига — тайная насмешливость надо всем и вся,— приводит меня в ярость. Я становлюсь бешеным ортодоксом, мне хочется взять большую дубину и лупить по этой даровитой головке. Да, он способный тип, я знаю. Он кандидат наук, занимает хорошую должность в научном институте, что-то пишет, где-то преподает — устроен преотлично. О, господи, но отчего же тогда? Ведь столько людей не устроены в этой жизни. Стремятся чего-то достичь, но не могут, не в силах. Вот тут-то и скрыт секрет Гартвига. С легкостью достигает он того, из-за чего другие бьются всю жизнь, и, добившись, может наплевать на свое достижение. Говорят, ему предлагали место заместителя директора в институте, но он отказался. А сколько кругом людей больных, одиноких, несчастных по разным причинам, умирающих в раннем возрасте! Нет, это здоровяк, каких мало. Ему тридцать семь лет, он смугл, жилист, на лыжах бегают, как эскимос, а на велосипеде гоняет по шоссе — его любимое занятие,— как истинный гонщик. Своей короткой стрижкой и черной бородкой смахивает на француза. (Говорит, что мать гречанка, а отец из обрусевших немцев.)

Одевается как попало. Чаще всего он появлялся в нашем доме в каких-то полутуристских-полуспортивных обносках, в лыжных штанах, вылинявших куртках, кедах. Конечно, когда дело доходило до Глюка, он наряжался — тоже не бог весть во что: дешевенькое, купленное с ходу в универмаге. Эта часть жизни не интересовала его напрочь. Несколько раз он приходил на урок к Кириллу небритый. Однажды явился босой. По словам Ларисы, он был дважды женат на ярких женщинах, на кинозвезде и на цыганке из театра «Ромэн», танцовщице, но разошелся с обеими и сейчас живет с некоей Эсфирью, врачом, страшенькой, но очень доброй, она разрешает ему все его чудеса. Мне он сказал: «Красивые женщины меня уже не волнуют. Этот этап я, слава богу, прошел». Не знаю, что тут было: бравада или неуклюжее заверение в том, чтобы я не беспокоился. Я, разумеется, принял последнее, почувствовал себя

задетым и сказал грубо: «Но вы-то красивых женщин когда-нибудь волновали?» — «Мно-гаж-ды!» Вот такой фанфарон.

И при всем фанфаронстве — интеллигентнейший господин. Знает четыре языка, читает латинских авторов в подлиннике. Занимается он ранним средневековьем, историей религии. Фома Аквинский, Дунс Скот и так далее. Рита заинтересовалась — от безделья, голова-то праздная — всей этой муровиной, и иногда за ужином разыгрывались схоластические диспуты. Например, так: что более ценно — воля или разум? Рита стояла на точке зрения Фомы Аквинского — за примат разума. Приводила примеры из собственного житейского опыта. Она, кстати, считает себя в высшей степени homo sapiens. Кирилл был на стороне Дунс Скота: защищал волюнтаризм. Он говорил: «Если б не моя железная воля, разве я поступил бы в институт?»

Я их вышучивал, но на Риту это действовало мало. Она стала добывать, где могла, книги в затрепанных, мусорных переплетах — мистические, религиозные. Черт знает откуда она их выкапывала. В букинистических магазинах этот хлам, по-моему, не продается. Доставала с рук, на черном рынке. В доме стали мельтешить бородатые и очкастые юнцы, книжные маклеры, которые наряду с редкой книгой могли торгануть и какой-нибудь дефицитной ветошью — например, белыми водолазками из ГУМа с наценкой пять рублей. Милая публика! Раза два я вытурял их из дома. Рита вставала на защиту, винила меня в деспотизме и в жадности. (Все эти Леонтьевы, Бердяевы или, как я говорил, б е л и б е р д я е в ы стоили порядочных денег, которых я дать не мог, ибо в последние полтора года мои заработки по ряду причин уменьшились.) Но ничто не могло остановить ее: она выкручивала из хозяйственных сумм, меняла, продавала свои тряпки. В общем, тут было не увлечение, а страсть и даже, быть может, болезнь. Но в основе всего лежало не подлинное чувство, а ложное, суетное. В этом я был глубоко убежден. Однажды так ей и сказал.

Я тревожился за Кирилла — первый курс! — и вся эта болтология, валявшаяся там и сям в квартире, могла сбить его с толку. Честно говоря, я не столь тревожился, сколь в ы с к а з ы в а л тревогу, но Рита резонно заметила, что Кирилла эти книги интересуют еще меньше, чем вузовские учебники. Тогда я повысил голос: «Прекрасно! И ты, вместо того чтобы изменить такое положение, отвлечь парня от девочек и магов и привлечь к учебникам, сама занимаешься черт знает чем». — «Я ничем дурным не занимаюсь, мое чтение никого не касается, и вообще — что ты сходишь с ума?» Я сказал, что мне все это глубоко антипатично. Что ее псевдорелигиозность есть лицемерие и обман, что первой заповедью всякой религии — и уж тем более веры Христовой — есть любовь к ближним. А где она? Равнодушие, бегство из дома, книжное тщеславие. Муж заброшен, сын растет, как трава. И — климакс, матушка, климакс. Не Фома Аквинский, а — пешие прогулки и холодные обтирания по утрам.

Но и такие прямые удары не действовали. Наше отчуждение и взаимная холодность все увеличивались. Несколько раз, прочитав через силу какие-то из старых книжонок, вернее, не прочитав, а перелистав, потому что дочитать до конца ни одну из этих книг я не мог, слишком мудрено, ей-богу, через пять страниц я переставал понимать, о чем речь, а я ведь не самый большой кретин на свете, — я пытался затеять спор, прочистить ей мозги: ведь все это так безумно далеко от нас, от наших истинных сложностей и загадок! Писано красиво и когда-то, может быть, волновало, мучило, угадывались прозрения, читались пророческие слова на пиру Валтасара, но ничего ведь не угадалось, не прозрелось, и чтение таких книг теперь — ненужная роскошь, все равно что держать дома

арабского скакуна. Куда поеду на арабском скакуне? В молочную бутылки сдавать? Или в прачечную за бельем? Не нужна мне сия высокоумность, абсолютно не нужна, а те, кто говорит, что им нужна, — мошенники. Однажды был такой разговор с Ритой: «Ну, что ты вычитала в этой книге? Чем обогатилась?» В тот день она чем-то особенно меня раздражала, я так и рвался в бой. Рита сидела в своем любимом кресле под торшером, курила сигарету и только что отговорила с кем-то битый час по телефону. Затянувшись дымом и глядя на меня с необычной внимательностью, она сказала: «Чем обогатилась? Хотя бы тем, что лучше узнала твой характер. Как раз сегодня читала у одного автора о вечно бабьем в русской душе». Я расхохотался: «Вот здорово! Ну, ну, поподробней». Она стала молотить вздор насчет того, что я чему-то покорствую, подчиняюсь обстоятельствам — «среда заедает», — что то, чем я занимаюсь, есть адаптация к условиям существования и я понимаю это умом, но не имею сил восстать против собственного образа жизни. По причине женственной слабости характера. И еще потому, что благодаря дуализму моей души во мне отсутствует нравственная самодисциплина. Сначала я слушал усмехаясь, потом разозлился.

«А ты, матушка, неблагодарна, — сказал я. — Я изнуряю мозг, занимаюсь черной работой, перевожу всех подряд — для чего? Для того, чтобы ты сидела в кресле, курила «кент» и говорила мне гадости? Если тебя так точит нравственное чувство, почему бы не пойти работать в наше домоуправление — там нужен экономист с окладом восемьдесят рублей...» «Кажется, это поперек куском хлеба?» — спросила она. Я махнул рукой и ушел. Не то что объясниться, даже поспорить по-настоящему стало трудно.

Зато с Гартвигом, когда тот появлялся у нас, была оживлена, многословна, хохотала, спорила, и мне кое-что перепало: при нем она делалась со мной приветлива и даже назвала как-то раз Геночкой, от чего я давно отвык. Началось новое увлечение: прогулки пешие, на велосипеде, на лыжах — с Гартвигом. Я сам рекомендовал когда-то. Сначала они меня приглашали. Я раза два увязывался, но было как-то тягостно и тяжело. Гартвиг в шортах — даже в октябре, подлец, щеголял черными волосатыми ногами! — скакал по кочкам, как лось. Рита, задыхаясь, поспешала за ним, а мне такая гонка была не по нраву. Бог с ними, оставил их и себя на произвол судьбы.

То они в Загорск, то в Суздаль, то на Святые Горы. И все поближе к монахам, к старине. То где-то под Москвой нашли церквушку, познакомились с попом, и тот разрешал Гартвигу забираться на колокольню и звонить. И Кирилла таскали туда, тоже звонил. Все это, конечно, было вздором, причудами полусладкой жизни и меня не так смущало или коробило, как попросту удивляло. Ведь была когда-то активной профсоюзницей в институте коммунального хозяйства!

Нет, конечно, никакой верой в настоящем смысле тут и не пахло, а вот так: томленье духа и катастрофическое безделье. И даже, пожалуй, мода. Все эти книжонки, монастыри, путешествия по «святым местам» на собственных «Волгах» сделались модой и оттого пошлостью. Раньше все скопом на Рижское взморье валили, а нынче — по монастырям. Ах, иконостас! Ах, какой нам дед встретился в одной деревеньке! А самовары? Иконы? Как придешь к какому-нибудь провизору или художнику, зарабатывающему на хлеб рисованьем агитплакатиков, обязательно у них — иконы торчат, и чай пьют из самовара, настоящего тульского, отысканного за большие деньги в комиссионке.

Все, друзья мои, благородно, прекрасно, любите красоту, взыскуйте града, а только вот — с любовью к ближнему как? Бабушку свою старенькую, которая в деревне горбатится, не забыли? Жену в тяжкую ми-

нугу не бросите или, наоборот, мужа? А то ведь старичок с бородой, который на черной доске в столовой висит, над сервантом, одно велит: добро делайте. Ну, и как с ним, с добром?

Нельзя ей было с работы уходить. Потому что если нет людей вокруг — и добро делать некому. Впрочем, и зло тоже. Все равно нельзя.

Но Гартвиг — то особь статья. О каком уж добре речь! Главное, что сидело в нем, в сердцевине, — взор ледяной, изучающий. Кроме древностей, отцов церкви, интересовался он и современными делами: писал что-то по вопросам социологии. Связывал как-то старину и современность, не знаю уж как. Он и веру, и древность, красоту, музыку, людей кругом себя трогал с одинаковым ледяным рвением — изучал. Не просто узнавал, а и з у ч а л, то есть до последней капли, до дна. И куда другие заглянуть не решатся, он заглянет, не смутится ничем. Это я сразу в нем почувствовал. Истинный ученый, такие только и добиваются и творят. Но — подалее от них. И женщина для него экспонат, и добрые знакомые — объекты для изучения вроде какого-нибудь мураша или лягушки.

Раза два я на себе это почуял всей кожей, и надо сказать: приятно мало. Сидели вдвоем в ожидании Риты, разговаривали, он больше спрашивал, причем почтительно, с уважением и, я бы даже сказал, искательство, как мог бы спрашивать ученик у профессора, а я отвечал. И, растаявши от его почтительности, отвечал охотно и с подробностями. Интересовался он разными пустяками моего быта и моей работы: когда встаю, какие газеты читаю, пользуюсь ли словарем синонимов, каковы мои отношения с редакторами и авторами, которых перевожу? Еще что-то о кино, о том, как отдыхаю, куда люблю ездить.

Я, вообще человек бесхитростный, стал разъяснять ничтоже сумняся, давать мудрые советы, а потом меня вдруг ударило: господи, да ведь он меня и з у ч а е т! Он же на меня досье заводит! Нет, не в вульгарном смысле, а именно — в научном, для каких-то своих специальных работ и целей. Для своего домашнего «хобби». Придет домой и настроит целую тетрадь. «Такой-то, такой-то, 48 лет. Тип: средний интеллигент конца шестидесятых годов. Род: литературный пролетарий. Вид: из неудачников, умеющих устраиваться. Встает в восемь утра. Газеты читает после завтрака, состоящего обычно из яйца, сваренного «в мешочек», ломтика хлеба с сыром и большой чашки чрезвычайно крепкого чая. Любит пить чай всегда из одной, так называемой л ю б и м о й чашки. Это крупных размеров посуда вместимостью в полтора стакана, расписная, темно-красная с золотом, дулевского завода. В газетах наибольшее впечатление производят статьи, касающиеся работы коллег по перу, хвалебные или ругательные. Особенно ругательные. Поднимают настроение. Хочется работать...»

Я сказал, что он расспрашивает меня, как доктор — пациента. Не рассказать ли, каков у меня стул? И как я исполняю супружеские обязанности? Он серьезно сказал: это было бы интересно! Затем заметил, что действительно в разговорах с людьми старается получать как можно больше информации. Ничего другого не остается. Ведь наши обыкновенные беседы, сказал он, не выходят за рамки пустой болтовни, передачи слухов, анекдотов и перемывания косточек общих знакомых. Конечно, не преминул блеснуть ученостью, вспомнил Сократа, перипатетиков и прочую древность, где, видно, чувствовал себя как рыба в воде. И только спустя некоторое время я понял, что меня обхамили. Значит, в разговорах со мной он не надеется приобрести никаких м ы с л е й, а только лишь и н ф о р м а ц и ю, причем все равно какую, на худой конец даже копеечную! С паршивой овцы хоть шерсти клок. Я вспомнил, как однажды он расспрашивал меня, где я сшил костюм, и почему стоит,

и где куплен материал. И я, идиот, объяснял ему добросовестнейшим образом! В этой манере было не только пренебрежение к собеседнику, но и главная гартвиговская черта — его циническое стремление приобретать, поглощать, ничего не давая. Делиться своими мыслями и знаниями с людьми, которых он считал ниже себя и бесполезными для себя, он не желал, не умел, он хотел только обогащаться.

Беда в том, что я сопоставляю факты с опозданием. Когда я понял, что обхамлен — и обхамливаюсь постоянно: молчанием, улыбками, деликатными разговорами о пустяках, — мне захотелось при первом удобном случае обрушиться на наглеца с громовой речью и сказать ему однажды всю правду, чтобы он не зазнавался. Сказать, что мы с ним не равновеликие величины. Что наш жизненный опыт несравним. Я не успел прочитать так много книг и вызубрить иностранные языки потому, что жил в другое время: работал с малых лет, воевал, бедствовал. Не приписывайте себе чужих заслуг — они принадлежат времени. Мы сдавали другие экзамены. И вообще ну вас к черту, научитесь уважать людей! Но удобного случая никак не подворачивалось. Речь моя кипела, кипела, так и вышла вся паром.

Кажется, он сам ощущал недостаток опыта жизни. Отсюда его знаменитые бегства — то, что так поражало людей, мало его знающих, и нравилось женщинам. В основе своей эти бегства были не романтического свойства, а умозрительного. Чистейший рационализм и все то же стремление — изучать. Он мог неожиданно уйти из института (взять академический отпуск), уехать в Одессу, поступить матросом на торговый корабль и на долгое время исчезнуть из жизни своих друзей и близких. Правда, это было в период его холостячества, между цыганкой и Эсфирью. Но в другое лето, уже во времена Эсфири, он два месяца бродил по Украине, работал где косарем, где сборщиком яблок, дорожным рабочим. Рита восхищалась этими подвигами, которые знала по рассказам гартвиговских приятелей. «Вот это, я понимаю, мужчина! — говорила она. — Представляю себе тебя в роли матроса или землекопа. Да ты через два дня ноги протянешь». Конечно, протяну. И сомнений нет. Ну, а зачем это нужно: копать землю и таскать мешки человеку, знающему четыре языка? Польза, мне кажется, невелика. О, господи, как же я не понимаю? Ведь тут самоутверждение. Свободный выбор. Это нужно не обществу, а — личности.

Пускай самоутверждение, хорошо, соглашался я. Но какова его природа? Комплекс неполноценности. Не хватает опыта жизни и творческого накала. А когда нетворческий человек пытается творить, он заменяет акт творчества чем попало — чаще всего ничтожными домашними революциями. Внушает себе уважение к самому себе. Ну, а дальше? Ведь обществу, окружающим от этих геройств не холодно и не жарко. Только бедная Эсфирь страдает и ребенок отвыкает от отца. Обыкновенный цинизм в благородной упаковке: потому что наплевать на всех, кроме себя. Захотел удрать от вас от всех на полгода — хоть матросом, хоть куда — и удрал, и до свиданья.

Но Рита мечтательно говорила, что все это не так просто, что надо, мол, решиться, надо перешагнуть. И смотрела на меня с видом тайного превосходства и некоторого сожаления, как на пропадающего человека, который никогда не сможет перешагнуть. Чужая глупость бывает иногда ослепительно прекрасна. Мне была совершенно ясна бессмыслица гартвиговских авантюр, но иные интеллигенты, и в особенности дамы с воспаленным воображением, были от них без ума. Говорят, его так ласкали, когда он возвращался! Такие пиры закатывались в его честь! Рита утверждала, что тут какой-то протест и своего рода кому-то вызов. Ка-

кой протест? Кому, прости господи, вызов? Эсфири? Ну, скажем, вызов тому положению, которое сложилось в институте. Но, матушка моя, его положение в институте отменно, лучшего и желать нельзя, если ему разрешают пропадать на полгода. Ах, он брал отпуск по болезни, у него что-то с желудком, гастриты, язвы? Значит, пользовался льготами как больной и при этом работал матросом? Талантливый молодой человек. Пойдет далеко.

В результате оказалось, что я недобр, в чем-то ограничен и не могу стать выше своих личных неприязней.

Зимой он вдруг явился к нам в телогрейке, валенках и сказал, что уезжает на месяц в Калининскую область: завербовался в артель лесорубов. Говорят, интересный народ эти лесорубы. Пощупать их психологию. И тут у Риты возникла идея. Наша домработница Нюра была родом из Калининской области, района Торжка, где в деревне осталась жить ее тетка, старуха — единственный родной человек Нюры, мать ее умерла в войну в голодное время, отец и брат погибли на фронте, — и вот Рита попросила Гартвига, чтобы тот отвез Нюриной тете Глаше, которую мы все знали по письмам, московские подарки: конфеты, апельсины и маленький транзисторный приемник. Рита очень любила Нюру. Потом-то выяснилось, что эта любовь имеет границы, но тогда еще об этом не догадывались. Нюра работала у нас лет десять, пришла, когда Кирилл был первоклассником. К Кириллу она была привязана необычайно. Идея Риты заключалась в том, чтобы выпросить у тети Глаши — взамен транзистора — одну-две иконки. Было известно, что тетя Глаша набожна, иконы у нее есть, остались от матери, Нюриной бабки, и она ими дорожит, но если Нюра напишет, что больна и иконы для нее единственная надежда, тетя Глаша может сжалиться и уступить.

Рите очень хотелось повесить дома две-три иконы. Она и место им приготовила: на фоне розовой стены, рядом с большой репродукцией Пикассо. А то Рита чувствовала себя обездоленной. Ее подруги уже сумели раздобыться иконами, а Лариса, которая, в общем-то, малоинтеллигентна, не читала ученых книг, просто ограбила своих деревенских родственников и привезла целую коллекцию — шесть досок, среди которых была одна безусловно старинная, северного письма. Гартвиг определил семнадцатый век, сказал, что вещь музейная, можно взять за нее большие деньги. Везучая эта Лариса! Всегда ей все так и плывет в руки.

Нюра написала тетке письмо, отдали Гартвигу, тот вернулся в январе с двумя иконами. Одна была никудышная, ширпотреб, другая — ничего, лет полтора. Рита повесила обе на розовой стене рядом с Пикассо. Потом дешевую, яркую Нюра выпросила для себя: она на самом деле заболела и думала, что икона поможет. Но старинная доска продолжала висеть в столовой, и все, кто приходил к нам, изумлялись ее черноте и говорили с видом знатоков: «О, чудесная вещь!»

Между тем Нюра заболела всерьез. Я что-то слышал о ее болезни и раньше, но толком не знал, чем она больна. Нюра была в ведомстве Риты. Я знал лишь то, что когда в доме Нюра или какая-либо другая женщина, ведущая хозяйство, устанавливается покой и можно работать. Рита не выносит домашней возни. Больше недели одна, без помощницы, не выдерживает. До появления Нюры, когда наш обалдуй был милым маленьким карапузом и требовал гуляний, стирки и прочего обихода, эта проблема — домашней работницы — была острейшей, даже более острой, чем проблема моих заработков. Я ведь долгое время зарабатывал неравномерно, приходилось уезжать надолго в командировки, чтобы подмолотить погуще и облегчить семью: сам-то как-нибудь перебьюсь, но и им без меня проще. И до рубля доходили. И так бывало, что

Кириллу не на что молока купить. И все же помощницы в доме были всегда.

Без них Рита просто не справлялась — работала она тогда далеко, в Останкине, уезжала в половине восьмого, возвращалась поздно, — но и с помощницами не ладилось. Почему-то Рита ссорилась с ними постоянно. Иная трех дней не проработает, а Рита уже стонет: «Не могу ее видеть! Рассчитай завтра же, умоляю тебя...» Я, конечно, понимал, что с этими пожилыми неудачницами, тайными злыднями, одинокими и обнищавшими старухами, молодыми дурами, полными пустых надежд — профессия-то вымирающая, — ладить не просто, но выхода не было. Я говорил Рите: «Заткни свое раздражение куда-нибудь подальше! Ведь тебе же будет хуже. Ты не можешь одна. Это уже доказано. Поэтому — прикуси язык...» Доводы логики не доходили. Какие живописные персонажи появлялись у нас в доме! Каким странным личностям доверялся наш безответный Кирка! Была одна пухлая, пунцоволицая пожилая матрона, которая почему-то твердо считала, что я могу оставить Риту ради нее, но только вот она колебалась. Была одна одесситка с длинным, усатым лицом, которая всегда лопотала настолько бессвязно, что ее не мог понять ни один человек. Муж пунцоволицей попал за что-то в тюрьму на десять лет, а все родные одесситки погибли. Была одна тишайшая старуха, землисто-серая голубица, которая вдруг среди ночи вошла в комнату, где мы спали с Ритой, и, остановившись в дверях, на нас смотрела: ради этого мига и занималась. Было несколько удивительных скандалисток. Мне хотелось напечатать объявление и повесить на дверях: «Здесь всегда нужна домработница».

Однажды пришла женщина с лицом бледной, стеариновой желтизны, закутанная, как бабка, бессловесная, безулыбчивая, но глаза сияли ясно, голубо. Разговаривала едва слышно, двигалась медленно. Было Нюре всего тридцать два, но выглядела она лет на сорок пять: в волосах седина, лицо опавшее, зубов нет и почти глухая. Про себя говорила горделиво: «Я вся сквозь гнилая». Здоровье и зубы потеряла во время войны, в голодуху, когда кору ели. Работала Нюра не хуже, чем другие, только помедленней, зато молчком, тишком: ничего не слышала и других не раздражала.

Была она девица, и теперь уж, конечно, без надежды. Кто такую убогую да глухню возьмет? Правда, деньги у нее водились, кое-что подкупила за восемь лет работы «по домам», да еще пенсия ежемесячная как инвалиду, рублей тридцать. С этой пенсией приходилось неустанно хитрить, чтобы не потерять ее, милую. В группкоме домашних работниц, где Рита заключала с Нюрой договор, не должны были знать про пенсию: иначе не позволили бы заключить договор, а без договора Нюре было никак нельзя, потому что теряла временную прописку. Прописка же была необходима, ибо Нюра надеялась когда-нибудь (болтали: через десять лет) получить право на постоянную жилплощадь в Москве. А с другой стороны, в отделе, где дают пенсии, ни за что не должны были знать про то, что Нюра работает в домашних работницах: сразу бы пенсию долой. Вот и вертись. Но Нюра давно уже знала, что никто за нее не исхитрится и не вырвет нужное ей для жизни — не было таких людей, все померли, а новых не ожидалось, — и она уж сама исхитрялась, помогала себе изо всех сил.

Рита считала ее хитрой и умеющей жить. Но, боже мой, какая уж тут хитрость! Давнишний голод, изгрызший молодую жизнь и отнявший сестру, брата и мать, до сих пор сидел в этой женщине непобедимой памятью и тайным страхом. Иногда я замечал это во время обеда, когда чересчур медлительно и как бы нехотя протягивалась рука к хлебу, или же, перетирая своим старушечьим ртом мясо, Нюра смотрела не отры-

ваясь на другие куски мяса, лежавшие в общем блюде. И что-то в глазах тлело старое, против чего она сама была бессильна. Десятка два лет прошло с той голодухи. Нюра осталась одна одиннадцати лет, не понимала, как жить, и тут ее обманула тетка Шура, жена отцова брата: приехала из соседней деревни в Нюрину избу за тем будто, чтоб сиротку обеспечить, да так и завладела избой и Нюру выставила. С этой теткой и ее родней Нюра не желала иметь никаких сношений, хотя тетя Шура, бессовестная, мучила ее письмами, то просила прислать сахару, то еще чего-нибудь и все жаловалась на жизнь, как трудно корову держать, нанимать косарей. Письма с просьбами от тети Шуры вносили в наш дом волнение: Нюра советовалась, как быть? Рита говорила: «Не смейте ей ничего посылать! Как вам не стыдно? Я не буду вас уважать. Она — сволочь, она вас ограбила». Нюра кивала: «Верно, верно, Маргарита Николаевна, сволочь она, ой, такая женщина нехорошая». Решала ничего не слать и даже не отвечать на письмо. Но проходило дня два или три, и Рита замечала, что Нюра что-то зашивает в холстинку. «Вы что же, собираете посылку тетке Шуре?» — «А ну ее к лешему! — Нюра вдруг улыбалась, прикрывая беззубый рот ладонью. — Я хоть в Москве живу, по улицам гуляю. А она чего видит, дура старая?»

Но другую родную тетку, сестру матери Глашу, Нюра любила и переписывалась с ней с удовольствием. Та была совсем бедная старуха, жившая у чужих людей в прислугах в поселке Кувшиново. Из родной избы ее тоже выперли, хотя и не силой, а так сделали, что жить стало невозможно, — Варвара сделала, невестка, жена сына Петра. И только незадолго до того, как Гартвиг повез ей гостинцы и транзистор, тетя Глаша после семи лет работы в прислугах вернулась по просьбе Варвары из Кувшинова в деревню: второй сын родился, нянчить некому. Тетя Глаша, хоть и бедная и обиженная судьбой, никогда ничего у Нюры не просила и, наоборот, сама, как могла, старалась Нюру ободрить. Вскоре после того, как Гартвиг отправился в калининские леса, Нюра получила от тетки Глаши письмо, где та просила разрешения называть Нюру дочкой: «Знаю что живешь ты адинока и невидеш материнской ласки дорогая Доченька...»

Потом были письма с благодарностью за подарки, тревогой из-за Нюриной болезни — подробности болезни надиктовала Рита — и с жалобами насчет икон, которые тетя Глаша никак не решалась оторвать от души. Да еще невестка, Варька, заедала, сын молчал, никакого утешения. Куда ж ей без икон? Тетя Глаша уже жалела о том, что перешла от чужих людей в дом к сыну: «Очень скандалим мне негде свои тряпки положит куда что положу и все не так».

Перед Новым годом там случилась беда: сын Петр внезапно умер. Письма тети Глаши, извещавшие об этом, запомнились хорошо, потому что Нюра много раз просила читать их вслух. Сама Нюра, хоть и грамотная, с трудом разбирала теткинны каракули. Та писала, что сын умер 23-го, а хоронили 26 декабря, ни одного дня не лежал и, конечно, помогла водка. Приехал другой сын тети Глаши, Виктор, они выпили в пивнушке, и «вониво стало плохо сердцем и навулицы умер находу заключение врача что вниво скелороз ета болезнь очень опасная Нюра вот такие дела невеселыи очень жаль так плакала что сама немечтала что буду жыва». Дальше были проклятия по адресу невестки, которая не захотела, чтобы Виктор и Петр пили водку дома, прогнала их, всегда прогоняла с водкой, и дело кончилось так печально.

Эта смерть решила судьбу икон. Тетя Глаша не желала, чтоб иконы попали в руки невестки. Про себя думала, что скоро умрет. В другом письме писала, как ездила куда-то, где жили лесорубы, нашла Герасима Ивановича и отдала ему две иконы, а себе оставила одну маленькую,

Григория Чудотворца. После похорон тетя Глаша сразу ушла жить к людям, потому что не могла слышать, как Варвара с первого дня стала толковать про женихов. «Нюра вот какие дела неочень хорошие просто никак нимагу сама себя вруки взять чтобы неплакать намогилочку хожу каждое воскресенье и так плачу пока кто свалакет смагилы». А злыдня, Варвара, которой сыночек поддался, конечно, и не охнет, на могилочку не ходит и «веселая как лошадь рьжот».

Зачем все это застряло в памяти: Нюра, навсегда исчезнувшая, ее неведомая тетка, какая-то невестка, чья-то смерть? Но ведь все вместе и еще много другого, такого же чужого, нанесенного издалека — казалось бы, чужого! — и составляет громадную нелепицу, вроде нескладно сложенного стога сена, — мою жизнь. Одна сухая травинка цепляется за другую, другая громоздится на третью. Все связано, сцеплено, висит, лежит, трется, шуршит друг на друге. Не приехал бы некий Виктор в гости к брату, тот не выпил бы лишку и не умер, тетя Глаша не отдала бы иконы, Гартвиг их не привез бы, Нюра не стала бы просить старую икону в больницу как раз в тот момент, когда приятели Кирилла взяли его за бока, и не случилось бы всего остального, в результате чего я сижу ночью в саду, так далеко от своего несуществующего дома. Наверное, никакая боль в мире не проходит бесследно ни для кого. Но дело не в этом. Она не должна была уходить с работы тогда, пять лет назад, ибо праздный человек теряет равновесие.

Гартвиг приехал с перевязанной рукой: повредил на лесоповале. Вид у него был живописный, к тому же вместо маленькой французской бородки он отпустил большую мужицкую бороду и стал похож на разночинца семидесятых годов. Я спросил, зачем он занимался этим вздором? Он сказал, что хотел узнать, что за штука лесоповал. Много слышал о лесоповале.

Тут я заметил — признаюсь, с ехидцей, что я умею, — намекая на его перевязанную руку, что он сочетает в себе сразу два образа — Печорина и Грушницкого, этакий Г р у ш ч о р и н. Он серьезно спросил: «Печорин и Грушницкий? Это, кажется, из Тургенева?» Я расхохотался и напомнил ему, что это из незабвенного «Героя нашего времени». Он был смущен. В тот же день я не без злорадства рассказал об этом позорном случае Рите, она даже не нашлась, что ответить, и только молча смотрела на меня и кивала. «Вот что значит начитаться всякой дребедени!» Она молчала. Когда-то ударялась в амбицию, спорила со мной из-за каждого пустяка, теперь же новый метод — молчание. Но дело совершенно не в этом.

Зима была трудной. Я плохо зарабатывал, было туго с заказами, и я болел. Рафик потерял ко мне интерес, не знаю уж почему. За всю зиму я не получил у него ни одного гонорара. Я встречал его в клубе в компании малознакомых мне молодых субъектов, переводчиков новой формации, людей деловых, притких, умеющих работать с быстротой и размахом. Некоторые из них знали по три, четыре языка, но это не меняло их сути. Молодые дельцы! У них не было прошлого, смутного от несостоявшихся надежд. С младых ногтей они приступили к делу. И, кроме того, были жилисты, как лошади, с отличным давлением, крепкими зубами. Они могли пить водку до утра, разговаривать о футболе часами (а Рафику только того и надо!) и вообще были мастера на все руки. Один раз в издательстве я столкнулся с Рафиком в коридоре, поздоровался с ним, он мне даже не ответил — прошел мимо важный, как царь иудейский. Когда у человека наступает полоса невезения и он, как говорят, сбивается с панталыку — кому какое дело! Вылезай сам.

Впрочем, ничего ужасного в моей жизни не происходило. То же, что бывало временами у всех — болезни, неудачи, какое-то разжижение

духа. В такие минуты как раз и нужно то, о чем я говорил — близость близких. Рита была занята своей жизнью, Кирилл — своей. Зимнюю сессию он одолел «еле можахом», с хвостами, затевал разговор об академическом отпуске, даже пошел без моего ведома в поликлинику, надеясь получить у врачей справки для отпуска, но там ему намылили шею. Он клянчил у меня деньги, я жадничал, он злился, оскорблялся, как взрослый, бросался к матери, но у Риты не очень-то разживешься, и тогда он тайком просил у Нюры, и она давала. Мы долго не знали об этом.

Когда узнали случайно, я пришел в ярость. «И ты, подонок,— кричал я,— можешь обирать бедную женщину? Только потому, что она к тебе привязана?» Он с невозмутимостью ответил, что никого не обирает, а лишь занимает деньги, отдает их в срок и даже с процентами: на каждые десять рублей по плитке шоколада. Это поразило меня совершенно. Откуда берутся деньги, чтобы отдавать долги? Оказывается, он уже больше года — с тех пор как участвует в качестве гитариста в битл-группе «Титаны» — зарабатывает деньги, и не такие уж маленькие, за выступления на школьных балах, вечеринках и свадьбах. Мне-то казалось, что это делалось ради искусства и новых знакомств с девочками. Ан нет! Сколько же он заработал, хотелось бы знать? Он добросовестно подсчитывал, морща свой чистый девический лобик. Двести двадцать примерно. От весны до начала зимы.

«И ты имел наглость просить у меня какие-то рубли и трешницы?» Что ж, приходишь и до рубля. Деньги разлетаются быстро, сам должен знать. Мокасины, брюки с поясом — вот уже сотня. А синий пиджак с алюминиевыми пуговицами? А в Ленинград ездил в ноябре — неужели на ту тридцатку, что дала мама? Я строжайше запретил занимать у Нюры. Сказал, что это почти то же, что быть «альфонсом», эксплуатировать женскую любовь. Он сконфузился, но попросил у меня пятьдесят рублей до февраля, когда с ними обещал расплатиться какой-то заводской клуб. Свободных денег не было. Я дал ему пять рублей.

Ах, боже мой, не надо искать сложных причин! Все натянулось и треснуло оттого, что внезапно напрягся быт. Современный брак — нежнейшая организация. Идея легкой разлуки — по п р о б о в а т ь в с е с н а ч а л а , п о к а е щ е н е п о з д н о , — постоянно витает в воздухе, как давняя мечта совершить, например, кругосветное путешествие или проплыть однажды на теплоходе «Победа» из Одессы в Батуми. За двадцать лет, что я прожил с Ритой, не было, наверное, ни одной недели, чтобы я так или иначе не касался мыслями этой темы. Не всегда прорезывалось на поверхность, но где-то внутри, как догадка и тайное утешение, существовало всегда. Когда сидишь в битком набитом театре в духоте, приятно сознавать, что над одной из дверей, прикрытых зеленой портьерой, горят буквы: «Запасный выход». В любую минуту можешь встать с кресла и направиться к этим буквам. И выйти на улицу, на воздух, и, пользуясь тем, что вечер лишь начинается, отправиться куда угодно — в ресторан, к приятелю. Но мы очень редко выходим из зала раньше времени. Только когда пьеса уж чересчур ужасна или духота смертельно невыносима. Билеты куплены, и, кроме того, — неохота подниматься с места и идти по рядам, переступая через чьи-то ноги, под осуждающими взглядами зала. Но сознание возможности в л ю б у ю м и н у т у — отрадно, и оно должно быть, чтобы легче дышалось. Говорят, в каждом человеке, даже совершенно здоровом, сидит бацилла туберкулеза, но нужны особые условия, чтобы бацилла дала рост и процесс начался. Идея разлуки сидит потаенно в каждом, как дремлющая бацилла. Не надо спорить, это истина. Загляните в себя.

Нет, история с Нюрой не могла быть причиной, она была лишь последней простудой, которая ввергла меня в болезнь, в пожар. Однажды

пришла женщина, сказала, что хочет видеть Анну Федосеевну — Нюру, — заперлась с нею на кухне, долго о чем-то говорили, потом женщина вышла к Рите и сказала, что забирает Нюру на месяц в больницу, в психиатрическую. Ничего страшного, особый вид шизофрении. Оказывается, Нюра давно уже на учете, а мы не знали.

Без Нюры стало худо. Все трое мы люди безалаберные, обедали как попало, квартира пришла в запустение, Рита то и дело ложилась с грелкой или с компрессом и говорила, что все, выдохлась окончательно. Но без Нюры было худо еще вот почему: эта бессловесная, глухая женщина непонятным образом умела нас мирить. Придет, сядет, скажет что-нибудь пустяковое, но не без смысла, и — раздражение улетучится, обида пройдет. Была в ней преданность, и это истинное чувство, ничем не разбавленное, действовало, наверно, так сильно. Как-то мы с Ритой здорово поссорились, я грозил, что уйду, брошу всех ко всем чертям — было давно, когда еще страсти кипели и все принималось близко к сердцу, — потом примирились, забылось, прошло, и вдруг вижу: Нюра на кухне плачет. В чем дело? «Маргарита Николаевна сказала, что вы нас покинете. Как же она жить будет?» — «А как все, милая Нюра. Работать пойдет. Она женщина вполне здоровая, здоровей вас». Нюра, закусив губы, качала головой и, не слыша моих слов, шептала: «Я себе место найду, не пропаду, а Маргарите Николаевне как же?»

Иногда вечерами Нюра приходила в комнату, садилась в угол и глядела на Риту: как та что-нибудь шьет, читает или пишет. Просто глядела и улыбалась молча.

Года три назад, когда с деньгами было особенно туго да и Кирилл подрос, решили с Нюрой расстаться. Ну, что делать: из месяца в месяц задалживаем зарплату! Нюра выслушала спокойно, но вечером опять видел, как тихонько плачет на кухне, сидя на своей раскладушке. А на другой день сказала, что готова работать у нас бесплатно до той поры, когда появятся деньги. И вот ушло это существо, которое так странно цементировало дом. Ведь все мы расползались в разные стороны, каждый в свою комнату, к своим делам и тайнам, своему молчанию, и только она была подлинным домом, хранительницей плиты, очага.

Но и у нее не было никого, кроме нас. И для нее наша разрозненная тройка была единственным человеческим теплом, к которому она тянулась и потерять которое страшилась.

Нюра писала из больницы письма: «Дарагая Маргарита Николаевна с чисто сердечным приветом к вам...» В палате было четырнадцать человек. Нюре все нравилось: доктора, сестры, еда, ее кровать, третья от окна, и окно с видом на набережную. Иногда по ее просьбе звонила из больницы сестра — Нюра в телефон ничего не слышала — и задавала вопросы: что у нас нового, как себя чувствует Маргарита Николаевна, приносили ли белье из прачечной? Зачем-то ей было нужно. То тепло, от которого она не могла отстать. «Аннушка спрашивает, не забыли ли оттаять холодильник?» Рита жалела Нюру. Раза три ездила к ней в больницу, возила фрукты. Врачи сказали, что болезнь у Нюры с трудом излечимая, но прогрессировать не будет и для окружающих не опасная. Сказали, что Нюра вполне может делать нетяжелую домашнюю работу, может вязать, шить и клеить, например, елочные игрушки из бумаги. Нюра попросила Риту, чтоб та прислала в больницу старую икону, и Рита, хотя и расстроилась, поручила Кириллу отвезти. Пожалуй, это был подвиг. Никто не ожидал. Сначала были муки жадности и колебания совести, но потом Рита стала гордиться и рассказывать всем знакомым, что отдала больной домработнице лучшую вещь, украшение дома: безумно жаль, но что делать. Там, в обители страдания, она нужнее, чем на розовой стене рядом с Пикассо. И — надо делать добро, а не

только читать о нем в умных книжках. При этом как-то забывалось, что драгоценность принадлежит Нюре.

Гартвиг был возмущен: «Как можно отдавать музейную вещь? Надо было отдать ту, палехскую. Какая ей разница?» Но Нюра требовала именно старую икону. Суть выяснилась после, а тогда мы лишь удивлялись настойчивости, с какой она просила — скорее, скорее! — чтоб ей прислали икону, точно редкое лекарство, от которого зависело выздоровление.

В начале марта позвонила врач из больницы, некая Радда Юльевна, и сказала, что может нас обрадовать: Аннушке стало лучше и к женскому празднику ее выпишут. Только вот — куда? Свободно ли у нас место? Никого не взяли? Мы никого не взяли. Рита обрадованно кричала в трубку: «Конечно, что вы, как же можно! Ждем не дождемся!» Радда Юльевна обещала о точной дате выписки сообщить позднее, числа пятого. Но позвонила на другой день. Тем временем Рита слегка опомнилась и сообразила: разве ее жизнь станет легче, если в доме появится больной или полубольной человек? Ну, хорошо, нетяжелая домашняя работа, понемногу готовка, магазины, но ведь, как ни крути, она психически неполноценна, могут быть обострения, в любой день снова больница... Тут мы все призадумались. Рита советовалась с Ларисой. Та сказала: обождать, не пороть горячки. Пусть вылечат как следует и дадут гарантию. А то они рады выписывать, лишь бы с рук сбыть. И когда Радда Юльевна позвонила второй раз, Рита ей высказала — по глупости, откровенно — некоторые свои сомнения и насчет гарантии тоже, что Радду Юльевну крайне раздражило. Она сказала, что не ожидала таких разговоров, что все это ее изумляет, и когда Рита, продолжая гнуть свою линию глупейшей откровенности — она бывала иногда ужасно недалёковидна и неуклюжа! — сказала, что боится за себя, за то, что не хватит пороха ухаживать за больной и что ей бы самой хотелось, чтобы за нею кто-нибудь поухаживал, Радда Юльевна грубо прервала ее и попросила к телефону меня.

Я услышал резкий голос, привыкший распоряжаться младшим медперсоналом: «Вы как будто человек интеллигентного труда, не так ли? Переводите литературу? Как же вы допускаете, чтобы ваша жена говорила, простите меня, такую чушь? Мы не часовая мастерская и не даем никаких гарантий. Аннушка совершенно одинока. Это вопрос вашей совести, вашего человеколюбия. По рассказам Аннушки я представляла вас совсем другими людьми, не такими, простите меня, расчетливыми и черствыми». — «Позвольте! — возразил я. — Вы не знаете ни меня, ни моей жены и на основании пятиминутного телефонного разговора...» Радда Юльевна пресекла и меня: «Извините, мне некогда вести душе-спасительные беседы. Вы продумайте как следует и позвоните мне не позже завтрашнего вечера. Я должна знать до субботы».

Трубка брякнула. Мы принялись обсуждать возникшую проблему, спорить, и, как всегда, раздражаться, и винить друг друга. Я говорил Рите, что она неправильно разговаривала с врачом и все испортила, восстановив ее против нас. Рита же обвиняла меня в том, что я, по своему обыкновению, боюсь показаться плохим в глазах людей, веду себя трусливо, в результате чего плохой оказывается она. Кирилл спросил: «Она что же, будет с нами всегда?» Я сказал, что не всегда, наверное, но длительное время. Мы берем на себя ответственность. «Ну не-ет! — сказал Кирилл помолчав. — Все-таки она нам не родственница, правда же?»

Мы все думали одинаково, но Кирилл обнаружил себя честно, а мы с Ритой еще вертели и прятались за слова, обвиняя друг друга во всех смертных грехах и не замечая за собой главного. Рита говорила: «Что

вы за люди? Как можно называть Нюру чужим человеком, если она прожила в нашем доме десять лет! Ведь она любит тебя, как сына, она тебя вынянчила, здорового дяденьку, а ты говоришь: она нам не родственница. Да она мне ближе любой родственницы, если хотите знать!» — «Тогда в чем дело? Возьми ее в дом!» — «Конечно, мамочка! Возьми, возьми. Ухаживай за ней, вари ей кашку, покупай молочко». Рита говорила, что мы злостные бездельники, не помогаем ей, она с ног сбилась, и теперь еще мы хотим навьючить на нее больную домработницу. Я же твердил одно: «Позволь, пожалуйста, а где любовь к ближнему? Для чего ты читала книжки о божественном? Вот тебе ниспослано испытание, нужна твоя жертва — где она? А? В кусты? Сразу стали атеистами? И все это — поповские выдумки?» — «Если б у меня были другой муж и другой сын, я бы взяла эту женщину не задумываясь». Да, да. Конечно. При этом уже все было решено, она уже отделила от себя Нюру, назвав ее этой женщиной. Я говорил: «А если б у меня была другая жена, такого вопроса вообще не стояло бы. Да боже мой, сколько в простых семьях таких случаев, когда...»

Ни в четверг, ни в пятницу мы Радде Юльевне не позвонили. Не позвонил ни я, ни Рита. Мы не сговаривались. Каждый думал, что позвонил другой, имел основания так думать, но нарочно не спрашивал об этом, как бы перекладывая в случае чего вину на другого. У Риты, как обычно в критические минуты, «разыгралась» печень, целый день она лежала с грелкой и с преувеличенным страхом говорила только о своей болезни и лекарствах. У меня тоже что-то болело. Кажется, сердце. И я, лежа в кабинете на диване и глотая то валидол, то валокордин, думал о том, что у нас есть некоторое оправдание: мы люди больные. Себя я считал менее виновным, ибо я болен серьезней. Нельзя же сравнивать холецистит и болезнь сердца. С холециститом живут всю жизнь, а от сердца умирают в молодом возрасте. Так что во всем этом предательстве — да, именно, небольшом, но явном предательстве, и не надо хитрить — Ритина доля вины побольше моей. И вообще она ближе к ней, чем я. Я — что? Я видел Нюру лишь по утрам, когда убирался кабинет, и не чаял, чтобы она поскорее исчезла со своими тряпками и пылесосом, и днем, за обедом. Очень редко с ней разговаривал. Да и разговаривать с глухой было трудно. А Рита — другое дело.

Поздно вечером Рита вдруг пришла в кабинет — в халате, нечесаная, с мятым, серым лицом, какое у нее бывало, когда мучила печень, — села на край дивана и смотрела на меня. Я видел, что ей худо. То ли она пришла мириться, то ли на что-то жаловаться, а может быть, ее грызла совесть. Но мне тоже было худо. Я молчал и смотрел на нее. «Знаешь, что я вспомнила? — сказала она. — Как мы жили в Подлескове. Кирке было лет семь. Избу нашу вспомнила. Верандочка такая маленькая, деревенская, и всегда куры залетали — помнишь?.. Нюра была молодая, только пришла к нам... А я в то лето уезжала в командировку на Север...» Я кивал. Также вспомнил то лето. Были еще живы отец Риты и моя мать. Рита писала нам письма с Севера. Мы все так ждали ее, и маленький Кирка ждал. Лето было наполнено ожиданием. И вот она приехала в августе, привезла белого щенка, лайку — потом он душил кур у хозяйки, — и шкуру полярного медведя, кто-то подарил в Мурманске. Я терзался догадками: кто подарил, за что? Шкура была невыделанная, скоро истлела, и ее выбросили года два назад. Больше такого августа, как тот, не было. Маленькая речонка Соня, дубовые леса с грибами. Помню: ходили однажды далеко, километров за десять, в село Городок, где была колокольня восемнадцатого века.

«А помнишь, — сказала Рита, — как в сентябре я заболела? Думали, аппендицит, а оказалось, нужен срочный аборт. Повезли в районную

больницу, была какая-то ужасная грязь, дожди, машина не могла подъехать, и ты с каким-то мужиком тащил меня на руках». Я помнил и это. «Нюра оставалась с Киркой одна целую неделю,— сказала Рита.— А ведь он тогда тоже чем-то болел».

Потом она сказала: «Мне кажется, с Нюрой уйдет от нас что-то навсегда. Как ты думаешь?» Я сказал: «Да». Видел, что у нее глаза на мокром месте, но она не хотела этого показывать и ушла.

На другой день вдруг явилась Нюра. Днем. Мы сиделись обедать. Сказала, что отпустили на два часа: взять вещи. Размотала свой всегдашний платок, сняла пальто, валенки с галошами, сунула ноги в шлепанцы и села с нами обедать как ни в чем не бывало. На ее тусклом лице было написано громадное удовольствие. И она все время улыбалась, глядя на Риту. Опять я увидел, как медленно тянется рука к хлебнице и как в бледно-голубых глазах сияет ясное, давнее — любовь, голод, война, надежды, все вместе. Она очень жалела Риту: «Ой, Маргарита Николаевна, да как же вы без помощницы?» Рита говорила, что очень трудно. «Конечно,— сказала Нюра.— Вам человек нужен». И то, что она назвала кого-то неведомого, кто займет ее место, так спокойно и равнодушно «человек», значило, что она смирилась и ни о чем говорить не нужно. Рассказывала про больницу, про то, что обещают какую-то еще лучшую больницу, за городом, там кругом лес и можно ходить на станцию, где есть ларьки и кое-что продают. После обеда Нюра помыла посуду, и потом еще Рита попросила ее вынести мусорное ведро. Вот это ведро меня почему-то добило. У нас в доме нет мусоропровода, ведро выносим во двор, где стоят большие баки для мусора. Ежедневная проблема. Иногда мне вручался мусор, аккуратно упакованный в газетный сверток. Словом, чепуха. Не знаю, что на меня наскочило. Когда мы прощались с Нюрой, она ушла — сначала за такси, вернулась с шофером, который потащил два узла и чемодан, Нюра была порядочная бархольщица — и мы остались одни, я вдруг стал орать: «И у тебя хватило совести посылать ее напоследок! Урвать хоть что-то? Хоть ведро, да!» «Какое ведро?» — спросила Рита и заплакала.

Меня охватила жгучая боль — так было впервые, я не понимал, болит ли сердце или сразило чувство стыда, какое-то отчаянье,— я ушел в кабинет и заперся. Я слышал свой крик и видел лицо Риты, побелевшее от испуга. Прошло два или три часа. В квартире стояла могильная тишина. Наконец, часов в шесть вечера, Кирилл постучал в дверь кабинета и сказал голосом тюремного надзирателя: «Иди пить чай!» Я понял, что прощен, что дело не в ведре, не в моем срыве и крике, а в том, что, когда совершается предательство — даже маленькое,— всегда потом бывает тошно. На другой день по просьбе Риты были куплены в киоске «Мосгорсправка» десять бланков объявлений, и я сел писать своим красивым, чертежным почерком, как я умею: «В семью из трех человек — муж, жена и сын-студент — очень нужна...»

Вскоре все это померкло и забылось. Точно помню: 15 марта. В середине дня звонок телефона. Высокий, быстрый и, как мне показалось, малопочтительный мужской голос просит меня, Геннадия Сергеевича, и затем представляется: следователь имярек. Не могу ли я прибыть завтра по такому-то адресу для разговора? Могу. Свободен ли я часов этак, что ли, ну, скажем, в половине одиннадцатого? Вполне. Значит, договорились. До завтра. Ориентир: рядом с магазином «Синтетика». Все длилось не дольше двадцати секунд. В некотором обалдении кладу трубку и начинаю бешено соображать: что сей сон значит? Никакого криминала я за собою не знаю. И все же прохватывает легкая паника. Ну, может, и не паника, но какой-то невыносимо тревожный зуд. Главное, не понят-

но, что это может быть. Рядом с магазином «Синтетика». А быть может абсолютно все! Никто ведь не застрахован ни от чего.

Мне не приходилось раньше иметь дело со следователями. Рите ничего не говорю. Зачем испытывать еще добавочную Ритину панику? Но самое тяжкое то, что нужно ждать почти сутки. Почему я не догадался назначить встречу не на завтра, а на сегодня? Пожалуйста, я готов. Сейчас выезжаю. Нет, завтра я занят, только сегодня, сейчас же. Все равно никакая работа не прег в голову. И почему, например, не спросить было: по какому вопросу? Совершенно спокойно мог спросить. Он бы мне ответил, и я бы не мучился целые сутки. Впрочем, он мог бы и не ответить. А если бы он не ответил, я бы мучился в десять раз больше. Они делают так специально, чтобы вызываемые больше волновались. Чтобы пришли уж тепленькие, все бы у них внутри тряслось и дрожало, ударишь пальцем — развалятся. Или, как говорят: р а с к о л ю т с я. Но, убей меня бог, если б я знал в чем мне надо колоться! Ах, магазин «Синтетика» — знаю, где это. Что-то однажды покупал.

Вечером должны были идти в гости к Володе, моему кузену, который получил квартиру на Живописной улице, в районе Хорошево-Мневники, и целый месяц упорно зазывал нас на новоселье, мы под разными предлогами отказывались — скучнейшая компания, и в принудительном порядке просмотр любительских фильмов самого Володи, его жены Ляли, энтузиастов туризма, — но настал день, когда отступать некуда, визит неотвратим, иначе кровная обида на десятилетия. Купили в ГУМе два немецких бра, бутылку шампанского, нагрузили на Кирилла, поехали.

Все это время, хотя я двигался, отвечал на вопросы, сам что-то спрашивал, ходил по магазинам, покупал билеты в метро, я думал неотрывно о том, что будет со мной завтра, и чем больше ветвились мои мысли, тем страшнее становилось: я убеждался, что есть неисчерпаемое количество поводов, по которым я мог быть привлечен к допросу следователем. Стоит только захотеть. Боже мой, за мной числились, кажется, все виды нарушений Уголовного кодекса!

Я мог быть привлечен к суду за в з я т к и, и только потому, что не раз ходил с Рафиком на бега и угощал его там в ресторане. Впрочем, были случаи, когда и он угощал меня. Я мог обвиняться в с к у п к е к р а д е н о г о: иногда приобретал у рабочих нашего жэка за цену почти государственную всякую хурду-мурду вроде стекла, провода, выключателей, листового железа. А с п е к у л я ц и я з а г р а н и ч н ы м и т о в а р а м и? Когда в последний раз я привез Рите кофточки из Австрии и они оказались велики, Рита продала их Ларисе, а та, подлинная спекулянтка, могла сплавить подальше и подороже. И где-нибудь попалась. Превосходно: очная ставка с Ларисой в кабинете следователя! «Это ваши кофточки?» — «Собственно...» — «Где вы их приобрели? Почему не сдали в комиссионный магазин?» А к р а ж а? Однажды за границей я украл в отеле отличную пепельницу с видом городской ратуши и надписью по-латыни: «Beati possidentes». Она и сейчас украшает мой письменный стол. Как-то случилось украсть в библиотеке дома отдыха том энциклопедии: он был крайне нужен для работы, а я уезжал. Правда, когда я приехал в дом отдыха в следующий раз, через полтора года, я привез этот том и незаметно поставил на полку. Да мало ли...

В таком настроении я шел на бессмысленное новоселье. Рита делит всех родственников и друзей на «своих» и «моих». К «своим» относится не то что любовно, но — пристрастно, к «моим» же равнодушна и одновременно проявляет немалую зоркость в оценках. Володю и Лялю она назвала как-то «джентльменами удачи». Подмечено ловко: тут и глупая тяга к путешествиям, и недостаточная интеллигентность, и поистине пи-

ратская страсть к накопительству. Володя — заводской инженер, Ляля трудится в проектной организации, доходы не бог весть — и, однако, постоянные обновки, всегда есть деньги, и даже можно занять на короткий срок, но лучше не нужно. Чудеса экономии! То, что нашей семье (бывшей, бывшей семье!) неведомо. Рита однажды зло заметила, что склонность Володи и Ляли проводить отпуск в пеших походах — тоже от скопидомства. Дешевле, чем по путевкам к морю.

Володя и Ляля относились к нам как будто дружески, но с какой-то внутренней настороженностью. Почему-то считали нас дельцами. Главным дельцом был, конечно, я. Им казалось, что я гребу деньги лопатой. Когда Рита по простоте жаловалась на отсутствие денег, они смеялись: «Ах, нету денежек? А если снять со срочного вклада?» И, конечно, наша квартира, шестьдесят два метра жилой площади, не считая кладовки, сразила их когда-то насмерть. В общем, родственники как родственники. Зная их, я понимал, что упорное зазыванье на новоселье должно иметь подоплеку. Что-то им нужно. Через час сидения за столом с яствами из близлежащего ресторана «Орел» это «что-то» четко нарисовалось.

Володина дочка Вероника кончает школу. Надо думать о поступлении. И представьте — как раз туда, куда поступил Кирилл. У Кирилла был, кажется, какой-то замечательный репетитор, со связями, очень помог — немецкая фамилия, им говорили... «Гартвиг!» — выпалил Кирилл. Нельзя ли его как-нибудь приспособить, так сказать? «Конечно, — сказала Рита. — Почему же нельзя? Но, мне думается, сейчас он уехал. Он все время в разъездах». Было мало приятно слышать про Гартвига, что он со связями и что он помог. Хотя это так. Но мы никому не рассказывали. Как выяснилось, они услышали про него от одной приятельницы Ларисы, которая знакома с какой-то сослуживицей Ляли. Все пошло от этого трепла, от Ларисы. Я сказал, что Гартвиг, по-моему, сейчас не берет учеников, он очень занят в институте. Это было правдой — Гартвиг сам говорил, — но Володя и Ляля решили, разумеется, что мы не хотим да в а т ь им Гартвига. Впрочем, и это было правдой.

Я не желал да в а т ь его потому, что меня пронзило страшное подозрение: а вдруг Гартвиг со своим приятелем, секретарем приемной комиссии, тем самым, что приезжал в Снегири, попались на какой-нибудь махинации с приемными делами? Хозяин дачи в Снегирях мне почти незнаком. Он из Ритиных друзей. Господи, какая опасность! Я ведь ничего не знаю. Все делалось помимо меня. Но Гартвиг с его цинизмом способен на что угодно.

У Риты были, кажется, свои причины не слишком большого желания да в а т ь Гартвига Володе и Ляле.

Они угадали правильно. И с тем большей настойчивостью и чисто туристическим упорством стали тут же, за столом, выбивать из нас Гартвига. Они требовали, чтоб мы позвонили и выяснили, здесь он или уехал. И, если не уехал, можно ли возлагать на него надежды. Рита сказала, что не помнит телефона. Я тщетно старался вспомнить, но я-то никогда и не знал наизусть, а Рита знала. «Телефон Геры? — вскрикнул наш обалдуй. — А я помню!» Пришлось звонить. Эсфирь сказала, что Гартвиг на концерте в консерватории. Они требовали, чтоб я звонил завтра утром. Я обещал. Да, да, завтра утром.

Когда я думал о завтрашнем утре — в половине десятого надо выйти из дома, — у меня будто что-то вжималось в низ живота и ноги слабели. Догадка насчет Гартвига обуревала меня с панической силой. Теперь я был почти убежден в том, что Гартвиг и следовательно чем-то связаны. Недаром Гартвиг сгинул в последние дни, не звонил, не показывался. И ни с одним человеком я не мог посоветоваться! Володя и Ляля, повеселевшие оттого, что Гартвиг в Москве — им казалось, что дело уже сла-

жено, — вытащили белую тряпку, киноаппарат, и мука началась. Я ничего не понимал, что там происходит. То ли там была тайга, то ли Крым. Какие-то люди куда-то шли, что-то ели ложками из большого котла. Была новинка: изображение сопровождалось дикторским текстом, который самим авторам казался верхом остроумия, и они то и дело, не в силах сдержаться, прыскали со смеху. Вот Ляля щеголяла голым животом и какими-то немыслимыми бриджами, и голос Володи произносил: «Людмила Александровна потрясала общество туалетами от Диора», или что-нибудь в таком духе. Рита вздыхала, но Кириллу нравилось, и он хохотал. Вдруг Рита сказала: «Между прочим, дорогие друзья, хотя Герасим Иванович отличный преподаватель, но прежде всего Кирка помог себе сам. Он занимался как проклятый. Совершенно как проклятый».

Володя и Ляля дружно сказали: «Конечно! А как же иначе?» Я тоже решил вставить слово: «Так что не думайте, что Гартвиг — это решение проблемы. И никаких особых связей у него нет». — «А не особые?» — лукаво спросила Ляля. Как раз в этот момент на экране показалась Ляля в купальнике, по колени в воде, делавшая танцевальные жесты руками. У нее были странные ноги: не круглые сверху, а какие-то плоские и широкие. В купальнике это выглядело не блестяще. Донесся голос Володи: «...при переходе вброд танец умирающего лебедя». «Да нету у него никаких связей! — сказал я, вдруг озлобившись. — Ерунда там, а не связи!»

Когда вышли на улицу, Рита сказала: «Молодцы твои родственники. Так и впились клешнями, вынь да положь им Гартвига». Не было сил возражать. Можно было ответить: «Это уж по твоей части, что касается Гартвига», но Кирилл был рядом и мысли моигнуло в другую сторону. Ведь я знал то, чего не знала она. Я вдруг подумал о ней с жалостью. И о сыне подумал с жалостью. Кирилл внезапно свистнул по-бандитски и заорал во все горло: «Эй, шеф, вертай сюда!» Сели в такси, и я подумал, что неплохо все-таки иметь взрослого сына.

Ночью почти не спал. Задремал часов в пять и вскочил в восемь. Всю ночь буравило одно слово: синтетика.

Молодой человек без пиджака, в белой льняной рубашке и с галстуком, на котором изображались пять олимпийских колец, спросил: «Это ваша икона?» Я увидел старую икону тети Глаши, недавно висевшую рядом с Пикассо. «Да! То есть, собственно...» Я объяснил. Икона изъята у крупного фарцовщика, против которого сейчас возбуждено дело. А фарцовщик купил икону за сто двадцать рублей у Кирилла. Пока еще не ясно: будет ли Кирилл привлечен к суду, покажет ход следствия, но дело непременно получит огласку, и в первую очередь в комсомольской организации института. Затем я ответил на несколько вопросов насчет Кирилла, Ньюры, происхождения иконы и какого-то малоизвестного мне Кириллова приятеля из группы «Титаны» по имени Ромик. Я подтвердил, что ничего не знал о продаже иконы и вообще все это для меня полная неожиданность. Я считал, что икона находится в больнице у Титовой А. Ф.

Был составлен протокол допроса, я подписал его, направился к выходу и уже возле дверей спросил: «А моего сына вы когда вызовете?» И следователь меня огорошил: «Он уже давал показания. Понадобится, вызовем еще». Значит, вчера, когда он так хохотал в гостях... В первую секунду, поняв, из-за чего меня вызывали, я испытал мгновенное облегчение. Не я, не я! Кирилл, конечно, тоже «я», какая-то часть «я», но еще небольшая, незрелая часть, не так уж страшно, рана не смертельна. Однако облегчение было действительно мгновенным: оно длилось одно

мгновенье. Когда же картина раскрылась — а это произошло там же, за столом следователя, озарилось все за секунду, и не следователь подсказал, а я сам вдруг увидел, дорисовал, — когда я понял, как Кирилл все устроил, уговорил бедную дуру, обманул нас, скрывал, лицемерил, меня схватило и стало душить чувство, еще более непереносимое, чем страх. Это было чувство ужасающего стыда. Потому что все-таки — я! Я, я и никто другой! Не Кирилл, а я сидел перед столом следователя, и молодой человек задавал мне вопросы, глядя с холодноватой и тайной брезгливостью. О, я это отлично чувствовал! И если бы не я, целиком я со всеми моими потрохами, а какая-то часть меня, какой-то Кирилл сидел перед столом следователя, я бы никогда не почувствовал той брезгливости, не испытал бы того стыда и боли.

На улице я, как больной, думал вслух. Ну и прекрасно. Ну и замечательно. Подонок, ничтожество, дождался? Не-ет, пускай будет суд, пускай тебя вытащат, скотину. Не мог воспитать единственного сына, жалкое существо, старый идиот... Бежал домой, чтобы что-то сказать, спросить — что? О чем спрашивать, что говорить?

Рита была дома, Кирилл еще не вернулся. Рита все знала. Он ей сказал. А мне что же — узнавать через прокуратуру о том, что происходит в собственном доме? Может, я уже не член семьи? Тогда скажите об этом. Поставьте в известность. Я соберу чемодан и уеду.

Рита очень спокойно: «Да, мы решили тебе не говорить. Ты начнешь буйствовать, волноваться... А тут надо не кричать, не ругаться, а думать — как и что... Он поступил отвратительно, все верно, но надо выручать. Просить Меченова, Рафика, Геру, кого угодно, потому что парня выкинут из института. Сначала спасать, потом — судить». Нет! Нет! Сначала судить! А спасается пускай сам! Она мне что-то протягивала. «Успокойся, потом поговорим. Прими элениум». И я заметил в ее взгляде ту же холодноватую, почти казенную брезгливость, что и у следователя. Она ушла в свою комнату. Я заперся в кабинете.

Наконец через несколько часов пришел Кирилл. Я тут же позвал его. Он зашел с сигаретой, сел на диван и, нагло улыбаясь, уставился на меня. Прежде всего я вырвал у него изо рта сигарету и выбросил ее в форточку. «Это что должно означать?» — спросил он. «Должно означать, что сегодня я был...» — «Знаю! У Василия Васильевича». — «Какого Василия Васильевича?» — «Ну, следователя, Катеринкина». — «Откуда ты знаешь?» — «Я же у него свой человек. Четыре раза вызывали». — «Да? — спросил я грозно. — Четыре раза?» На самом деле мой запал иссяк, и я сказал — ничего не получалось иначе — постыдным, укоризненным голосом: «Ну, ты понимаешь хоть, что ты негодяй? А?» — «Конечно, пап. Чего ж не понимать? Понимаю». Он склонил голову удрученно и легко. Я видел, что дураченье меня продолжается. Вдруг он вскочил с места, подбежал к столу, где лежал маленький транзистор, и включил его. Диктор что-то тараторил. Лицо Кирилла озарилось радостью, он хлопнул в ладоши и прошептал: «Ура, ура!» Я подошел, вырвал из его рук транзистор и выключил его. «Вот что, говорю с тобой последний раз и совершенно серьезно. Выкручивайся сам! Понял?» — «Ладно, папа, — сказал он. — Вас понял. Ты только не волнуйся». Я возмутился, и одновременно мне стало дико смешно. «Да не я должен волноваться, а ты, ты! Ты должен волноваться!.. Глупый тип!» — «Я понимаю, папа. Я и волнуюсь. Но ты не должен волноваться. Все будет нормально, не думай ни о чем. Принести тебе воды?» — «Пошел от меня прочь!» — закричал я. Он выскочил из кабинета прыжками волейболиста. А я остался лежать на диване. Как жалкий, раздавленный таракан. И это было окончательным доказательством того, что там, перед столом следователя, сидел я, а не он.

Потом я действовал: выхода не было. У шахматистов это называется «цугцванг». Все ходы вынужденные. Над дураком нависло исключение. Я бросился к Рафику и через него — к Меченову. Оказалось: «У вашего любезного сына слишком много прегрешений. Он до сих пор не сдал зачета по физкультуре. В первом семестре пропущено двадцать два академических часа без уважительных причин». Пришлось обращаться к Гартвигу, приятель которого, бывший секретарем приемной комиссии, стал шишкой в ректорате. Рита почему-то не хотела звонить Гартвигу. А со мной Гартвиг был очень холоден и сказал, что с приятелем поговорит, но за успех не ручается: потому будто бы, что его, гартвиговский, кредит в том доме пошатнулся. Я не стал выяснять, в чем дело. Кто-то мне сказал, что у Гартвига неприятности в институте и ему вроде бы даже грозит увольнение. Ну, следовало ждать. Я несколько не удивился. Но все же Гартвиг, по-видимому, позвонил, и содействие его приятеля помогло: Кирилл остался. По комсомольской линии он получил строгий выговор с предупреждением. Я заставил его отвезти сто двадцать рублей Нюре, в загородную больницу Мурашково, привезти от нее расписку, а икона застряла в недрах органов правосудия в ожидании своего часа — лечь на стол вещественных доказательств. Но дело не в этом. Дело совершенно не в этом! Когда все кончилось, наступила тоска. Вот в чем дело. Мы больше не ругались с Ритой, мы просто обменивались мнениями. Она говорила: «Когда три эгоиста живут вместе, ничего хорошего быть не может». — «Да, но у каждого эгоиста есть выход, — говорил я. — Найти доброго человека, который будет ему все прощать». — «Это такая волынка — искать доброго человека. Я устала. Я уже старая женщина». — «Ничего, охотники на тебя найдутся». Так мы разговаривали за завтраком, а Кирилл сидел тут же и читал газету.

Утром пришел Атабалы с банкой молока. Я еще лежал, разбитый после бессонной ночи. По всем признакам был подскок давления. Может быть, оттого, что близка перемена погоды, к холоду или к еще большей жаре, а может, переработался, мозг устал, нужна пауза. Попросил Атабалы позвать Валю, медсестру, если еще не убежала на работу: измерить давление.

И узнал новость: Валя — приемная дочь Атабалы. В сорок пятом они взяли ее, трехлетнюю, из детского дома. Родители неизвестны, ничего не известно, кроме того, что она откуда-то с Украины. Валя прибежала с аппаратом тотчас. Какая добрая девушка! Не так уж плохо: сто сорок на девяносто пять. Я приободрился, даже забормотал какие-то пошлости: «Валюша, одно ваше присутствие действует, так сказать...» От ее халата слегка пахло карболкой, но от рук, прикасавшихся ко мне, когда она закатывала рукав рубашки и прилаживала аппарат, и от ее лица, близко склоненного, с выражением величайшей детской сосредоточенности — точно это была игра, а не работа, — я ощущал свежий, телесный запах и подумал, что еще года три назад не упустил бы возможности, приударил бы, взвинтился бы от одной близости молодой женщины, но теперь внутри меня сидел страх.

Валя сказала строго:

— Вам надо лежать. Нижнее девяносто пять — это много.

— Да что вы! Для меня это отличные цифры. Даже хочется ухаживать за красивыми девушками... — Я взял ее за руку в тот момент, когда она поднималась со стула, и она снова села. Увидел, что она покраснела. Держа ее за кисть, положил невзначай руку на ее колени. Она могла быть дочерью: разница лет двадцать. Ровесница моему первому сыну.

— Ну и глаза, — сказал я. — Ну и синие.

— Вечером принесу вам лекарство,— сказала она хмурясь.— Что принести, резерпин или раунатин?

— Все равно. Только обязательно.

Она встала с тем же суровым видом, вышла через маленькую терраску в сад и, проходя под окном моей комнаты, посмотрела на меня, улыбнулась и сказала, грозя пальцем:

— А вы не вставайте!

Я лежал некоторое время, глядя в раскрытое окно, где сквозь зелень накалялся день, и думал о Вале, о том, как ловко и быстро все сделала с аппаратом, и о том, что если бы такое существо было рядом... А что еще нужно? Вот только странно, что ночью к ней рвался этот недотыкомка Назар. Вдруг вспомнилась моя первая жена Вера. С нею было хорошо месяца два, она была такая же плотная, синеглазая, с крепким телесным запахом, играла в гандбол за студенческую команду. Но потом оказалось, что не понимает ясных и скучных вещей, объяснять каждый раз было тягостно, лучше молчать, молчали утром, днем, вечером, когда ложились спать, когда ехали в поезде в двухместном купе. И разлука была такой же спокойной, ни одного лишнего слова, как и двухлетняя жизнь. Не о чем было говорить. Рита показалась мне Шехерезадой. В первые годы с Ритой разговаривали ночами напролет: обсуждали знакомых, родственников, книги, фильмы, фантазировали, спорили бог знает о чем. На Ритиной работе все время происходили разные истории, кипели страсти, и Рита мне все рассказывала в лицах, с возбуждением, и я должен был давать советы, выносить суждения и сочувствовать. Но главное, что было в Рите, при всех ее качествах и невозможностях,— она понимала, что я такое, как я задуман и что из меня получилось. Даже в тот последний день, когда произошла ссора из-за жировок и Рита сказала, что я профессор Серебряков, что она всю жизнь надеялась на что-то во мне, но ничего нет, я пустое место, профессор Серебряков, я это услышал и не взорвался, потому что в ее словах была боль, истинная боль, которую я почувствовал. Профессор Серебряков тоже человек. Зачем уж так презирать его? Он не гангстер, не половой психопат, он хотел жить, любил женщину, по-своему, в меру своих сил, и годами без устали занимался одним — писал, писал, писал, писал, писал. Тем же, чем занимался я. Но нельзя же корить людей тем, что они не Львы Толстые, не Спенсеры. Всего этого я ей не сказал, когда услышал про профессора Серебрякова, потому что говорить было ни к чему: решение созрело. В тот день на языке вертелось дурацкое двестише, которое я сам придумал. Люблю дурацкие двестишия, вроде такого, но это мое старое: «Он играет в банде роль, посылает бандероль». Риту всегда эти штуки раздражали: «Тратить серое вещество...» Не понимала, что человеку, который всю жизнь занимается игрой в слова, это вроде разминки.

Утром был спор из-за жировки, которую я забыл оплатить, и Рите в жэке не дали какой-то справки, она пришла разгневанная. Я ходил и бормотал: «В доме повешенного не говорят о веревке, в доме помещанного не говорят о жировке...» Это двестише я и сказал ей в ответ на профессора Серебрякова. Кирилл, услышав из соседней комнаты, закричал весело: «Как, как? Папа, повтори!» Через некоторое время я им сообщил о своем решении. Чемодан был собран. Кажется, они не приняли мои слова всерьез, да я и сам не до конца верил собственным словам. Рита заметила ядовито, но спокойно: «Ага, теперь понятно, почему жировка не была оплачена». «Нет,— ответил я тоже спокойно,— я просто забыл. Жировки будут оплачиваться в срок». Они продолжали мне не верить. Я тоже себе не верил. Кирилл смотрел на меня, улыбаясь как-то криво и снисходительно. Однако я попрощался, взял чемо-

дан и вышел на улицу. На остановке такси, как всегда в этот час, стояла очередь, и я продрог в своем плаще, было морозно, как будто не март, а февраль. В такси по дороге в гостиницу «Варшава» — где остановился Мансур — я бормотал: «В доме повешенного не говорят о веревке, в доме помешанного не говорят о жировке...»

Все же мысли о Вале как-то утешили, я вдруг подумал, что до конца еще далеко, и решил сегодня не работать, дать голове отдых. Вышел в сад. Земля на дорожке была мягкая от цветов акации, они липли к ботинкам, воздух был душен, и это значило, что зной нависал, в городе могло быть все сорок.

Шел в глубину сада, где был виноградник и где прямо из виноградника, выбитая в скале, поднималась в гору тропа. Было жарко, хотя я шел тенью: сначала под сводами старых чинар, им лет по полтора, вокруг них текучая мгла, земля пуста, все забито исполинской силой, потом — под высокими яблонями, грушами, в тени акаций и американского клена. Атабалы сказал, что плодов в нынешнем году будет мало: нашествие тли. Маленькие черные мошки облепили ветви, стволы, беленные известью стены домиков. Садятся на белое. Моя белая рубашка вся в черных точках, а станешь смахивать — остаются следы. Зима была теплой, сказал Атабалы, без снега, и вся эта дрянь не вымерзла.

Сидели на каменной скамье, у подножья тропы в гору, и разговаривали. Он сказал, что звонил Мансур, сегодня приедет. Просил растопить баню. И с ним приедет товарищ Мергенов.

— Атабалы, сколько же у вас детей? — спросил я.

— Ай, много. Одиннадцать.

— А сколько было, когда Валу взяли из детского дома?

— Три. Еще мало. — Он засмеялся. — Если бы много было, не взяли тогда!

Но по его лицу, улыбке — в сухом, глянцевито-коричневом рту сверкнули белые до синевы, молодецкие зубы — увидел, что взяли бы все равно. Жаловался: с маленькими трудно и с большими тоже. Четыре старших дочери повыходили замуж, живут отдельно, но у каждой своя беда, надо помогать. Одна болеет, другая хочет работать, муж не пускает, у третьей ребенок хилый, в болячках, и не знают, как лечить. У Вали был муж осетин, работал буфетчиком в Тохире, но жить не смогли, ревновал ее, как зверюга, бил, запирали на замок, и так и расстались, он уехал в Бахарден. Плакал, говорил: «Не могу с тобой жить, зарежу когда-нибудь, лучше уеду». Теперь пристают всякие, говорят: «Гуляй со мной!», а ей какой интерес, она девушка хорошая, как туркменка воспитана. Не смотрит на мужиков. Назарка стучался ночью, жениться хотел, конфет три кило купил, она сказала: «Гони его, папа, фулюгана, черта, своей метлой!» Она Мишку любит, осетина. Что ж делать, если жить нельзя?.. Товарищ Мансур Гельдыевич тоже, как приедет, всегда просит: «Пускай Валя постелю принесет!» Она, пожалуйста, принесет, а больше ни-ни. Потому что — нет, нельзя. Товарищ Мансур Гельдыевич сердился. Зачем, говорит, на территории дачи работников культуры такой некультурный деревенский дом, дети бегают и тряпки висят? Семья, говорит, у тебя слишком большая. Гостям смотреть некрасиво. Они отдыхать хотят, а твои дети плачут и козы гуляют, как в ауле. А без коз и без коровы Атабалы никак невозможно, детей не прокормишь.

Нужно было ему идти, но, как всегда, встретясь со мной, усаживался надолго и говорил, говорил. Обычно я прерывал его какой-нибудь полувопросительной фразой: «Ну, что ж, пойти поработать?..» — «Ага! — кивал он охотно и улыбался. — Работа ишаков любит!» И мы расходились: он к своим кетменям, грядкам, я — в дом, к столу. Но сегодня

решено было сделать паузу, и я не прерывал его. Не знаю, отчего так любят со мной разговаривать. Наверное, оттого, что я терпелив. Они там говорят, а я киваю и думаю про свое. Вот слушал его и думал: Толстой прав наполовину, все счастливые семьи счастливы одинаково, это верно, но и несчастные семьи тоже ведь, боже мой, несчастливы как-то однообразно. Да и сам он рассказал такую стандартную историю: муж, любовник, свекровь... Эгоизм? Это — недостаток любви. Несчастья происходят от этой однообразной причины. Однако может ли человек, у которого одиннадцать детей, быть эгоистом? Немыслимо же! При всем желании, при любых врожденных качествах это было бы невыполнимо.

Атабалы что-то опять рассказывал про коров. Любит вспоминать про коров: как их трудно было держать при «Кель», плешивом начальнике. Было лет пять назад, но не мог забыть.

Тогда мы отдыхали под Одессой. И Арутюняны были на своей машине.

«Кель» приказывал, а милиционеры были знакомые, предупреждали: завтра приедем. Делайте, как хотите, угоняйте, убивайте. Два месяца прятали корову в ущелье. Траву носили ей на себе, пять километров в горы. Одну остановку на автобусе и потом — наверх, спасли. Потом «Кель» пропал, слава аллаху. Ну, ну, это очень интересно. Арутюнян расхаживал в шерстяных плавках с белым поясом по пляжу и говорил: «Процесс необратим...» Рита и жена Арутюняна ездили в Одессу на толкучку и покупали барахло. Если б у меня было хоть четверо детей, если б Рита работала и если бы мы держали корову — каким бы я был замечательным человеком! Как только приедет Мансур, нужно взять его за горло: пускай одолжит рублей триста, потом с издательством рассчитается. Все-таки нету совести. Знает, что сижу без гроша, надо слать в Москву, и делает вид, будто его не касается.

— Значит, Мансур хотел вас выселить?

Было сладко услышать о Мансуре что-нибудь неприятное. Он мой друг, выручает всю жизнь, дает работу, но временами я его ненавижу. Мансур не ведущий поэт, местные литераторы относятся к нему иронически, но он удивительно везуч и ловко умеет устраивать свои дела.

— Мансур Гельдыевич приехал два дня, суббота, воскресенье, обратно просил: «Пускай Валя постелю принесет!» Утром злой идет. От твоей кухни, сказал, запах по всему территории, надо тебя убрать окончательно. А в райсовете сказали: «Язгуль — мать-героиня, никто не выселит, не беспокойся». Ха-ха! — Он смеялся, сверкал зубами. Потасил саксаул. Я понял, что его жизнь необыкновенно трудна, почти идеальна в этом смысле, и он счастливый человек.

Когда жара спала, в пятом часу пошел в чайхану обедать. Маленький Назар стоял при входе на каменных ступенях и высокомерно разговаривал с горбатым человечком, у которого было скучное, интеллигентное лицо с черной бородкой и черными усиками. Лицом горбун напоминал какого-то из испанских королей. Когда после плова и пиалы чая я выходил спустя четверть часа из чайханы, Назар и горбун ссорились и было похоже, что затевается драка. Вокруг стояли зрители. Некоторые садились на корточки, чтобы уютней смотреть. Мне сказали, что горбун — курд, его зовут Саша, он тоже большой драчун. Назар внезапно толкнул Сашу, и тот упал. Зрители сказали: «Ва-ах...» Я вспомнил, как говорил Атабалы: «От него падаешь, как все равно с ишака — головой в землю». Этот коротышка Назар занимал меня. Может быть, потому, что он хотел жениться на Вале и купил с этой целью три кило конфет. Я рассматривал: на нем была бумажная, дешевая рубашонка на выпуск в каких-то цветочках, сатиновые брюки, темно-красные бу-

мажные носки и босоножки из кожзаменителя. Он поднялся по ступеням и встал на прежнее место у входа в чайхану. В его глазах, смотревших на всех нас сверху вниз, что-то пылало.

— Почему дрались? — спросил я одного парня.

— Ай, делят чего нет... — сказал парень презрительно. — Она ни тому, ни этому. А он ему сказал. Ну, и поругались.

Никто не заметил, как снова возник Саша с ножом в руке, он приближался, шатаясь, к крыльцу чайханы, люди шарахнулись, но Назар стоял неподвижно и смотрел на горбуна. Потом юркнул в дверь и через минуту вернулся, держа громадный кухонный тесак. Люди засмеялись. Назар стоял на верху крыльца, напыжившись, расставив свои крепенькие ноги гнома, и держал кухонный тесак, как алебарду. Саша плюнул, махнул рукой и ушел. Все стали громко хохотать. В это время к чайхане подъехал с дребезгом и остановился автомобиль, хлопнула дверца, и я увидел своего друга Мансура в белом костюме и в белой соломенной шляпе.

— Салам! Салам! — Мансур поднимался по ступеням крыльца, вельможено помахивая рукой и кивками приветствуя хохотавших людей.

Назар, выпучив глаза, заорал:

— Товарищ Мансур Гельдыевич — ура!

Меня Мансур не заметил. Я ждал, пока он выйдет. В машине на заднем сиденье был еще кто-то. Через некоторое время Мансур появился, неся авоську с тремя бутылками коньяка.

— Бензин заправку сделать забыл, — объяснил он стоявшим вокруг крыльца людям. — Мотор дальше не идет... Тссс! — Как обычно, не хохотал, а тоненько хихикал, прыскал сквозь зубы. И это «тсыканье» означало, что настроение отличное, пищеваренье в порядке, дела идут хорошо и виды на будущее еще лучше.

Увидел меня, посадил в машину, и мы прокатились метров пятьсот вверх по тенистой улице. Телеграммы не было. Никто не звонил. Вместе с Мансуром прибыл огромный человек по фамилии Мергенов, начальник треста ресторанов и столовых, друг Мансура: в воскресенье должно состояться открытие ресторана «Чинар» и товарищ Мергенов приехал, чтобы лично присутствовать. Когда он вылез из машины и распрямился, я увидел нечто каланчеобразное: рост не менее двух метров, холм живота обнимали полотняные штаны какого-нибудь шестьдесят четвертого размера, гигантские руки-лопаты, и при этом — небольшая голова полированным и сверкающим под солнцем коричневатым яйцом, напоминающая гладкостью щек и большим ртом голову чудовищного младенца. Товарищ Мергенов мог бы играть в детском театре Идолище Поганое. Вскоре выяснилось, что он деликатнейший, милый человек. Он тотчас после обеда лег спать, а Мансур прослушал две главы своей поэмы «Золотой колокольчик» — все двенадцать глав слушать было ему недосуг, перенесли на вечер — и побежал в «Радугу», министерский дом отдыха, где отдыхал какой-то нужный ему человек. Я не обижался на то, что Мансуру некогда было слушать собственную поэму в моем переводе, эти ворохи строк, в которых были мои одышки, находки, придумки, издыхающий мозг. В порядке вещей. Я к этому привык. Но взорвало меня другое. Когда я сказал: «Ладно, беги. А как там с деньгами?» — он ответил небрежно, на ходу:

— Слушай, закончим дело — тогда будем говорить...

И даже звякнуло раздражение. Вот, мол, бестактность: пристают с деньгами. Меня как будто шлепнули по щеке. Я закричал:

— Как — поговорим! Да ведь ты обещал привезти деньги сегодня! Да черт вас дери совсем! — орал я в беспамятстве. — Ты можешь понять, в каком я сейчас положении? Я должен посылать в Москву!

Именно сейчас я не могу задерживать! Наши приятельские отношения тебя избаловали! А я переводчик первого ранга! Меня добиваются, за мной стоят в очереди! Ты понимаешь это?..

— Понимаю, понимаю, начальник,— кивал Мансур, совершенно спокойный.— Ты большой человек, я знаю... Не ругай нас, бедных людей...

— Не фиглярствуй!

— Слушай, не кричи, все сделаем. Возьми пока...— Он протягивал бумажку в двадцать пять рублей.— Дома ремонт начали, сами без денег. В понедельник пойдем... нажмем, сделаем...

— Нет, в понедельник ты купишь билет на самолет! Шиш я тут останусь!

Четвертная полетела на пол. Он ушел, успокаивающе махая на меня руками, как на больного, кивая и подмигивая и твердо зная при этом, что все кончится благородно: я никуда не уеду, пока он не выжмет меня до капли. Ведь я в капкане. И все движения, которые я делаю будто бы независимо, на самом деле движения существа, находящегося в капкане. В радиусе не длиннее собственного хвоста. Я поднял четвертную и положил на стол. Потом лег на кровать, сунул под язык таблетку валидола — сердце заныло — и лежал с закрытыми глазами час или полтора.

Солнце краем вползло в комнату. Это значило, что наступил вечер. За перегородкой затрещала кровать — громадный человек проснулся, трубно вздыхал, сопел, потом сказал: «Ай-вай-вай...», снова затрещала кровать, протопали тяжелые ноги, ударила дверь, ушел. Теперь, когда я лежал в полной тишине и одиночестве, я понял, что безобразное оранье из-за денег — вовсе не из-за денег. Все-таки я надеялся на известие. Я — не они. Молчание неестественно, даже если все кончено, потому что когда человек звонит вдруг на рассвете и говорит, что болен, пускай даже чужой человек, бывший родственник, надо быть уж совсем скотами, чтобы тупо молчать девять дней. Впрочем, Кирка пригрозил как-то: «Ладно, вот убегу из дома, а тебя хватит инфаркт. Потому что я могу жить без тебя, а ты без меня — не можешь». Поганец, сказал правду. Там что-то случилось. Черт с ними, позвоню и узнаю.

Я ходил по комнате, бормоча: «В доме помешанного не говорят о жировке, в доме повешенного...» Стало легче от того, что принял решение. Вдруг пришла Валя. Совсем забыл, что она должна принести лекарство. Я сел на кровать к столу, она измерила давление. Немного повысилось: сто пятьдесят на сто. Ага, «кондратий» все ближе. Вот что значит поволноваться.

— Вы работали сегодня? — спросила Валя.

— Бездельничал.

— А выходили из дома? Гуляли?

— Немного.

Валя морщила лоб, глядела на меня с напряжением и, как видно, собирая воедино все свои небольшие познания о гипертонии и сердечных болезнях. Она была не в халате, а в белой нарядной кофточке и в синих нейлоновых брюках, плотно облегающих. Наверное, здорово жарко в этих брюках. Но зато выглядело элегантно. Я заметил, что и прическа не та, что утром.

— Вы куда-то собрались? — спросил я.— В кино?

— Нет, я сегодня дома буду.

Она сидела, положив одну синюю ногу на другую, и у меня не было никакого желания притронуться к ее коленям или взять за руку, как было утром. Резерпин она положила на стол, аппарат спрятала, но почему-то не уходила. Я не знал, чего мне хотелось: чтобы она ушла

или осталась. Разговаривать было вроде не о чем. Она молчала, я тоже молчал. Игра в молчанку была как раз ей по возрасту. Я думал: сегодня позвонить уже не удастся, почта до пяти. Завтра с утра. Никаких разговоров. Просто узнать: все здоровы? Прекрасно. Повесить трубку. Всего этого уже не существует в моей жизни, но должен быть порядок.

— Да...— сказал я после молчания.— Между прочим, знаете что, Валя? Я видел вашего кавалера.

— Какого это кавалера?

— Ну, этого маленького. Который ночью приходил с конфетами.

— А! Назарчика? — Она засмеялась, и ее лицо вдруг стало оживленным и милым.— Он пьяница, все его угощают, бедного, и он шатается каждый день. А ему пить нельзя. Здоровье не позволяет. Недавно два ребра сломал, влезал через форточку в свою комнату, ключ потерял. Мы его в больницу возили. Вообще он сирота, один живет, как собака бездомная. Я его жалею, дурочка, а он и вправду подумал...

— Что? — спросил я, зевая. Началась одышка, как всегда вечером, от переутомления. Но ведь сегодня я не работал.— Жениться предлагает?

— Не жениться, а так: защищать меня хочет. Если, говорит, кто тебя обидит, ты мне скажи, я его бить буду. Умора!

— А-а! — Никак не мог глубоко, всеми легкими вздохнуть.— А вы что же... не согласны?

Она молчала, глядя, как я ловлю губами воздух. Когда наконец успокоился и вздохнул, сказала тихо:

— Зачем же мне такой чертик-защитник? Даже странно, как вы говорите. По-моему, я сама могу себя защитить.

Посидев еще немного, ушла.

Вскоре ворвался Мансур, стал тащить меня в соседний домик, где товарищ Мергенов и работники ресторана отмечали канун торжественного события — открытия сезона в ресторане «Чинар». Да я-то при чем? Все хотят меня видеть. Немедленно доставить живого или мертвого. Товарищ Мергенов приказал. Мансур был заметно пьян, хлопал меня по плечу и кричал: «Мой повелитель! Кто вы и кто я?» Он делал страшную гримасу, зажмуривал глаза, кривил рот и показывал, какое он ничтожество: держал перед носом двумя пальцами невидимого комара. Обычное юродство, к нему я тоже привык. И все-таки, если будет нужно, он меня выручит. В том-то и дело: он добрый малый несмотря ни на что. Я знаю его сто лет, это точно. Да господи, он лучше многих, гораздо лучше, о чем говорить! Там все были навеселе: товарищ Мергенов, два пожилых лысых человека, похожих, как братья, директор ресторана и его заместитель, и три официантки, которые заливались хохотом, когда я вошел, и муж одной из официанток, капитан с погонами войск связи. Перегнувшись ко мне, капитан прохрипел в ухо: «Тринадцать лет среди этих милых лиц...» По-видимому, тут было окончание долгого обеда. Вдруг пришел Назар. Все восклицали: «Ура, Назарчик!» Коротышка каждый год летом работал швейцаром-вышибалой в ресторане «Чинар», и это были лучшие месяцы его жизни.

— Назар, пойді Валю найди! Скажи, Мансур Гельдыевич зовет, шампанское есть, кролик есть...

Назар убежал, возвращался один. Почему не хочет? Как такое — не хочет? Скажи, Мансур Гельдыевич заболел, сердечный приступ, помогать нужно. И — падал на кровать так, что все тряслось, и, махая на себя полотенцем, кричал:

— Уй-уй, сейчас умираю! Скорей доктора! Хочу доктора!

Товарищ Мергенов и оба директора хохотали, официантки пели, я выпил рюмку коньяку, потом еще одну и вышел на улицу. Было совсем темно. Я чувствовал себя прекрасно, дышалось легко, но радости не

было. Вчера ночью была неясная, ночная радость, а сегодня — ничего, пусто. Мог бы сейчас же все бросить и уехать куда-нибудь. Перевалить через горы на север. Там, за горами, были пустыни, степи, леса, прохлада. Я болен. Если б я был здоров, мне бы хотелось жить дальше. Не знал, куда себя деть. Ходил туда-сюда по ночному саду, добрал до виноградника, оттуда дорожкой вернулся мимо персидских домиков и пришел в свою комнату. Не раздеваясь лег в постель. Пенье и крики были слышны минут двадцать, потом затихло. Я услышал легкие шаги бега под окном, дверь отворилась, в комнату бесшумно скользнула Валя. Спросила шепотом:

— Можно? Это я... Вы не спите? — Она тихо смеялась, но без всякого смущенья, возбужденно, как заговорщица. — Я спрячусь тут?

— Валяйте. От кого это вы?

— Да ну! Мансур Гельдыевич гоняется. Завтра будет прощенья просить, а сегодня себя не помнит. А Назарка его убить грозитя, тоже дурачок...

Откуда-то издали раздались крики: высоко, истошно, как кричат во время драки или скандала. Прислушались, но понять было нельзя.

— Вроде отец кричит, — сказала Валя и спросила: — Можно я свет погашу? А то увидят и прибегут.

— Да не бойтесь вы. Ну, погасите.

— Я потом зажгу.

Она щелкнула выключателем настольной лампы. Обозначились звезды в окне. Что делать в потемках? Стали разговаривать о том о сем. Она рассказывала про своего отца, маму, про то, что три года назад нашла настоящая мать, живет в селе Григоровка Черниговской области, Валя туда ездила, и мать очень просила остаться и жить с ней — там очень чудесно, большая река, и живут хорошо, муж матери, не отец Валя, а отчим, работает ветеринаром, своя машина «Победа», а мать больная, ноги опухают, работать по хозяйству почти не может — надо бы остаться и помогать, да сил не было бросить родных здесь, в Тохире. Мама Язгуль очень плакала, когда узнала, что нашла родная мать. Та приехала тайком, Валу отыскала тайком и потом деньги прислала до востребования, чтобы Валя приехала в Григоровку. Наверно, она хорошая женщина. Только ведь жизнь прошла без нее. Родные люди — кто добро делает. А уж сколько папа и мама Язгуль добра сделали Вале! Школу окончила, каждое лето в пионерлагере, потом на курсы медсестер, потом — свадьбу с Мишкой устроили в «Чинаре» на сорок пять человек. Всегда с Мишкой мирили. Что ж делать, если так вышло... И я стал рассказывать про свою жизнь. Она знала многое от отца: я успел что-то наговорить.

— Вы еще не старый, — сказала Валя. — Какой же вы старый?

— Старый, старый, — сказал я. — Я-то знаю.

— Что вы! В вас еще девушки будут влюбляться.

— Старый, потому что... Понимаете, Валя, вот ваш отец садовник, отчим ветеринар, вы медсестра. А я всю жизнь куда-то карабкался, карабкался. Старость оттого, что устаешь карабкаться. Какая-то мура, понимаете?

Понять было невозможно. Но она поняла.

Я почувствовал, как ее пальцы нашли мою руку и несильно сжали. Такое скромное, тимуровское пожатье: так пионеры ободряют одиноких стариков, навещая их вечерами, после уроков.

— Знаете что? — сказала она. — Вы не огорчайтесь. У вас все будет хорошо. Ну, гипертония, ну, ничего.

— Да я не так уж огорчаюсь.

— Совсем не огорчайтесь! Сын вас любит. И жена любит. Куда

они без вас? Никуда ведь не денешься. Вот мы с Мишкой расстались, а знаете...

Хорошо, что темнота. Мне было не по себе.

— Что? — спросил я.

— Куда ж я уеду, если он здесь, в Бахардене? Все равно я к нему прибегу, правда же?

Хорошо, что полная ночная тьма и она ничего не видела. Что-то она шептала, я потянул ее за руку, она села на кровать, потом сбросила туфли, потом легла рядом, голову положила на мою руку, я обнял ее. Кто-то кричал вдали: «Ва-ля!» Еще что-то кричали по-туркменски. Она всхлипнула едва слышно или засмеялась. Я обнял ее крепче. Она гладила мою голову. Такое доброе, шелковое, родное. Добро имеет губы, шею, его можно обнимать. Ну вот, и незаметно лодка ударилась носом в песчаный берег, ее стало сносить течением, но я успел выпрыгнуть, коленями и руками вжался в травяной склон, напрягся, выпрямился, встал на ноги, железная цепь была у меня в руке, и я, повернувшись, легко втащил лодку на берег. Рита перешагнула через скамейку, встала на нос, я подал ей руку, и она сошла на землю. Со стороны леса восходила туча. Телс тучи было пухлым и пепельно-серым. Мы бросились в воду, чтобы успеть выкупаться и поплавать до грозы. Мыплыли сюда, в бухту, издалека, это было наше место, нигде лучше нет купанья на всей реке, но этого никто не знал, кроме нас. Мы с Ритой открыли эту бухту, держали ее в секрете. Вода здесь была чистой и теплой, всегда градуса на два теплее, чем в реке. Наверное, тут был где-то теплый ключ. Рите уже запрещали помногу плавать. Но когда она шла в воду, осторожно ступая своими длинными ногами, никто бы ничего не заметил. Был ветер, и небольшая волна все время нас похлестывала, когда мы смотрели в сторону противоположного берега, следя за тучей, поэтому мы повернулись туда затылками и упустили минуту, когда туча вдруг быстро надвинулась и настали сумерки. Вода была замечательно теплая. Когда ливень ударил, воздух сразу похолодал, но вода оставалась теплой, и мы, держась за руки, отталкиваясь от песчаного дна, выпрыгивали из этой теплой воды навстречу стегавшим водяным струям и хохотали, как безумные, а все кругом было скрыто падающей стеной воды, шумящей и непроглядно-белой, как туман. Скоро мы озябли, перестали выпрыгивать и старались отсидеться в воде, она все еще была теплой, а воздух исчезал, нечем было дышать. Вода душила нас. Все та же лестница, на которой я задышался, еще одна ступень, еще усилие, зачем-то надо подниматься все выше, но воздуха не было.

В Москве люди ходили в пальто. Шофер такси сказал, что холода и дожди весь месяц, сады померзли, на рынке молодая картошка полтора рубля килограмм. Я отвертел стекло и с радостью вдыхал сырой воздух. В июле Кирилл уехал со студенческим отрядом в Новгород, а мы с Ритой в конце июля взяли путевки на Рижское взморье, поехали немного раньше, пожили в гостинице, а с августа поселились в доме отдыха. Август стоял прекрасный, солнечный, нежаркий и без дождей. Я гулял по многу часов. Балтийский климат, как всегда, действовал целительно: я дышал глубоко и ровно, давление пришло в норму, и в конце нашего пребывания я даже достал ракетку и немного играл в теннис.



ЛЕОНИД ЗАВАЛЬНЮК

★

ЦВЕТУЩАЯ АКАЦИЯ СТАРА

Цветущая акация стара,
Как бабкин тюль,
Что тронут легкой желтизною,
Как посох деда с ручкою резною,
Как каменный колодец на краю двора.
И каждый раз,
Когда в конце весны
Среди колючек забелеют грозди,
К далеким дням я забредаю в гости
С неясным чувством счастья и вины.
Брожу я по зеленым городам,
В которых жил
Или бывал проездом,
К давно забытым подхожу подъездам
И что-то все ищу.
А что — не знаю сам.
Вот кто-то вышел.
Может, это я?
А может, это тень моей надежды —
Мечта нелепая мальчишки и невежды
Вместить в душе все встречи и края?
Цветущая акация стара,
И, может, оттого окрестный мир моложе,
Что каждый год цветет она похоже,
Как будто для того, чтобы сказать:
— Пора!
Пора опять бывшее обойти
Тропой любви и горьких испытаний,
Свой след давно затоптанный найти
И все, что было брошено в пути,
Вернуть душе,
Окрепшей от скитаний.

Ищу я человека меж людьми,
Любившего все то, что мной любимо.
Хотел бы я, чтоб, пробегая мимо,
В Москве ли или где-нибудь в Перми
Махнул он мне рукою, черт возьми, —
Мол, встретиться с тобой необходимо.

Но он бежит, смятением объят,
Встречать жену или кормить ребят.
Ищу я человека меж людьми,
Нашедшего возможность в буре буден
По временам вытаскивать воспоминаний бубен
И бить в него с восторгом, черт возьми.
Ищу я человека зрелых лет,
Которому до славы дела нет.
Высоким честолюбием снедаем,
Спокойным и взлелеянным в тиши,
Способен он на сквозняке нервном
Поговорить о важном и серьезном,
Ну, скажем, о бессмертии души.
Или о том, что времени река
В иных местах не так уж глубока,
Как нам казалось в молодые годы.
О музах, о влиянии природы,
О сущности трагической вины
И о проблемах мира и войны.
Ищу я человека меж людьми
С двужильным сердцем, жестким и веселым.
Вовеки он пребудет новоселом
В неновом этом мире, черт возьми.
Ищу я человека щедрых трат,
Глубокой честности и смелого телесно,
С которым бесполезное полезно,
С которым каждый Плиний иль Сократ.
Ищу я человека меж людьми,
Способного на позднее сближение.
Ищу предмет, достойный уважения,
Свой путь единственный ищу я, черт возьми!



ПУБЛИЦИСТИКА

Л. ЛЕОНТЬЕВ,

член-корреспондент Академии наук СССР

★

ПЕРВЕНЕЦ

(К 50-летию плана ГОЭЛРО)

1

Подходил к концу год 1920-й, год крутых поворотов, решающих побед на фронтах гражданской войны, сложных проблем и трудностей в хозяйственной жизни Советской страны. На исходе его состоялся VIII съезд Советов, принявший ленинский план ГОЭЛРО.

Много лет спустя Алексей Толстой даст зримую картину исторического съезда:

«В пятиярусном зале Большого театра, в тумане, надышанном людьми, едва светились сотни лампочек красноватым накалом. Было холодно, как в погребе. На огромной сцене, с полотняными арками в кулисах, сбоку, близ тусклой рампы сидел за столом президиум. Все они, повернув головы, глядели в глубь сцены, где с колосников свешивалась карта Европейской России, покрытая разноцветными кружками и окружностями, — они почти сплошь заполняли все пространство. Перед картой стоял маленький человек в меховом пальто, без шапки; откинутые с большого лба волосы его бросали тень на карту. В руке он держал длинный кий и, двигая густыми бровями, указывал время от времени концом кия на тот или иной цветной кружок, загорающийся тотчас столь ярким светом, что тусклое золото ярусов в зале начинало мерцать и становились видны напряженные, худые лица, с глазами, расширенными вниманием.

...Люди в зрительном зале, у кого в карманах военных шинелей и простреленных бекеш было по горсти овса, выданного сегодня вместо хлеба, не дыша, слушали о головокружительных, но вещественно осуществимых перспективах революции, вступающей на путь творчества...»

Маленький человек в меховом пальто, без шапки, делавший на съезде доклад о плане электрификации России, был Г. М. Кржижановский. Ему, человеку, сочетавшему страстность пролетарского революционера с глубокой научной эрудицией и блестящими инженерными способностями, партия по предложению Ленина поручила возглавить работу по созданию плана электрификации страны.

История плана ГОЭЛРО началась задолго до VIII съезда Советов. В декабре 1917 года у Ленина побывал видный энергетик, впоследствии академик, А. В. Винтер. В ходе их беседы возникла мысль о строительстве крупной электростанции на шатурском торфе.

«Как я вскоре понял, — рассказывает А. В. Винтер, — глубокий интерес, с каким Ильич расспрашивал меня о научно-технических достижениях в электроэнергетике, свидетельствовал о том, что в его мозгу уже зрел гениальный план электрификации всей страны как решающего средства ее будущей индустриализации».

Пророчески звучали заключительные слова Ленина на съезде Советов: «Если Россия покроется густой сетью электрических станций и мощных технических оборудований, то наше коммунистическое хозяйственное строительство станет образцом для грядущей социалистической Европы и Азии».

Чеканная ленинская формула: «Коммунизм — это есть Советская власть плюс электрификация всей страны» — раскрывает роль и место электрификации в создании материально-технической базы социализма и коммунизма.

План ГОЭЛРО положил начало новому типу хозяйственного развития, а именно — планомерному руководству экономической жизнью страны. Впервые в истории был разработан и утвержден высшим органом государственной власти народнохозяйственный план, определяющий направление развития всей экономики страны на протяжении длительного срока. То был первенец социалистического перспективного планирования.

Связь и преемственность между планом ГОЭЛРО и дальнейшими планами хозяйственного развития несомненны и очевидны. Спустя неполных два месяца после VIII съезда Советов, в феврале 1921 года, правительство приняло решение о создании Государственной общеплановой комиссии, как тогда назывался Госплан.

Всякое начало трудно. Эта бесспорная истина в полной мере относится и к такому принципиально новому делу, каким явился переход к планомерному управлению народным хозяйством. В данном случае начало исчисляется, естественно, не одним или несколькими годами, а значительно более длительными сроками. Стоит вспомнить ленинскую характеристику того положения, в котором находилась в ту пору страна: она не могла рассчитывать, образно выражаясь, на «уже испробованный экипаж, заранее подготовленную дорогу, испытанные уже ранее механизмы», перед ней — «ни экипажа, ни дороги, вообще ничего, ровно ничего, испытанного ранее!»¹.

Перевод хозяйственной деятельности народа на плановые рельсы означал разрыв не только с прежними методами хозяйствования, но и со сложившимися традициями во всех областях общественной жизни. Коренное изменение в главной сфере жизни общества, в области производства, не могло не затронуть всех остальных ее аспектов, прежде всего обширных сфер науки и культуры, а также бытовых устоев, навыков мышления, морально-нравственных норм, психологических привычек.

На протяжении веков и даже тысячелетий сфера хозяйства считалась делом частным, сугубо индивидуальным, касающимся только отдельных лиц, но отнюдь не общества в целом. На утренней заре капитализма господствовало наивно-оптимистическое представление о том, что «невидимая рука» рыночной стихии успешно разрешает проблемы экономического развития народа. Уже в начале XIX века этот наивный оптимизм вырождается в пошлую философию утилитаризма, связанную с именем Бентама. Система взглядов, принадлежавшая этому, по характеристике Маркса, «архифилистеру», «трезво-педантичному, тоскливо-болтливому оракулу пошлого буржуазного рассудка XIX века», охарактеризована в «Капитале» незабываемыми, полными сарказма словами².

На вечерней заре капиталистической эры в социальной философии отживающего класса пошлый оптимизм сменяется не менее пошлым пессимизмом. В моду входят псевдонаучные рассуждения об извечной иррациональности хозяйственной жизни. Эти теории были не чем иным, как догматическим истолкованием повседневных наблюдений агентов капиталистического производства, функционирующих капиталистов, погрязших в фетишистских представлениях, порождаемых капиталистической действительностью. В сознании непосредственных агентов капиталистического производства стихийные законы рынка, определяющие уро-

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 44, стр. 416.

² См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 23, стр. 187 и 623.

вень товарных цен, норму прибыли и ставки процента, выступают как извечные каноны хозяйственной жизни. Представить себе экономическую жизнь общества без этих барометров, предсказывающих то бурю, то ясную погоду, им труднее, чем представить себе жизнь Земли без смены дня и ночи.

Буржуазные идеологи и политики не только предрекали якобы неизбежный провал каждому народнохозяйственному плану Советской страны: они пытались брать в штыки самую идею народнохозяйственного планирования, изображая социалистические планы как некое подобие вавилонской башни, как источник неминуемого хаоса в хозяйственной жизни. Идея народнохозяйственного планирования подверглась осмеянию и осуждению как противная человеческой природе и элементарным принципам хозяйствования.

Могли ли подумать эти незадачливые пророки, что не пройдет и нескольких лет, как слово «план», впервые порожденное практикой социалистического строительства, войдет в обиход экономической и политической жизни многих стран, а впоследствии и всего человечества? Могли ли они предвидеть, что в обстановке небывало глубокого экономического кризиса тридцатых годов, который по времени совпал с успехами первого пятилетнего плана в Советском Союзе, подлинная тоска по плану охватит самые широкие круги в странах Запада, не исключая также и его правящей элиты? Могли ли они предполагать, что спустя несколько лет после второй мировой войны многие и многие страны станут на путь выработки пятилетних, четырехлетних, трехлетних и других планов, рассчитанных на длительный срок и призванных внести хоть какой-то элемент порядка в анархическое течение капиталистического хозяйства?

2

Управлять народным хозяйством страны в плановом порядке — значит, управлять им на прочной научной основе. Было бы наивным полагать, что такая задача может быть разрешена одним ударом. С ростом экономики, с усложнением условий ее развития, увеличением объема стоящих перед нею задач вновь и вновь выдвигается необходимость повышения научного уровня планового руководства.

Под этим требованием подразумевается, очевидно, прежде всего построение планового управления народным хозяйством на основе познаваемых и сознательно применяемых объективных экономических законов социализма. В связи с этим вопрос о познании экономических законов социализма, об овладении ими и об их применении в практической жизни оживленно дебатруется на страницах экономической литературы как в СССР, так и в других социалистических странах.

Как уже неоднократно отмечалось, нынешние хозяйственные реформы в странах социализма неразрывно связаны с более глубоким проникновением в существо экономических законов социализма. В свою очередь процесс более полного познания этих законов и овладения ими находится в тесной связи с изменившимися условиями экономической действительности, диктуется настоятельными требованиями жизни.

Было бы, по-видимому, упрощением представлять себе познание экономических законов социализма и овладение ими как простую кодификацию определенного количества неизменных, застывших формул. В чем недостаток одностороннего понимания экономических законов социализма, игнорирования роли практики в познании законов и овладении ими? Парадоксальность положения, на мой взгляд, в том, что изображение законов социалистической экономики в виде фатальных сил, совершенно не связанных с деятельностью общества, позволяет оправдывать любые, в том числе и нерациональные, хозяйственные решения ссылками на эти всемогущие законы. Между тем успехи в познании экономических законов социализма и овладении ими в процессе практики служат серьезным барьером против субъективизма и волюнтаризма.

Долгое время внимание экономистов сосредоточивалось главным образом на качественной стороне социалистического способа производства, на его отличиях

от капитализма, на его преимуществах перед капитализмом и т. д. Это было в определенной мере отражением практики хозяйственного строительства, когда, к примеру, продукция выпускалась без точного учета затрат на ее производство. На более высоком уровне развития хозяйственного руководства, наряду с познанием качественных отличий социалистической экономики, на первый план выдвигается количественная сторона дела, вследствие чего экономические исследования призваны выяснять качественную и количественную сторону явлений в их неразрывной связи.

Развитие внутренних противоречий явлений и процессов объективного мира приводит к постоянно возникающим внешним противоречиям между изменившейся действительностью и старыми понятиями. В применении к политической экономии социализма это означает, что постоянное возникновение и преодоление противоречий между развивающейся социалистической экономикой и привычными понятиями и представлениями служат основой и источником новых знаний об экономике, совершенствовании экономической науки, в конечном итоге преодоления отрыва теории от практики.

В переходный период, когда шла борьба между силами социализма и силами капитализма, особенно важно было видеть коренное, принципиальное различие между экономическими законами планомерно строящегося социализма, с одной стороны, и экономическими законами частнособственнической рыночной стихии, на которую опирались враждебные социализму элементы, с другой стороны. Но время шло, вопрос «кто — кого» был решен в пользу социализма, место многоукладной экономики переходного периода заняла социалистическая система, безраздельно господствующая во всех сферах народного хозяйства.

Между тем в некоторой части научной литературы экономические законы социализма продолжали трактоваться с тех же позиций, как и законы переходной экономики. Появилось представление, что одним законам нужно давать полный простор, а другие необходимо всячески ограничивать. Это означает фактически деление экономических законов социализма на две категории. Законы первой категории выступают как полноценные, подлинно социалистические, полезные во всех отношениях; законы же второй категории представляются как не вполне социалистические, таящие в себе опасность, внушающие известное подозрение.

Примечательно, что при этом в первую категорию попадают законы, не поддающиеся точному количественному выражению, а во вторую — законы с определенным количественным значением. Между тем экономические решения — на любом уровне и любого масштаба — всегда связаны с количественными измерениями, сравнениями, сопоставлениями. Поэтому теория ограничения экономических законов социализма могла бы лишиться экономические решения объективной почвы и открыть дорогу произвольным и несостоятельным акциям.

На чем основана подобного рода классификация экономических законов социализма? На мой взгляд, она связана с представлением о социализме как о такой промежуточной, переходной ступени, которая, в сущности говоря, своих собственных, ей одной присущих, законов не имеет, а обходится некоторой комбинацией из закономерностей предыдущей, капиталистической, и будущей, коммунистической, системы. Социализм выступает в этой трактовке в виде чего-то вроде смешанной экономики, состоящей из сочетания элементов прошлого и будущего.

Такая трактовка социалистической экономики, служащая невысказанной, а подчас даже неосознанной основой для деления законов социализма на два разряда, не подтверждается историческим опытом нашей эпохи. Несомненно, что на лестнице исторического развития социалистическое общество является ступенью, лежащей между капитализмом, с одной стороны, и коммунизмом, с другой стороны. Однако оно не может рассматриваться как некий полустанок на магистральной дороге общественного прогресса, на генеральной линии мирового революционного процесса.

В свете накопленного опыта едва ли правильно рассматривать социализм как какой-то кратковременный этап, на котором действуют законы, представляющие нечто переходное или среднее между законами капитализма и законами коммунизма. Известно, что Маркс, определяя крупным планом различие между двумя фазами в развитии коммунистического общества, говорил о социализме как первой фазе, непосредственно выходящей из лоно капитализма, в отличие от высшей фазы коммунизма, которая является «таким коммунистическим обществом, которое развилось на своей собственной основе». Это высказывание Маркса едва ли можно понимать в том смысле, что социализм охватывает сравнительно небольшой отрезок времени, который необходим для создания «собственной основы», рассматриваемой ограничительно как материально-техническая база социализма.

Не будет ли правильнее предположить, что Маркс, говоря о собственной основе нового общества, имел в виду гораздо более широкий круг коренных преобразований всех сторон общественной жизни, включая и такие сложнейшие процессы, как устранение существенных различий между физическим и умственным трудом, между городом и деревней, как воспитание у всех трудящихся нового, коммунистического отношения к труду и т. д.?

Думается, что представление о социалистическом строе как о весьма кратковременной переходной фазе в развитии общества смазывает сложности и трудности в строительстве социализма, мешает правильному пониманию обнаруживающихся в этом строительстве противоречий. Жизнь показала, что социализм, являясь первой, низшей фазой коммунистической общественно-экономической формации, в то же время имеет характер относительно самостоятельной системы.

3

Планомерный характер развития социалистической экономики Ленин считал аксиомой. План ГОЭЛРО он характеризовал как совершенно точно рассчитанный план. С тех пор в нашей стране, а в течение последних десятилетий и в других социалистических странах накоплен гигантский, поистине неоценимый опыт планового ведения народного хозяйства. Но и сейчас сохраняет полную силу предупреждение Ленина о том, что народнохозяйственный план не есть нечто застывшее и неизменное.

Давая самую высокую оценку плану электрификации России, называя его второй программой партии, Ленин говорил, что этот план «каждый день, в каждой мастерской, в каждой волости будет улучшаться, разрабатываться, совершенствоваться и видоизменяться»¹ Такая постановка вопроса была в определенной степени обусловлена новизной беспрецедентной задачи. Однако эти слова Ленина, по-видимому, имеют гораздо более широкий смысл.

Они напоминают о том, что плановое ведение народного хозяйства представляет собой рациональную организацию живого творчества народных масс, что план является не коллекцией безжизненных цифр, а делом миллионов, чья творческая энергия направляется к единой цели. В ленинских словах подчеркнута огромная роль основных ячеек народного хозяйства — предприятий, их объединений — не только в выполнении планов, но и в их составлении, разработке.

Еще на первых подступах к строительству социалистической экономики Ленин подчеркивал, что главной задачей победившего рабочего класса в социалистической революции «является положительная или созидательная работа налаживания чрезвычайно сложной и тонкой сети новых организационных отношений, охватывающих планомерное производство и распределение продуктов, необходимых для существования десятков миллионов людей». И чрезвычайно характерно, что эту задачу он связывал с задачей «о б о щ е с т в и т ь производство на деле»².

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 42, стр. 158.

² Там же, т. 36, стр. 171.

Из ленинской постановки вопроса вытекает, думается, вывод, что проблемы организации и управления народным хозяйством в целом и отдельными его отраслями и ячейками-предприятиями нельзя считать проблемой технического порядка. Наоборот, это проблема социально-экономическая, и притом проблема огромной важности.

С ростом социалистической экономики — количественным и качественным, — с усложнением производственных процессов и всей сети взаимосвязей и взаимозависимостей как внутри отдельных предприятий, так и между предприятиями, отраслями, экономическими районами проблемы организации и управления приобретают все большее значение. Задачи интенсификации производства, повышения эффективности общественного труда немислимо разрешать без подлинно научного подхода к вопросам организации и управления в самом широком смысле.

Планомерная организация и управление социалистической экономикой основаны на ленинском принципе демократического централизма. Демократический централизм, по мысли Ленина, призван обеспечить абсолютную стройность и единство в функционировании таких предприятий, как железные дороги, почта, телеграф и т. п., и в то же время предполагает впервые в истории «созданную возможность полного и беспрепятственного развития не только местных особенностей, но и местного почина, местной инициативы, разнообразия путей, приемов и средств движения к общей цели». «Чем больше будет такого разнообразия, — продолжал он, — конечно, если оно не перейдет в оригинальничание, тем вернее и тем быстрее будет обеспечено как достижение нами демократического централизма, так и осуществление социалистического хозяйства»¹.

Ленин исходил из необходимости правильного сочетания централизованного руководства и относительной оперативно-хозяйственной самостоятельности предприятий как основных организационных ячеек социалистической экономики. С ростом социалистической экономики, естественно, возрастает значение централизованного руководства ею, но вместе с тем повышается значение оперативной самостоятельности хозяйственных единиц — предприятий и их объединений — как необходимого условия развития смелого почина творческой инициативы и самостоятельности трудящихся масс.

Народнохозяйственное планирование в нашей стране прошло огромный путь развития от первоначальных шагов в первые годы советской власти до всеобъемлющей системы, сложившейся в условиях полной победы социализма во всех сферах экономики. Драгоценный опыт, накопленный в этом необычайно сложном деле в СССР, а в последние десятилетия и в других странах социалистического содружества, вошел в сокровищницу научных знаний о социализме.

4

XXIII съезд КПСС и предшествовавшие ему мартовский и сентябрьский Пленумы ЦК дали путевку в жизнь новой системе планирования и экономического стимулирования производства. Сейчас, в преддверии XXIV съезда партии, можно сказать с полной уверенностью, что хозяйственная реформа себя оправдала. Она опрокинула все предсказания непрошенных «радетелей» блага советских людей из учреждений антикоммунистической пропаганды, предрекавших реформе провал. Теперь каждому мало-мальски добросовестному наблюдателю должно быть ясно, что реформа отвечает назревшим потребностям развития социалистической экономики. В то же время очевидно, что она ставит новые и новые вопросы, требующие своего разрешения.

Как известно, в ходе обсуждения проблем совершенствования методов хозяйственного руководства, в ходе дискуссии, предшествовавшей хозяйственной реформе, встречались высказывания против существенного изменения прежних методов хозяйствования, против усиления экономических методов планового ру-

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 36, стр. 152.

ководства, за сохранение, с теми или иными незначительными поправками, прежней системы хозяйствования, с детальнейшим регламентированием всей деятельности предприятий при помощи множества показателей.

Жизнь не посчиталась с этими мнениями, и решения Коммунистической партии говорят не об отдельных поправках к прежним методам управления, а о новом подходе к руководству экономикой, о новой системе хозяйствования, которая отражает изменившиеся условия функционирования и развития социалистической экономики, огромный рост производства, качественные сдвиги в его структуре, назревшие требования научно-технической революции, необходимость решительного повышения эффективности общественного производства. Новая система хозяйствования, воплощая преемственность генерального курса экономической политики партии, призвана обеспечить более полную реализацию преимуществ социализма.

Не случайно необходимость решительного совершенствования методов планового управления экономикой стала особенно настоятельной в связи с переходом от экстенсивного по преимуществу типа хозяйственного роста на путь главным образом интенсивный. Интенсивный тип экономического развития характеризуется тем, что рост производства достигается не только за счет строительства новых предприятий и вовлечения новых масс рабочих рук в производство, а прежде всего за счет ускорения технического прогресса, повышения производительности труда, решительного улучшения организации производства и труда, совершенствования методов управления хозяйством как в целом, так и во всех его отдельных частях. Задача дальнейшей интенсификации всех сторон общественной деятельности, и прежде всего общественного производства, тесно связана с требованиями современной глубокой научно-технической революции.

Совершенствование методов хозяйствования знаменует новый, более высокий этап развития и укрепления социалистических производственных отношений и создает более благоприятные условия для дальнейшего успешного строительства социализма и коммунизма.

В капиталистических странах часто толкуют о стратегии бизнеса — под этим подразумеваются наметки крупных концернов, составляемые на основе прогнозов экономической погоды в целом и в отдельных секторах хозяйства. С несравненно большим основанием мы могли бы говорить о стратегии экономической реформы: ведь она построена и проводится на прочной научной основе, на базе планомерности развития народного хозяйства. В отличие от тактики реформы — ее поэтапного проведения — под стратегией реформы, очевидно, можно было бы понимать пути полной реализации ее принципов и потенций, не только вчерашний и сегодняшний день новой системы, но также ее завтрашний и послезавтрашний день.

Когда говорят о стратегии реформы, мысль обращается к ее внутренней логике развития, к тем выводам практического и теоретического характера, которые следует делать из ее основополагающих начал. Многие свидетельствуют о том, что новая система планирования и экономического стимулирования производства еще далеко не исчерпала всех заложенных в ней возможностей. В ряде конкретных случаев справедливо, по-видимому, отмечается, что реформа еще работает вполсилы. Высказывается мнение, что реформа должна развиваться не только вширь, но и вглубь — в смысле дальнейшего углубления ее главных принципов, проверки, отработки и конкретизации механизма ее действия, перехода от мероприятий временного характера, обусловленных преходящими причинами, к постоянно действующим нормам хозяйствования, испытанным и проверенным на практике.

В решениях XXIII съезда КПСС сказано о необходимости последовательного решения поставленной партией задачи всемерного развития демократических основ управления при укреплении и совершенствовании централизованного планового руководства народным хозяйством. Пути одновременного развития демократизма и совершенствования централизма в управлении народным хозяйством

представляют большой интерес не только в практическом отношении, но и с теоретической точки зрения.

Капитализм характеризуется имманентным противоречием между макроэкономическим подходом — с точки зрения хозяйственного целого — и микроэкономическим подходом — с точки зрения отдельного предприятия. Современная буржуазная экономическая наука уделяет много внимания этой коллизии, безрезультатно ищет пути ее разрешения.

Конечно, и в социалистической экономике возможно несовпадение двух подходов — макроэкономического и микроэкономического. Но возможность успешного разрешения такого противоречия заложена в самой природе социалистической экономики, в существовании централизованного планового руководства, в совершенствовании его методов.

Апологеты капитализма совершают очередной подлог, когда они твердят о «неэффективности» социализма вследствие его якобы неспособности создать рациональную систему «принятия решений». Отвергая эту антикоммунистическую клевету, следует вместе с тем видеть важность и сложность задачи оптимального сочетания централизации и демократизации, обеспечивающего решение каждого класса хозяйственных вопросов на том уровне, где они рассматриваются с наибольшим знанием дела, чувством ответственности, моральной и материальной заинтересованностью. Для этого требуется систематическая рационализация системы управления, совершенствование информации, сбора, обработки и анализа полученных данных. Современные электронно-вычислительные машины, их использование во всех звеньях народного хозяйства создают для этого необходимую техническую основу. Экономической же предпосылкой успеха в этом деле можно считать, по-видимому, оптимальное — для каждого этапа развития народного хозяйства — сочетание административных и экономических методов централизованного планирования и управления хозяйством.

Нет необходимости доказывать, что всякое управление предполагает определенные административные функции руководства. Крупное машинное производство вообще немислимо без обеспечения слаженности всего производственного процесса. Без административных распоряжений, подлежащих выполнению, без должной дисциплины невозможно нормальное функционирование не только целого предприятия, но и отдельных его частей — цехов, участков. Естественно, что соблюдение государственной плановой, финансовой, производственной дисциплины особенно важно в управлении таким сложным организмом, каким является народное хозяйство в целом.

Централизованное плановое руководство основано на сочетании двух основных методов: административного и экономического стимулирования. Содержание административных методов планового руководства социалистической экономикой заключается в прямых директивах хозяйственным единицам относительно того, что и как им следует производить. Что касается методов экономического стимулирования, то их суть заключается в обеспечении определенного направления деятельности предприятия путем применения разработанного экономического инструментария, системы экономических рычагов. Преобладание административных методов централизованного планового руководства неизбежно ограничивает самостоятельность хозяйственных единиц, развитие экономических методов связано с расширением относительной оперативно-хозяйственной самостоятельности предприятий.

Одна из объективных закономерностей развития социалистической экономики состоит в том, что с прогрессом производительных сил и совершенствованием производственных отношений социализма возрастает роль экономических методов централизованного планового руководства. Этим достигается одновременное усиление как демократизма, так и централизма в управлении экономикой.

Как известно, в постановлении сентябрьского (1965 года) Пленума ЦК об экономической реформе серьезным недостатком в руководстве промышленностью было признано то, что в нем преобладали административные методы в ущерб эконо-

мическим, в связи с чем хозрасчет носил во многом формальный характер, права предприятий и инициатива коллективов были ограничены. Очевидно, задача заключается в том, чтобы централизованное руководство хозяйством все больше опиралось на методы экономического стимулирования для повышения эффективности производства. В этом и состоит проблема оптимального сочетания административных и экономических методов руководства промышленностью и народным хозяйством в целом, проблема, которая в настоящее время привлекает особое внимание как в Советском Союзе, так и в других социалистических странах.

Но возможно ли такое сочетание? Нет ли тут неразрешимого противоречия? Думается, что возражения против расширения прав и самостоятельности предприятия базируются на представлении о неразрешимости такой задачи. Такое представление, на мой взгляд, в корне неправильно.

Экономическая реформа требует новых методов и приемов руководства, нового экономического мышления, новых представлений и, если угодно, новой психологии. Но старое никогда не уступает место новому без борьбы, без сопротивления. Преодоление инерции старого, силы привычки — немаловажная задача стратегии реформы. Большую роль в этом деле призвана сыграть экономическая наука, выяснение теоретических основ новой системы хозяйствования, разработка поставленных ею принципиальных проблем.

5

Цель экономических методов планового руководства ясна: поставить каждую хозяйственную единицу в такое положение, при котором она всесторонне заинтересована в принятии решений, в наибольшей степени соответствующих интересам общества. Но каково содержание экономических методов планового руководства? Что должно служить ориентиром для предприятия, на чем базируется та информация, на основе которой оно принимает решения?

Сущность экономического стимулирования заключается в том, чтобы привести в полное соответствие интересы каждого трудового коллектива и каждого трудящегося с интересами общества в целом. В рамках и на основе главного производственного отношения социалистического общества — отношения всех трудящихся к средствам производства, являющимся общественной собственностью, — существуют столь же необходимые, имманентные социализму отношения: во-первых, между обществом и коллективами трудящихся и, во-вторых, между обществом и отдельными его членами. Нет нужды пояснять, что все эти производственные отношения существуют не изолированно, а в теснейшей связи и взаимозависимости при решающем значении и первенствующей роли основного производственного отношения.

В любом эксплуататорском обществе решающее значение имеют непримиримо противоречивые интересы антагонистических классов. Все разговоры о примирении классовых интересов, об их гармонизации представляют собой демагогию и обман.

В социалистическом обществе существуют определенные категории интересов, не имеющих антагонистического характера, но тем не менее обладающих специфическими особенностями. Это прежде всего общие интересы, порождаемые общественной собственностью на средства производства, затем коллективные или групповые интересы коллективов трудящихся — предприятий и, наконец, индивидуальные интересы отдельных трудящихся.

Господство общественной собственности обуславливает принципиальное единство всех категорий экономических интересов в общем и целом. Но это не означает, что между этими интересами не существует различий и что они автоматически совпадают по каждому отдельному практическому поводу и в каждом конкретном случае. Отсюда вытекает задача гармонизации интересов. Задача эта не проста, но вполне выполнима при наличии надежного инструментария хозяйственного расчета и экономического стимулирования.

Формула: «То, что выгодно всему обществу, должно быть выгодно каждому предприятию и каждому отдельному труженику» — имеет очень емкое содержание. В ней раскрывается механизм согласования и подчинения общенародному интересу деятельности всех звеньев экономики.

Экономика социалистического общества представляет собой весьма сложную и в высшей степени динамичную систему со множеством подсистем различных ступеней, взаимосвязанных и взаимодействующих в процессе воспроизводства, с разветвленной сетью прямых и обратных связей. Ввиду этого решение проблем социалистической экономики с самого начала предполагает необходимость комплексного, системного подхода.

В условиях, когда на первый план выдвигается интенсификация всех хозяйственных процессов, особо большую роль играет системный подход к решению хозяйственных задач, заключающийся в охвате всех сторон экономики в их единстве. Для обеспечения эффективности общественного производства путем ускорения научно-технического прогресса особенно важна согласованность действий всех звеньев хозяйственного управления на основе подчинения всех частных и местных интересов общегосударственным интересам.

Системный подход внутренне присущ социалистическому планированию народного хозяйства в целом, он лежит в основе самого понятия народнохозяйственного плана. В ходе осуществления экономической реформы системный подход особенно важен при формировании механизма хозяйственного расчета и экономического стимулирования. Известно, что несогласованность, существующая между отдельными элементами экономического стимулирования, существенно снижает его эффективность. Это относится, в частности, к условиям образования поощрительных фондов, к нормативам платы за производственные фонды, к ставкам процента за банковский кредит и т. д.

Усиление экономического стимулирования предприятий и, в частности, дальнейшее развитие принципа материальной заинтересованности призвано обеспечить гармоническое сочетание материальных и моральных стимулов к труду. Не секрет, что в ряде случаев такой гармонии не существует. Бывает, что при конфликте между моральными и материальными стимулами верх берут моральные соображения и трудящиеся в силу своего сознательного хозяйского отношения к производству жертвуют определенными своими материальными интересами ради пользы дела. Бывает и наоборот, когда верх берет материальная заинтересованность и работники, нарушая веление совести, действуют в ущерб обществу. Гармонизация материальных и моральных интересов имеет огромное значение не только в чисто экономическом плане, но и с точки зрения воспитания подлинно коммунистического отношения к труду, укрепления морально-этических норм, воспитания строителей коммунистического общества.

Хозяйственный расчет предполагает как предоставление предприятиям определенных прав, так и возложение на них определенной ответственности. В социалистическом обществе права и обязанности неразрывно связаны. Это относится как к отдельным гражданам, так и к коллективам трудящихся, к предприятиям. Народнохозяйственные планы ставят во главу угла общегосударственные, общенародные интересы. Отсюда вытекает необходимость строжайшей плановой дисциплины, решительное преодоление элементов местничества и ведомственности, нарушающих интересы народного хозяйства в целом.

Помехами на пути совершенствования хозяйственного расчета остаются ненужная мелочная опека над деятельностью предприятий, громоздкость и неповоротливость управленческих органов, необходимость длительных согласований при решении хозяйственных вопросов, недостатки в планировании и организации производства как на отдельных предприятиях, так и в масштабе отрасли и всего народного хозяйства.

На современном этапе развития социалистической экономики, когда стоит задача овладеть еще более высокими рубежами, особую роль играет слаженное

функционирование всех звеньев народного хозяйства. Большое значение имеет создание объединений и фирм, находящихся на хозяйственном расчете. Это новая форма организации промышленности, выдвигаемая требованиями жизни. Создание хозрасчетных объединений расширяет рамки хозяйственного расчета и содействует его дальнейшему укреплению. Вместе с тем открываются более широкие возможности для концентрации производства, специализации и кооперирования, что позволяет более рационально использовать квалифицированные кадры, успешнее осуществлять техническое и экономическое руководство предприятиями.

Эксперименты, осуществляемые в рамках экономической реформы — в частности на Щекинском химическом комбинате, в Министерстве приборостроения, средств автоматизации и систем управления, в Мосгортрансе, — показывают, как велики еще резервы реформы, как значительны еще неиспользованные возможности системы хозяйственного расчета и экономического стимулирования производства.

Старые теоретические представления обладают не меньшей, а, пожалуй, даже большей силой инерции, чем старые навыки в области практики. Полагать, что отжившие взгляды в области экономической теории уже полностью преодолены, было бы, очевидно, преждевременным. В особенности это относится к обширному кругу вопросов, связанных с развитием экономических методов планового руководства хозяйством.

Стратегия новой системы хозяйствования предполагает, как уже говорилось, сочетание централизованного планового руководства с расширением самостоятельности, инициативы предприятий. Еще не так давно такое сочетание подчас объявлялось утопией. Либо централизованное плановое хозяйство, рассуждали порой, либо инициатива и оперативная самостоятельность предприятий. Но такой дилеммы не существует. Родилась она из недостаточного понимания самой природы социалистической экономики, из одностороннего представления о ней.

Односторонность заключается в том, что социалистическая экономика мыслится как по сути дела натурально-хозяйственный организм, который может жить лишь при условии непосредственного определения всей хозяйственной деятельности — снизу доверху — прямыми административными директивами. В таком организме стоимостные категории — себестоимость, цена и другие — используются лишь для счета. Столь упрощенное представление исключает, естественно, возможность подлинного хозяйственного расчета и вообще экономических методов планового руководства и управления экономикой.

Экономические реформы проводятся, как известно, не только в Советском Союзе, но и в других странах социалистического содружества. В каждой стране практические меры определяются конкретной обстановкой и спецификой задач, стоящих на современном этапе перед ее экономикой. Но при этом определенные общие черты присущи всем реформам. Это — курс на решительное усиление экономических методов руководства хозяйством при помощи всей системы стоимостных рычагов, курс на дальнейшее развитие демократических основ управления экономикой, причем, как сказано, не может быть и речи об ослаблении роли планового руководства хозяйственной жизнью — этого великого преимущества социализма перед капитализмом. В связи с проведением реформ повсюду возросло внимание к раскрытию научных основ социалистического хозяйствования, широко обсуждаются проблемы социалистического планомерного товарного производства, его законов и категорий, подчеркивается необходимость преодолеть отжившие взгляды.

Творчески развивая революционную теорию, марксистско-ленинские партии социалистических стран в своих программах и других важнейших документах определили роль и значение товарного производства и товарно-денежных отношений в социалистической экономике. Хорошо известно положение Программы КПСС о необходимости полностью использовать в коммунистическом строительстве товарно-денежные отношения в соответствии с новым содержанием, присутствующим им в период социализма.

В Конституции Германской Демократической Республики, принятой в 1968 году, мы читаем: «Народное хозяйство Германской Демократической Республики является социалистическим плановым хозяйством. Экономическая система социализма сочетает централизованное государственное планирование и руководство в решении основных вопросов общественного развития с самостоятельностью и ответственностью социалистических товаропроизводителей и местных государственных органов».

Аналогичные положения имеются в партийных решениях и документах, в государственных актах других стран социализма. Повышение роли экономических методов планового руководства народным хозяйством, составляющее одну из главных черт экономических реформ, связано с широким использованием социалистических товарно-денежных отношений, категорий социалистического товарного производства — таких, как цена, прибыль, премия, кредит.

С постепенным проведением экономической реформы связано, очевидно, то, что старые, отжившие представления о товарно-денежных отношениях как об отрывке «проклятого прошлого», как о чуждом социализму элементе лишь медленно сходят со сцены. Еще не исчезло то, что можно было бы назвать «товаробоязнью». В экономической литературе до сих пор встречаются утверждения, что средства производства, основные фонды исключены из сферы действия товарно-денежных отношений, хотя, казалось бы, введение платы за фонды, постановка назревшего вопроса о денежной оценке земли, о платности воды наглядно опровергают подобную точку зрения.

Важно понять не только необходимость использования товарно-денежных отношений в социалистической экономике и, следовательно, необходимость существования товарного производства при социализме. Важно также иметь в виду, что при господстве общественной собственности на средства производства в планомерной системе социалистического хозяйства существует не какое-то анонимное «товарное производство вообще», а вполне конкретное товарное производство, имеющее новое, социалистическое содержание и выражающее определенные черты и стороны социалистических общественно-экономических отношений. Именно поэтому социалистическое товарное производство исключает возможность превращения рабочей силы в товар, а средств производства — в капитал, равно как исключает все другие черты и последствия товарного производства, базирующегося на частнособственнических отношениях, в том числе стихийное, разрушительное действие закона стоимости.

Если мы говорим о социалистическом хозяйственном расчете, то с таким же правом можно говорить о социалистическом законе стоимости. Это — закон стоимости, действующий в экономической системе социализма, где ликвидирована эксплуатация человека человеком, а анархия производства уступила место планомерному ведению хозяйства. Ввиду этого едва ли можно согласиться с отведением социалистическому закону стоимости последнего места в системе экономических законов, с трактовкой его как бедного родственника на олимпе этих законов. Едва ли правильно рассматривать закон стоимости не как нечто органически присущее социалистической экономике, а как силу, противостоящую планомерному ведению хозяйства. Экономические методы планового руководства предполагают не единоборство плана с законом стоимости, а их органическое единство, их взаимопроникновение, в определенном смысле — их слияние при ведущей роли планового начала.

Планомерное определение пропорций в социалистической экономике осуществляется не в отрыве от закона стоимости и системы стоимостных категорий, а с их учетом. Разве можно планировать объем, структуру и эффективность общественного производства без применения стоимостных категорий, таких, как цена, прибыль, рентабельность, фондоотдача и т. д.? Стоимостные показатели плана, стоимостные критерии оценки работы предприятий — это и есть конкретные проявления социалистического закона стоимости.

Естественно, что в социалистической экономике стоимостные отношения имеют совершенно иное социально-экономическое содержание и играют совершен-

но иную роль, чем при капитализме: они выступают как выражение социалистических производственных отношений, базирующихся на общественной собственности. Но они являются внутренне необходимым и неизбежным выражением этих отношений. Неясность в этом вопросе затрудняет борьбу против антикоммунистической клеветы, в частности — разоблачение так называемой «теории конвергенции», пропагандисты которой используют в качестве одного из своих главных аргументов то обстоятельство, что при социализме, как и при капитализме, применяются такие категории, как цена, прибыль, кредит и т. д.

* * *

Сегодня, когда мы отмечаем полувековой юбилей ленинского плана ГОЭЛРО, значение этого документа выступает особенно рельефно. VIII съезд Советов не только определил на многие годы развитие производительных сил страны, но и заложил основы социалистического планирования. Главные научные положения, которые составили фундамент плана ГОЭЛРО, получили свою дальнейшую разработку в плановых заданиях пятилеток. На них опираются и сегодня экономисты Советского Союза и социалистических стран, когда решают те новые чрезвычайно сложные хозяйственные проблемы, которые сама жизнь ставит на повестку дня. Эти же научные положения получили свое дальнейшее развитие в разработке стратегии и тактики экономической реформы.

Именно эту преемственность, эту связь решений партии последних лет в области экономики с плановыми разработками первых послереволюционных лет отметил Л. И. Брежнев: «Можно сказать, что в годы нэпа и первых пятилеток мы проходили начальную школу социалистического хозяйствования. Сейчас перед нами — задачи высшей школы экономики социализма. Это самые сложные и самые творческие задачи на пути к коммунизму».



Ю. ФЕОФАНОВ

★

ЗАКОН В НАШЕЙ ЖИЗНИ

Мне довелось быть свидетелем довольно странного спора: благотельно ли избавление человека от всех бед и несчастий?

Футуролог говорил:

— Опасаюсь за будущее человечества из-за прогресса как техники, так и социальных институтов. Вспомните «Борьбу миров» Уэллса. Завоеватели-марсиане погибли оттого, что избавились от болезней. На Земле пустяковая инфекция победила всю грозную армаду. Не грозит ли то же самое человеку? Допустим, технический прогресс обеспечит полный контроль над внешними опасностями. А если взять нравственный аспект? Представьте себе, что законы общества совершенны, а их исполнение безупречно. Личность ограждена от всяких инцидентов. Она расслабляется. Теряет иммунитет даже к пустяковому акту насилия, ибо надеется на Власть и Закон. И случись маленькая осечка в действии этих механизмов — человек оказывается беззащитным перед лицом хулигана. Сейчас все больше и больше говорят о законе, неотвратимости его действия и т. д. Не разоружим ли мы тем самым человека?

— Позвольте,— возражал ему историк.— Вы что же, проповедуете войну каждого против всех? Но это уже было. И, слава прогрессу, люди от этого ушли. Законы благодетельствовали человечество. А разве люди стали слабее? Существует, правда, мнение, будто преступник — то есть человек, избравший специальностью нарушать закон,— сильная личность. Но тот, кто повинуется лишь своим страстям,— самый несвободный человек, игрушка своих побуждений. Римляне давали образец законопослушания, но и образец силы духа и силы тела. Нет, человек должен блаженствовать под сенью закона, как дитя в колыбели...

Юрист, занимавшийся на момент спора конкретным уголовным делом, попросил у собеседников минуту внимания...

Произошло это в Днепропетровске. Во дворе подвыпивший человек заспорил по какому-то пустяку с соседом. Тот сказал что-то вроде: «Иди проспись». В ответ последовало: «Ты меня уважаешь?» Тут подошла жена трезвого и со словами: «Не связывайся с хулиганом» — взяла мужа под руку. Пьяный грязно выругался и замахнулся на женщину. Тогда муж, предупреждая удар, сам ударил по лицу задиру. Хулиган пошатнулся, упал, ударился головой о камень. И скончался.

— Вот и давайте,— сказал юрист,— рассмотрим конкретный этот случай с обеих точек зрения. Ежели человек должен блаженствовать под сенью закона, как дитя в колыбели,— то, значит, оставить беззащитной жену. Если встать на ее защиту, не ожидая помощи со стороны,— видите, к чему это привело.

— А что же закон?

— Один суд оправдал этого человека. Потом решение отменили. Следующий суд осудил — снова отменили.

— Выходит, вы допускаете самосуд? Силу возводите в право и считаете это разумным? — сказал социолог.

— А вы уверены, что это решение справедливо? Что люди приняли его как должное? — возразил историк.

Ситуация, ставшая предметом спора, реальна; подобные ей возникают, увы, слишком часто (Между прочим, реален и сам спор, только был он более многословным и многолюдным.) Гражданам сплошь и рядом приходится и оценивать обстановку, и принимать меры. При этом и возникает острейшая и всегда трудная для суда нравственно-правовая проблема, которая в законе обозначена как необходимая оборона и превышение ее пределов.

Ни в коей мере я не хочу вникать во все юридические тонкости этого положения. Закон тут ясен: если на тебя кто-то нападает или кто-то угрожает государственным, общественным интересам, жизни или здоровью другого — ты вправе отразить нападение, не заботясь о последствиях. Пленум Верховного Суда СССР еще раз подчеркнул, что осуждать оборонявшегося человека, исходя из последствий, какие бы они ни были, неграмотно с правовой точки зрения. Более того — это безнравственно, ибо противоречит морали нашего общества.

Но как же трудно бывает судьям! Как тяжело закрыть глаза на смерть даже виновного! В конце концов человека, вступившегося за честь жены, оправдали. Но все остались настроенными против него: «Подумаешь, замахнулся, может, и не ударил бы, а его убили». Так и говорят: «убили», а не «погиб», уже самым этим словом предопределяя вину. Закон оправдал — люди не смогли этого сделать. Пусть не правы они — попробуй докажи им это, попытайся переубедить, если они знают, что погибший был отличнейшим человеком, разве что имел слабость на выпивку, а тот, на чью жену замахнулся, в высшей мере неприятная личность. Какая же степень правовой культуры нужна, какое понимание закона и его животворного «формализма», чтобы взглянуть на все глазами истинной справедливости? Не всегда мы умеем подняться до этого уровня.

Время от времени мне по долгу службы приходится встречаться с людьми, по тем или иным причинам считающими несправедливыми акты правосудия.

— Вы уверены, — спрашиваю, — что ваш сын (брат, невестка) не виновен?

— Ну, может быть, в чем и виноват. Так нельзя же так строго.

— Почему? Разве суд постановил приговор в противоречии со статьей закона?

— Нет, по закону все. Но вот в прошлом году в соседней деревне такому же хулигану дали меньше.

— Почему вы не допускаете, что мало дали тогда? И в чем вините судей, коль они не нарушили закон?

— А-а, закон, закон... По справедливости надо. А то очень жестоко...

Но что значит жестокость применительно к праву? Много или мало — год лишения свободы? Десять лет? Пятнадцать? Жестоко это или снисходительно? Не ответишь, ибо нормы права не существуют абстрактно. Они всегда применяются к конкретному человеку и по конкретному поводу. И смысл имеет не на сколько он осужден, а за что. Смысл имеет лишь справедливость (что по-латыни означает «юстиция»). Не случайно гуманист и просветитель Чезаре Бекарриа бросил такой «жестокий» афоризм: «Милосердие должно быть исключено из хорошего законодательства».

Можно бы усомниться в справедливости и тем более гуманности этого утверждения. Но мы переводим его так: закон должен действовать неотвратно, ему не дано прощать малое, дабы предупредить большое, прижечь царапину, чтобы не образовалась язва. К преступлению идут разными путями, но всегда переступают один порог — впервые делают то, что нельзя. И если на этой стадии за деянием последует не кара, а милосердие, не наказание, а прощение, то это отнюдь не акт гуманности истинной, но лишь видимость ее.

Сказать по поводу любого правонарушения знаменитое «се ля ви» — значит расписаться в безнадежности и пессимизме. Когда звучит: «Таков закон», — это вселяет уверенность, ибо он защищает не угодную кому-то особу, а саму справедливость, которая так нужна любому человеку. Но вот такую неоднозначную жизнь закона среди нас, или, точнее, нашу жизнь в рамках закона, жизнь, полную противоречий, как жизнь вообще, нелегко бывает понять и принять. Да, кажется, очень просто все, что касается закона — «можно — нельзя», «запрещено — разрешено». И все по статьям. Все точно и недвусмысленно. И как все сложно необыкновенно!

* * *

Когда отмечалось пятидесятилетие наших органов государственной безопасности, председатель КГБ при Совете Министров СССР Ю. В. Андропов привел высказывание В. Менжинского, которое поразило меня одним словом. Вернее, качеством, которое это слово обозначает. Я процитирую: «При всем безграничном энтузиазме работников ЧК... никогда не удалось бы построить той ВЧК — ОГПУ, которую знает история первой пролетарской революции, если бы Дзержинский, при всех его качествах организатора-коммуниста, не был великим партийцем, законопослушным и скромным». Выделенное мною слово то самое, сначала удивившее меня.

Оно казалось не из той «кассы». Во всяком случае не из того времени. Отчаянная борьба с заговорщиками, смертельные схватки с бандитами, рискованные рейды — словом, накал и романтика тайной войны в условиях хаоса, который являла собой тогдашняя Россия,— до законов ли тут? В пламени революции, когда рушились державы и законы, когда трибуналы республики не имели иного компаса, кроме революционной совести, когда наши враги объявили вне закона законную власть Советов и не считали предосудительными любые средства борьбы, возведя террор и убийство из-за угла чуть ли не в норму права,— и в этих отчаянных условиях председатель наводившей ужас «чеки», революционер до мозга костей, являет пример послушания. Парадокс?!

Да, это можно бы считать парадоксом, если бы не шла речь о послушании закону. Если бы большевики стали узурпаторами власти, а не взяли бы ее по велению трудового люда России. Если бы была у них цель лишь разрушить до основания мир насилия, но не было цели построить наш, новый мир. Если бы В. И. Ленин не наставлял партию и государство: «Чем больше мы входим в условия, которые являются условиями прочной и твердой власти... тем настоятельнее необходимо выдвинуть твердый лозунг осуществления большей революционной законности...» (т. 44, стр. 329). Если бы Ильич не повторил этого наставления даже в таком, казалось бы, парадоксальном варианте: «Прежде боевыми органами Соввласти были главным образом Наркомвоен и ВЧК. Теперь особенно боевая роль выпадает на долю НКЮста...» (т. 44, стр. 396).

Вот если бы не было всех эти «если», тогда да, послушание закону могло бы казаться обременительным. Советская власть, однако, идущая не от бога, не от денежного мешка, не от привилегированного сословия, а единственно от народа и его воли, с первых дней своего существования поставила на подобающий пьедестал закон. И никакие отклонения в конечном счете не смогли сбить нас с ленинского партийного курса. Закон как выражение воли трудящихся, как писанный разум общества священен и незыблем. И послушание ему, чему дали пример Феликс Дзержинский и его соратники в напряженнейший период борьбы, остается одной из первых гражданских доблестей любого члена нашего социалистического общества.

Всё мы хорошо знаем о том, что закон — это основа благополучия общества, что без регулирующей роли права наступил бы хаос и произвол. Все это истины общеизвестные, как и та, что закон необходимо исполнять строго, неукоснительно в любой жизненной ситуации. Но вот по поводу этой последней истины... Как ни ясна она, как ни очевидна ее благодетельность, а вокруг такой очевидности сколько уже веков бушуют страсти: и научно-теоретические, и государственно-устроительные, и нравственно-психологические, и, естественно, литературные. Потому, что, в сущности, вся сложнейшая проблема преступности состоит в простой вещи — кто-то не исполняет вполне отчетливые запреты и установления. (Не касаюсь сейчас отдаленных эпох, когда законы были темны, как изречения оракула, не касаюсь обществ, где преступление вынуждено голодом, несправедливостью, безысходностью. У нас, где нет коренных социальных причин преступности,— преступность есть, есть ее проблемы, есть люди, которые все-таки преступают черту, совершенно отчетливо очерченную законом.)

Так в чем же тут дело? Почему? Почему отлично все сознающие люди, понимающие, что неизбежно последует за злым деянием,— все же его совершают? Как сообразовать эти акты с достигнутым уровнем и общественного сознания, и нравственного состояния личности? Эти вопросы я задаю не для того, чтобы дать на них исчерпываю-

ший ответ. Поставил я эти вопросы, чтобы поделиться всего-навсего наблюдениями и соображениями журналиста, который часто бывает в судебных залах, встречается с юристами и беседует с посетителями редакции, ищущими поправной, по их мнению, справедливости.

Вам, читатель, чтущему Уголовный кодекс, никогда не имевшему дело с судом, безусловно, не способному на противоправное действие, вам никогда не приходилось переходить улицу в неположенном месте? Или даже перебежать ее под носом движущегося транспорта? Увы, катастрофа не кажется нам неотвратимой, она представляется некой абстракцией, выраженной предельно точно знаменитым «авось»: «авось перебегу», «авось шофер притормозит». Но, выходит, вы недостаточно читаете закон?

Это не упрек — автор и сам не лучший из пешеходов. Это попытка представить во всей сложности восприятие запретов и установлений. Мы преступаем те запреты, которые нам кажутся незначительными, пустяковыми, невинными, даже «законными». Но ведь и Родион Раскольников считал правомерным устранить жалкую старуху процентщицу, дабы затем стать благодетелем человечества.

Правила уличного движения — и Достоевский? Не смешновато ли? Даже для обострения проблемы? Нет, смею сказать. Нет! Когда речь идет о законе, об уважении к нему, о воспитании правовой культуры, нельзя, ни в коем случае нельзя отступать от самого принципа: законно — незаконно, карается — не карается, «любит — не любит», — иных критериев нет и быть не может. Закон или беззаконие — третьего не дано. Закон можно выполнять лишь на сто процентов, «недовыполнение» — это уже преступление.

Все это не всегда укладывается в сознании и, надо сказать, не очень настойчиво культивируется. Залезть в чужой карман — ясно, преступление. Вынести с завода, скажем, радиолампу для личного пользования — нехорошо, конечно, но все-таки... Что «все-таки»? Но давайте по-честному: перед лицом коллектива будет стоять человек, вытянувший трешницу из чужого кармана, и человек, взявший казенный провод для антенны своего телевизора. Одинаково будет презрение к недостойному члену общества? Боюсь, что нет. Боюсь, во втором случае больше достанется плохому учету, нерадивой охране, слабым воспитательным усилиям коллектива, чем самому вору, которого и воров-то назвать постесняемся.

Позволю себе процитировать полученное недавно письмо:

«Пишет Вам Матвеева Неля. Мне двадцать три года. В прошлом году вышла замуж. Учусь заочно в институте. Совсем недавно у меня была работа, были товарищи, коллектив. Но цену товарищества я узнала только нынче, когда оступилась. Работала я инспектором Госстраха и, кроме основных обязанностей, вела выплаты страховых сумм. Сейчас сама не знаю, как смогла оступить, но я подделала два документа и получила 153 рубля. Первый раз это сделала перед свадьбой, второй раз перед отпуском. Подделку обнаружили...

29 июля я вышла на работу, а 3 августа пришел акт ревизии, где было сказано, что материалы на меня передать следственным органам. Меня судили — дали год. Вот расплата за 153 рубля. Но если бы только эта расплата! С 19 августа я не работаю. Меня уволили из-за недоверия. Так где же гуманность? Мне сказали, что я легко отделалась. Но я ведь работала здесь почти два года, работала четко, была профгруппоргом, не имела никаких нарушений, была награждена грамотами РК ВЛКСМ и ОК ВЛКСМ за активную работу в комсомоле. Ну, хорошо. Оступилась я, накажите. Но накажите, учитывая все. Не обязательно сразу в суд, тем более что 153 рубля я выплатила. Почему других в товарищеский суд передают, на поруки. Почему-то некоторым удается легко отделаться, а мне вот...» И далее в том же духе на много страниц.

Обратите внимание: человек, сознательно и не от крайней нужды пошедший на преступление, воровка, в сущности, а винит кого угодно, только не себя. «Виновата школа, комсомол, общественность, что меня не воспитали, могли бы дать более мягкое наказание, взять меня на поруки, оказать снисхождение и т. д.». Словом, права и привилегии известны хорошо, а когда дело дойдет до обязанностей и ответственности, то, как поет популярный ныне Антошка из мультфильма:

Это мы не проходили,
Это нам не задавали.

Мы безусловно отвергаем взгляды Ломброзо как теоретическое обоснование преступления. Мы не согласны с тем, что какие-то людские отходы несут на себе каинову печать врожденного зла. Этого мы не можем принять. Человек есть продукт определенных общественных отношений, его качества социально детерминированы. Все это так. Но не получился ли в проповеди этих бесспорных, научно обоснованных тезисов некий нравственный перекосяк? Не заслонило ли социальным личное? И не переложили ли мы, пусть невольно, ответственность индивидуума за поступки на широкие плечи общества? Школа виновата, комсомол, пережитки проклятого прошлого, влияние растленного Запада, бытовая неустроенность, огрехи воспитания... Что еще? Позвольте, а сам человек? Он что — мешок, куда складывается все подряд? Или все-таки гомо сапиенс? Венец творения?

Нет, с общества и всех перечисленных его институтов нельзя и не надо снимать ответственности. И общество и институты его должны совершенствоваться. Преступность — явление социальное. Она, как болезнь, сопутствует жизни общественного организма, хотя и является противником жизни. И если говорить о преступности в этом смысле, нужна социальная хирургия и терапия. За конкретное правонарушение прежде всего расплачивается человек. И в тюрьму садят не плохих родителей, не пассивных общественников, не дирекцию предприятия, а самого преступника. И это справедливо, что бы по этому поводу ни думали такие, как процитированная мною Неля. Но идею личной ответственности, неизбежности искупления, идею, если хотите, страха перед законом мы воспитываем, мне кажется, слабо. В том числе и в литературе и в искусстве.

* * *

Конечно, никто беззаконие прямо не проповедует. Наоборот, призывов строго исполнять государственные установления более чем достаточно. Да воспитывают-то не прямые призывы. Истинное воспитание идет сложными опосредствованными путями, сторонними тропками, проникает в наши души исподволь, незаметно.

Давайте вспомним, в скольких романах, фильмах, спектаклях, очерках мы воспевали и воспеваем... беззаконие. Да, беззаконие!

Вышла из строя печь. А горит план. Что делает герой? Обматывает себя мокрым брезентом и лезет в огненную пасть. Потом героем все восхищаются и ему аплодируют.

Рыболовному флоту по срокам пора возвращаться домой. Но вдруг приборы обнаружили косяк сельди. А министерству нужен план. И вот герой-капитан принимает решение, поддержанное не менее героической командой. Ну, сейнер еще может получить пробоину, потому что усталый штурман неверно проложил курс. Тогда другой герой лезет в ледяную воду...

И во всеобщем восхищении забываем мы, что существует Законодательство о труде, имеющие силу закона правила техники безопасности. Прямо никто не отважится хулить эти человеколюбивые правовые акты. Но их забвение, пренебрежение ими — это разве не воспитание правового нигилизма?

Ни в какой степени я не хочу отрицать героизм, самоотверженность, энтузиазм. Александр Матросов бросился на амбразуру, Николай Гастелло направил свой самолет в скопище фашистов, «огненные трактористы» опасли хлеб ценой своих жизней потому, что так было надо и иначе было нельзя. Подвиг — превышение норм бытия в чрезвычайных обстоятельствах. Если же чрезвычайные обстоятельства — результат чьей-то преступной халатности, и если человек идет на риск, дабы покрыть чьи-то грехи или достигнуть каких-то бюрократических целей, — это безнравственно.

Мне часто вспоминается в таких случаях одно место из «93-го года». По оплошности матроса на палубе корабля, который трепал шторм, сорвалась пушка. Она грозила смести все. Рискуя жизнью, матрос укрепил ее. Маркиз Лантенак снял с груди капитана корабля орден и прикрепил его на груди героя. «А теперь расстрелять его», — приказал маркиз, указывая на того, кто допустил преступную халатность.

Смею утверждать: идеальное решение нравственно-правовой проблемы!

Представим себе, однако, ряд ситуаций не столь трагических. Санитарный врач запрещает ввод в действие предприятия, поскольку не соблюдены установленные законом нормы. Или инспектор по технике безопасности дает указания провести необходи-

мые работы. Или... Примеров подобных можно привести немало. Вы уверены, что врача или инспектора не пригласят в соответствующие учреждения и не посоветуют снять запрет? И будут ведь козырять такими категориями, как «государственная необходимость», «народное благо» или попросту «палки в колеса», которые ставят означенные должностные лица в ведомственную колесницу. Оставим сейчас в стороне стойкость этих должностных лиц в отстаивании закона. Но те руководители, которые приглашают (или вызывают) инспектора и врача? Не чеховские же злоумышленники, которые не ведают, что творят? Сами принимают решения, обязательные для всех на данной территории. Проповедуют авторитет и незыблемость закона. Когда же доходит до местных интересов, до уездного патриотизма, то с легкостью необыкновенной отодвигают закон. Он мешает выполнять «грандиозные планы», двигать «технический прогресс» и заботиться «о благе».

Закон, однако, никогда ничему помешать не может — ни планам, ни прогрессу, ни благу. Даже если это несовершенный, по чьему-то мнению, закон. Игнорировать закон лишь потому, что он кажется плохим, значит открывать путь произволу — худшему из того, что можно представить в жизни общества и государства.

Наш закон вобрал в себя разум, совесть общества и отразил его добрую волю. В его параграфах нашли воплощение идеи Коммунистической партии, нормы нашего образа жизни. На строжайшем соблюдении государственных установлений зиждется общественный порядок. Это еще раз подчеркнул Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев в своей речи перед избирателями 12 июня 1970 года. Поэтому педантичное, я бы не побоялся сказать — молитвенное, отношение к закону должно быть одной из первых гражданских доблестей, как говорят философы, внутренним категорическим императивом.

«Императив, доблесть,— горько усмехнется не один хозяйственник,— красиво, конечно. А ты вот покрутись на моем месте. Привез шофер груз, а сгружать некому — и денег нет на это дело. Что ж, обратно отправлять машину?..»

«Мне мебель нужна, а по смете денег нет, зато на культмассовые мероприятия копейки не израсходовали — на полу мне сидеть, да?»

«Курьер мне по штату не положен, а инженеры лишние, как прикажете?..»

Вариантов тьма. Руководитель предприятия становится перед дилеммой: сделать дело, обойдя закон, или соблюсти закон, расписавшись в собственной беспомощности. И в жизни и в литературе чаще выбирают первый вариант. Культивировался даже определенный тип «бюрократа» — это человек, который все пунктуально выполняет, все директивы, циркуляры и инструкции, но ничего не делает сверх. Приходит в девять и уходит в шесть. Обед у него по расписанию. Документы — по полочкам. Визы нужной нет — не примет бумагу, не по форме составлена — не даст хода. «Бюрократу» противостоял командир производства партизанского толка. Инструкция — помеха рекорду, директива — канцелярщина, план — не догма, когда приходит на работу — неизвестно, зато сидит до полуночи. Словом, горит на работе. Заикнись о трудовом законодательстве — «Здоровьице бережешь! Народ надо подымать, а не с бумажками возиться!».

Ох, сколько бед принес этот герой! Сколько расхлябанности, неорганизованности оправдал, сколько потерь списал! А перечитайте-ка ленинские работы, особенно последнего периода. С каким гневом на неорганизованность обрушивался он на такое, с позволения сказать, руководство. Приведу одно лишь его высказывание: «Героизм длительной организационной работы в общегосударственном масштабе неизмеримо труднее... чем героизм восстаний» (т. 36, стр. 362). Осуществляя ленинский курс, партия вновь ставит вопрос о дальнейшем укреплении законности и правопорядка во всех делах и сферах жизни.

«Ну, хорошо,— вернется к разговору тот же хозяйственник,— а мне как быть? На мой-то конкретный вопрос вы не ответили».

Мы должны, во-первых, признать, что действительно есть масса нелепых ведомственных инструкций и местных распоряжений, которые кого хочешь поставят в тупик. Очевидно, их надо отменять или совершенствовать. Кстати, большинство из них противоречит правовым нормам, и прокуроры их опротестовывают, ведомства отменяют и т. д.

А во-вторых, да, очень не простой вопрос: как быть с законом, который устарел,

не способствует успехам дела, мешает? Исполнять вопреки общим интересам? Ну что ж, давайте рассудим: что выгоднее (не благороднее, не лучше, не правильнее — именно что выгоднее) — строго придерживаться одной несовершенной нормы либо, самочинно отбросив ее, создать прецедент необязательности подчинения норме права вообще? Выбирайте, читатель!

* * *

Закон в нашей жизни, в нашем мироощущении должен занимать «железное место». Его неумолимую поступь нужно ощущать как неизбежность, как ощущали рок наши пращурь. Приговор суда, хотя и вынесенный в соответствии с законом, большей частью оборачивается человеческой драмой. С ним не хочется соглашаться, потому что расплачиваться больно, потому что с отторжением от семьи, от привычного круга трудно примириться. Очевидно, нелегко ощутить справедливость, которая для тебя лично оборачивается страданием. Но истинная гражданственность должна подниматься до этих высот.

А не уподобляем ли мы в таком случае закон слепой силе? Не проповедуем ли фатализм? Некую обреченность? И не приносим ли мы в жертву закону людскую боль и радость, не перемалывает ли неумолимый закон человеческие судьбы? Ведь если это так, если человек приносится в жертву принципу, то что стоит сам принцип! В конце концов, если снова обратиться к Виктору Гюго, инспектор Жавер, столь добросовестно и упорно преследовавший Жана Вальжана, глубоко прав, ибо осуществлял как раз неумолимую поступь закона. Но ведь эта фигура, самоотверженная в своем служении закону, нам мало симпатична. Так сочетается ли неумолимость закона с гуманностью?

История, которую я сейчас расскажу, может показаться спорной. Кому-то обязательно покажется неприемлемой позиция депутатов сельского Совета, их даже могут обвинить в попустительстве. Но рассказываю я ее лишь под тем углом зрения, который даст повод ответить на вопрос: слепая ли сила закон, который должен быть неотвратимым в своем действии?

Трактористы Серебрянский и Черноиванов вместе с чабаном Ковалевым по случаю очередной производственной победы выпили. Показалось мало. Событие, однако, отмечалось на дальней ферме колхоза «Заветы Ильича» (Октябрьский район Волгоградской области), где нет никаких торговых точек. Ребята решили съездить в село за семь километров на тракторе, а поскольку от премиальных ничего не осталось, то взяли кормовые концентраты, чтобы обменять на водку. Так и сделали, нанеся тем самым колхозу ущерб на 30 рублей 37 копеек.

Наутро покаялись. Сами. Как говорится, пришли с повинной. Друзья и товарищи отнюдь не утешились широко распространенной формулой: «Подумаешь, выпили, с кем не бывает». Нет! Тут же собрали общее собрание, протерли с песочком всех троих, заставили немедленно вернуть фураж в двойном размере, оплатить за прогон трактора, а чтобы лучше почувствовали свою вину — лишить еще дополнительной оплаты за весь год. Строго говоря, решение было незаконным: брать двойную плату за фураж собрание было неправомочно, да и лишать дополнительной оплаты тоже (суммы немалые, у Ковалева, например, 212 рублей). Но ребята, чувствуя свою вину и раскаиваясь в ней, тут же все уплатили.

Был, конечно, вариант: сразу же завести уголовное дело, поскольку факт хищения имел место. Не завели. Виновные были наказаны по-иному. Они все осознали, раскаялись, работали отлично. Прошло время. И вдруг прокурор района возбудил уголовное дело. Постановил всех троих арестовать. Повторяю, не хочу оправдывать троих колхозников. За подобное надо сурово наказывать. И все-таки, при всей нашей непримиримости к подобным поступкам, мы можем понять и принять лишь одно действие закона — справедливое.

Двоих арестовали, а третьего, Серебрянского... Дело в том, что Серебрянский — депутат сельского Совета. А без согласия Совета его, как известно, арестовать нельзя. Совет же санкции на арест не дал. Совет, бесспорно, осудил поведение своего депутата, высказал мнение, что тот запятнал свою честь, но санкции не дал. По настоянию прокурора еще два раза Совет обсуждал этот вопрос на сессии — результат был тот же. Не то чтобы депутаты выгораживали «своего». Я смотрел протоколы, разговаривал со

многими депутатами и убежден: они подошли к делу тракториста со всей серьезностью и ответственностью.

Но... прокурор был неумолим. Он заявил, что олицетворяет закон, наблюдает за законностью и обязан преследовать нарушителей без всякого снисхождения. Он отметал все доводы о нецелесообразности передавать дело в суд, арестовывать обвиняемых. В райисполкоме, куда он обратился, прокурору разъяснили, что отменить решение Совета неправомочны. Инструктор облисполкома, выезжавший на место, тоже не посчитал, что депутаты сельского Совета не правы. Прокурор стоял на своем.

— Прокурор руководствуется не целесообразностью, а исключительно законом,— заявлял он.

Тысячу раз прав прокурор в этом своем утверждении. С одной поправкой: правосудие, руководствуясь буквой закона, исходит из обстоятельств дела и правосознания, учитывает содеянное и личность преступника. Закон позволяет назначить меру наказания ниже низшего предела, ограничиться условным осуждением, вообще прекратить дело или даже не возбуждать его. Следовательно, не темная, слепая сила советский закон, не молох, перемалывающий свои жертвы. Неотвратимость наказания ничего общего не имеет с бесчеловечностью, с жертвенностью, фатумом. Только не произвол охраняет права человека, а сам закон. (Ибо миловать по прихоти — столь же далеко от справедливости, как по прихоти казнить.)

Но в чем же дело? Почему наш прокурор все-таки не хотел слушать ни доводов рассудка, ни мнения органа власти, каковым является Совет? Может быть, он все же считал принципиально неверным тот факт, что виновные не предстали перед судом? Если бы так, то, не соглашаясь, следовало бы снять шляпу перед суровой непреклонностью прокурора. Увы, его позиция была куда менее принципиальной.

— Мы должны вести борьбу с хищениями фуража. Только что из области было указание «усилить», а тут...

Вот-вот! Это магическое «указание». Будто бы без него неизвестно, что с хищениями надо бороться. Сколько же бед правосудию несут эти «указания». Я взял слово в кавычки не случайно: никто, как правило, таких указаний, как их понял наш прокурор, не дает. Говорят: «Надо усилить борьбу» — и действительно надо. Но не говорят же: «Вынь да положи к завтрашнему утру дело о хищении фуража». Но уж очень хочется положить. Чтобы похвалили. Чтобы была видимость борьбы.

Я осмеливаюсь бросать эти упреки потому, что мы на эту тему много говорили и «кампанейский» характер действий прокурора для всех, кто в беседе участвовал, был очевиден. И точка над «и» была поставлена фразой: «Надо было придать этому делу значение...»

Посмотрите, какая трансформация суждений о смысле закона. Прокурор начал отстаивать свою позицию с того, что утверждал примат законности над целесообразностью. А кончилась наша дискуссия тем, что позиции переменялись. Теперь уже прокурор стал говорить, что действовал, исходя из остроты момента, «указаний», то есть той самой целесообразности в его, прокурора, понимании. И получилось, что не закон и его соблюдение заботили прокурора, а закон попытался он превратить в инструмент для достижения сиюминутных «кампанейских» целей. Ибо преступление не преследовалось сразу же после того, как было совершено,— его не считали заслуживающим внимания, о нем вспомнили, когда поступило «указание» и надо было срочно что-то выложить, дабы продемонстрировать оперативное усердие.

Разумеется, рассказанное — исключение. Однако нельзя сбросить со счетов и то простое обстоятельство, что судьи, прокуроры, следователи — люди, а не роботы. Где-то подсознательно напластовываются в их сознании различные мнения по делу, которое им предстоит рассмотреть. И вот эти впечатления, отзвуки, раздумья формируют ту «третью силу», которую не сбросишь со счетов и от которой трудно избавиться.

Выдающийся русский юрист А. Ф. Кони писал в свое время о безликом давлении на суд: «Это давление окружающей среды, выражающееся весьма многообразно, чувствительно и вместе неуловимо, создающее около судьи, в его общественной жизни ту атмосферу, которая стремится властно повлиять на исход его работы по тому или другому отдельному делу или ряду дел. Под видом «общественного мнения» судье ука-

зывается иногда лишь на голос «общественной страсти», следовать которому в судебном деле всегда опасно и нередко недостойно. Судья должен стоять выше этого в выполнении своей высокой задачи, основанной не на временных и преходящих впечатлениях, а на вечных и неизменных началах правосудия». Преходящих же впечатлений бывает много потому, что жизнь действительно не проста и она подбрасывает людям не простые ситуации. Выйти же на простор общественного блага поможет только закон.

С точки зрения теории права проблема соотношения законности и целесообразности, так называемого духа закона и его буквы не вызывает в данное время теоретических сомнений. Ни один человек не может быть осужден, если его вина не доказана в установленном законом порядке,— этот принцип абсолютно господствует в советском праве. Никакие самые «высокие» соображения, никакие общественные или государственные цели и блага не могут заменить конкретной вины конкретного человека. И практика в принципе придерживается этих постулатов. В принципе! Однако нам в кипении будней, как принято выражаться, бывает порой трудно эти принципы прикладывать к конкретному решению.

Помню одно гражданское дело, о котором мне уже как-то приходилось говорить. У семьи, далеко не примерной по моральным качествам ее членов, был конфискован дом, как якобы построенный на нетрудовые доходы. Семья не согласилась с таким решением. Начались суды — то в пользу истцов выносили решения, то в пользу ответчика, в качестве которого выступал горисполком. В конечном счете Верховный Суд РСФСР решил, что дом конфискован незаконно. Но к этому времени в спорном доме разместили детский сад. И вот когда состоялось окончательное решение, то есть когда дом надо было вернуть законным владельцам, местные власти поставили вопрос так:

— Ну, хорошо, решение есть. Что же, прикажете выселить детей? Пожертвовать ими ради семьи, из которой, кстати, половина пьяницы и многоженцы? Так будет справедливо?

Смотрите, какая спекуляция на чувствах! Ведь те, кто сам должен охранять закон, вынуждены произнести: да, выселять детей справедливо. Потому что законно! И так надо сделать ради самих детей, которые, конечно, ничего пока не понимают, но которым все равно не безразлично, как придется жить — в обстановке законности или местного произвола.

Да, в жизни бывают сложные ситуации. И иногда сложностью их пытаются оправдать беззаконие. Но должно-то быть как раз наоборот. В противном случае может возникнуть Соломоново решение, как в старой притче...

В одном селе крестьяне сложились и купили быка. Да такого, что вся округа им завидовала. Другой гордостью села был кузнец. И вот как-то кузнец напился допьяна и пошел посреди улицы, пугая народ кувалдой. А навстречу ему — бык.

— Уйди с дороги! — кричит ему пьяный кузнец.

А быку что — идет. Обозлился кузнец, махнул кувалдой и убил быка.

Крестьяне — в горе. Собрались на сход кузнеца судить.

— Вот что, мужички, — говорит один. — Надо нам кузнеца убить. Раз он быка порешил — значит, должен жизнью поплатиться.

— Правильно! — закричал сход. — Это будет справедливо.

Тогда поднимается дед один и обращается к миру:

— Что же это, мужички, получается? Был, значит, у нас бык — теперь его нет. Есть знаменитый кузнец — и его не будет. Никакого расчета, мужички, нам кузнеца убивать.

Ему возражают:

— Но ведь кузнец убил нашего знаменитого быка. Значит, так и оставить? Никого не наказывать?

— Почему ж никого? — отвечает дед. — Обязательно наказать надо. Вот у нас в деревне, например, два печника. Делать им двоим нечего. Одного давайте и убьем...

На том и порешили.

Сход поступил в высшей степени целесообразно. Но стоит ли даже упоминать о законности и справедливости?

* * *

Жизнь закона среди людей сложна еще и потому, что его нормы жестче, чем наши представления о добре и зле или, если быть точнее, наши отношения к конкретному добру или злу. И если говорить о высоком правосознании, о законопослушности, какую являли чекисты-дзержинцы, то надо требовать от гражданина даже доблести самоотречения во имя утверждения законности. Самоотречения не в смысле добровольного отчуждения своих законных прав — их как раз оберегает закон, — а в смысле понимания высшей справедливости, которую осуществляет социалистическое право.

И здесь встает непростая проблема соотношения права и морали. Да, закон — отражение нравственной температуры общества. Он исходит из моральных критериев господствующего класса и в свою очередь подтверждает их силой своего авторитета. Все, что незаконно — аморально, и никакие лазейки, никакие оправдания не должно принимать в расчет. Преступление даже по неосторожности нельзя признать высокоморальным деянием, хотя сам человек, его совершивший, может обладать многими достоинствами. Однако не все то, что аморально, может осудить закон. Больше того, в иных случаях закон вынужден принимать сторону с точки зрения общественного мнения безусловно неправильную. Не следует ли из этого, что нормы нравственные и правовые противоречат друг другу? Почему-то обычно на этот прямой вопрос стараются не отвечать, а надо прямо сказать: не всегда совпадают, иногда противоречат.

Шел суд. Шестнадцатилетний парень обвинялся в том, что, изрядно выпив, ворвался ночью в чужую квартиру, переломал мебель, ударил хозяина, потом хозяйку. Словом, устроил дебош. Возмущению зала, как говорится, не было предела. Отвратительнейшее из зол — хулиганство — предстало, кажется, во всей своей отвратительной наготе, и могло ли это деяние вызвать снисходительность и жалость? Все так и было до тех пор, пока не был оглашен один документ — заявление матери подсудимого, Марии Яковлевны Лободы. Я его процитирую:

«Мой бывший муж,— писала Лобода,— оставил семью, вступив в сожительство с моей знакомой, сын которой был хорошим товарищем моего сына. Поведение отца отрицательно сказалось на ребенке, он стал плохо учиться и плохо вести себя. Мальчика исключили из школы. Мне с большим трудом удалось его устроить в филиал заочной школы, директор которой и классная руководительница окружили моего сына тем теплом, которого ему так не хватало, и он, успешно закончив семь классов, стал работать в научно-исследовательском институте слесарем. Отец в течение нескольких лет не уделял никакого внимания сыну и дочери. Более того, он перестал замечать детей на улице. У девочки холодное поведение отца не вызывало серьезных переживаний, а у сына такое отношение вызвало злобу.

И вот произошло событие, которое является предметом рассмотрения на данном суде. В воскресный день сын, вернувшись ночью из командировки, пошел к отцу «мстить». Он пришел к нему домой, наскандалил, разбил две тарелки — одним словом, совершил хулиганский поступок, который я ни в коей степени не оправдываю.

Но как понять отца, который возбудил против сына уголовное дело с целью возмещения материального ущерба? Я еще раз подчеркиваю, что ни в коей степени не оправдываю поступка моего сына. Я пишу не с целью жалобы на отца ребенка. Мне кажется диким, что отец, руководствуясь чувством жадности или мести, стремится посадить на скамью подсудимых собственного сына, за поступки которого он в равной степени должен нести ответственность».

Как вы понимаете, письмо это не могло изменить того, что произошло. Факт злого хулиганства никуда не делся. Но настроение зала изменилось резко. Никто уже не осуждал парня. Ему сочувствовали все. Ему сочувствовали, уверен в этом, и судьи.

Судьи, однако, его осудили. (Не о том речь, сколько дали, важно, что в принципе признали парня виновным в хулиганстве, остальное уже дело милосердия, но не права.) И не могли иначе. Оправдать — значит простить преступление, узаконить самосуд.

После приговора кто-то сказал: присяжные бы его оправдали. Возможно. Допускаю. История знает случаи, когда присяжные заседатели выносили вердикт вопреки праву. Может быть, наши судьи считали бы полезным оправдать преступника. Возможно, их судейская совесть стояла на такой точке зрения. И все-таки они не могли так,

хотя судят и по совести. Не могли потому, что должны судить и по закону. И эти два постулата судебного решения не могут находиться в противоречии. Совесть судей, их правосознание должны исходить только из закона, следовать закону, но ни в каких случаях не действовать вопреки ему.

Что же получается? Сами только что говорили насчет того, что в законе концентрируется мораль общества. Какая же тут мораль? Выходит, статьи и буквочки лишают смысла высокие слова? Но тогда это сплошной формализм... Где уж тут говорить о благородстве, достоинстве, чести? Об утверждении этих высоких человеческих качеств? Что ж, возможно, это тот редкий случай, когда надо защищать формализм. Кажущийся формализм, если уж быть до конца точным.

Да, в известной степени закон формален, ибо всякое право является применением одинакового масштаба к разным людям. Судьи могут со всей антипатией относиться к стоящему перед ними — это их частное дело. Закон позволяет им подвергнуть наказанию человека лишь за те деяния, которые он совершил, и лишь за те, которые точно названы в Уголовном кодексе. Судьи должны учитывать и личность и обстоятельства, но они не вправе осудить человека лишь потому, что он им несимпатичен и вообще морально неустойчив. Точно так же им не дано простить преступление, если его совершил в высшей степени симпатичный человек.

Когда отличный инженер и активный общественник, прекрасный товарищ и хороший семьянин нарушит, допустим, технику безопасности и из-за этого погибнет человек, придется судить положительного героя и, может быть, даже отправить за решетку. Формализм? Как сказать! За такой «формализм» надо снимать шапку перед законом. Еще более бесстрастен Гражданский кодекс. Поэтому некие юные хищницы, например, получают наследство престарелых профессоров; сыну удается выиграть тяжбу с отцом; прожив полгода в квартире жены, с которой заключен фиктивный брак, обманщик приобретает право на площадь. Морально мы осудим эти явления, будем метать громы и молнии. Но если на минуту допустить иное решение суда — значит допустить произвол. Ни под каким видом и ни по каким соображениям общественного блага судьи не имеют права перейти предел, очерченный законом, ибо «полезная несправедливость» преступна сама по себе.

Истина не нова. Я ее высказал не с той целью, чтобы повторять и поучать, а лишь потому, что ее, пусть без злого умысла, пусть из самых добрых побуждений, все же иногда игнорируют. В суде драмы и трагедии ставит не режиссер, а сама жизнь. И конфликты решают не безгрешные авторы, а люди, сотканые не из металлических деталей, а из нервных тканей, имеющие разные сердца, неодинаковые характеры и темпераменты и даже несходные взгляды на свой долг, свои обязанности и по-разному понимающие задачи правосудия.

Ну кто же из нас усомнится в том, что служение обществу и государству — высший долг советского человека? Что нам, сотворившим первое в мире государство свободного труда, построившим общество, где благо человека — альфа и омега бытия, нет ничего дороже общественных интересов? Но — такова диалектика жизни — как раз самое святое покрывает порой весьма и весьма порочное. Если жизнь и благополучие невинного нужно принести в жертву идее, высшему принципу — значит, порочны в самой сути и идея и принцип — это утверждает наша мораль, это закрепляет в своих «формальных» параграфах наше право.

На пленуме Верховного Суда СССР рассматривались протесты Председателя Верховного Суда и Генерального Прокурора СССР на решения судов по конкретным делам. Один протест касался осуждения врача за продажу строго учитываемого лекарства. Сами понимаете, сколь тяжкое это преступление. По делу было бесспорно установлено, что подсудимый имел доступ к таким лекарствам, что продал он их, что выручил за это деньги — 36 рублей. Осудили его за то, что занимался запрещенным промыслом. В протесте своем Председатель Верховного Суда не умалял опасности деяния, не обелял осужденного. Но... является ли инкриминируемое врачу преступление запрещенным промыслом?

— Допустим, мы удовлетворим протест, — говорил один из членов Верховного Суда, — значит, снизим наказание. Выходит — мы косвенно будем поощрять...

-- Парень пятерку стащит, так его... А тут, подумать только, какие могут быть последствия...

— Врач — и пошел на такую низость...

Все эти возражения и стоящие за ними чувства объяснимы, справедливы, благородны. Но... закон, только закон, всегда закон. Нынешний министр юстиции СССР, а тогда заместитель Председателя Верховного Суда СССР В. И. Теребилов задал единственный вопрос:

— Что закон называет промыслом? И подходит ли точное описание этого деяния под то, что совершил врач, продав на 36 рублей лекарств, состоящих на строгом учете?

И высокие судьи вынуждены были сказать: не подходит. И удовлетворить протест (врача осудили по другой статье). И подтвердить великий принцип правосудия: с беззаконием нельзя бороться вопреки закону.

Закону не дано мучиться вопросами, что вперед спасать при пожаре: картину Рембрандта или живую кошку. Кошмары Ивана Карамазова — искупит ли гибель одного ребенка страдания всего человечества — должны быть чужды судопроизводству. И в этой однозначности его творческая созидательная сила, в этом благо людей, отдавших себя под сень закона.

Древние юристы, провозгласившие лозунг: «Пусть погибнет мир, но торжествует юстиция», — лозунг, который, понимая его в буквальном смысле, многие склонны оспаривать, — древние юристы не были дураками. Они вовсе не пророчили гибель своему миру. Наоборот, они провозгласили тем самым великую истину: если будет торжествовать справедливость, если человек найдет защиту вопреки всем обстоятельствам и интересам, если будет царить закон — мир в этом случае не погибнет! (Античный мир погиб, кстати, еще и потому, что были попраны законы.)

Основы советского законодательства, кодексы, принятые в союзных республиках, другие законодательные акты довольно полно обеспечивают благополучие нашего социалистического общежития, гарантируют права трудящихся, регулируют гражданские отношения. Предусмотрены в законе и соответствующие санкции для тех, кто отступает от норм закона. Все это является тем надежным фундаментом, на котором зиждется реальная действенность советского закона, его авторитет.

Правовая культура заключается не в простой осведомленности о том, что можно, а чего нельзя (хотя это и первооснова), а в послушании закону всегда и во всем, вопреки кажущейся выгоде, наперекор обывательской справедливости. Соответственным образом широко и квалифицированно организованные лекции, курсы, семинары дадут знания основ права сравнительно легко. Литература наша и искусство должны культивировать нравственные постулаты, основанные на праве. Просветители XVIII века утверждали, что законы слабы без нравов. Мне кажется, закон — вот платформа нравственности, матрица, с которой отливается гражданин, тот генетический код, который формирует первооснову, если так можно сказать, человека социалистического общества.



В МИРЕ НАУКИ

И. КОН

★

ЛЮДИ И РОЛИ

1

Член судебной палаты тайный советник Иван Ильич Головин был вполне обыкновенным человеком и исправным чиновником. Его карьера была в меру успешна, семейная жизнь в меру удачна. И вдруг — странный вкус во рту, тяжесть и боль в левой половине живота... И вот, лежа на смертном одре, Иван Ильич вдруг подумал: «А что как и в самом деле вся моя жизнь, сознательная жизнь, была «не то».

Ему пришло в голову, что то, что ему представлялось прежде совершенной невозможностью, то, что он прожил свою жизнь не так, как должно было, что это могло быть правда. Ему пришло в голову, что те его чуть заметные поползновения борьбы против того, что наивысше поставленными людьми считалось хорошим, поползновения чуть заметные, которые он тотчас же отгонял от себя, — что они-то и могли быть настоящие, а остальное все могло быть не то. И его служба, и его устройства жизни, и его семья, и эти интересы общества и службы — все это могло быть не то. Он попытался защитить пред собой все это. И вдруг почувствовал всю слабость того, что он защищает. И защищать нечего было»¹.

Ситуация, описанная Толстым, часто встречается и у современных писателей Запада. Мысль о «неподлинности» прожитой жизни, о необходимости борьбы за собственное Я в разных формах выступает и у Альбера Камю, и у Кобо Абэ, и у Генриха Бёля, и у Грэма Грина, и в трагических фильмах Антониони и Бергмана. Почему? За литературно-художественными образами стоит целый комплекс социально-психологических проблем, отражающих реальные условия жизни буржуазного общества. Попробуем разобраться в этом комплексе.

Понятие «роли», широко употребляемое современным обществоведением, весьма многозначно.

В обыденном сознании ролью обычно называют такой аспект поведения, деятельности лица, который не является для него органичным, переживается как нечто внешнее, ненастоящее, отличное от его «подлинного Я». «Быть в роли» — значит притворяться, играть, сознавая искусственность собственного поведения. Но такое разграничение явно субъективно, оно описывает лишь соотношение различных образов самосознания, ничего не говоря об их происхождении.

Социальная психология, изучающая закономерности коллективного поведения и взаимодействия людей друг с другом, идет значительно глубже, используя понятие роли для описания повторяющихся, стандартизованных форм и способов поведения. В дружеской компании, собравшейся приятно провести вечер, нет никакой формальной регламентации и в принципе люди могут вести себя как угодно. Но, если внимательно присмотреться (и особенно если эти люди собираются не впервые), в ней можно заметить определенное разделение функций: кто-то командует, кто-то блещет остроу-

¹ Л. Н. Толстой. Собрание сочинений. В 12-ти томах. Т. 10, М. 1958, стр. 183.

мием, кто-то создает фон. И тому, за кем закрепилась роль весельчака, уже не так го просто от нее отказаться. На него «давят» ожидания окружающих, сложившиеся на основе прошлого опыта.

Конкретное взаимодействие двух или более людей в свою очередь протекает в определенной социальной среде. Исторически сложившиеся формы общественного разделения труда, деление общества на классы, социальные институты и нормы поведения «даны» при этом в качестве внешней, объективной реальности, с которой люди должны, нравится им это или нет, сообразовать свои действия. «Характерные экономические маски лиц — это только олицетворение экономических отношений, в качестве носителей которых эти лица противостоят друг другу»¹, — писал Маркс. Взаимоотношения предпринимателя и рабочего, покупателя и продавца в главных своих чертах обусловлены не их личными симпатиями или антипатиями (они могут даже не встречаться друг с другом), а их социальным положением. Политическая экономия, социология и другие общественные науки, изучающие систему общественных отношений, принципиально абстрагируются от индивидуальных особенностей людей, в них «дело идет о лицах лишь постольку, поскольку они являются олицетворением экономических категорий, носителями определенных классовых отношений и интересов»². В социологии понятие социальной роли обозначает поэтому безличную социальную функцию или норму, выполнение которой обязательно для каждого, кто занимает данную позицию.

Разумеется, социальное положение не предопределяет всех многообразных личных качеств занимающих его людей. Однако общество, класс, социальный институт обладают целой системой воздействий и фильтров, которые формируют и отбирают типы характеров, наиболее пригодных для той или иной деятельности. Наивно морализировать по поводу бездушия фашистских палачей: люди с тонкой душевной организацией принципиально не могут преуспевать в подобной системе, они либо «отсеиваются», либо погибают.

В обыденной жизни социальные и индивидуально-психологические «определители» поведения, как правило, выступают слитно. Возьмем, к примеру, описание врачебного визита в «Смерти Ивана Ильича»:

«Но вот звонок в передней. Авось, доктор. Точно, это доктор, свежий, бодрый, жирный, веселый, с тем выражением — что вот вы там чего-то напугались, а мы сейчас вам все устроим. Доктор знает, что это выражение здесь не годится, но он уже раз навсегда надел его и не может снять, как человек, с утра надевший фрак и едущий с визитами.

Доктор бодро, утешающе потирает руки.

— Я холоден. Мороз здоровый. Дайте обогреюсь, — говорит он с таким выражением, что как будто только надо немножко подождать, пока он обогреется, а когда обогреется, то уж все исправит...

Иван Ильич знает твердо и несомненно, что все это вздор и пустой обман, но когда доктор, став на коленки, вытягивается над ним, прислоняя ухо то выше, то ниже, и делает над ним с значительнейшим лицом разные гимнастические эволюции, Иван Ильич поддается этому, как он поддавался, бывало, речам адвокатов, тогда как он уж очень хорошо знал, что они всё врут и зачем врут»³.

И врач и больной, оба неукоснительно выполняют предусмотренный для данного случая ритуал. Так же ведет себя и жена Ивана Ильича — Прасковья Федоровна. «Ее отношение к нему и его болезни все то же. Как доктор выработал себе отношение к больным, которое он не мог уже снять, так она выработала одно отношение к нему — то, что он не делает чего-то того, что нужно, и сам виноват, и она любовно укоряет его в этом, — и не могла уже снять этого отношения к нему».

Поведение всех участников этой сцены достаточно стандартизовано. Но природа этой стандартизации различна. Поведение врача имеет отчетливо социальные корни, вы-

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 23, стр. 95.

² Там же, стр. 10.

³ Л. Н. Толстой. Собрание сочинений. В 12-ти томах. Т. 10, М. 1958. стр. 173—174.

текает из требований его профессии. Что бы ни думал врач о состоянии больного, он обязан проявлять оптимизм, так как это тоже терапевтическая процедура. Если бы он сказал Ивану Ильичу о безнадежности его состояния, это было бы нарушением норм врачебного поведения. Это вообще не личное отношение, а частный случай типичного отношения между врачом и пациентом, принятого в данном обществе. Другое дело — Прасковья Федоровна. Ее отношение к Ивану Ильичу и его болезни не вытекает из общих социальных норм, а представляет собой окостеневшую привычку. Возможно, что вначале это отношение было обосновано тем, что Иван Ильич действительно не соблюдал какого-то режима. Сейчас это уже не имеет значения, но изменить раз сложившуюся схему жена не в силах. Поведение врача воплощает наиболее массовидную профессиональную норму, поведение жены — окостеневший прошлый опыт взаимодействия троих — ее самой, доктора и Ивана Ильича — по поводу болезни последнего.

Вместе с тем каждый из них имеет и какое-то внутреннее отношение к своей собственной роли. Доктор не сомневается в правильности своего врачебного поведения, но по-человечески ему неловко играть бодрячка в присутствии умирающего. Иван Ильич не верит ему и в то же время хочет поверить. Он уже отчужден от своей прежней жизни, но, когда приступы ослабевают, он и на свою болезнь смотрит как бы со стороны. Одно и то же по своему социальному содержанию действие (врачебный осмотр) имеет совершенно разный личностный смысл для каждого из его участников (для доктора — это обычный профессиональный акт, для жены — выполнение долга перед умирающим, для больного — то лишнее мучение, то надежда на помощь).

Таким образом, в человеческом поведении всегда есть нечто «заданное», стандартизованное (обществом, ситуацией, предшествующим опытом), делающее человека как бы «актером». В то же время здесь нет фатального «внешнего» предопределения. Семейный врач, если продолжить взятый пример, мог бы, не выходя за рамки своей профессиональной роли, поднимать дух больного не стандартными словами, а дружеским участием.

Должен ли человек отвечать за свою социальную роль или он является скорее жертвой, чем субъектом общественной деятельности? Художественная литература издавна обсуждает это как проблему конфликта «маски» и «подлинного Я».

Маска — это не Я, это нечто, не имеющее ко мне отношения. Маску надевают, чтобы скрыть свое подлинное лицо, освободиться от социальных условностей, обрести анонимность или присвоить себе другое, не свое обличье. Маскарад — свобода, веселье, непосредственность.

Но маска — не просто кусок раскрашенной бумаги или папье-маше. Это определенный образец, тип поведения, который не может быть нейтральным по отношению к Я, и наоборот. Человек выбирает маски не произвольно. Маска должна компенсировать то, чего личности, по ее самооценке, не хватает. Заботливому человеку не приходится «проявлять заботливость», раболепному не нужно изображать покорность, а веселому — надевать маску весельчака.

Однако разница между внешним и внутренним относительна. Герой одной из лучших пантомим Марсея Марсо на глазах у публики мгновенно сменяет одну маску за другой. Ему весело. Но внезапно фарс становится трагедией: маска приросла к лицу. Человек корчится, прилагает невероятные усилия — тщетно, маска не снимается, она заменила лицо, стала его новым лицом!

Эту трагическую тему детально разрабатывает японский писатель Кобо Абэ в романе «Чужое лицо»¹.

Ученый, лицо которого обезображено ожогом, не в силах вынести уродства, отчуждающего его от окружающих, делает себе маску, почти неотличимую от нормального человеческого лица. Маска, считает он, подобно одежде, смягчает индивидуальные различия и делает взаимоотношения между людьми более универсальными, простыми и безличными.

Но освобождение, принесенное маской, оказывается мнимым. Как и в пантомиме Марсо, маска отвердевает. Из средства защиты от внешнего мира она становится тюрь-

¹ «Иностранная литература», № 12, 1967.

мой, из которой нет выхода. Маска навязывает герою свой образ действий, свой стиль мышления. Его личность раздваивается. Взаимопонимание с самым близким человеком — женой — не только не улучшилось, но стало вовсе невозможным. Герой с ужасом видит в маске черты, совершенно несвойственные его «подлинному Я», но ничего не может изменить, утешаясь лишь тем, что утрата лица — не его личная трагедия, но «скорее общая судьба современных людей». И наконец, наступает последнее прозрение — сознание того, что дело вовсе не в маске, что маска и есть его настоящее лицо: «...я, собираясь изготовить маску, на самом деле никакой маски не создал. Это мое настоящее лицо, а то, что я считал настоящим лицом, на самом деле оказалось маской...»

Характерно, что о «подлинном Я» героя ни читатели, ни он сам практически ничего не знают. Оно растворилось где-то в многоступенчатой саморефлексии. Его одинаково страшат и индивидуальность, и анонимность, и невозможность уйти от себя, и потеря собственного Я. «То, что лежит мертвое в шкафу, — говорит ему жена, — не маска, а ты сам... Вначале с помощью маски ты хотел вернуть себя, но с какого-то момента ты стал смотреть на нее лишь как на шапку-невидимку, чтобы убежать от себя. И поэтому она стала не маской, а другим твоим настоящим лицом». Трагедия не в уродстве внешнего облика, а во внутренней пустоте, не выносящей глубоких человеческих привязанностей. «Тебе нужна не я — тебе нужно зеркало. Любой посторонний для тебя не более чем зеркало с твоим отражением. Я не хочу возвращаться в эту пустыню зеркал».

Символика Абэ сложна и многозначна. «Маска» — это символ и приспособления к миру, и чуждых, безличных сил, навязывающих личности свои законы. Потеря героем собственного лица хронологически предшествует изготовлению маски, которая призвана восполнить эту потерю. Но первое, «природное», лицо было «дано» герою, тогда как маску он изготовил сам, бессознательно воплотив в ней черты своего «подлинного Я». Не воспроизводит ли в таком случае история взаимоотношений героя и маски процесс самопознания, мучительного освобождения от иллюзий на собственный счет? Но почему тогда «своим» лицом оказывается «чужое»? Следует ли видеть в этом индивидуальную беду (а может быть, и вину) героя романа или такова всеобщая закономерность?

Психологические проблемы (трудности общения и самопознания) здесь органически переплетаются с социологическими и этическими. Попробуем в интересах ясности расчленить их. Начнем с анализа человеческого Я и межличностного общения.

2

Объявляя какие-то аспекты своего поведения «неподлинными», человек противопоставляет их своему «настоящему Я». Но что такое Я? Средневековые философы считали его особой «рациональной субстанцией», другим наименованием нематериальной души. Представители английского эмпиризма (Д. Юм и его последователи) сводили его к сумме ощущений, получаемых человеком от собственного тела. Но самоощущением в той же степени обладают и животные. Кроме того, представления человека о самом себе не ограничиваются образом собственного тела, но включают многочисленные социальные моменты — представления о своих интеллектуальных, моральных и иных качествах, систему самооценок и т. п., которые могут сложиться лишь в ходе общения с другими людьми.

Рефлексивное (сознаваемое) Я не только отражает фактическую структуру отношений личности с другими людьми, но и выражает ее нереализованные потенции, надежды, стремления и страхи. Как показывают психологические исследования, каждый из нас имеет не один, а множество образов собственного Я, построенных под разными углами зрения: каким я вижу себя в данный момент, каким я стремлюсь стать, каким я должен быть, исходя из моих моральных принципов, каким я хотел бы, чтобы меня видели окружающие, и т. д.

Все эти образы существенны для понимания внутреннего мира индивида, все они многочисленными нитями связаны с его прошлым опытом и взаимодействием с другими людьми. Однако они существуют лишь внутри самосознания, их нельзя наблюдать «объективно», так как в поступках, жестах и словах выражается не отдельный акт самосознания, а целостная личность, которой эти акты принадлежат.

Конечно, можно судить о человеке по его поступкам, «по плодам их узнаете их». Но один и тот же поступок может быть продиктован разными мотивами. Трудности «расшифровки» внутреннего мира личности и вопрос о границах человеческого взаимопонимания всегда привлекали внимание художников и философов.

Первая из этих трудностей — уникальность, неповторимость жизненного мира индивида. «Во всякой гениальной или новой человеческой мысли или просто даже во всякой серьезной человеческой мысли, зарождающейся в чьей-нибудь голове, всегда остается нечто такое, чего никак нельзя передать другим людям, хотя бы вы исписали целые томы и растолковывали вашу мысль тридцать пять лет; всегда останется нечто, что ни за что не захочет выйти из-под вашего черепа и останется при вас навеки; с тем вы и умрете, не передав никому, может быть, самого-то главного из вашей идеи»¹, — писал Ф. М. Достоевский. Чем оригинальнее, чем индивидуальнее мысль или переживание, тем труднее выразить их посредством общепринятых условных знаков.

Уникальность индивидуального существования принципиально исключает тождественность переживаний, а без этого невозможно и «полное» взаимопонимание. «Природа поставила барьер между моей душой и душой моего ближайшего друга», — говорил Делакруа. Любые жесты, слова, мимика так или иначе соотносятся с индивидуальным опытом субъекта. «В каждом из нас — целый мир, и в каждом — этот мир свой, особенный. Как же мы можем понять друг друга, господа, если в свои слова я вкладываю только то, что заключено во мне, а собеседник мой улавливает в них лишь то, что согласно с его собственным миром? Мы только думаем, что друг друга понимаем, а на деле нам никогда не столкнуться!»² — говорит один из героев Луиджи Пиранделло. И разве не ту же мысль иллюстрирует фильм «Супружеская жизнь» Андре Кайятта?

Вторая грудность глубокого общения — множественность, раздробленность человеческого Я. «Каждый из нас, — читаем мы у того же Пиранделло, — напрасно воображает себя «одним», неизменно единым, цельным, в то время как в нас «сто», «тысяча» и больше видимостей... В каждом из нас сидит способность с одним быть одним, с другим — другим! А при этом мы тешим себя иллюзией, что остаемся одними и теми же для всех, что сохраняем свое «единое нутро во всех наших проявлениях! Совершеннейшая чепуха!»³. Но если отсутствует реальное единство Я, то и общение неминуемо будет частичным, обманчивым, раздробленным; за сотнями «видимостей» здесь нет никакой устойчивой сущности.

Немаловажной помехой является также неизбежная стандартизация повторяющейся деятельности и вытекающая из нее стереотипность восприятия человека человеком. Общаясь с множеством различных людей, человек физически не может уловить конкретную индивидуальность каждого, он воспринимает и оценивает их стереотипно, сквозь призму выполняемых ими социальных ролей и своего собственного отношения к этим ролям. Эта невольная «деперсонализация», при которой человек оценивается не как целостная личность, по его собственным, индивидуальным критериям, а как объект, в свете какой-то усредненной, абстрактной нормы, несомненно, ограничивает глубину взаимопонимания. Обломов был по-своему прав, когда обижался на сравнения его с «другими». Но эта стереотипность, столь болезненная в отношениях между близкими людьми, принципиально неустранима в массовых процессах.

В любом человеческом поведении присутствует момент представления, игры. Ожидания окружающих и собственные представления личности об этих ожиданиях «давят» на личность, заставляя ее — осознанно или неосознанно — учитывать их в своем поведении. Один французский писатель признавался, что в обществе нефранцузов он невольно держится более легкомысленно, чем в своем кругу, так как на него «давит» потребность окружающих увидеть «типично французский» стиль мышления, легкость, шарм и т. п. Многие американские негры, общаясь с белыми, специально акцентируют черты наивности и простодушия, «положенные» им по старому стереотипу. Другие, напротив, держатся подчеркнуто в о п р е к и стереотипу, так сказать, «отмежевываются» от него. Но

¹ Ф. М. Достоевский. Идиот. Собрание сочинений, т. 6, М. 1957, стр. 447—448.

² Л. Пиранделло. Пьесы. М. 1960, стр. 363.

³ Там же. стр. 370.

и в этом случае их поведение соотносится с системой социальных символов и прошлым опытом. Один и тот же разговор протекает совершенно по-разному в зависимости от того, происходит он с глазу на глаз, или в присутствии третьего лица, или публично, на собрании.

Отсюда — сложная проблема «расшифровки» мотивов поведения человека на основе ограниченных, а то и умышленно искаженных «внешних» данных. «В повседневной жизни,— писал известный советский психолог С. Л. Рубинштейн,— общаясь с людьми, мы ориентируемся в их поведении, поскольку мы как бы «читаем» его, то есть расшифровываем значение его внешних данных и раскрываем смысл получающегося таким образом текста в контексте, имеющем свой внутренний психологический план. Это «чтение» протекает бегло, поскольку в процессе общения с окружающими у нас вырабатывается определенный более или менее автоматически функционирующий психологический подтекст к их поведению»¹.

Человеческое общение всегда предполагает обратную связь, тонкий учет многообразных импульсов, исходящих от других. Самовыражение личности (а следовательно, и ее способность производить впечатления), по справедливому замечанию американского ученого Эрвинга Гофмана, складывается из двух различных компонентов. Во-первых, это та информация о себе, которую человек сознательно дает, это как бы фасад его личности (внешний вид, мимика, жесты, слова); во-вторых, это информация о себе, которую он выдает невольно, не желая этого. (Так, гостеприимная хозяйка, слушая похвалы гостя, в то же время внимательно следит, как он на самом деле ест расхваливаемые блюда.) Сопоставление этих двух видов экспрессивности служит основой для разграничения внешнего, показного, и внутреннего, «подлинного», в поведении и характере лица.

Однако надежность этого различия зависит как от внимательности наблюдателя, так и от искусства «актера», от его способности выразить то, что он хочет, и не выразить то, что он предпочитает скрыть. Но «играть роль» только для других невозможно. Человек, сознающий себя «в роли», становится не только актером и режиссером, но и зрителем собственных поступков. Это вносит в его поведение элементы отчужденности и рефлексивности. Его отношение к другому человеку опосредствуется отношением к самому себе как исполнителю определенной роли: прежде чем реагировать на внешний стимул, он должен согласовать свою реакцию с логикой принятой на себя роли. Он ведет себя так, как если бы он был не самим собою, а кем-то другим, и это порождает у него внутреннюю напряженность, чувство неестественности своего поведения (даже если окружающие этого не видят).

Представление об общении как об «игре» сразу же наводит на мысль о неискренности, притворстве, лицемерии. Но «фасад» вовсе не обязательно ложен; это просто сознательно сообщаемая человеком информация о себе. Наибольшие трудности в общении испытывают как раз искренние, но застенчивые люди, которых не удовлетворяют поверхностные, формальные контакты, а на более глубокое самораскрытие у них не хватает смелости. Хорошо сказал М. М. Пришвин: «Одна трудность—переносить пустыню. Другая — оставаться самим собою при встрече с другим человеком»².

Наконец, нельзя забывать, что та же самая рефлексивность, взгляд на себя как бы со стороны, которая делает возможной неискренность, составляет основу всякого самоконтроля и самовоспитания.

Таким образом, человеческое общение и взаимопонимание — действительно сложный и противоречивый процесс. Уже в конце XIX века немецкий философ Вильгельм Дильтей постулировал принципиальную противоположность между причинным объяснением, которое устанавливает внешние связи между объектами, и интуитивным пониманием человеческих действий, основанным на сопереживании и симпатии к другому. При всей неопределенности «метода понимания», в этой постановке вопроса улавливалось качественное различие между отношением человека к вещи и человеческими

¹ С. Л. Рубинштейн. Принципы и пути развития психологии. М. 1961, стр. 180.

² М. Пришвин. Незабудки. М. 1969, стр. 219.

взаимоотношениями. В последние десятилетия механизмы «понимания», «вчувствования» стали предметом экспериментальных психологических исследований.

Однако, пытаясь выяснить специфику человеческого общения, идеалистическая философия абсолютизировала его трудности, доведя их до идеи о принципиальной «некоммуникабельности». Полнее всего это сделали экзистенциалисты¹.

Все наши социальные связи, писал Карл Ясперс, являются поверхностными, внешними. Чтобы передать другим какую-то мысль, я должен сделать ее максимально безличной, в этом — единственная гарантия ее общезначимости. В отношениях, основанных на разделении труда и взаимном использовании (например, на производстве), человек выступает как вещь, как объект, его субъективные, индивидуальные свойства (характер, склонности и т. п.) учитываются только затем, чтобы успешнее ими манипулировать. Солидарность, обусловленная принадлежностью группы людей к какому-то социальному целому, классу или нации, «задана» объективными условиями вроде происхождения и не вытекает из личных склонностей самих членов этой группы. Короче, в каждом из этих отношений участвует только одна какая-то часть моей индивидуальности (интеллект, физический организм или какая-то одна сторона социального Я), целое же остается невыраженным. Но человеку необходима «подлинная», «экзистенциальная» коммуникация, в которую было бы вовлечено все его существо, а не только его отдельные аспекты. Экзистенциальная коммуникация — это «битва за безграничную искренность», глубочайшее и безоглядное самораскрытие, достигаемое лишь в интимном общении душ. Открываясь другому, я впервые становлюсь самим собой и вижу в себе то, что раньше было от меня скрыто. Именно отсутствие или недостаточность экзистенциальных контактов составляет, по Ясперсу, главный источник распространения неврозов.

При всей своей расплывчатости, ясперсовское описание экзистенциальной коммуникации как «прорыва» сквозь холод и условности обыденной жизни кажется понятным, ассоциируясь с наиболее интимными человеческими чувствами — дружбой и особенно любовью, «истинная сущность» которой, по словам Гегеля, «состоит в том, чтобы отказаться от сознания самого себя, забыть себя в другом Я и, однако, в этом же исчезновении и забвении впервые обрести самого себя и обладать самим собою»².

Но насколько правомерно столь резкое и абсолютное противопоставление интимного общения более широким социальным связям?

Исходная точка Ясперса — отношение одного отдельно взятого человека к другому, «встреча» чужих, независимо друг от друга сформировавшихся и, так сказать, полностью «завершенных» индивидов.

В рамках психологии общения такая постановка вопроса возможна. Но с философской точки зрения она совершенно неудовлетворительна. Человек, по словам Маркса, «не только животное, которому свойственно общение, но животное, которое только в обществе и может обособляться»³. Абстрактный индивид, с которого начинает Ясперс, фактически принадлежит к определенному исторически конкретному обществу, классу, культурному кругу, и эти важнейшие социальные характеристики, без которых немислима его индивидуальность, являются у него общими с многими другими людьми.

«Каждый человек — это целый мир, который с ним рождается и с ним умирает. Под каждой могильной плитой лежит всемирная история», — писал Гёте. Но связь жизненного мира личности с социально-историческим миром делает эту уникальность относительной. Принадлежность индивида к определенным социальным общностям исторически предшествует — как в фило-, так и в онтогенезе — его реальному и идеальному обособлению. И хотя общность социального положения и исторической судьбы сама по себе не гарантирует личной близости, она делает такую близость потенциально возмож-

¹ Анализ философии экзистенциализма см.: «Современный экзистенциализм». М. 1966; Э. Ю. Соловьев. Экзистенциализм и научное познание. М. 1966, и его статьи в «Вопросах философии», № 12, 1966, и № 1, 1967; «Проблема человека в современной философии». М. 1969; П. П. Гайденоко. Трагедия эстетизма. М. 1970.

² Гегель. Сочинения, т. XIII, М. 1940, стр. 107.

³ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 12, стр. 710.

ной (это наглядно обнаруживается, когда люди оказываются в чужеродном или враждебном окружении — «на чужой сторонешке рад родной воронушке»).

Стремясь подчеркнуть «субъектность» и интимность «подлинного» человеческого общения, экзистенциалисты резко противопоставляют его мертвой обыденности «вещного» мира. По мнению известного философа Мартина Бубера, слово «Я» вообще не имеет значения само по себе, а только в составе «первичных слов» — «Я—Ты» или «Я—Оно». «Я — Ты» выражает человеческое отношение и может быть произнесено только «целостным существом». Напротив, отношение «Я — Оно» является вещным и потому никогда не может стать тотальным.

Но, с одной стороны, деятельность человека, включая и общение с другими людьми, всегда осуществляется в предметном, вещественном мире, с помощью и посредством вещей, а с другой стороны, «вещь», созданная или присвоенная человеком, всегда выражает «человеческое отношение к другому человеку, общественное отношение человека к человеку»¹.

Потребительски-накопительские ориентации затемняют эту диалектику, рождая иллюзию господства вещей над человеком и, как реакцию на это, наивную философию «антивещизма», согласно которой «человеческое начало» может быть спасено только путем ограничения материальных потребностей (как будто развитые духовные потребности удовлетворяются без помощи материальных средств!).

Философский идеализм пренебрежительно третирует предметную деятельность, труд как нечто низменное, бездуховное, и это, несомненно, имеет свои социальные предпосылки (противоположность умственного и физического труда и т. п.). Но ведь именно творческий труд отличает человеческую деятельность от приспособительной деятельности животного. Подчиняясь общим законам материального мира, человеческий труд, каковы бы ни были его мотивы, всегда остается в сфере естественной необходимости. Но, производя вещи, человек одновременно развивает и совершенствует свои собственные способности и свое самосознание. Создавая в процессе труда объекты, которых не дает в готовом виде природа, человек как бы удваивается, объективирует себя в созданных им вещах и тем самым получает возможность отличать себя как деятеля (Я) от процесса и результатов собственной деятельности (мое).

Труд дает человеку, даже независимо от его субъективных мотивов, чрезвычайно важное чувство самореализации. «Я не люблю работы — никто ее не любит, — говорит Марлоу, герой повести Джозефа Конрада «Сердце тьмы», — но мне нравится, что она дает нам возможность найти себя, наше подлинное «я», скрытое от всех остальных, найти его для себя, не для других»².

Исключение — фактическое или теоретическое — труда из сферы личностно-значимых переживаний крайне суживает эту сферу. Труд в силу его изначально общественной природы есть всегда не только производство каких-то вещей, но и важное средство социального общения, человеческой коммуникации.

По меткому замечанию М. Пришвина, всякое истинное творчество есть замаскированная встреча близких людей. Пишут ради того, чтобы быть понятыми, говорил Лабрюйер. Ламартин стеснялся читать свои стихи друзьям, но, взяв в руки перо, мог говорить о вещах весьма интимных. Анонимность друга, к которому мысленно обращается писатель — книга адресована многим, но поймет и оценит ее только близкий, — может даже облегчать ему самораскрытие.

И дело не в том, что художник говорит о своих собственных, личных проблемах. Любая творческая деятельность, независимо от ее конкретного содержания, будучи способом самореализации, является в этом смысле «экзистенциальной», позволяя личности испытывать всю напряженность и полноту жизни. Это глубоко чувствовал Сент-Экзюпери: «Внутренняя жизнь Пастера, когда он, затаив дыхание, склоняется над своим микроскопом, насыщена до предела. В полной мере человеком Пастер становится именно тогда, когда наблюдает. Тут он идет вперед. Тут он спешит. Тут он шествует гигантскими шагами, хотя сам он неподвижен, и тут ему открывается беспредельность. Сезанн,

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 2, стр. 47.

² Джозеф Конрад. Избранное, т. 2, М. 1959, стр. 41.

безмолвно застывший перед своим этюдом, тоже живет бесценной внутренней жизнью. Человеком в полной мере он становится именно тогда, когда молчит, всматривается и судит. Тогда его полотно становится для него бескрайним, как море»¹.

Недаром литературные описания творческого подъема порой напоминают описания любовного экстаза:

Знаю, что смертен, что век мой недолог, и все же — когда я
Сложный исследую ход круговращения звезд,
Мнится, земли не касаюсь ногами, но гостем Зевеса
В небе амвросией я, пищей бессмертных, кормлюсь.

(Птоломей)

«Личное» и «вещное» не разделены китайской стеной. Любая деятельность, сколь угодно специализированная и коллективная, может быть глубоко личной для человека, если она наполнена для него жизненным смыслом и эмоционально окрашена. И напротив, даже самые интимные человеческие отношения не обходятся без определенных рутинных, стандартизованных элементов и могут быть полностью поглощены ими, утратив свой жизненный смысл.

Эмоциональные потребности людей, как и их интересы, не одинаковы ни по содержанию, ни по интенсивности. Пока главные из них удовлетворяются, дифференцированность и частичность отдельных форм деятельности не воспринимается как трагедия. Но если какая-то значимая потребность в течение длительного времени блокируется, не получает удовлетворения, возникают трудности. Бессознательно пытаясь компенсировать эту свою неудовлетворенную потребность в другой, не предназначенной для этого сфере, человек предъявляет к ней завышенные, нереальные требования, вкладывает в нее смысл, не соответствующий ее объективному значению. Человек, не удовлетворенный своим трудом, предъявляет повышенные требования к семье, досугу. Неумеющий отдыхать вкладывает все силы в работу. Но завышенные требования труднее удовлетворить, поэтому неудача в одной области увеличивает вероятность неудовлетворенности и в другой. Человек с четко выраженной ценностной доминантой может успехами в своей основной деятельности отчасти компенсировать свою неудовлетворенность в сравнительно второстепенных для него (хотя и первостепенных для других) сферах, но в целом это напоминает многопрограммную радиостанцию, сконцентрировавшую все свои передачи на одной и той же волне: чем мощнее станция, тем больше она будет перебивать самое себя. А поскольку, как мы уже выяснили, все виды деятельности суть разные формы человеческой коммуникации, эта неудовлетворенность собственной жизнью превращается в чувство отчуждения от других, частичной или полной «некоммуникабельности».

Философы-экзистенциалисты (Ясперс даже по образованию был психиатром), а также многие современные художники Запада уделяют большое внимание анализу психопатологических переживаний, особенно личностных расстройств. Психопатология действительно может, если не заниматься простым смакованием болезненных симптомов, а пытаться раскрыть их реальный смысл, пролить новый свет на внутренние механизмы самосознания.

Опыты советских ученых (О. Н. Кузнецова и других) со здоровыми людьми, поставленными в условия длительного одиночества (в сурдокамере), показали, что отсутствие внешнего общения побуждает человека выделять «партнера» из своего собственного сознания, вести диалог с самим собой. Хотя у психически устойчивого человека сознание собственного Я при этом не теряется, у него появляется зародыш так называемого психического автоматизма: свои собственные мысли и переживания он нередко воспринимает как навязанные, пришедшие извне, ему слышатся таинственные голоса, кажется, что позади его кресла кто-то стоит, хотя у него нет никаких зрительных или слуховых ощущений и он твердо знает, что в камере никого нет.

Еще важнее для нашей темы известный психиатрам «синдром деперсонализации».

¹ А. де Сент-Экзюпери. Сочинения. М. 1964, стр. 345.

Первый компонент этого синдрома — так называемая дереализация: окружающий мир отчуждается от личности, предметы и люди, не утрачивая своего физического существования, как бы отодвигаются, становятся нереальными в том смысле, что человек не способен установить с ними живых, эмоционально окрашенных отношений. «Я все воспринимаю не так, как раньше; как будто между мной и миром стоит какая-то преграда и я не могу слиться с ним; я все вижу и понимаю, но чувствую не так, как раньше чувствовал и переживал, точно утерял какое-то тонкое чувство». «Внешний вид предмета как-то отделяется от реального его смысла, назначения этой вещи в жизни». «Такое впечатление, что все вещи и явления потеряли свойственный им какой-то внутренний смысл, а я бесчувственно созерцаю только присущую им мертвую оболочку, форму».

Второй момент — самоотчуждение, деперсонализация в узком смысле слова: утрачивается ощущение реальности собственного тела, которое воспринимается как посторонний объект, теряет смысл любая деятельность, появляется социальная апатия, притупляются эмоции. «Если я иду в клуб, то надо быть веселым, и я делаю вид, что я веселый, но в душе у меня пусто, нет переживаний». «Я — только реакция на других, у меня нет собственной индивидуальности». «Жизнь потеряла для меня всякую красочность. Моя личность как будто одна форма без всякого содержания».

Подобные переживания знакомы, вероятно, каждому по периодам временных депрессий, когда — на почве переутомления или по другим причинам — человек утрачивает вкус к жизни, его деятельность теряет свою эмоциональную окраску, а весь мир становится тусклым и серым. В патологических случаях, однако, это состояние закрепляется, вызывая в конце концов нарушение ясности сознания, а также единства и содержания Я. А раздвоение Я (в психиатрической литературе описано свыше двухсот подобных случаев) неизбежно дезорганизует поведение личности.

В одних случаях (так называемая «чередующаяся личность») в человеке как бы параллельно сосуществуют два автономных Я, которые поочередно захватывают господство над ним на срок от нескольких часов до нескольких лет. Пока господствует первое Я, человек не сознает существования второго; все, что он делал в период преобладания другого Я, забыто, вытеснено из сознания. Оба эти Я обычно резко отличаются друг от друга. Как правило, «первоначальное» Я застенчиво, робко, заторможено и мнительно, тогда как второе Я, впервые появляющееся в какой-то критический момент жизни индивида, отличается большей решительностью, общительностью и свободой. О жизни первого Я оно ничего не знает.

В других случаях первоначальное Я кажется более зрелым, хотя и отставшим в эмоциональном развитии. Дополнительные Я, появляющиеся в ходе психотерапии, обычно «знают» о существовании первого и могут комментировать его поведение и чувства, тогда как первоначальное Я не осознает своих двойников и не помнит событий, совершенных в период, когда его психика контролировалась одним из них¹.

¹ Самый яркий и наиболее достоверно описанный случай этого рода, послуживший даже основой для одноименного американского художественного фильма, это «Три лица Евы». Двадцатипятилетняя Ева Уайт обратилась к врачу по поводу приступов жестоких головных болей и провалов памяти (амнезия) после них. В ходе обследования у нее обнаружили и другие болезненные симптомы. Через несколько дней после очередного посещения врача миссис Уайт неожиданно прислала ему письмо. Письмо было не закончено и не подписано, а в конце его другим, похожим на детский почерком была сделана бессвязная приписка. В следующий визит Ева Уайт решительно отрицала факт отправки письма; она помнила, что не закончила и, кажется, разорвала его. В течение этой беседы обычно хорошо владеющая собой женщина сильно волновалась и в конце концов призналась, что периодически она слышит какой-то воображаемый голос, обращенный к ней. Пока врач обдумывал это сообщение, облик и поведение пациентки вдруг резко изменились. Вместо сдержанной, воспитанной дамы перед ним оказалась легкомысленная девица, которая языком и тоном, совершенно чуждым миссис Уайт, стала бойко обсуждать ее проблемы, говоря о ней в третьем лице. На вопрос о ее собственном имени она заявила: «О, я Ева Блэк».

Так началась эта удивительная психиатрическая история. В течение четырнадцати месяцев, на протяжении около ста консультационных часов, перед врачом появлялась то одна, то другая Ева. Вначале для вызова Евы Блэк нужно было погрузить в гипнотический сон Еву Уайт. Потом процедура вызова упростилась. Оказалось, что в теле миссис Уайт, начиная с раннего детства, жили две совершенно разные личности, причем

Изучение расчлененной психики, в которой одни стороны гипертрофированы за счет других, существенно облегчает понимание тонких внутренних процессов самосознания: взаимосвязь «внутреннего» (с самим собой) и «внешнего» (с другими людьми) общения, соотношение рефлексивного и «деятельного» Я, взаимозависимость между отношением человека к своей деятельности и к собственному Я (если теряет смысл деятельность, то под вопросом оказывается и реальность Я как субъекта этой деятельности, и наоборот) и т. д. Но эти данные как раз показывают, что как бы противоречиво ни выглядел и ни чувствовал себя человек в разных ситуациях, он все-таки остается самим собой, в его поступках есть известная последовательность, а в мотивах — внутренняя логика. Даже «очуждая» некоторую часть своих переживаний, представляя их в виде внешней «маски», нормальный человек не отказывается от своего «авторства». Саморефлексия позволяет ему разрешать или по крайней мере смягчать свои внутренние противоречия. Дезорганизация же рефлексивного Я, неспособность осмыслить и организовать свои переживания неминуемо ведет к расстройству всей деятельности.

Отсюда вытекают по крайней мере два важных вывода. Во-первых, саморефлексия — это не какой-то досадный «привесок», мешающий «непосредственному» человеческому общению, как утверждают антиинтеллектуалисты, а важнейший внутренний регулятор поведения, — к этому я еще вернусь позже. Во-вторых, само человеческое Я — не «непосредственно данное», не просто «сумма самоощущений», закреплённых памятью, а сложная дифференцированная структура, которая не может возникнуть из простого самонаблюдения, но представляет собой продукт взаимодействия личности с другими людьми в определенных социальных ролях.

Уже в XIX веке было установлено, что личное самосознание, образ Я появляется у человека только в процессе и благодаря общению с другими людьми. Другой человек — как бы зеркало, глядя в которое я могу увидеть свои собственные черты; мнения других обо мне служат эталоном моих самооценок и так далее. Теория «зеркального Я» кажется очень наглядной и убедительной. Но два зеркала, стоящие друг против друга, не порождают ничего нового (вспомним образ «пустыни зеркал» у Кобо Абэ). Кроме того, если человек то и дело «смотрится» в разных других, у него не может быть устойчивого самосознания: его Я будет меняться в зависимости от выбранного «зеркала».

В рассказе Брэдли «Марсианин» изображено существо, которое непосредственно реагирует на желания окружающих людей, последовательно становясь тем, чем они хотели бы его видеть. Но эти желания противоречивы. Пока «марсианин» имел дело только с одной супружеской четой, жаждущей воскрешения своего сына, все было благополучно. Но как только появляются другие люди, с другими желаниями, возникает конфликт страстей, приводящий таинственное существо к гибели. Если этого не происходит с человеком, то именно потому, что его Я — устойчивая внутренняя структура, относительно независимая от ситуативных влияний и мнений окружающих.

Ева Уайт ничего не знала о существовании Евы Блэк до ее неожиданного появления во время психотерапевтического сеанса, и даже после этого она не получила доступа в ее самосознание. Мисс Блэк, напротив, знает и может сообщить, что делает, думает и чувствует миссис Уайт. Однако она не разделяет этих чувств. Переживания Евы Уайт по поводу неудачного замужества Ева Блэк считает наивными и смешными. Не разделяет она и ее материнской любви. Она помнит многое такое, чего не помнит Ева Уайт, причем достоверность ее рассказов была проверена путем беседы врача с родителями и мужем пациентки.

Интересно резкое несоответствие характеров обеих персонажей. Ева Уайт — строгая, сдержанная, преимущественно грустная, одевается просто и консервативно, держится с достоинством, любит стихи, говорит спокойно и мягко, хорошая хозяйка, любящая мать и т. п. Ева Блэк общительна, эгоцентрична, детски тщеславна, заразительно весела и беззаботна, говорит с грубоватым юмором, любит приключения, одевается слегка вызывающе, не любит ничего серьезного, испытывает идиосинкразию к нейлону, которой нет у Евы Уайт. Некоторая, хотя и не столь разительная, разница была обнаружена и при помощи ряда психометрических и проективных тестов.

Вскоре врач смог вызывать любую из двух Ев по желанию. Однако попытка вызвать обеих сразу вызвала у больной опасный нервный шок, так что этот опыт уже не повторяли. В ходе психотерапии на сцене появилась еще одна, третья личность, назвавшая себя Джейн и сильно отличающаяся от обеих Ев. По мнению психиатра, именно это третье Я наиболее способно разрешить и интегрировать в себе проблемы первых двух.

Человек не может при всем желании полностью «слиться» с другим. Но он может, как выражаются психологи, принять на себя роль другого, то есть усвоить его жизненную перспективу. Своеобразной и, конечно, огрубленной моделью этого сложного процесса может служить актерское творчество.

Чтобы хорошо сыграть роль, актер должен как можно глубже «вжиться», перевоплотиться в образ, раскрыть его изнутри, с точки зрения собственного Я персонажа. Только поставив себя на место изображаемого персонажа, актер может сыграть его так, чтобы все его сценические действия, какими бы странными и нелепыми ни выглядели они со стороны, стали понятными, естественными и единственно возможными. Принцип «воплощения» — основной принцип системы К. С. Станиславского.

Но принять роль другого, будь то на сцене или в жизни, не значит полностью раствориться в этом другом, вплоть до потери собственного Я. Это и невозможно и не нужно. По замечанию Бертольта Брехта, тот, «кто вживается в образ другого человека, и притом без остатка, тем самым отказывается от критического отношения к нему и к самому себе»¹. Чтобы оценить скрытые возможности ситуации или человека, необходимо рассмотреть их в нескольких различных ракурсах, порвав с привычным представлением, будто данный объект не нуждается в объяснении. Брехт называл это очуждением. «Чтобы мужчина увидел в своей матери жену некоего мужчины, необходимо «очуждение», оно, например, наступает тогда, когда появляется отчим. Когда ученик видит, что его учителя притесняет судебный исполнитель, возникает «очуждение», учитель вырван из привычной связи, где он кажется «большим», и теперь ученик видит его в других обстоятельствах, где он кажется «маленьким»².

В жизни нередко можно наблюдать и «самоочуждение». Например, подростки, самосознание которых находится в стадии бурной перестройки, стесняются открыто выражать свои наиболее глубокие переживания; в то же время они не хотят, чтобы «представляемые» ими довольно-таки примитивные «маски» принимались всерьез. Отсюда — нарочитая условность, огрубленность их поведения и жаргона. «Самоочуждение» служит своеобразным защитным механизмом формирующейся личности.

Исходя из принципа «очуждения», Брехт требовал, чтобы актер показывал своего героя не только таким, каков он есть и каким он сам себя представляет, но и каким он мог бы стать; «наряду с данным поведением действующего лица... показать возможность другого поведения, делая, таким образом, возможным выбор и, следовательно, критику»³.

Здесь не место для обсуждения театральных принципов Станиславского и Брехта как таковых. С точки зрения психологии общения, «воплощение» и «очуждение» — две стороны одного и того же процесса «принятия роли другого». Идентификация с другим без сохранения определенной дистанции означала бы растворение в другом, утрату собственного Я. Гипертрофия «очуждения», напротив, означает неспособность к эмоциональной близости, предполагающей сочувствие (буквально — совместное чувствование).

Личность не только «открывает» себя в другом, через другого, но и формируется в этой совместной деятельности. Чем шире сфера общих интересов, задач, жизненных целей, объединяющих людей, тем легче достигается их взаимопонимание. Индивидуалистическая философия, как правило, фиксирует главное внимание на взаимоотношениях Я и Ты. Но интимное «парное» отношение всегда предполагает наличие некоторого общего Мы. Это Мы не существует вне составляющих его индивидов, но и обратное верно: человек не может описать собственное Я, не соотнеся его с теми многочисленными — социальными, возрастными, семейными, образовательными и иными — группами и общностями, к которым он принадлежит.

Маркс недаром подчеркивал, что «развитие индивида обусловлено развитием всех других индивидов, с которыми он находится в прямом или косвенном общении»⁴.

«Значимым другим», в которого «смотрится» и в общении с которым формируется личность, может быть отец, друг, учитель, товарищ по работе и все они вместе взятые.

¹ Б. Брехт. Театр, т. 5, ч. 2, М. 1965, стр. 137.

² Там же, стр. 114.

³ Там же, стр. 133.

⁴ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 3, стр. 440.

Но, кроме множества конкретных «других», человек всегда соотносит свое поведение и свои самооценки с некоторым «обобщенным другим» — социальной группой, обществом, культурой. Чтобы участвовать в коллективной игре, например в роли футболиста, ребенок должен уметь мысленно ставить себя на место каждого из остальных игроков и овладеть определенной системой правил. Взрослый человек благодаря общественному разделению труда и средствам массовой коммуникации связан с множеством людей, многих из которых он никогда не видел и даже не подозревает об их существовании. Чем сложнее и многограннее общественная деятельность, в которой участвует человек, тем больше таких опосредованных отношений—производственных, общественно-политических, идеологических и т. п. Этот «обобщенный другой» безличен, и всякая его персонификация (например, отождествление государства с главой правительства или общественного мнения — с княгиней Марьей Алексевной) неизбежно будет иллюзорной (государственная власть переживает своих уполномоченных, а сила Марьи Алексевны в том, что она — рупор коллективных «мнений света»). Но именно овладение безличными (и потому не зависящими от индивидуального произвола) нормами и ценностями человеческой культуры выводит личность на широкий простор истории, обеспечивая ей известную степень автономии от своего непосредственного окружения, расширяя тем самым сферу ее самоопределения.

Но это значит, что человеческое Я по самой сути своей социально, что его нельзя, как делают экзистенциалисты, противопоставлять «мертвым», безличным социальным связям.

Личность всегда выполняет ту или иную социальную роль, и в то же время ее реальное поведение всегда несет на себе отпечаток ее индивидуальности. Причем, как показал Э. Гофман, эти индивидуальные вариации сами могут быть социально-типичными.

Например, фотография собственных детей под стеклом служебного стола работника не только выражает его нежелание резко разграничивать свою служебную и личную жизнь, но и косвенно дает понять посетителю, что хозяин кабинета и в своей служебной роли не склонен к формализму, что он готов к «человеческим» контактам, то есть это является символом некоторого стиля управления (другое дело, насколько серьезен этот символ). Для хирурга умение пошутить в напряженный момент операции составляет часть его профессиональной экипировки, средством поднять настроение персонала; здесь тоже проявляются не просто личные качества, но известный профессиональный стиль. Часто это «расстояние от роли» специально подчеркивается, причем смысл этого может быть различен. В одном случае это выражает отчуждение индивида от роли, желание подчеркнуть свою независимость от нее. В другом случае, наоборот, именно прочная идентификация с ролью позволяет личности свободно варьировать свое поведение, на что не способен новичок, все время помнящий о «предписанных» правилах.

Эта диалектика проявляется и в процессе формирования личности ребенка. Стать взрослым — значит прежде всего усвоить накопленную обществом информацию, воплощенную в «готовых», «заданных» социальных ролях, знаниях и нормах. Однако слишком жесткая, единообразная система воспитания, основанная главным образом на внешней дисциплине, нивелирует индивидуальные особенности. Идеал «воспитанного человека» в такой системе напоминает ироническое определение, что телеграфный столб — это хорошо отредактированная сосна. Но подавление индивидуально-творческого начала, неизбежно распространяющееся на самих воспитателей, подрывает эту систему изнутри: чем формальнее и жестче дисциплина, тем слабее она влияет на человеческую душу и тем больший вызывает протест. «Несмотря на потерянное время, на расстроенное здоровье, несмотря на перенесенные страдания, я был благодарен школе и думаю, что воспитание мое было скорее благоприятным, чем неблагоприятным,— писал о николаевской школе юрист-демократ В. И. Танеев.— Оно не допустило меня подчиниться, примириться, устраивать свои дела в окружающей среде, угождать тем, кто притесняет. Оно так меня раздражило, что этого раздражения достанет на целую жизнь»¹.

¹ Цит. по кн. С. Соловейчик. Час ученичества. М. 1970, стр. 97.

Стереотипные образы обычно подчеркивают в «юноше» порыв, идеализм, незавершенность, неустойчивость, а во «взрослом» — прочность жизненных корней, реализм, уверенность в себе и одновременно — обеднение эмоциональной жизни. Взрослость действительно предполагает укоренение человека в системе социальных ролей, которые юноша только еще «примеряет» к себе. Но это укоренение проходит по-разному. Бьянка Заззо, опросив большую группу взрослых французов, нашла, что у одних чувство зрелости ассоциируется с приспособлением к социальной среде, а у других — с самоутверждением и обогащением собственного Я. В первом случае взрослость часто переживается как «потеря» каких-то своих индивидуальных качеств в обмен на прочное положение и внутренний покой в «данном» мире. Во втором случае она выступает скорее как «приобретение», как расширение сферы личной автономии.

Конечно, это различие относительно. «Приспособление» и «самоутверждение» — разные стороны одного и того же процесса. Как бы ни была велика степень самореализации, человеку никогда не удастся осуществить все свои потенции, и воспоминания о юности, когда все казалось возможным, всегда овеяны настроением элегической грусти. Тем не менее это различие существенно. За ним стоят не только индивидуально-психологические, но и социально-исторические проблемы.

Богатство человеческой личности и степень дифференцированности ее самосознания зависит от характера ее жизнедеятельности и богатства ее общественных отношений. «Чем больше мы углубляемся в историю, — писал Маркс, — тем в большей степени индивидуум... выступает несамостоятельным, принадлежащим к более обширному целому»¹. Пока индивид был со всех сторон охвачен патриархально-общинными связями, а его деятельность однозначно регулировалась обычаем, у него было мало поводов, да и возможностей задумываться о самом себе и своих отношениях с окружающими.

Жизненный путь средневекового человека был в значительной степени расписан наперед, но это осознавалось не как зависимость, а как нормальное, естественное состояние. Общественные по своей сущности связи (например, вассальная зависимость) еще сохраняли личностную форму (присяга не безличному государству, а данному конкретному князю), а почти вся необходимая информация передавалась путем личного общения. Средневековый человек почти никогда не оставался один; не только крестьяне, но и феодалы проводили дни и ночи в кругу многочисленных чад и домочадцев; даже потребность в отдельной постели — продукт нового времени. Нераздельность «личной» жизни, труда и семьи оставляла мало места для чего-то закрытого, исключительно своего, интимного. Сложные формы саморефлексии возникали сравнительно редко и у большинства людей принимали религиозный характер, разрешаясь в виде исповеди или мистического общения с богом. Недаром древнейшее значение термина «отчуждение» — это отчуждение от бога.

Два момента существенно изменили это положение в новое время: вытекающая из роста общественного разделения труда универсализация социальных связей и характерный для капитализма принцип формальной рациональности, делающий развитие материального производства самоцелью, а человека — средством. Маркс подробно исследовал оба эти процесса.

Общественное разделение труда и товарное производство делают связи между людьми поистине всеобщими, универсальными. Поскольку человек уже не столь однозначно привязан к своей жизнедеятельности, «различные формы общественной связи выступают по отношению к отдельной личности просто как средство для ее частных целей, как внешняя необходимость». (Обратите внимание на формулировку: превращение общественных связей в средства для частных целей личности повышает степень ее свободы, давая ей определенную возможность выбора, и в то же время эти связи выступают по отношению к ней как внешняя, принудительная необходимость.) Вследствие этого «появляется различие между жизнью каждого индивида, поскольку она является личной, и его жизнью, поскольку она подчинена той или другой отрасли труда и связанным с ней условиям»².

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 12, стр. 710.

² Там же, т. 3, стр. 77.

С одной стороны, это означает рост автономии и свободы личности, расширяет возможности ее сознательного самоопределения. Недаром именно в эпоху Возрождения (а позже просветители) личность начинают превозносить как высшую социальную ценность, по отношению к которой любые общественные институты и нормы выступают лишь как средства. Необходимость самостоятельно принимать решения в различных сложных ситуациях действительно требует индивида с развитым самосознанием и сильным Я, одновременно устойчивым и гибким.

С другой стороны, отношения, основанные на расчете и взаимном использовании, неизбежно являются эгоистическими. Если другой человек — только средство удовлетворения моих потребностей, то и я для него — не более чем средство. «Всеобщий интерес», о котором говорили просветители, оказывается в конечном счете всеобщностью эгоистических интересов, а все общественные связи переживаются как внешняя, принудительная необходимость, несвобода. Маркс блестяще проанализировал этот процесс на примере отчуждения труда.

Но когда «личное», «индивидуальное» выводится за пределы «общественного» и противопоставляется ему, оно само становится проблематичным. «В прямом соответствии с ростом стоимости мира вещей растет обесценение человеческого мира»¹.

Уже романтики конца XVIII — начала XIX века в полный голос ставят эту проблему. Как никто до них, романтики проникают в субъективный мир личности, в глубины человеческого Я. Но это Я оказывается не только сложным, но и болезненным. Неизбывное одиночество... Образ зеркала, раздваивающего, размножающего и искажающего человеческое лицо... Угрожающая тема «двойника» (Тик, Гофман), «тени» (Шамиссо), обретающей самостоятельное бытие и подчиняющей себе личность...

За этими образами стоят личные, экзистенциальные проблемы художников. «Мне кажется,— писал в своем дневнике Гофман,— как будто я вижу свое «я» сквозь увеличительное стекло; все движущиеся вокруг меня создания — мои «я», и я сержусь на то, что они делают, как поступают и т. д.»². Не случайно именно такой тип психики получает в эту эпоху преимущественное эстетическое (и философское) выражение. В конце XVIII века появляются первые интимные дневники (дневники, которые сохранились от более ранних периодов, имели преимущественно событийный, описательный характер), авторы которых подробно анализируют собственные переживания, приобретает популярность автобиографический роман. И в то же самое время появляются первые научные описания неврозов (сам термин ведет свое начало с 1769 года).

В искусстве XX века тема «разрушения личности» стоит еще острее.

Айрин Тависс, подвергнув количественному анализу содержание 278 рассказов, опубликованных в двух популярных американских журналах «Saturday Evening Post» и «Cosmopolitan» в 1904—1906 и 1954—1956 годах, нашла, что мотивы, связанные с отчуждением человека, появляются в современных рассказах значительно (на 21 процент) чаще, чем в начале века. Не менее знаменательно изменение в способе постановки темы. В рассказах 1900-х годов преобладало то, что Тависс называет «социальным отчуждением»: конфликт, вытекающий из несогласия индивида с господствующими нормами. Литературные герои 1950-х годов, наоборот, больше страдают от «самоотчуждения», неопределенности предъявляемых к ним требований и расплывчатости собственного Я.

Эту тенденцию отмечают и психиатры. Пациенты, с которыми имел дело в начале XX века Фрейд, страдали главным образом от противоречий между усвоенными ими моральными нормами и своими собственными инстинктивными влечениями. Современный же невротик, по свидетельству Э. Эриксона, мучается из-за неясности нормативных предписаний и ищет в психоанализе «убежище от разорванности существования, возврат к более патриархальным межиндивидуальным отношениям». По наблюдениям психиатров ФРГ, если раньше маниакально-депрессивные состояния фиксировались в переживаниях «вины», «греха», «искупления», то теперь гораздо чаще упоминаются

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Из ранних произведений. М. 1956, стр. 560.

² Цит. по кн. П. П. Гайденко. Трагедия эстетизма. Опыт характеристики мирозерцания Серена Киркегора. М. 1970, стр. 140.

чувства тревоги, нереальности собственного существования, подавленности, пессимизма и т. п.

Чтобы объяснить эту тенденцию, надо понять, как своеобразно переплетаются в ней общие закономерности, свойственные всякому индустриально развитому обществу, и специфичные антагонизмы капиталистической системы, основанной на порабощении трудящегося человека¹.

Научно-техническая революция неизбежно ломает патриархальные формы труда и быта и сопутствующие им традиционные психологические установки. Крупное машинное производство исключает возврат к ремесленному труду, который своеобразно сочетал в себе рутинность и индивидуальность (собственные производственные секреты, тщательная обработка готового продукта и т. д.). Граждане современного государства не могут общаться между собой так непосредственно, как жители античного полиса. Городская жизнь подрывает патриархальные, соседские связи. Научное познание стремится сконденсировать свои результаты в безличные, универсальные формулы, а самый процесс передачи знаний все больше «механизируется» (программированное обучение). Непосредственно личное общение дополняется и отчасти вытесняется безличными, анонимными (или искусственно персонифицированными в образах кино- и телезвезд) «массовыми коммуникациями» (радио, газеты, телевидение), опосредуется техникой (телефон).

Все это имеет свои психологические последствия.

Люди устают от скученности городов, постоянной спешки, вынужденного и поверхностного общения на работе, в быту, на транспорте, информационных перегрузок, власти стандарта. Очень характерны в этом отношении переживания одного из героев последнего романа Джона Чивера: «Я поднял жалюзи. Окно открывалось во двор, в котором, куда бы я ни кинул взгляд — вверх, вниз, направо, налево, — всюду я видел сотни сотен окон, как две капли воды схожих с моим. То обстоятельство, что мое окно не обладало индивидуальностью, казалось, грозило мне полным уничтожением моей собственной личности... Ведь если в моей комнате нет ничего, что бы ее отличало от сотен и сотен других комнат, то и во мне самом, быть может, нет ничего такого, что бы выделяло меня среди прочих людей»².

Отсюда — потребность в удивлении, спокойном диалоге с самим собой и с природой.

Отступи, как отлив, все дневное, пустое волнение,
Одиночество, стань, словно месяц, над часом моим!³

И — обратная сторона медали — боязнь одиночества, обострение потребности в глубоком, нефункциональном общении, духовном слиянии с близким человеком.

Образ разрываемого противоречиями «маленького человека», который так часто встречается в современной западной литературе, равно как и критика общества с позиций абстрактного гуманизма, не может претендовать на всемирно-историческую универсальность. Конечно, гуманизм, даже абстрактный, предпочтительнее конкретной бесчеловечности, а нерешительность, вызванная избытком саморефлексии и нравственными муками, симпатичнее фашистского «активизма» или обывательского самодовольства. Однако сентиментально-романтическая критика общества, противопоставляющая «истинно человеческое» начало «бездушному» миру социальных функций, неизбежно остается политически незрелой и неконкретной. «Так называемое «нечеловеческое» — такой же продукт современных отношений, как и «человеческое»... Положительное выражение «человеческий» соответствует определенным, господствующим на известной степени развития производства отношениям и обусловленному ими способу удовлетворения потребностей, — подобно тому как отрицательное выражение «нечелове-

¹ См. об этом подробнее: Ю. А. З а м о ш к и н. Кризис буржуазного индивидуализма и личность. М. 1966; И. С. К о н. Социология личности. М. 1967; Р. Р и х т а. Научно-техническая революция и развитие человека. «Вопросы философии», №№ 1, 2, 1970.

² Дж о н Ч и в е р. Буллет-Парк. «Иностранная литература», № 8, 1970, стр. 129.

³ В. Б р ю с о в. Избранные сочинения. В двух томах. Т. I, М. 1955, стр. 219.

ческий» соответствует попыткам подвергнуть отрицанию внутри существующего способа производства эти господствующие отношения и господствующий при них способ удовлетворения потребностей, попыткам, которые ежедневно все вновь порождаются этой же самой ступенью производства»¹.

Нет никаких оснований думать, что современные люди с их разносторонним образованием и разнообразной жизнедеятельностью более стандартны, чем средневековые крестьяне. Да и распространенное представление о «цельности» и «совершенной гармонии» античного грека — в значительной мере идеализация, проекция в прошлое современных идеалов².

Людям свойственно идеализировать прошлое. Некоторые западные социологи высказывают мнение, что у «современной молодежи» глубокие, всеобъемлющие дружеские привязанности вытесняются более поверхностными и экстенсивными приятельскими отношениями; это объясняется условиями городской жизни, обилием развлечений и т. д. Но конкретные исследования не подтверждают этих впечатлений. Во-первых, характер дружеских привязанностей зависит от типа личности, так что пример Герцена и Огарева не может претендовать на всеобщность. Уже Аристотель, противопоставляя «подлинную дружбу» отношениям, основанным на соображениях пользы или удовольствия, утверждал, что она встречается крайне редко, а Монтень полтора тысячелетия спустя говорил, что «для того, чтобы возникла подобная дружба, требуется совпадение стольких обстоятельств, что и то много, если судьба ниспосылает ее один раз в три столетия»³.

Во-вторых, усложнение процесса социализации и обилие разнородных впечатлений не ослабляет, а усиливает саморефлексию и, как вывод из этого, потребность в интимном друге. Сами жалобы на «дефицитность» какого-либо качества всегда связаны с его высокой социальной ценностью.

Именно рост индивидуального начала в человеке, усложнение его самосознания, а вовсе не «стандартизация» вызывает у него протест против всего того, что кажется ему — правильно или ложно — покушением на его индивидуальность, его творческие потенции. Доподлинный дурак никогда не сомневается в своих умственных способностях; это — привилегия (а может быть, несчастье) умного.

На нивелировку и стандарт жалуются — и так было всегда — как раз люди с тонкой душевной организацией, остро чувствующие свое отличие от окружающих.

Тем не менее эти жалобы симптоматичны. «На более ранних ступенях развития, — писал Маркс, — отдельный индивид выступает более полным, именно потому, что он еще не выработал полноты своих отношений и не противопоставил их себе в качестве независимых от него общественных сил и отношений. Точно так же как смешно тосковать по этой первоначальной цельности, столь же смешна мысль о необходимости остановиться на той полной опустошенности»⁴.

Чтобы усложнение «ролевой структуры» личности, за которым стоит общее усложнение социальной жизни, не вызвало у нее невроза или чувства опустошенности, нужно, чтобы ее самосознание было одновременно устойчивым и пластичным. Жесткий, авторитарный тип личности плохо переносит неизбежные в условиях высокого жизненного ритма перестройки и информационные перегрузки. Слабое Я, отсутствие устойчивого ядра ценностных ориентаций также лимитирует возможности самостоятельной творческой деятельности.

Но формирование того или иного типа личности, хотя и опирается на определенные свойства нервной системы и т. п., больше всего зависит от социальных условий.

Трагедия, описываемая многочисленными художниками Запада, коренится не в том, что никакие частные объективации и роли не в состоянии исчерпать богатство человеческой личности, а в том, что сами эти роли и функции антагонистичны. Какой личностный смысл может иметь расчлененный, однообразный и подневольный труд?

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 3, стр. 433—434.

² См. подробнее Ю. Н. Давыдов. Искусство как социологический феномен. М. 1968.

³ М. Монтень. Опыты, кн. I, М.—Л. 1954, стр. 237.

⁴ Архив Маркса и Энгельса, т. IV, М. 1935, стр. 99.

Может ли рядовой американец признать действительным выразителем своих коренных интересов бюрократическое государство, подавляющее и угнетающее его? Заменяют ли бесчисленные «суррогаты коллективности» с их формальными регламентами свободную ассоциацию людей, объединенных общей целью? Может ли человек считать себя субъектом деятельности, если ее результаты зачастую обращаются против него самого, заставляя его чувствовать себя бессильной вещью или актером, играющим скверную роль в бездарной пьесе?

Раньше эти противоречия сознавало лишь ничтожное меньшинство людей. Сегодня в связи с кризисом буржуазной системы ценностей, лицемерие которой повседневно разоблачается жизнью, это чувствуют, даже если не могут теоретически объяснить, миллионы. Поиски смысла индивидуального существования упираются в вопрос о том, куда идет общество в целом, во что верить, к чему стремиться. Внутренняя опустошенность личности своеобразно преломляет в себе духовный кризис господствующей идеологии.

Буржуазная философия не в силах разрешить эти противоречия. Одни авторы полагают, что человек может спасти свою живую душу, только вырвавшись из пут «овеществленного» и «заорганизованного» социального мира, уйдя в себя, в интимный мир личных переживаний. Мы уже видели, сколь иллюзорна такая попытка.

Идеологи фашизма, напротив, прокламируют отказ от собственной индивидуальности и рефлексивности, свойственной якобы только слабонервным интеллигентам. Высшее счастье — раствориться в массе, ни о чем не задумываться, быть «как все», чувствовать «как все». Отсутствие энтузиазма, порождаемого большой идеей (по меткому замечанию Сент-Экзюпери, «сетуя на отсутствие энтузиазма у своих приверженцев, всякая духовная культура, как и всякая религия, фактически изобличает самое себя»¹), — они пытаются компенсировать искусственно созданным коллективным ритмом, барабанным боем или иными наркотизирующими средствами, способными вызвать временную экзальтацию.

И то и другое — только разные формы эскапизма. В первом случае человек пытается скрыться от жизненных бурь в сфере самосозерцания, во втором — уклоняется от интеллектуальных и моральных трудностей, связанных с принятием самостоятельного решения.

Принципиально иначе ставит эту проблему марксистский гуманизм. Если человек не может установить эмоционально-значимых отношений с миром иначе как в процессе творчески-преобразовательной деятельности, совместно с другими, то задача состоит в том, чтобы снять препятствия на этом пути, поставленные капитализмом. Коммунистическое общество не отменяет всеобщность социальных связей и не стремится к упрощению человеческих взаимоотношений. Уничтожая материальную нужду и социальное неравенство, оно, напротив, расширяет возможности индивидуального самоопределения со всей вытекающей отсюда моральной ответственностью. Человек, который сам определяет свою судьбу, имеет больше проблем, чем тот, кто просто катится по проложенным рельсам. Однако преодоление социальных антагонизмов снимает традиционный барьер между «личным» и «общественным», облегчая тем самым разрешение и многих «внутренних» конфликтов.

Там, где «свободное развитие каждого является условием свободного развития всех»², социальные роли перестают восприниматься индивидом как навязанные ему извне. Есть качественная разница между капиталистической дисциплиной голода и социалистической дисциплиной «сознательных и объединенных работников, не знающих над собой никакого ига и никакой власти, кроме власти их собственного объединения»³.

Но марксистский гуманизм — не только «гуманизм цели». Важнейший методологический принцип марксизма состоит в том, чтобы рассматривать людей «в одно и то же время как авторов и как действующих лиц их собственной драмы»⁴, никогда не за-

¹ См. А. де Сент-Экзюпери. Сочинения, стр. 402.

² К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 4, стр. 447.

³ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 39, стр. 17.

⁴ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 4, стр. 138.

бывая того, что «именно личное, индивидуальное отношение индивидов друг к другу, их взаимное отношение в качестве индивидов создало — и повседневно воссоздает — существующие отношения»¹.

Принцип этот важен не только для социологии, но и для этики.

3

Разделение собственного поведения на Я и «маску», как бы мы ни объясняли его истоки, в моральном плане означает попытку снять с себя ответственность за какие-то стороны своей деятельности.

Победа «маски» над Я, вину за которую индивид возлагает на общество («такова жизнь!»), нередко оказывается торжеством реального поведения лица над вымышленным, иллюзорным.

Человек не может без серьезного ущерба для своей психики длительное время жить в атмосфере внутреннего разлада. Рано или поздно он должен сделать выбор. И то, что первоначально кажется просто приспособительным механизмом, с течением времени закрепляется и усваивается.

Возьмите элементарные житейские наблюдения. У вас плохое настроение, но, не желая выдавать его, вы симулируете бодрость духа, улыбаетесь, шутите. И что же? Если вам удастся это сделать, хандра рассеивается, эмоциональное состояние постепенно «подстраивается» под заданный экспрессивный тон. «Внешнее» становится «внутренним».

Так происходит не только с эмоциональными состояниями, но и с убеждениями. Социально-психологические исследования доказывают, например, что если человек говорит вслух не то, что он думает, это вызывает, незаметно для него самого, определенный сдвиг в его убеждениях. Причем чем меньше внешнее давление, побуждающее человека говорить неправду, тем больше его собственные взгляды приближаются к высказанным вслух. Американские психологи Л. Фестингер и Д. Карлсмит поручили двум группам студентов выполнять однообразную, монотонную работу, а затем уверять ожидавших в коридоре других студентов, что эта работа увлекательна, интересна. За это одни студенты получали по одному, а другие — по двадцать долларов. В итоге эксперимента оказалось, что «однодолларовые» студенты сами поверили, что работа приятна и интересна, тогда как «двадцатидолларовые» сохранили свое отрицательное мнение.

Говоря обыденным языком — я не хочу загромождать статью психологическими терминами, — результаты этого эксперимента объясняются так. Когда человека подкупают и при этом взятка мала, он вынужден — раз уж взялся за это дело — признаться себе, что его «купили по дешевке». Это снижает его самоуважение, и, чтобы избежать этого, он убеждает себя, что поступил так не из-за этих «жалких денег», а по искреннему убеждению. Если же сумма велика, он может оправдаться тем, что «никто не отказался бы от такой сделки», и менять свои действительные взгляды на предмет ему не нужно. Его поведение откровенно цинично.

Разумеется, социально-психологические эксперименты не учитывают все многообразие житейских ситуаций и их выводы, как правило, нельзя распространять на все человечество. В данном случае последующие исследования показали, что сдвиг в убеждениях зависит не только от степени давления, но и от других условий — в частности, от возможности изменить принятое решение. Если человек, при слабом давлении извне, публично связывает себя с чуждым ему мнением, ему трудно оправдать свою беспринципность и остается лишь приспособить свои первоначальные взгляды к публично занятой позиции. Если он может, хотя бы в принципе, взять свои слова и поступки назад, внутренний конфликт уменьшается. Когда же человек вообще не отождествляет себя с данным поступком (например, если поступок был анонимным, или совершен явно по принуждению, или при коллективных решениях, если мера индивидуальной ответствен-

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 3, стр. 440.

ности не ясна), конфликта может вовсе не быть, и, как только ситуация меняется, человек возвращается к своей первоначальной позиции.

Но оставим эти частности. Важно то, что именно сама личность, а не кто-то другой является инициатором всех аспектов и сторон своего поведения. Подчеркивание «безличности» социальных ролей и функций может быть полезно для пробуждения критического отношения к унаследованным условиям жизни, но фетишизация этой безличности, превращающая человека в объект чужой деятельности, легко перерастает в апологию пассивности и нравственной безответственности. Нет ничего более чуждого марксистской традиции.

Если принять всерьез ироническое изречение, что порядочный человек — это человек, который делает гадости с отвращением, оно отлично ложится в схему, где есть злодейская «маска», делающая гадости, и пассивное Я, испытывающее при этом отвращение. Но по-настоящему порядочный человек — лишь тот, кто просто не может делать гадости, как бы ни толкали его к тому «объективные обстоятельства» и собственная слабость. У кого нравственный императив стал стержнем реального поведения, соединив должное и сущее.

Надо тщательно различать мелочный эгоцентризм, пассивное созерцание собственного Я и глубокое самосознание, направленное на выяснение своего положения и смысла своей деятельности в окружающем мире. Эгоцентрическая саморефлексия прерывает живой процесс деятельности и, будучи гипертрофирована, вызывает болезненные явления (или служит симптомом таковых). Глубокое самосознание, наоборот, проясняет смысл деятельности, повышая ее эффективность.

«Я смолоду стал преждевременно анализировать все и немилостиво разрушать,— записывал в своем дневнике Лев Толстой.— Я часто боялся, думал — у меня ничего не останется целого; но вот я стареюсь, а у меня целого и невредимого много, больше, чем у других людей... У моих сверстников, веривших во все, когда я все разрушал, нет и 1/100 того»¹. «Цельность», в которой нуждается современный человек, не имеет ничего общего с примитивной бесструктурностью монолита, единственным достоинством которого является то, что он медленно поддается разрушительной силе времени. Тут больше подходит образ сложной саморегулирующейся системы, кажущейся — по сравнению с монолитом — хрупкой и деликатной, но обеспечивающей не просто сохранение своей структуры, а ее развитие и активно-избирательное воздействие на среду.

Как замечательно сказал В. И. Ленин², раб, не сознающий своего рабства и прозябающий в бессловесной покорности, есть просто раб. Раб, осознавший свое рабство и примирившийся с ним, восторгающийся своей жизнью и своим добрым господином, есть холоп, хам. Но раб, осознавший свое рабство и восставший против него,— это революционер.

Осознавая себя и свое место в обществе, человек задумывается и о своей личной социальной ответственности. У обезличенного индивида нет такой проблемы: для него история делается «сама собой» и даже его собственные поступки определяются не им, а какими-то внешними силами — богом, обстоятельствами, «объективными факторами», великими мира сего.

Но хотя, рассуждая социологически, никто в отдельности не может нести персональную ответственность за массовые социальные процессы, каждый в них по-своему участвует, причем не только действием, но и бездействием. Именно психология «а если что не так — не наше дело» делает возможными социальные преступления от гитлеровских лагерей смерти до американской интервенции во Вьетнаме.

Проблема ответственности — трудная проблема. Возможность повлиять на то или иное политическое решение неодинакова у людей, стоящих на разных ступенях социальной иерархии, поэтому различна и мера их социальной ответственности. Принцип «равной ответственности» всех и каждого обычно выдвигают с добрыми намерениями, дабы стимулировать гражданскую активность, но нередко он служит средством демагогии, выгораживания действительных виновников зла. «Всеобщая равная ответственность»

¹ Л. Толстой. Собрание сочинений. М. 1965, т. 19, стр. 275.

² См. В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 16, стр. 40.

слишком легко превращается во всеобщую равную безответственность. Если я одинаково отвечаю за все — значит, я ни за что конкретно не отвечаю.

И тем не менее человек не может сложить с себя моральную ответственность за других. Именно потому, что социальное действие всегда коллективно, моральная ответственность может быть только индивидуальной. Это хорошо понимал Сент-Экзюпери: «Каждый отвечает за всех. Отвечает только каждый в отдельности. Только каждый в отдельности отвечает за всех»¹. Тяжко нести груз ответственности за события, которых ты реально не можешь предотвратить. Но отказ от такой ответственности равносителен моральной капитуляции. «Если, желая оправдать себя, я объясняю свои беды злым роком, я подчиняю себя злему року. Если я приписываю их измене, я подчиняю себя измене. Но если я принимаю всю ответственность на себя, я тем самым отстаиваю свои человеческие возможности. Я могу повлиять на судьбу того, от чего я неотделим. Я — составная часть общности людей»².

Человека, который ввязывается в «безнадежные» дела, обывательское сознание именует чудачком. Но «чудак», определивший свою позицию, выбирает, в сущности, между тем, быть ему самим собой (то есть действовать по своей воле и разуму)³ или не быть. Так ли уж мала эта ставка даже безотносительно к общественной ценности поступка?

Покойный Бертран Рассел, которого за антивоенные выступления в годы первой мировой войны посадили в тюрьму, писал об этом: «Все, что я делал, было совершенно бесполезно для всех, кроме меня самого. Я не спас ни одной жизни и не сократил войну ни на одну минуту. Но во всяком случае я не был соучастником преступления». Эта оценка, основанная на непосредственных результатах деятельности, весьма скромна. Но общественное значение имеют не только прямые результаты действия. Кто может оценить скрытое влияние морального почина? Действуя по своей совести, человек не просто утверждает собственную личность, но создает, даже не претендуя на это, известный социальный образец.

В свете индивидуалистической философии вроде экзистенциализма единственным критерием оценки служит соответствие (или несоответствие) поступка внутреннему убеждению личности. Слов нет, этот критерий исключительно важен. Однако, осуждая малодушие и лицемерие, он весьма снисходителен к неведению. От моральной ответственности можно отделаться ссылкой на искреннее незнание, заблуждение, доверчивость: я, мол, не знал правды, верил тому, что говорили другие, и т. д. По Марксу, как это убедительно показал Э. Соловьев, «человек ответствен не только перед своими убеждениями, но и за свои убеждения, за само их содержание. Личность, которая по условиям своей жизни имела возможность для интеллектуального развития... обязана знать то, что возможно знать, что теоретически доступно для ее времени»⁴.

Принцип «познавательной» ответственности нелегко применить на практике. Индивидуальное сознание формируется под решающим влиянием социальных условий, включая образование, пропаганду, массовые предрассудки. Хунвэйбины не имели представления о ценности разрушаемой ими культуры, а американский обыватель искренне верит стандартным клише антикоммунистической пропаганды. Специальное образование также не снимает идеологической ограниченности. Но не признав в принципе ответственность личности за ее общественно-политические убеждения, невозможно преодолеть традиционный для буржуазной мысли разрыв моральных и политических оценок. Нравственная норма абстрактна и бескомпромиссна, а жизнь сложна и противоречива. Нравственный ригоризм принципиально абстрагируется от соображений практической целесообразности. Но сложные вопросы, к сожалению, не имеют простых решений. «Бескомпромиссно-революционная» позиция порой диктуется неспособностью к систе-

¹ А. де Сент-Экзюпери. Сочинения, стр. 401.

² Там же, стр. 402.

³ По словам Маркса, человек «свободен не вследствие отрицательной силы избегать того или другого, а вследствие положительной силы проявлять свою истинную индивидуальность» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 2, стр. 145).

⁴ Э. Ю. Соловьев. Личность и ситуация в социально-политическом анализе Маркса. «Вопросы философии», № 5, 1968, стр. 25.

матической борьбе, отчаянием, чувством бессилия перед жизнью, а «трезвый реализм» служит лишь благопристойной рационализацией трусливого приспособленчества.

Если в сфере морали, взвешивая соответствие мотива и поступка, мы обнаруживаем многозначность и нередко неотчетливость мотивов, то социальная оценка всегда соотносится с какой-то исторической перспективой, в зависимости от которой одна и та же деятельность выглядит по-разному. Но именно отсутствие заранее написанного сценария исторического развития и дает индивиду возможность выбора, делающую его морально и социально ответственным субъектом деятельности. Свобода и ответственность — две стороны одной и той же медали.

Эту тему единства свободы и ответственности превосходно разработал Бертольт Брехт в «Жизни Галилея». Брехт принципиально отвергает взгляд на личность как на пассивную жертву обстоятельств. И в пьесе и в комментариях к ней он подчеркивает, что в судьбе Галилея нет ничего фатального, что он всегда имел возможность выбора. Галилей сделал великое открытие, но он мог при желании воздержаться от его опубликования. «В «Галилее» речь идет вовсе не о том, что следует твердо стоять на своем, пока считаешь, что ты прав, и тем самым удостоишься репутации твердого человека. Коперник, с которого, собственно, началось все дело, не стоял на своем, а лежал на нем, так как разрешил огласить, что думал, только после своей смерти. И все же никто не упрекает его... Но в отличие от Коперника, который уклонился от борьбы, Галилей боролся и сам же эту борьбу предал»¹.

Галилей начал с того, что отверг путь компромисса. Вспомним его разговор с Маленьким монахом. Тот приводит в пользу сокрытия истины серьезные, веские аргументы. Прежде всего, говорит он, новая истина бесчеловечна, поскольку лишает людей спасительной иллюзии. «Их уверили в том, что на них обращен взор божества — пытливый и заботливый взор, — что весь мир вокруг создан как театр для того, чтобы они — действующие лица — могли достойно сыграть свои большие и малые роли. Что сказали бы они, если б узнали от меня, что живут на крохотном каменном комочке, который непрерывно вращается в пустом пространстве и движется вокруг другой звезды, и что сам по себе этот комочек лишь одна из многих звезд, и к тому же довольно незначительная. К чему после этого терпение, покорность в нужде? На что пригодно священное писание, которое все объяснило и обосновало необходимость пота, терпения, голода, покорности, а теперь вдруг оказалось полным ошибок»². Отказ от жестокой истины — благодеяние для простого человека.

Галилей решительно отменяет этот довод. Смирение с церковной догмой не облегчает жизнь бедняков, а только помогает держать их в зависимости. Да и вообще «сумма углов треугольника не может быть изменена согласно потребностям церковных властей!».

Маленький монах приводит тогда второй довод: «А не думаете ли вы, что истина — если это истина — выйдет наружу и без нас?» Это весьма серьезное соображение. Главное дело ученого — открыть истину. Ее пропаганда и утверждение выходят за рамки его профессиональной роли, а часто и возможностей. Не какой-нибудь педант-затворник, а великий Эйнштейн писал в июле 1949 года Максу Броду по поводу его романа «Галилей в плену»: «Что касается Галилея, я представлял его иным... Трудно поверить, что зрелый человек видит смысл в воссоединении найденной истины с мыслями поверхностной толпы, запутавшейся в мелочных интересах. Неужели такая задача была для него настолько важной, что он мог посвятить ей последние годы жизни... Он без особой нужды отправляется в Рим, чтобы драться с попами и прочими политиканами. Такая картина не отвечает моему представлению о внутренней независимости старого Галилея. Не могу себе представить, что я, например, предпринял бы нечто подобное, чтобы отстаивать теорию относительности. Я бы подумал: истина куда сильнее меня, и было бы смешным донкихотством защищать ее мечом, оседлав Росинанта...»³. (Слово

¹ Б. Брехт. Театр, т. 5, ч. 1, стр. 361.

² Там же, т. 2, стр. 369.

³ Цит. по кн. Э. Ю. Соловьев. Экзистенциализм и научное познание. М. 1966, стр. 64.

и дело не всегда тождественны. Воевать с реакционерами из-за теории относительности Эйнштейну не пришлось — так называемая «арийская физика» появилась позже и уже не могла задержать развитие мировой науки. Однако Эйнштейн не раз вступал в борьбу с фашизмом и политической реакцией. Так делают и многие другие выдающиеся физики современности.)

Но Галилей, к чести его, в это время еще не отделяет свою профессиональную роль от своих установок человека и гражданина. «Наружу выходит ровно столько истины, сколько мы выводим. Победа разума может быть только победой разумных»¹. В этот момент он выбирает как цельная личность, а не как представитель частичной функции. Но удержится ли он на этой позиции?

Параллельно истории Галилея Брехт показывает, хотя и вскользь, другую драму — драму папы Барберини. При первой встрече обоих на карнавале в Риме Галилей целен, тогда как кардинал Барберини раздвоен. Как математик — он понимает правоту Галилея, как служитель церкви — он против него. Пока не нужно принимать ответственное решение, его выручает маска. «...Моя сегодняшняя маска, — говорит он Галилею, — позволяет некоторую свободу. В таком виде я могу даже бормотать: если бы не было бсга, то следовало бы его выдумать. Итак, наденем опять наши маски. А вот у бедного Галилея вовсе нет маски»².

Но вот кардинал Барберини становится папой Урбаном VIII. Он не хочет пытать Галилея, он понимает его правоту и его влияние. Но как на Галилея давит приверженность ученого к истине, так на папу давит его положение главы церкви. Если разобраться, его положение хуже, чем положение Галилея. Галилей открыл истину, и, даже если он предаст ее, история (по крайней мере часть историков) проявит к нему снисхождение. От папы же требуют «закрыть» истину.

Кардинал-инквизитор приводит те же аргументы, что и Маленький монах. Дело не в аспидной доске, доказывает он, а в духе мятежа и сомнения. Беспокойство, царящее в их собственных умах, ученые переносят на неподвижную Землю. «Они кричат, что их вынуждают числа. Но откуда эти числа? Любому известно, что они порождены сомнением. Эти люди сомневаются во всем. Неужели же нам строить человеческое общество на сомнении, а не на вере?»

Конечно же, это обвинение ложно. Наука по самой сути своей не может покоиться на скепсисе. Именно глубокая уверенность в силах человеческого разума и в своем праве искать истину заставляет ученых восставать против традиционных авторитетов и подвергать сомнению церковные догмы. Но это-то и пугает инквизицию.

И для папы эти аргументы куда убедительнее, чем для Галилея. Папа и вправду отвечает за сохранность существующего порядка. Если этот порядок начнет рушиться, разочарованные верующие будут винить не Галилея, который, на худой конец, всегда может сказать, что он отвечает за истинность своего открытия, а не за его социальные последствия, а папу. Дозволить еретическую мысль, плоды которой нельзя предугадать заранее, — осудят влиятельные современники. Запретить новорожденную истину — осудят потомки.

Глубоко символично, что во время этого разговора папу облачают. И когда облачение закончено, папа, уже при всех регалиях, не человек, а воплощение функции, носитель таинственной власти, принимает роковое решение. Позже католическая церковь еще раскается в том, что пыталась противодействовать науке и стала в глазах общественности символом реакции; она поймет, увы, слишком поздно, что с точки зрения ее собственных интересов было целесообразнее (хотя в некоторых отношениях труднее) своевременно видоизменить собственную догму, чем вступать в безнадежную войну с разумом. Но эти вынужденные «понимание» и «либерализм» придут лишь через несколько веков, когда бессилие церкви станет очевидным. А пока что папа выражает общее мнение римской курии. Папа принял верное решение, папа может спать спокойно.

Наступает очередь Галилея. Но масштаб его выбора значительно больше. А потому больше и его психологические последствия. Сцена отречения завершается читаемой

¹ Б. Брехт. Театр, т. 2, стр. 371.

² Там же, стр. 365.

перед опущенным занавесом цитатой из Галилея: «Разве не ясно, что лошадь, упав с высоты в три или четыре локтя, может сломать себе ноги, тогда как для собаки это совершенно безвредно, а кошка без всякого ущерба падает с высоты в восемь или десять локтей, стрекоза — с верхушки башни, а муравей мог бы даже с Луны. И так же, как маленькие животные сравнительно сильнее и крепче, чем крупные, так же и маленькие растения более живучи»¹. Большой человек должен обладать и повышенной степенью прочности. Иначе падение, безвредное для маленького, для него окажется смертельным. Великий Галилей этой повышенной моральной прочностью не обладает.

Оправдывает ли это Галилея? Брехт считает, что нет. В первой редакции пьесы рассказывалось, как Галилей, уже в плену у инквизиции, тайно написал свои «Беседы» и поручил своему ученику Андреа переправить рукопись за границу. Его отречение дало ему возможность создать новый важнейший труд. Он поступил мудро.

В позднейшей редакции, написанной под влиянием Хиросимы, Галилей обрывает панегирики своего ученика и доказывает ему, что отречение было преступлением, не компенсируемым созданной книгой, как бы важна она ни была. И дело не в том, что отречься от своих взглядов вообще постыдно, а в социальных последствиях этого отречения. «Я был ученым, который имел беспрецедентные и неповторимые возможности. Ведь именно в мое время астрономия вышла на рыночные площади... Но я отдал свои знания власть имущим, чтобы те их употребили или злоупотребили ими — как им заблагорассудится — в их собственных интересах... Я предал свое призвание. И человека, который совершает то, что совершил я, нельзя терпеть в рядах людей науки»². К этому суровому приговору присоединяется и Бертольт Брехт. Моральная оценка становится частью социально-политического анализа целостной ситуации.

Не сложность индивидуального самосознания и не психологические трудности общения сами по себе превращают человеческое общество в «одинокую толпу» или «толпу одиноких», по выражению американского социолога Дэвида Рисмэна, а разобщающая сила частной собственности, конфликт эгоистических интересов. Изменить это положение не под силу отдельному человеку, кто бы он ни был. Начиная нечто новое, человек не может с уверенностью сказать, будет ли его начин подхвачен и каковы будут его отдаленные результаты, ибо история складывается из деятельности многомиллионных масс. Освобождение трудящегося человечества, о котором мечтал Маркс, может быть достигнуто только массовым, коллективным действием, поэтому, в противоположность буржуазному индивидуализму в любых его формах, пролетарская философия является коллективистической. Она зовет не к обособлению, а к сплочению людей, к их совместной деятельности во имя общих интересов. Но именно понимание общественной природы человека открывает истинную цену его индивидуальности. «Общественная история людей есть всегда лишь история их индивидуального развития, сознают ли они это, или нет»³.

¹ Б. Брехт. Театр, т. 2, стр. 401.

² Там же, стр. 411—412.

³ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 27, стр. 402—403.



НА ЗАРУБЕЖНЫХ ТЕМАХ

ЮРИЙ НАГИБИН

★

ИЗ НИГЕРИЙСКОЙ ТЕТРАДИ

Мое путешествие в Нигерию началось куда раньше этой вьюжной, колючей и, казалось бы, совсем не летней ночи, когда ИЛ-18 отделился от взлетной дорожки Шереметьевского аэродрома, взметая тучи сухой снежной крупы, и сразу потерял землю со всеми ее огнями.

Без малого сорок лет назад за выдающиеся успехи в нацарапывании палочек и ноликов родители подарили мне альбом с марками. Альбом был толст, свинцово тяжел, обтянут красной тисненой кожей, не по чину роскошен. Марок же оказалось совсем мало, да и те были наклеены на восково-желтые, разграфленные в клеточку страницы для затравки — мне самому предназначалось заполнить альбом.

И пошли радости и горести, известные каждому начинающему филателисту: докучный избыток английских Георгов и мечта о нарядных африканских марках, редких — южноамериканских, загадочных — карликовых государств и совсем уж легендарных — Ватикана. Бывают в жизни филателиста исключительные, радостные дни, которые сохраняются в памяти, озаренные каким-то особым светом. И мне выпал такой день, когда на скопленные деньги я приобрел узенький плотный конвертик с серией нигерийских марок.

На марках сплетались тугие растения, виселись пальмы с кокосовыми орехами, храня бледность чистых прозоров между стволами; слон помахивал парусами ушей; висели на ветках обезьяны; крокодил раскрывал пасть, способную проглотить всех малышей мира; тонконогие антилопы напрягали чуткие уши, ловя далекие шумы, и еще множество всякого зверья, ползучих гадов и роскошных птиц населяли крохотное четырехугольное пространство марок. Я был захвачен и покорен Нигерией. Меня уже не могли соблазнить ни более ценимые сверстниками красивые марки Либерии, ни редкие марки Камеруна, Того и Дагомеи.

Так, полюбив еще в раннем детстве Нигерию, я на исходе пятого десятка получил вдруг возможность поехать туда.

И вот путешествие началось. И была фантазмагория громадного перелета — завывание и надсадный гул мотора, вибрация, холодно-сладкие голоса проводниц, «взлетные» конфетки и неудобные трапезы, зверская самолетная тоска по твердой земле, морозный, на семь градусов, ночной Будапешт, тепловатый, влажный, непроснувшийся Тунис с меловой белизной окупленных зданий, сухо-знойный, дневной Бамако и наконец на границе новой ночи — парной Лагос...

Лагосский аэропорт. Я сидел ближе моих спутников к выходу и первым сошел по шаткому трапу в плотную, влажную, но все же терпимую духоту угасающего дня и сразу же почувствовал крепкие руки красивого и рослого Александра Иосифовича Романова — нашего посла в Нигерии, увидел работников посольства в ярких лучах подсветки, позволяющей вести телевизионные съемки. Вокруг — красивые, эбеновой черноты лица: члены Общества нигерийско-советской дружбы во главе с его вице-президентом Огунтойе по прозвищу «Комрад чиф», постоянный секретарь министерства информации Ахмед Джода (вскоре приехал и сам министр), журналисты, фоторепортеры.

Как важно выйти первым! Вечером мы смотрели по телевизору передачу, посвященную нашему прибытию. «Господин Нагибин заявил...», «Как сказал в своей проникновенной речи писатель Нагибин...» Я ничего не заявлял и не произносил речей. Слова встречи, дружбы и приветия с огромным воодушевлением и навыком, воспитанным кавказским застольем, произнес глава нашей делегации Алим Кешоков. Но в суматохе не разобрались, и вся слава досталась мне...

Когда мы прибыли в Лагос, еще существовал комендантский час, установленный во время недавней междоусобной войны, и церемонию встречи не затягивали, чтобы попасть до семи часов в город.

Фиолетовые сумерки успели стать исчерна-синими, когда мы въехали на чудовищно запруженные машинами и людьми торговые улицы столицы. Светились окна домов, машины ездил с большим светом, золотистое зарево всплывало над ярко освещенным портом. Но не горели уличные фонари, и потому считалось, что столица Нигерии частично затемнена.

Плошки и светильники усиливали живописность густой, яркой толпы. Нигерийская одежда многоцветна, парадна. Ее крой и грудной вырез придают ей почти царственную торжественность. Каждый нигериец похож на Остужева в роли Отелло.

Мужская одежда состоит из агбады — просторного балахона с широченными проймами (чтоб продувало), сужающихся к щиколоткам штанов и примятой спереди шапочки. Одевание это делается из одного материала, гладкого или с выделкой, часто расшитого золотыми нитями. У женщин кусок ткани, обернутый вокруг тела, заменяет платье. Голову же они туго повязывают лоскутом ткани, как наши женщины — полотенцем после купанья. Прямызна, статность нигерийских женщин воспитаны с детства обычаем носить на голове всевозможные тяжести.

Город мельтешил перед глазами хаотичным и в то же время каким-то внутренне закономерным движением почти в ритме негритянского танца; впечатление это усиливалось тем, что из всех лавчонок неслись пронзительные звуки «хот-джаза», пламя плясало на темных лицах, и мы все время были на волосок от столкновения с машинами и прохожими. Несло бензином, пылью, прогорклым пальмовым маслом, потным телом, гнилью банановой кожуры, дымком жаровен. Пронзительно свистел почти в самое ухо здоровенный полицейский в белых крагах, и, как в кино, устрашающе надвигался в лоб будто вздыбленный грузовой «мерседес»: громадное тупое рыло, клыкастый бампер, жующие асфальт шины, слепящие фары, неизвестно зачем включенные на дальность. Не успеваешь удивляться тому, что остался жив, когда измятый, словно старая консервная банка, «ситроен» нахально срезает тебе угол, и ждешь мерзкого толчка, скрежета умирающего железа, но спокойный водитель вновь находит спасительный лаз.

Даю себе зарок быть верным музе памяти Мнемозине. Буду записывать только свои, пусть сумбурные, впечатления, лишь то, что сохранено памятью зрения и чувства. Я боюсь того, что порой кажется памятью, а в действительности идет от домысла либо где-то когда-то вычитано или услышано, а теперь представляется самой настоящей правдой.

Еще опаснее, когда на первовидение бессознательно накладывается узnanное потом, и тебе кажется, что ты с самого начала все видел, безошибочно чувствовал и понимал — будь это топография города, или характер городских ритмов и настроение улиц, или архитектурный стиль, или еще что-то. Со мной этого, кажется, не случилось. Я в первый день почти ничего не понял, а сведения, которыми меня пичкали спутники, лишь затуманивали сознание. Точно запомнил я лишь одно: название столицы Нигерии происходит от слова «лагуна» — город лежит частью на материке, частью на островах, и нам надо попасть на остров Виктория, где находится наш отель. Даже это пришлось мне втолковывать, но меня не обескураживала собственная тупость — все во мне ликовало: кругом Нигерия! Сбылось, свершилось! Я выполнил долг перед мальчиком, очарованным марками с ушастыми слонами, крокодилами, пальмами и мангровыми зарослями...

Как же трудно развеять чары детских лет, как долго правит нами детская мифология! За все время, что я провел в Нигерии, я не мог поверить, что ее животный мир

так беден, как это воочию открывалось моим глазам и как авторитетно утверждали местные жители. Слоны, некрупные, ушастые, с небольшими бивнями, злые, ненавидящие человека африканские слоны изредка появляются в глухом приграничье с Камеруном и, разрушив деревеньку-другую, снова надолго исчезают; еще попадаются маленькие антилопы и дикие свиньи, сохранились обезьяны в джунглях. Однажды нам перешла дорогу зеленая мартышка, поглядела в нашу сторону, взялась рукой за кончик хвоста, поднесла к губам, словно флейту, брезгливо отбросила и не спеша скрылась в зарослях. Изредка в лучах фар мелькали крупные крысы, однажды я чуть было не наступил на ядовитую змею, потянувшись за плодом колы. На севере ночи кишат летучими мышами и летучими собаками. Все другие животные, некогда обитавшие в Нигерии, истреблены хищнической охотой. Фауна страны бедна и пернатыми: пикбефф, сороки, вороны, коршуны, грифы, куропатки, цесарки и лишь редко-редко ярко расцвеченные птички напоминают, что ты в Африке. Англичанам не было никакого дела до животного мира подвластной им страны. В последние годы федеральное правительство Нигерийской Республики взялось за охрану природы. Да ведь не так-то легко восстановить убыль.

Едва прикоснувшись к жизни нигерийской столицы, мы отправились в путешествие по стране. Наш путь лежал на север, через университетские города Ибадан, Ифе, Зария в центр мусульманского севера — Кано.

Мы двигались из тропиков к саванне, из влажно-душного приморья в сухой жар континентального климата. Наше пребывание в Нигерии пришлось на самую благоприятную пору: в октябре кончился сезон дождей и сейчас из Сахары дул жаркий ветер харматтан, подсушивающий паркий воздух. Ранним утром простор подергивался бурым туманом — пылинки, несомые ветром, конденсировали влагу воздуха. Но в глубине страны, где и без того сухо, посланец пустыни уже не казался благом, от него пересыхали, трескались губы, слезились покрасневшие глаза.

Широкое асфальтированное шоссе шло сквозь джунгли. Ну, конечно, это только говорится так: джунгли. Густые заросли хожены-перехожены деревенскими жителями, местами сильно прорежены, и все-таки это джунгли: гибкие лианы опутывают стволы и ветви кокосовых и масличных пальм, раскидистых зонтичных деревьев, низкорослых какаовых и орешника-кола. В чаще жарко, влажно, нечем дышать. Бананы свешивают над обочинами громадные смугло-подсохшие, рваные по краям листья. Запасшись плодами какао и кола, мы сосредоточенно потрошим их перочинными ножами. Зерна какао обволакивает млечная сырость, заполняющая овальную толстостенную скорлупу; темно-коричневое в бордовость ядрышко защищено белым влажным чехольчиком. Плод кола в разрезе — чудо, хочется сказать, техники: просто поверить трудно, что его грубовато-макетное совершенство сотворено природой, а не машиной. Внутри он будто выточен, отшлифован и даже сохранил немного той млечной жидкости, какой охлаждаются сверла и резцы. В ровных ячейках стройно лежат белые орешки, толстая кожица легко отделяется от ярко-красного ядрышка. На вкус горечь, но это — лакомство, излюбленное нигерийцами тонизирующее средство. Шоферы без усталости сосут орешки кола, поддерживая в себе искусственную бодрость, сменяющуюся в какой-то миг оцепенением сна, и тогда происходит то, что делает нигерийские дороги такими пугающими...

Чащобы богатейшей растительности скудны, как уже говорилось, животной жизнью. Только змей хватает с избытком. Все, чем богат, вернее скуден, лес, можно получить в дешевом ресторанчике или придорожной харчевне за гроши в виде пахучего, сильно наперченного блюда, именуемого, подобно нашим центросоюзовским магазинам, «дары леса». В густом красном соусе может попасться кусочек крысы и кусочек змеи, птичья или лягушачья лапка и другой подобный деликатес. Но если не думать о живом прообразе составных частей лесной скобянки, то все это довольно вкусно, особенно с мягкой сыроватой колобашкой из ямса и ледяным пивом «стар», неспособным все же погасить пожар во рту.

Переход от тропической растительности к саванне происходит постепенно: пальмы становятся все ниже, исчезает густота, плотность и кажущаяся непролазность зарос-

лей, появляется все больше акаций и деревьев, похожих на баобабы, затем и настоящие гиганты баобабы возникают среди пустоты в почтительном отдалении друг от друга, и неожиданно обнаруживаешь, что мир вокруг тебя стал совсем иным: он проглядывается далеко окрест поверх высокой травы и низких деревьев. Припахивает горелым, а вот и пожар. Горит саванна, сознательно зажженная крестьянами — здесь подсечно-огневое земледелие — либо воспламенившаяся сама по себе. В ночи все это выглядит ошеломляюще красиво и тревожно. Порой, когда кругом уж слишком мощно гудит, трещит, лопается, стонет и языки пламени, подхваченные ветром, самостоятельно живут в черном пространстве, к сердцу подкатывает ужас...

Я проглядел момент, когда бетонная дорога сменилась грунтовой. Теперь каждая встречная машина укутывала нас облаком красной пыли, от которой было одно спасение — быстро закрыть окна и несколько минут мириться с духотой и жарой. Затем пыль рассеивалась, очищалась даль, и туда протягивалась лента красноземной латеритовой дороги, уставленной по краям готическими термитниками.

Мне не забыть красных дорог Нигерии. Зелень склонявшихся над ними пальм и бананов, какаовых и зонтичных деревьев окрашена киноварью. В кюветах валяются запорошенные латеритовой пылью мертвые грузовики, реже — легковые машины. Иные погибли давно, сквозь их железные ребра проросла трава и молодые деревца, иные еще свежи окраской, издали кажется, что они прилегли соснуть, словно огромные усталые звери, и лишь вблизи обнаруживаешь, что сон их вечен. Иные совсем недавно были полны стремительного движения, они еще пахли бензином, как трудовым потом.

Ночью, когда из-за края земли появлялось зарево, а затем два луча, ошупывающих небо и вдруг упирающих прямо в тебя свою неукротимую яркость, мы прижимались к обочине, пропуская мимо грохочущий громадный бензовоз. С такими лучше не связываться, они никогда не сбавляют скорость, идут напролом и даже не остановятся, если сомнут тебя, как старую жестянку. Компании нужна скорость, и потому жми, дави, сшибай или сам лети под откос! У компаний все высчитано, взвешено, учтено, в том числе и потери: выгоднее лишиться стольких-то машин в год, чем ездить с соблюдением правил, на ограниченных скоростях и дать обойти себя конкурентам. В случае летального исхода водителя вместе с машиной хладнокровно списывают в убыток. Следствие не ведется. За рулем авточудовищ сидят худые, с красными, воспаленными глазами негры. Они жуют орешки кола или траву, дающую искусственное возбуждение. Главное, держать скорость, иначе — потеря работы, а хуже этого ничего нет. Вперед, вперед, не дать себя обойти! Неизменно вслед за шелловским бензовозом сминает ночь бензовоз «Эссо». Где выросла бензостанция «Шелл», тут же встанет и «Эссо». Соперничество, делающее эти компании неразлучными, «сильнее страсти, больше, чем любовь»...

Днем встречные машины куда менее опасны, и можно не вглядываться так пристально и тревожно вдаль — речь идет, разумеется, о пассажирах, водителю надо быть все время начеку, если он не хочет превратить машину в памятник своей рассеянности. А ты отдаешь внимание бредущим по дороге людям: мужчинам в легкой одежде, иногда просто в шортах, обнаженным по пояс женщинам с поклажей на голове, стройным подросткам, пузатым малышам. Нигерийцы всегда в движении, их почти не увидишь отдыхающими, лишь на берегах мутных речек могут они сделать привал, но и тут не станут рассиживаться, а сразу войдут в реку, смоят пыль и пот и снова в путь. Нет ни конных, ни велосипедистов, и те и другие появятся позже, когда мы окажемся на севере, тяготеющем к арабскому быту.

Деревни попадают довольно часто. Дома на юге, четырехугольные, крытые сухой травой или пальмовыми листьями, напоминают украинские мазанки, только не белые, а красные, севернее дома имеют округлую форму. Обнесенные забором из того же краснозема, они образуют усадьбу (здесь говорят — «компаунд») — обиталище одной семьи. В центре дом главы семьи, по правую и по левую руку — дома жен, хранилища кукурузы и овощей. В Нигерии — полигамия. Подобный семейный уклад экономически выгоден. Одну жену прокормить труднее, чем десять жен, — семейный колхоз сам себя кормит. Такой табунок жен справится и с полевыми работами, и по домаш-

ности, и по торговой части. Работают и дети с самого раннего возраста. Живут на редкость дружно. Первая жена не пользуется никакими преимуществами, кроме тех, что дает возраст и дольшая близость к главе дома, а так — полное равенство во всем. И дети разных матерей любят друг дружку братской и сестринской любовью. Конечно, единоутробных любят чуть больше, как-никак под одной крышей выросли. Понятие семьи очень высоко у нигерийцев, так же как и понятие родной деревни. В трудную минуту жизни нигериец, давно уже ставший горожанином, имеющий собственное дело и городской дом, бросает все и спешит на родину — в свою деревню, в отчий дом, к родному очагу...

В своих записях я несколько обогнал события и уже забрался в саванну, а между тем мы на двое суток задержались в Ибадане, самом большом городе не только Нигерии, но и всей Западной Африки.

Ибадан — столица Западного штата, где обитает народ иоруба. Город раскинулся по зеленым холмам. Известный нигерийский поэт Джон Пепер Кларк сравнил его с разбитой фаянсовой чашей, чьи осколки белеют в траве. Когда смотришь на Ибадан сверху, этот образ кажется очень точным, но вблизи «осколки чаши» утрачивают свою белизну. Громадные мусорные свалки бесстыдно вторгаются в городской пейзаж, перенасыщенный — даже по африканским масштабам — торговыми заведениями. Улицы — сплошные торговые ряды. Торгуют изделиями местных ремесленников: яркими тканями, национальной одеждой, обувью, соломенным плетением всех видов, кузнечными и гончарными изделиями, подделками под старину из бронзы, дерева, кости, а также старыми велосипедами, залатанными камерами и крышками, радиотоварами, музыкальными инструментами и, конечно же, плодами земли: бананами, апельсинами, мандаринами, ананасами, манго, бататами, маниокой, бобами, луком, чесноком, помидорами, огурцами, различными травами для приправ. Отдельно, ближе к станции железной дороги, расположена скототорговля: положив друг на дружку кроткие морды, покорно ожидают своей участи коровы и быки — с длинными рогами и безрогие, похожие на зебу горбиками, шейной складкой и миниатюрностью голов.

Мы были гостями Ибаданского университета, расположенного в нескольких километрах от города. Нигерийцы по праву гордятся Ибаданским университетом, крупнейшим и лучшим в стране, хотя в недалеком будущем Ифский университет обещает сравняться с ним по всем статьям. При англичанах здесь был скромный университетский колледж всего лишь на триста шестьдесят человек, теперь тут город науки.

Здесь мы познакомились с поэтом, прозаиком и драматургом Волле Шоинкой. В настоящее время это едва ли не самая приметная фигура в нигерийской литературе. Шоинка известен далеко за пределами страны. Его книги выходят в Англии, в Лондоне ставятся его пьесы. Переводили Шоинку и у нас. Последняя его пьеса «Урожай Конги» стала событием для Африки. В Ибаданском университете Шоинка руководит драматической мастерской. Он сразу привлекает внимание: высокий, костлявый, на вид очень молодой и, конечно же, бородатый; рубашка спущенным парусом полочется вокруг худого тела — плевать хотел Волле на свою телесную оболочку и на то, чем он в угоду мещанским условностям прикрывает наготу. Он весь в сфере духа. Он горит своими стихами, полными гейневского сарказма, а порой и раскаленного черного гнева; живет своим студенческим театром, только что поставившим «Урожай Конги», стремлением научить доморощенных артистов сценической речи; живет своим яростным отвращением к негритянскому расизму, считающему белых вырождающейся, обреченной на гибель расой. живет любовью к свободе. Однажды он с двумя приятелями пытался произвести переворот, занял радиостанцию и два часа насыщал эфир призывами скинуть всех, кто мешает человеческой свободе. Но что он подразумевал под «человеческой свободой»?..

Волле Шоинка только что вышел из тюрьмы, где провел два года. Он не захотел нам сказать, что ему инкриминировалось.

— Мне просто не везет! — говорил он с добродушной усмешкой.

— Шоинка раздражен тюремным заключением, — предупреждали нас. — Будьте с ним осмотрительны.

Но мы не заметили никакого раздражения.

— Подумаешь, тюрьма — я там пьесу написал!

Прямо-таки безмерное добродушие, но глаза у него странные, настороженные, с желтоватыми белками.

Чего же все-таки хочет Волле Шоинка? Свободы, свободы, свободы... Это так расплывчато, так неопределенно! Какая свобода ему нужна? Свобода ото всего, от какого бы то ни было принуждения, и прежде всего свобода для самого себя, полная, ничем не ограниченная свобода для чудо-человека, именуемого Волле Шоинка...

Совсем иное, куда более ясное, немного грустное впечатление произвел на меня другой известный писатель, житель Ибадана Амос Тутуола. В Англии он даже более популярен, чем Волле Шоинка. Эстетская критика пыталась объявить его африканским Кафкой и Джойсом одновременно. У него находили изощренный психоанализ, восхищались его дерзким новаторством, царственным пренебрежением к английской грамматике и орфографии, смешением в его современных сказках реальности с потусторонним. Но оказалось, что этот новатор вовсе не отвергает грамматики и не издевается над английским правописанием, он просто нигде не учился.

— Я родился в очень бедной семье,— рассказывал Тутуола, с виду очень старый, изношенный человек, хотя ему не больше пятидесяти,— и начал писать ради денег. Сейчас мои дела поправились, я получил здесь работу на радио и могу меньше писать. Я пересказываю сказки и разные историйки, которые слышал в детстве. Но я плохо помню их, часто перевираю. У меня духи ездят на автомобилях, а призраки говорят по телефону. Что поделаешь, я не умею так рассказывать, как наши старики. Но в Англии это проходит.— Он смущенно улыбается, показывая длинные белые зубы.

Разговор происходит в радиостудии. Мы интересуемся, кем работает Тутуола: редактором, литсотрудником, комментатором или просто диктором.

— Нет, кладовщиком. Я охраняю все это.— И он широко обвел вокруг себя рукой.

Жест приобрел несколько комическую величавость — вокруг не было почти ничего: голые стены, круглый стол с дыркой посередине, куда пропущен шнур микрофона, два-три колченогих табурета. Здесь или вовсе нечего было сторожить, или же Тутуола не усторожил. Вдруг просунулась чья-то рука и забрала микрофон — последнюю ценность в охраняемой Тутуолой пустой комнате.

Мы спросили, над чем он сейчас работает.

— Да ни над чем,— последовал спокойный ответ.— Слишком жарко, я подожду сезона дождей.

Сказки Тутуолы вышли в Москве. В переводе они утрачивают речевое своеобразие — нельзя ведь, коверкая русский, создать эквивалент причудливому английскому Амоса Тутуолы, но поэзия, наивная поэзия чистой детской души ощущается. Наверное, правы и те, которые считают, что Тутуоле следовало бы писать на языке иоруба. Но кто его издаст, кто прочтет? Горожане читают по-английски, в деревнях грамотеев мало, а те, что есть, тоже обучены английскому.

Тутуола запер большим ключом радиостудию и, шлепая огромными, разношенными туфлями под стать марокканским бабушам, пошел нас проводить. Мы сфотографировались на память, и сейчас передо мною на столе доброе морщинистое лицо этого — что бы ни говорили о нем другие, что бы ни думал о себе он сам — истинного художника.

Наше пребывание в Ибадане завершилось банкетом, устроенным местным отделением Общества нигерийско-советской дружбы. Это отделение самое значительное в Нигерии, и не только потому, что находится в крупнейшем городе страны, но и потому, что во главе этого отделения стоит вице-президент общества, видный юрист и общественный деятель Огунтойе. Коренастый, плотный Комрад чиф настолько популярен как оратор, что даже ходят в суд специально послушать его. Поэт сказал: «Человек должен быть, как цирк» — так же праздничен, ярок, наряжен, весел, дерзок, остроумен, смел и добр. Так вот, Комрад чиф не боится быть цирком. Его богато модулированный голос звучит то низко и грозно, то подымается до высоких звенящих нот, его толстая нижняя губа, продольно рассеченная мысиком яркого алого подбоя, то

гневно вздергивается, то брезгливо выпячивается, то тянется в улыбке, ноги ходят ходуном, и в лад им поигрывают крутые плечи, когда он произносит свою то и дело прерываемую аплодисментами и выкриками сочувствия речь. Он так объяснил, почему стал социалистом:

— Я не мог жить хорошо, когда другие живут плохо. Я не мог наслаждаться достатком, жирной едой, красивой одеждой, вкусным питьем, когда другие раздеты, разуты, голодны, истомлены. Я владею доходными домами, я отказался от денег, которые они мне приносили. Пусть люди живут бесплатно в моих домах. Я не стану наживаться на их нужде, потому что я социалист.

Пусть не подумают, что дела Огунтойе так уж плохи, что приверженность к социализму довела его до сумы. Адвокатская практика приносит ему вполне сносный заработок, он даже оказывает денежную помощь руководимому им обществу. Говорил он и о нашей стране. Полезно иной раз послушать о своем доме со стороны. Привычное не удивляет. А вот людей, только начавших строить свое государство, потрясают такие привычности, как всеобщая грамотность прежде неграмотной России, как дружба народов после вековой царской политики угнетения малых народностей, погромов, резни, как отсутствие безработицы, равноправие мужчин и женщин, бесплатное школьное обучение, возможность для всех получить высшее образование, и — при господстве марксистского мировоззрения — свобода вероисповедания, и прежде всего то, что за несколько десятилетий отсталая аграрная страна стала могущественнейшей индустриальной державой без всякой помощи, но зато с многочисленными помехами извне...

Обо всем этом говорил Комрад чиф, и стало понятно, откуда у представителя традиционной власти приставка «товарищ» к титулу «вождь».

А потом он разлил всем джину из бутылки с изображением английского джентльмена в красном — эту бутылку он хранил под мышкой, в складках агбады — и провозгласил тост за дружбу.

Это так вдохновило Алима Кешокова, что в ответном слове он превзошел самого себя. Даже наш переводчик-виртуоз Виктор Рамзес вспотел, выискивая английские эквиваленты для русско-кабардинских метафор и образов дружбы, братства, сродства.

...В ифском университетском театре мы смотрели пьесу Волле Шоинки «Урожай Конги». На спектакль приехала публика из окрестных городов, Ибадана и даже из далекого Лагоса. Банану негде было упасть.

Еще днем, когда мы встречались со студентами, нас удивляли периодические взрывы национальной музыки — клочок браваурной мелодии, неожиданно обрывавшейся, чтобы вновь нежданно родиться и заглушить очередной вопрос студента или наш ответ. Даже попытка закрыть окна, обрекавшая нас на мучительную духоту, ничего не дала. Стекло не служило препятствием для резких, сильных звуков, скорее наоборот — оно было резонирующей поверхностью. И вот теперь мы вновь слышали эту музыку, и она вызвала в нас вовсе не раздражение; ею сопровождался выход Старого вождя, главного положительного героя пьесы Шоинки. Когда же она мешала нашей встрече со студентами, происходила репетиция...

Диктатор Конги бросил за решетку доброго и веселого вождя, и все десять жен добровольно разделили участь любимого мужа, одна даже с новорожденным на руках. Вождя навещал брат и приверженец, каждая их встреча непременно кончалась пляской под музыку. Между тем Конги, жестокий и трусливый диктатор, мучительно выискивает с помощью своих раболепных министров, как погасить последний, чуть тлеющий огонек внутренней свободы и независимости, воплощенный в Старом вожде — традиционной власти. В конце концов придумывается омерзительное представление: на празднике урожая при всем народе Старый вождь должен преподнести Конги в знак смирения и признания самый крупный батат, выращенный его наследником. Но вместо батата он преподносит Конги отрубленную по приказу диктатора голову лидера оппозиции...

В спектакле участвуют одни только любители: студенты Ибаданского университета, работники радио и телевидения, адъютанта Конги играл брат губернатора Лагоса

Джонсон. Поставлена пьеса «с солью и перцем», с забористым народным юмором и большой смелостью в мизансценах. Режиссер реалистичен в лучшем смысле слова, хотя вовсе не думает о том, соответствуют ли его приемы строгим законам реалистического театра. Его заботит одно — увлечь зрителей идеями, заложенными в пьесе. Он не стесняется оставлять на сцене отыгравших эпизод артистов, если они опять ему вскоре понадобятся, лишь убирает с них свет софитов. Темп прежде всего — зачем терять время на возню с занавесом, на уход одних персонажей и размещение новых? Действие должно меняться с быстротой, обеспечиваемой щелчком выключателя. Если зритель захвачен, он и внимания не обратит на бездействующие силуэты. Так оно и было: зрители неистовствовали, они принимали столь горячее участие в происходящем, что, сами того не ведая, играли роль отсутствовавшей на сцене толпы: смеялись, громко негодовали, проклинали Конги, поддерживали Старого вождя, ужасались, плакали. Идею пьесы принимали все: Африка не для того освобождается, чтобы место белых хозяев заняли доморощенные тираны.

* * *

Трудное путешествие. Долгое. Уже разбита и заменена машина. Мы по горло наглотались пыли и километров. Переправились через Нигер, полюбовались громадной плотиной через полувыпитые зноем русла Кадуны и сделали привал в городе с тем же названием, что и пересохшая река.

В Кадуне представитель агентства печати «Новости» молодой нигериец Гарба пригласил нас в свою резиденцию. Все-таки это поразительно, когда из жаркой пестряди, из невероятного быта, ни в чем не совпадающего с нашим северным, европейским бытом, из красноватой пыли улиц и городских пустырей попадаешь в тишину маленькой читальни, где на стене барельеф с ленинским профилем, на стеллажах — книги Ленина, а за столами, подперев скулу кулаком, юные нигерийцы склонились над журналом «Советский Союз», разглядывая фотографии наших заводов, стадионов, школ, а рядом торчат коротенькие черные антенки девичьих причесок, а сами «радистки» углубились в «Советскую женщину» на английском языке — глядишь на все это, и в душе происходит что-то весьма сентиментальное.

Гарба даже не энтузиаст — он фанатик дружбы Нигерии с Советским Союзом, он чем-то сродни тому светловолосому пареньку, что до последнего биения сердца нес в душе смутный образ далекой Гренады. Он влюблен в Советский Союз. Для него вступление каждого нового человека в общество — личный праздник, каждый полученный из Советского Союза журнал наполняет день радостью. Но ему кажется, что он делает все еще слишком мало.

— Если б у нас был велосипед! — вздыхает он. — Я успевал бы куда больше. А то ведь все на своих двоих.

Надо сказать, что в Нигерии общественный транспорт почти отсутствует, а такси «кусаются». Мы беремся похлопотать насчет велосипеда. В ответ он просит нас приехать через год — мы убедимся, что количество членов Общества дружбы удвоится. Правда, его чистый, наивный энтузиазм привел к маленькому конфузу, когда он пригласил нас в книжный магазин.

— Здесь продаются ваши книги! — восторженно восклицал он. — Ваши книги на английском языке!

В страшном возбуждении он что-то кричал хозяину магазина, тыкал в нас пальцем, кидался за прилавок, выхватывал с полок какие-то тома и торжествующе потрясал ими в воздухе.

— Хорошо, что вы зашли, — сказал хозяин, когда Гарба немного утих, нежно, утомленно улыбаясь, — может, посоветуете, что делать с этими книгами?

— Торговать тоже надо уметь, — самолюбиво пробормотал Кешоков.

— Что поделаешь?.. Никто не берет.

Мне было страшно взглянуть на бедного энтузиаста. Напрасно, подобные мелочи не доходили до него, пребывающего в экстатическом состоянии духовного парения. Грубые песни земли не касались его слуха, он блаженно улыбался. Но мы тоже быст-

ро оправились от смущения, нам нечего было огорчаться равнодушием местных читателей, которых «Международная книга» решила почему-то угостить трудами по крупноблочному строительству и насущной проблеме вечной мерзлоты...

* * *

Праздник в честь окончания рамадана в Кано — самое нарядное зрелище, которым может угостить ислам. Со всего Канского эмирата съехались пышно разодетые вожди разных племен, иные со свитой, иные в одиночку, на великолепных арабских скакунах. Вершина церемонии — речь, которую произносит на гигантской городской площади перед мечетью в окружении многотысячной толпы мусульманский глава — эмир.

Мы прибыли на площадь за час до начала церемонии и были проведены на правительственную трибуну, имевшую скорее вид балкона. Здесь под полотняным тентом стояли разномастные кресла с фамилиями членов правительства провинции Кано и несколько плетеных стульев без фамилий.

Завывали, надрывались карнаи. Ряд за рядом, сдерживая рвущихся вскачь коней, появлялись роскошные — золотые, серебряные, изумрудные, аметистовые, рубиновые — всадники в чалмах с перьями жар-птицы, саблями в ножнах, усыпанных драгоценными камнями, — сверкающие, блистающие, рассылающие во все стороны слепящих «зайчиков». Ударили резкие, короткие выстрелы, пополз пороховой дымок — стреляли из старинных пищалей.

Утомленные глаза потеряли способность к разделённому восприятию всадников, кортеж казался гигантской гусеницей, без устали наращивающей свое пестрое членистое тело.

Еще неистовей завывали карнаи, затрещали трещотки, забили тамтамы, высокий стон прокатился по толпе. Тело гусеницы оборвалось, но пустоту заполнил рослый белый верблюд, покрытый нарядной кошмой. Плавно покачивая шей, увенчанной маленькой надменной головой, верблюд проплыл сквозь серебристую пыль, а следом за ним на площадь вступил белый конь, ведомый под уздцы четырьмя нарядными служителями, еще двое шли у золотого стремени и двое — у задней луки седла, на котором под гигантским зонтом восседал в легких серебристых одеждах и золотой чалме эмир Альхаджи Байеро.

Часть церемонии разыгралась под нашим балконом. Эмир подъехал сюда, служители сняли его с лошади, оправили на нем воздушные одежды, будто на невесте перед венцом. Он чуть откинул желтый шелковый платок, скрывавший его рот и подбородок, и мы с удивлением обнаружили, что эмир совсем молод и ни малейшего благолепия нет на его худощавом, смешливом мальчишеском лице.

Губернатор Бако приветствовал эмира и представил ему собравшихся к тому времени министров.

Снова подали голос карнаи. Служители плотным кольцом окружили эмира, скрыв от посторонних глаз, даже от наших, хотя мы смотрели сверху, и мне почудилось, что его расклюют там, как белую хрупкую птицу. Но нет, они лишь поправили что-то в его нежном одеянии, сменили на нем обувь, затем ловко вскинули в седло. Под ликующие крики и завывание труб эмир направился к священному дереву перед мечетью и произнес там положенную речь. К сожалению, мы ничего не слышали, площадь не была радиофицирована.

А на другой день были скачки. Особые скачки. Там не разыгрывались призы и даже не мерились силами. Надо было проскакать через площадь во всем великолепии своего наряда и осадить коня перед эмиром. Скачкам предшествовала церемония появления эмира с карнаями, пальбой из пищалей, с конницей, белым верблюдом, служителями в колпаках с ослиными ушами.

Всадники были хоть куда. Все они с равным искусством проделывали короткий, но сложный маневр: разогнавшись до бешеного галопа, они на всем скаку окаменевали перед эмиром. Случалось, что кони чуть ли не садились на хвост, но лишь один всадник оплошал — потерял стремя и рухнул на землю. К нему кинулись служители, помогли подняться. Он был как ватный в их руках. Его огорчение понять легко: весь

год готовиться к этой скачке, школить коня, тратиться на дорогой затейливый наряд, проделывать огромный путь, терпеть голод и жажду — и в заветный миг опозориться перед эмиром, его свитой и всеми гражданами столицы эмирата. И еще знать, что дома ждут и верят: мол, не ударит наш посланец лицом в грязь, не посрамит соплеменников. Посрамил, ударил лицом пусть не в грязь, так в пыль...

Кончился месячный пост — рамадан, — когда от восхода до захода солнца нельзя съесть ни кусочка хлеба, ни земляного ореха, когда даже глотком воды ты не смеешь освежить пересохшее горло, а уж о пиве и думать забудь. А теперь ешь, пей, гуляй! И ели и пили во всех домах, во всех харчевнях, кафе, ресторанах.

Вечером к нам пожаловал с визитом английский писатель (writer) Джон Хэтч, специалист по Африке, серьезный, крепкий пятидесятилетний человек, хотя по виду ему и сорока не дашь. Мистер Хэтч никак не мог уяснить, что мы тут делаем. В Нигерию не ездят прогуляться, слишком далеко, дорого, да и небезопасно. Может, вы приехали по приглашению университета с лекциями? Или для участия в каком-нибудь симпозиуме, форуме, дискуссии? — допытывался он. Да нет, говорим, мы приехали как писатели. Хэтч недоуменно пожал плечами.

— Ну, а в каком качестве находитесь здесь вы? — спросили мы в свою очередь.

— Я буду писать о Нигерии.

— И мы будем писать, — сказал Кешоков.

— Так вы, значит, журналисты! — с облегчением сказал Хэтч.

— Ничего подобного!

— А что, кроме газетных корреспонденций, можете вы написать?

— Что касается меня, — сказал Кешоков, — то я действительно ограничусь газетным очерком. Впрочем, наверняка будут и стихи.

— Значит, вы поэт. Это другое дело.

— Ну, а вот Нагибин будет писать прозу.

— Простите, — улыбнулся Джон Хэтч с видом человека, согласного на розыгрыш, но если его убедят, что это будет остроумно. — Вы же сами сказали, что пробудете здесь только месяц. А что можно узнать за месяц?

— Надо уметь находить достаточно глубины на поверхности жизни, — сказал я. — На то мы и писатели.

— Я отдал Африке всю жизнь, — не принял моей шутки Джон Хэтч. — Я не впервые в Нигерии, но мне нужны еще годы и годы, чтобы написать об этой стране.

— Видите ли, вы скорее исследователь, чем писатель, — сказал Кешоков. — Вы социолог, этнограф, экономист, уж не знаю кто еще, но, по-нашему, вы не писатель.

— Вы ошибаетесь, — без всякого раздражения сказал Хэтч, — я-то как раз писатель. Вы, как я понял, поэт. Это не профессия, но говорят, вы член парламента. С вами все в порядке. Но ваш приятель для меня загадка. Нельзя писать на основе столь беглых впечатлений. Он не писатель.

— У него много книг, — обиделся за меня Кешоков. — Его у нас знают.

— По-видимому, он то, что называется «автор» (author), — раздумчиво сказал Хэтч. — Он пишет беллетристику. Это плод вымысла. Не путайте меня. У него нет и быть не может никаких нигерийских наблюдений, да они ему и не нужны, потому что он не писатель. Вы интересуетесь футболом? — спросил он меня, очевидно желая подбодрить разоблаченного, но, в общем-то, безвредного самозванца.

Мы поговорили о футболе и предстоящем мировом первенстве. Хэтч невысоко оценивал шансы английской сборной на сохранение чемпионского титула.

Наконец, утомившись, вышли в сад. Мы медленно шли мимо кустов чайных роз. Хэтч сорвал розу и с задумчиво-блаженным видом поднес к носу. Он стал громко вдыхать ее запах, чуть жмурясь от наслаждения.

— Как жалко, что эти цветы не пахнут, — заметил я.

Он оторопело глянул на меня:

— Что вы хотите сказать?

— Цветы в Нигерии лишены запахов. Ведь ваша роза не пахнет.

Он обескураженно поглядел на цветок и стал обнюхивать его со всех сторон. Он прямо-таки зарывался носом в лепестки.

— Черт возьми, может, это такой сорт? Я точно помню, что слышал здесь запах роз.

— Очевидно, куст был только привезен из Европы. Потом запах исчезает.

— Поразительно! — сказал Хэтч. — Я был убежден, что все тут так и благоухает!

— Знаете, — сказал я, — теперь мне понятна разница между «writer» и «author», и меня это вполне устраивает.

* * *

Перед отъездом из Кано нас принял эмир Альхаджи Байеро. Делая вид, что нас не проймешь никакими восточными чудесами, мы погрузились в мусульманское средневековье. Эмир был одет в те же легкие светлые одежды и золотую чалму, что и накануне, лишь ноги он обул во что-то напоминающее веера из страусовых перьев. Каждая туфля размером с кожаную арабскую подушку, заменяющую стул. Эмир недавно посетил Советский Союз во главе мусульманской делегации и был в восторге от нашего гостеприимства и веротерпимости. Вполне светский человек, в недавнем прошлом посол в Скандинавии, Байеро стал канским эмиром в результате переворота, свергнувшего его отца. Старый эмир пытался возродить традиционную светскую власть эмира, попробовал вести слишком самостоятельную политику, забыв правила игры. Нынешний эмир помнит их назубок...

* * *

Мы возвращались в Лагос по следам затухающего мусульманского праздника. И опять был долгий, долгий путь, а по обочинам трупы коров и трупы машин. На кузовах надписи — я почему-то не замечал их раньше: «Милосердие!», «Никому не дано знать, что будет завтра», «Все в руках божьих». Как видно, заклинания не помогают.

В Кадуне нас пригласило местное отделение Общества дружбы. Бедняге Гарбе крупно не повезло — он в это время трясся в жесточайшем приступе малярии.

Для своих занятий общество снимает большое деревянное строение, служащее и лекторием, и кинозалом, и танцплощадкой. В день нашей встречи там происходила свадьба. Гремела музыка, гости без устали танцевали: парень с девушкой, дети и почтенные матроны (лет за двадцать) с младенцем за спиной. Одеты все были по-разному: и в национальном, и в европейском, и в модных туалетах, и в шортах. Общими были безудержная веселость, благорасположение друг к другу, неутомимость в танцах и отсутствие позыва к спиртному. Подруги невесты обносили гостей оранжадом, соками, «севен ап», «биттер лаймон» и сладостями.

Пока молодые веселились, солидные люди собрались в саду под оранжевой чашей луны. Я никогда не видел такого количества женщин на нигерийских сборищах. Президент Общества нигерийско-советской дружбы, министр правительства Северо-Центрального штата Ибрагим Нок открыл вечер. Когда с официальной частью было покончено, Ибрагим Нок предложил присутствующим задавать нам вопросы про «нашу советскую жизнь». Тут же вверх потянулись десятки рук, заставив дружно шарахнуть летучих собак, но нам не пришлось и рта открыть. С юношеской прытью со скамейки вскочил почтенный старец, заместитель Нока по кадунскому отделению общества, и зычно крикнул:

— Не докучайте гостям! Я сам расскажу вам все про Советский Союз, откуда вернулся неделю назад. У меня самые последние сведения!

Кто-то засмеялся, многие захлопали.

— Да, я был в Советском Союзе с моими братьями по вере, — продолжал он звучным голосом пророка. — Мы прилетели в Москву, нас замечательно встретили и накормили вкусной пищей... Потом нас посадили в большой поезд и каждому отвели по отдельному номеру, совсем как в гостинице. В Ленинграде нас тоже замечательно встретили, среди встречавших было много мусульман, и повезли в мечеть, такую большую и красивую, что лучше и не бывает, разве только в Бухаре и Самарканде. Накормили нас тут не хуже, чем в Москве...

В таком духе он продолжал свой рассказ, и описания дворцов, исторических памятников, мечетей, богослужений и примеров дружеского обхождения чередовались

с перечислением блюд... По правде сказать, мне такое изложение путевых впечатлений представляется наиболее правдивым и дельным, хотя сам я на это не отваживаюсь. Еще И. А. Гончаров сделал открытие, что в путешествии едва ли не самое интересное — еда. И он не скупится на описание трапез в своей превосходной книге «Фрегат «Паллада». Это очень верно: в путешествии всегда хочется есть и всегда томит некоторая неуверенность в насыщении, кроме того, в еде, в том, как ее готовят, подают и поглощают, открывается очень многое в культуре и быте страны.

Старик рассказывал, а впечатлительные слушатели охали, ахали, хлопали в ладоши...

...Вначале я принял это за термитники, потом за останки термитников. Так бывает после бомбежки: глядишь, вроде дом уцелел, а на деле один фасад, за которым пустота. Но вскоре я отказался от этой мысли: термитники стоят наособь, а тут красные латеритовые образования идут сплошняком, образуя нечто вроде изгороди. Лагос уже недалеко, но мы свернули в сторону, проехали городок Ошогбо и оказались на прямой неширокой дороге, вдоль которой по левую руку тянется красное застылое латеритовое пламя. Но вот языки пламени взмыли кверху и, сочетавшись с языками встречного пламени, образовали словно бы арку. Наваждение естественности кончилось, отчетливо видишь печать человека, его воображения и рук. Входим в ворота и под уклон по утоптанной тропке спускаемся к невысокой глиняной ограде. Что там — деревенька? Проникаем за ограду. Под громадными деревьями с корнями наружу стоит приземистое квадратное строение, напоминающее старинные русские торговые ряды: круглые глиняные столбы образуют галерею, крыша плоская, соломенная. Там ни души. У комля высоченной секвойи приютился красный истукан, вокруг изгнивала банановая кожура, плоды манго. Все ясно — божок и приношения верующих, мы в языческой молельне. И тут, как принято говорить, дабы скрыть словесное бессилие, «будто спала завеса с глаз». Почти под каждым деревом обитало какое-нибудь страшновато-уютное божество. Из дерева, глины, каменистой породы. Вот нечто сродни человекообразной обезьяне баюкает младенца — истукан тревожно удивляет сходством с христианским символом: божья мать и младенец Иисус. А вот нечто несусветное: и гад, и птица, и зверь лесной в одном образе. А у тихой, почти недвижной реки — деревья купают в ней свои ветви — схоронилась нежить африканских вод — низ человеческий, голова рыба... Дальше каменистый срез оврага испещрен наскальной живописью — наивной и страшной. И так тихо здесь, так заброшенно!

...В Австрии жила молодая скульпторша Сусанна Вейнджер, увлеченная ультра-левым искусством. Все существующее искусство казалось ей вчерашним днем, сегодняшним может быть лишь завтрашнее, которое она ощущала в кончиках своих тонких, нервных и сильных пальцев. Сусанна познакомилась с западногерманским писателем-социологом Улли Байером. Его рассказы об Африке покорили впечатлительную девушку, ей представилось, что пробуждающийся Черный континент — духовная целина, наиболее пригодная для того, чтобы дать жизнь ее дерзким идеям. Сусанна стала женой Байера. Они поехали в Нигерию. На территории этой страны в пору средневековья существовала высокая цивилизация с удивительным искусством, предвосхитившим многие позднейшие искания. Древние скульпторы решались изображать гипертрофированные части тела больного слоновой болезнью отдельно от человека, и это создавало феноменальный эффект мук от непосильной тяжести собственной и будто чужой плоти. Они заглядывали в такие темные, потайные углы человеческого сознания, какие не снились Сальвадору Дали.

Вейнджер поселилась в маленьком городке Ошогбо. Она изучала народное искусство и окружающую жизнь, пока сама не стала частицей этой жизни. И все же она не подозревала, насколько покорила ее Африка. Она создала языческую молельню как дерзкую, своевольную стилизацию, несущую сегодняшние идеи. Но люди приняли созданное ею как должное и превратили в культовое место. Они стали поклоняться божкам Сусанны Вейнджер, носить им апельсины, бананы, овощи. Не то чтобы они дали обмануть себя внешним сходством искусства Вейнджер с привычными им формами, тут обман невозможен и никакая подделка не пройдет. Это их национальное искусство,

древняя культура Нигерии, духи Африки подчинили Сусанну Вейнджер, растворили в своей стихии, сделали послушной служительницей.

И осознав, что с ней произошло, Вейнджер перестала сопротивляться. Она оставила своего красивого, умного мужа со всеми его книгами и теориями и стала второй женой тамтамшика из Ошогбо.

Когда по дороге назад мы проезжали Ошогбо, мимо нас возле базара прошла очень худая, очень темная, будто прокопченная женщина, небрежно завернутая в цветастую тряпку, оставлявшую открытыми длинные плоские груди. Это была Сусанна Вейнджер. Труды Улли Байера мы видели почти во всех книжных магазинах. На фотографиях он моложав, энергичен, с пронзительными глазами и чистым лбом.

Каждое место, каждый период жизни окрашены преобладающим воспоминанием, причем не обязательно самым важным, а самым едким. От Лагоса до Кано было множество интересных встреч, кратких сближений с необыкновенными, самобытными людьми, но доминирует надо всем красная дорога, красная пыль — в глазах, на коже, на зубах. От Кано осталась яркая мельтешня праздника и силуэт коня. Лагос вспоминается лицами, они застыли живописный и крайне своеобразный город с его лагунами, сокрушительными закатами, когда солнце тонет в океане, а в небе — который раз! — гибнет Помпея.

И одним из первых всплывает в памяти крупное, твердое, черное лицо скульптора Бена Энвонву. Когда начались недоброй памяти события братоубийственной войны, Энвонву увез на восток свои скульптуры, холсты, а сам уехал с семьей в Англию, где ему предоставили мастерскую и все возможности для работы, кроме одной — творческого состояния, но этого не получишь со стороны. Энвонву нужна цельная и независимая Нигерия, великая африканская страна с великой исторической перспективой. И он не колеблясь принял предложение федерального правительства вернуться в Лагос и занять пост главного советника по культуре. По возвращении он узнал, что все его произведения погибли от бомбы...

Сейчас у него большой красивый дом, служащий и жильем и мастерской, обширный сад, преданные помощники. Случайно, а может, закономерно в окружении Энвонву «целый интернационал», как он сам выражается: дагомеец, тоголезец, нигериец-иоруба, нигериец-ибо... Энвонву кажется, что дом его пуст, хотя нет недостатка в удобной мебели, красивой утвари, произведениях искусства, хотя с утра до позднего вечера он заполнен дыханием людей: товарищей, поклонников, приезжих визитеров, поставщиков дерева и камня. Он пуст потому, что нет здесь его скульптур. Сильный, кряжистый человек с плечевым поясом и руками молотобойца живет, пересиливая изо дня в день нестерпимую печаль. Это уже второй этап борьбы за себя, в первом он поборол отчаяние. Сейчас Энвонву вработывается в жизнь, в себя прежнего, в творчество. Все очень непросто. Он пишет пейзажи, не придавая им большого художественного значения, но ему сладко изображать небо, деревья, закаты, реки Нигерии. Этого требует обостренное чувство родины. Мне думается, он справедливо строг в оценке этих пейзажей, они слишком красивы, одинаковы и способны потрафить невзыскательному вкусу. Скульптор же Энвонву всегда разный, всегда новый, неожиданный, отнюдь не красивый в общеупотребительном смысле слова и далеко не на всякий вкус. Его признали народ и время, но обыватели не слишком жалуют. Хвалить-то, конечно, хвалят, но сквозь зубы. Он то тревожен, то нежен, то яростно груб, он не выжидает в прихожей эпохи, а идет напролом. Его творчеством Нигерия звонко и трубно влетает свою ноту в мировую многоголосицу. Да, мы такие, говорит Энвонву, — губастые, зубастые, с длинными руками, с большими ступнями, с тайной в стрельчатых глазах, мы не стремимся ни на кого походить, сильные и слабые, добрые и жестокие, любящие и ненавидящие, мы не бедные родственники человечества, а равные на земном пиру.

Сейчас Энвонву работает над несколькими большими скульптурами, это обобщенные образы африканских женщин. Не связанные с бытом и повседневностью, они побуждают к размышлению. Энвонву прежде всего скульптор-философ. Он выбирает самые твердые сорта дерева. Ему нужно прямое сопротивление материала, чтоб возбуждалась творческая сила, вырывалась душа из расслабляющей печали и чтоб уставало

тело к исходу дня, как у каменотеса или грузчика. Инструменты, которыми он работает, это здоровенное долото и молот под стать кузнечному. Мощные удары отщепляют крошечные кусочки дерева, и кажется, что мастер взял на себя непосильный труд. Но это не так, в мастерской стоит несколько почти завершенных фигур. Значительные и глубокие символы рождает горькая, но устоявшая душа скульптора...

* * *

Джона Пепера Кларка, профессора английской литературы, мы застали в его кабинете в Лагосском университете. Маленький смеющийся человек в клетчатой рубашке детским чертиком выпрыгнул из-за очень большого письменного стола, заваленного книгами и бумагами, и повис на шее Виктора Рамзеса. Несколько минут длились объятия, похлопывание, радостные вопли, смех. Они подружились в Москве года два назад — Джон Пепер Кларк был гостем Союза писателей СССР.

Кстати, его зовут просто Джон, а Пепер — кличка, вошедшая в поэтическое имя Кларка, потому что оно точно выражало жгучую сущность его стихов и его личности и даже его бытовое поведение: дерзкое, битнически-независимое, пробиравшее порой собеседника как перцем.

Междоусобная война, гибель товарищей, работа в университете, возмужание души — все это смыло с Кларка накипь битничества, богемы. Он научился тишине, глубокому размышлению и переживанию. Прежний забияка Кларк не мог бы редактировать «Черного Орфея», едва ли не самый значительный литературный журнал в Африке, — нынешний Кларк вполне на месте у его кормила. И все, что делает нынешний Кларк, было бы тому, прежнему, не по плечу...

* * *

В начале прошлого века корабль «Мэйфлауэр» доставил на берег Либерии первую партию американских негров, отпущенных на волю своими хозяевами. Они вернулись на землю отцов, чтобы начать здесь жизнь свободных людей. Это не было тем великим исходом, о котором писал Рэй Брэдбери в одном из своих рассказов, когда все до единого негры Америки покинули страну, так и не ставшую им родиной, чтобы переселиться на другую планету. И хотя с пассажирами «Мэйфлауэр» все получилось далеко не так идиллически просто, как им мечталось, название корабля стало для негров символом надежды на лучшее будущее. Причем не в загробной жизни, а здесь, на грешной земле. Видимо, потому Таи Соларин, нигерийский Макаренко, и назвал «Мэйфлауэр» свою школу-интернат, созданную еще в пору английского владычества. Уповая на людей, на их труд, а не на всевышнего, он в пору засилия миссионерских школ, стремившихся первым делом привить ученикам смирение перед богом белых, создал безбожную школу.

Конечно, ему пришлось не сладко. Школа держалась на энтузиазме немногочисленных его сподвижников и нечастых пожертвованиях благодетелей. Многие годы ни сам директор, ни его жена, возглавляющая младшее отделение, не получали ни полушки. Плата, поступавшая за учение, составляла заработный фонд школьных преподавателей. Помощник директора по хозяйственной части, его бывший учитель швейцарец Ганс, на чьих старых, но еще крепких плечах лежат все уголья школьной фермы, тоже обходился без зарплаты.

Эта ферма помогла супругам Соларин продержаться трудные годы и не пойти по миру. Благодатный климат избавлял их от заботы об одежде (шорты и рубашка — мужу, клочок ткани — жене), а также о жилье (соломенная крыша и гамак — вот их дом). А то, что нужно для поддержания брэнной плоти, растет в земле и на деревьях. Но школа жила, набирала силы, завоевывала все большую популярность, она выпускала молодежь более образованной и лучше подготовленной к жизни, чем другие школы.

Федеральное правительство Нигерии взяло «Мэйфлауэр» на дотацию, установило высокий оклад директору. Правда, бывает, что жалованье задерживается, но когда оно поступает, Таи Соларин не берет себе ни цента. Все так же щеголяет знаменитый педагог в старых, выгоревших шортах, застиранной рубашке и сандалетах.

Чтоб повидаться с Таи Соларином, нам пришлось совершить небольшое путешествие: «Мэйфлауэр» находится за городом Икене, милях в пятидесяти от Лагоса.

Подобно Макаренко, Соларин решающее воспитательное значение придает труду, но учатся в его школе-интернате не бездомные дети и не правонарушители. Порой Соларин берет к себе ребят, от которых отказались другие школы, но это исключение, не правило.

У школы своя плантация цитрусовых, большой участок под ананасами, какао-деревья, кокосовые и масличные пальмы, земля под ямсом, бататами, маниокой, огороды, молочная и свиная фермы, крольчатник и птичник. На этом небольшом, но высокопродуктивном хозяйстве держится интернат — ведь надо кормить учеников, преподавателей, обслуживающий персонал. Последний невелик, почти все работы выполняют ученики под руководством старого агронома Генеа. Даже во время каникул — а мы попали в «Мэйфлауэр» как раз в каникулярное время — несколько учеников остаются в интернате для ухода за животными. У школы свои сельскохозяйственные машины, трактор и грузовик.

Нам понадобилось полдня, чтобы бегло, поверхностно ознакомиться со школой: классами, рекреационным залом, дортуарами, администрацией, фермами, зооуголком, мастерскими. Жилые помещения кишат ящерицами: серыми самочками и ярко расцвеченными самцами — черная блестящая спинка, киноварные голова и хвост. Соларин называет ящериц «неоценимыми помощниками»: никакой подметальщик не сравнится с ящерицей, та своим острым быстрым язычком подберет каждую соринку, порошок, крошку и табачинку, слизнет и окурок.

Маленькие кладовки при дортуаре старшеклассников набиты самодельными светильниками. Ребята изготавливают их из разных материалов, чтобы заниматься ночью, когда выключают свет. И хотя намерения у них самые благородные, светильники безжалостно конфискуются: ночью надо спать.

После вкусного обеда мы сидели в старых шезлонгах и беседовали о судьбе и перспективах «Мэйфлауэр». Разговор зашел о правилах духовной свободы, принятых в стенах школы.

— Мой символ веры — безверие, — смеясь, говорил Соларин. — Для меня все религии одинаково неприемлемы — что христианство, что ислам, что язычество, что буддизм. Им всем грош цена, потому что бога нет и не надо. Человек сам бог, а ему не требуются ни молитвы, ни кадене, ни прочая чепуха. Служителей бога мы не пускаем на порог, хотя среди миссионеров попадаются иной раз неплохие, честные люди в простом, житейском смысле слова. Наш старик агроном начинал, кстати, как миссионер, но преуспел в компосте куда больше, чем в проповеди слова божьего. В «Мэйфлауэр» нет ни урока закона божьего, ни обязательной для всех нигерийских школ утренней молитвы. Правда, есть пять минут внутреннего уединения. Если ты верующий, читай про себя молитвы, но не докучай другим своим благочестием. Если же ты духовно здоровый человек, то соберись с мыслями, повтори про себя урок, вспомни о родителях, загляни в собственную душу или продолжай думать о девчонках, чем ты, наверное, занимался с самого пробуждения. Несомненно, поначалу безбожие вредило школе: благотворителям неохота было раскошелиться на погрязший в неверии вертеп. Но мы выстояли, и теперь наша антирелигиозность скорее приманка, чем жупел. Да, наши жертвователи смирились. Интереснее вкладывать деньги в то, что растет и развивается, а не тлеет оплавком церковной свечи... Ты опять?..

Последнее относилось к стройному, изящному юноше лет девятнадцати в светлом костюме и модном галстуке. Юноша низко поклонился директору, затем его гостям и сказал печальным полусшепотом:

— Сестра хочет услышать отказ из ваших уст, учитель!

— Надо же! — Соларин с досадой хлопнул себя по голой ляжке.

Он сидел, развалившись в шезлонге — свобода и удобство позы здесь не считаются вызовом приличиям, — в старых шортах, расстегнутой на груди рубашке и казался босяком рядом с юным просителем.

Робко, хотя и с обычным для нигерийцев достоинством, подошла девушка в голубом платье, тесно, как вторая кожа, облегающем ее сильное, упругое тело; короткие

жесткие волосы светлыми прогалинками разделены на ромбы, по углам ромбов — проволочно тугой завиток сантиметра три длиной. Она молча поклонилась и опустила длинные ресницы на заплаканные глаза.

— Брат передал тебе, что у нас нет мест? Ну, чего ты еще хочешь?

Ресницы поднялись, открыв каре-золотистые колечки райка, покрасневшие белки, и снова опустились.

— Вот чудачка! — в сердцах сказал Таи Соларин. — Знают же, что нет мест, а все равно идут... Ты в последний перешла? Училась хорошо?

Брат почтительно протянул директору табель сестры.

— Молодец! Сплошь семьдесят, восемьдесят. А по химии даже девяносто. Ты хочешь стать химиком?

— Биохимиком, — пролепетала девушка.

Брат пояснил, что ей хочется учиться в «Мэйфлауэр», потому что здесь преподавание связывается с практикой.

— Полятно. — Таи Соларин вздохнул. — Но нет мест, нет!

— Разрешите мне сказать слово! — послышался гортанный голос Алима Кешокова, и Виктор Рамзес, будто сработал фотоэлемент, сразу начал переводить. — Мы не осмеливаемся посягать на священные права главы этого лицея, но да позволено будет гостю обратиться с просьбой. Не часто советские люди бывают в Нигерии и не часто посещают «Мэйфлауэр». Пусть же день, когда мы встретились, когда завязалось наше знакомство, нет — дружба, останется добром в сердце этой девушки и ее заботливого брата, в сердце каждого из нас...

Это была лучшая речь Алима, а я наслушался их достаточно. Странное дело, едва Алим заговорил, на лице брата появилось благодарное и счастливое выражение. А сестра так и не подняла прилипших к щекам ресниц.

— Благодарите советских товарищей, — просто сказал Таи Соларин брату и сестре. Он именно так выразился: «товарищей».

— Thank's! — прошептала девушка и сразу пошла, но мне никогда не забыть выражения, с каким было произнесено это короткое слово.

Только ушла девушка, появился дородный, хорошо одетый пожилой человек с умным печальным лицом. Он величественно приблизился, с достоинством поклонился нам и рухнул к голым ногам директора.

— Встаньте! — сердито крикнул Соларин. — Я этого терпеть не могу!

Человек неторопливо поднялся. Он был отцом ученика, подлежащего исключению за недисциплинированность. Парень все время удирает в город, что строжайше запрещено правилами школы. Мы решили было, что юный повеса, томимый проснувшейся взрослостью, пьет там пальмовое вино и бегаёт за девчонками. Ничуть не бывало: просто слоняется по улицам, покупает дешевую еду на базаре, слушает шум городской жизни. Парень очень способный, но учился все время кое-как и лишь последние экзамены, уже находясь под угрозой исключения, сдал успешно. Это вовсе не умиляет директора, скорее наоборот. Старший брат провинившегося ученика окончил в нынешнем году школу так блистательно, что один из профессоров «Мэйфлауэр» отправил его на свой счет в Америку для поступления в университет. Отцу мальчика, фермеру средней руки, это было бы не под силу. Юноша успел и там отличиться, он получил стипендию, и теперь его студенческое будущее обеспечено. О нем даже в газетах написали. Таи Соларин заставил юного преступника прочесть вслух восторженную заметку о его брате, что тот исполнил с видимым удовольствием и прекрасным английским произношением.

— Твой брат человек, — сказал Соларин, — а ты шалопаи! И ты не держишь слова, это хуже всего. Отец работает от зари до зари, чтобы дать тебе образование, а ты плюешь на его заботу...

Тут старик снова сделал попытку распластаться на земле, но Таи Соларин остановил его властным жестом. Мальчишка что-то тихо сказал, в нем не чувствовалось ни раскаяния, ни подавленности, лишь жалость к отцу, которому приходится унижаться. А мальчишка что надо: тонкий, гибкий, с вишневыми ласковыми глазами. Был в них свет человека, и свет этот зажжен, конечно, в «Мэйфлауэр». Счастлив Таи Соларин,

имеющий таких нарушителей! Видимо, сходные мысли посетили и Алима Кешокова, и он вторично выступил ходатаем перед директором.

— Дай слово нам всем,— сказал он мальчику,— что ты станешь достойным старшего брата, и мы попросим директора оставить тебя в школе... Отца бы хоть пожалел, эх ты!

У мальчишки дрогнули красиво очерченные темные губы.

— Не могу отказать гостям,— сухо вато сказал Таи Соларин.— Но имей в виду — до первого нарушения. И тогда вон!

— Спасибо, учитель,— сказал мальчик.— Я вас не подведу.

Когда мы уже расставались с «Мэйфлауэр», мальчишка появился вновь.

— Как быть, учитель: отец привез манго для ваших гостей.

— Пусть сгрузит у кладовой,— сказал Соларин и, предупреждая наши возражения, пояснил: — Он не поймет отказа и смертельно обидится. Сын передаст, что вы приняли и благодарите, а мы отдадим плоды в столовую.

...Не шелковы и не алы паруса «Мэйфлауэр». На них следы штормов и бурь, на них соль морей и грубые заплата, но они туги и примчивы к ветру. Счастливого плавания!..

* * *

От Таи Соларина мы поехали в загородную резиденцию заместителя главы правительства, министра финансов Аволово. Чиф Аволово — второе лицо в государстве по занимаемому положению и популярности в народе. Аволово не только государственный деятель — он философ, мыслитель, его труды переведены на многие языки, в том числе и на русский. Будущее Африки Аволово видит в социализме, хотя социализм его несколько отдаст мистицизмом.

Дворец стоит посреди парка. Тут много разных служб, лоботрясничавшей дворни и детей. У Аволово находились фермеры, недавно совершившие поездку в Советский Союз.

— Мы говорили о колхозах,— были первые слова министра, когда наше знакомство состоялось.— Они кое-что позаимствовали у вас.

Оказывается, фермеры позаимствовали коллективную обработку обобществленной земли с последующим распределением доходов по трудодням. Аволово очень интересуется их начин, он не исключает, что Нигерия будет решать проблему сельского хозяйства по пути кооперирования, а может, и коллективизации.

Алим Кешоков с коварством, которого я в нем не подозревал, сказал, что я сельский писатель. Чиф вцепился в меня мертвой хваткой. По счастью, я внимательно читал материалы съезда колхозников, закончившегося в канун нашего отлета в Нигерию. Аволово интересовало буквально все: новый примерный Устав колхоза и чем он отличается от прежнего, что значит предоставление большей самостоятельности артелям и как распределяется прибыль, за счет чего строится и развивается коллективное хозяйство, размер пенсий колхозникам...

И снова я испытывал странное удивленно-взволнованное чувство: «за тысячи верст от родимого дома», в сказочном дворце, где за окнами фаянсовая лазурь небес и зелень манговых деревьев и летают райские птицы, а по залам бесшумно скользят слуги в шелковых одеждах, будто на гумне или на завалинке в рязанской глубинке, звучат слова «трудодень», «неделимый фонд», «бригада», «предколхоза»...

...А потом был прощальный прием в посольстве, и эмир Альхаджи Байеро, приехавший пожелать нам доброго пути, и вручение нам национальной нигерийской одежды и чудесных женских головок из эбенового дерева, и прощание с океаном, и самолетный трап, и милые лица провожающих, и печаль, служащая залогом долгой памяти...



НЕУЖЕЛИ ЭТО НАУКА?

Журнал «Славянское и восточноевропейское обозрение» — орган одного из институтов, действующих при Лондонском университете. Выпускает его (с 1970 года) издательство другого, не менее почтенного университета — Кембриджского. «Обозрение» выходит уже несколько десятков лет, в июле 1970 года появился № 112. Оно, очевидно, не имеет недостатка в читателях: с нынешнего года журнал стал выходить ежеквартально (до 1969 года — раз в полугодие).

Время от времени в журнале появляются серьезные статьи преимущественно на лингвистические темы. Так, июльская книжка журнала за 1970 год открывается содержательной статьей английского ученого Л. К. С. ле Флеминга «Структурная роль языка в поздних рассказах Чехова». В 1968—1969 годах журнал опубликовал обстоятельное исследование Г. Лиминга «Русские слова в английских источниках XVI века».

К сожалению, лицо журнала определяют не такие материалы, а статьи и заметки, проникнутые духом антисоветизма и антикоммунизма.

Тематика журнала в основном историко-филологическая, и в апрельской книжке 1970 года центральное место занимает, пожалуй, статья канадского слависта доцента Р. Томсона «Маяковский и образ времени в его творчестве».

Не стану утверждать, что статья эта содержит какие-либо нападки на поэта революции. Нет, Р. Томсон готов, так сказать, амнистировать В. Маяковского, простить ему революционные «увлечения», лишь бы очернить самое революцию. А так как произведения В. Маяковского не дают к тому ни повода, ни основания, г-н Томсон переписывает их по-своему, широко используя такое испытанное орудие литературного творчества, как обыкновенные ножницы.

«Первые признаки разочарования Маяковского в будущем,— читаем мы в его статье,— появились с принятием новой экономической политики в 1921 г. До этого он имел возможность отождествлять собственную мифологию времени с марксизмом (в юности он был членом партии большевиков)... Но ему было куда труднее принять нэп, который Ленин оправдывал как тактическое отступление... Хотя в своих пропагандистских поэмах тех лет он продолжал слепо придерживаться официальной линии в произведениях, носящих более личный характер, поэт открыто выражает свои сомнения».

В качестве примера Р. Томсон ссылается на известное стихотворение «О дряни» и приводит из него следующие строки:

Утихомирились бури революционных лон.
Подернулась тиной советская мешанина¹.

Как видно из статьи, автор пользовался Полным собранием сочинений В. В. Маяковского издания 1955—1961 годов. Следовательно, Р. Томсон знаком с примечанием к стихотворению «О дряни» и знает, что писалось оно в 1920—1921 годах, а впервые опубликовано в апрельской книжке журнала «Бов» за 1921 год. Поэтому, приурочив стихотворение к эпохе нэпа, он пустился на сознательную фальсификацию.

¹ В. Маяковский. Полное собрание сочинений, т. 2, М. 1956, стр. 73.

Прибегнув к тому же недостойному приему. Р. Томсон оборвал цитату таким образом, чтобы читателю было не понятно, в кого же именно метит сатира Маяковского, кто та дрянь, на которую он ополчается. И это, конечно, не случайно, ибо в строках, непосредственно следующих за приведенной Р. Томсоном цитатой, дается совершенно недвусмысленный ответ на вопрос о том, что имел в виду поэт:

И вылезло
из-за спины РСФСР
мурло
мещанина ¹.

Таким образом, мишенью, в которую были направлены сатирические стрелы Маяковского, была не новая экономическая политика Ленина, Коммунистической партии и советской власти, а антисоветское в своей сущности мещанство, которое он беспощадно клеймил и разоблачал и в стихотворении «О дряни», и в других своих произведениях. Это, разумеется, известно и Р. Томсону.

От стихотворения «О дряни» Р. Томсон переходит к поэме «Выволакивайте будущее!».

«Он (Маяковский.— В. Г.),— пишет канадский славист,—не мог больше верить, как прежде, что будущее сомкнется с настоящим. В одной из своих поэм он выражает опасение, что будущее может ускользнуть, словно рыба... Заголовок поэмы «Выволакивайте будущее!» сам по себе выражает новое и почти враждебное отношение к будущему» (то есть к коммунизму! — В. Г.).

В доказательство этого утверждения Р. Томсона в статье приводятся строки:

Будущее
 не придет само,
если
 не примем мер.
За жабры его,— комсомол!
За хвост его,— пионер ².

И здесь повторен уже описанный прием: цитата преднамеренно оборвана потому, что следующие строки прямо опровергают выводы автора статьи. Энергичные, полные оптимизма строки, которые скрыл Р. Томсон от читателя, зовут к повседневной, деловой борьбе за коммунистическое будущее:

Коммуна
 не сказочная принцесса,
чтоб о ней
 мечтать по ночам.
Рассчитай,
 обдумай,
 нацелься —
и иди
 хоть по мелочам ³.

Характерно, что и это произведение В. Маяковского направлено против мещанской дряни, о чем критик по понятным причинам предпочел умолчать.

Вершиной критического вдохновения Р. Томсона являются, впрочем, рассуждения по поводу поэмы «Рабочим Курска», которая, по его словам, «открывается удручающим изображением застоя современного коммунизма». Вывод этот делается на основании цитаты:

Было:
 социализм —
 восторженное слово!..
Стало:
 коммунизм —
 обычайшее дело ⁴.

¹ В. Маяковский. Полное собрание сочинений, т. 2, стр. 73.

² Там же, т. 6, М. 1957, стр. 129.

³ Там же.

⁴ Там же, т. 5, М. 1957, стр. 151.

Одному г-ну Томсону известно, почему переход от слов (пусть самых восторженных) к делу надо рассматривать как признак застоя.

Знаменательно также, что, рассуждая об этой поэме, автор статьи весьма удачно «отредактировал» ее название, сократив до нужных ему размеров. Ибо в оригинале вслед за словами «Рабочим Курска» следует: «добывшим железную руду». И далее: «Временный памятник работы Владимира Маяковского».

Достаточно бегло ознакомиться с этой поэмой, чтобы удостовериться, что она — вдохновенная ода героическому труду советских рудокопов, приступивших в труднейших условиях к освоению Курской магнитной аномалии. И поэма не случайно заканчивается словами, прославляющими героев труда.

Но Томсона эта тема, естественно, не увлекает, он поглощен собственными мыслями, которые упорно навязывает В. В. Маяковскому.

Если б
коммунизму
жить
осталось
только нынче,
мы
вообще бы
перестали жить¹,—

цитирует он, а затем «поясняет»: «Коммунизм — дело будущего и его нельзя смешивать с нашим нынешним опытом; думая иначе, можно дойти до самоубийства».

Р. Томсон прекрасно владеет русским языком и, разумеется, усвоил простой и доходчивый смысл стиха: советский человек не может жить без борьбы за коммунизм. Томсоновское же ложное толкование явно рассчитано на то, чтобы ввести читателя в заблуждение.

Это явствует и из его трактовки названия — «Баня». Дав совершенно точный перевод этого слова на английский, Томсон сопровождает его следующим пояснением: «Традиционный символ отсталости и грязи». А мы-то воображали в простоте душевной, что «баня» — символ не грязи, а очищения от нее.

Р. Томсон сделал, впрочем, еще более удивительное открытие. «Разумеется, в большинстве своих поэм,— заявляет он,— Маяковский довольствуется повторением лояльных клише о революции, вроде того, что время на нашей стороне, революция и теперь — омолаживающая сила, Россия — страна молодости и т. п. Нет надобности рассматривать каждую из этих поэм, ибо они были, видимо, написаны по поэтической инерции и на свежем опыте. Более интересны отклонения от этого трафарета, и в одной, ничем другим не примечательной поэме имеются две строки, которые показывают, что в сознании Маяковского существовала полная неразбериха в вопросе о сущности того времени, когда он жил. Поэма была написана к 9-й годовщине революции и сводится в основном к механической перетасовке традиционных образов. Но затем мы натываемся на следующие строки...»

Что же это за строки, которые на весах Р. Томсона перевешивают «все сто томов партийных книжек» В. Маяковского? Читайте, слушайте:

Вырастает
времени мол,
день — волна,
не в силах противиться².

«Время здесь,— комментирует Р. Томсон,— это, конечно, будущее, отождествляемое со строительством коммунизма. Оно представлено неприступной крепостью, а повседневное времяпрепровождение — волной. Волна ударяется о мол, но не способна противиться; «противиться» есть термин оборонительный, а не наступательный».

¹ В. Маяковский. Полное собрание сочинений, т. 5, стр. 159.

² Там же, т. 7, М. 1958, стр. 233.

На место К. Рылеева здесь вполне можно поставить Байрона, погибшего в борьбе за свободу греков, а Александра I заменить британским правительством того времени. От этого реакционная сущность диатриб г-на Уокера нисколько не изменится, но приобретет более наглядный для английского читателя характер.

В журнале затрагивается и поэзия А. С. Пушкина. В статье «Писарев, Белинский и «Евгений Онегин» Дж. Форсайт по существу пытается внушить читателю, будто Пушкин был просто «великим стилистом», а содержание его произведений не имеет никакого значения.

Дж. Дончин, автор рецензии на выпущенную в Лондоне книгу Д. Магаршака «Биография Пушкина», идет еще дальше. Критикуя биографа, она утверждает, будто «роль царя в «устранении» поэта никогда не была доказана; не следует также, по его мнению, принимать слишком всерьез революционные, антицаристские и атеистические чувства Пушкина».

Подобные высказывания преследуют совершенно определенную политическую цель: оторвать советскую литературу от русской классической, представить ее революционное содержание чем-то искусственным, чужеродным.

Кстаги сказать, в небольшой рецензии Дж. Дончин раскрывается не только политическое лицо автора, но и степень ее эрудированности. Если бы она дала себе труд ознакомиться, скажем, с дневником императрицы, жены Николая I, расшифрованном всего несколько лет назад и затем опубликованном в «Новом мире», ей было бы много труднее выступать в роли адвоката царя и его ближайшего окружения.

Помещаемые в журнале статьи по истории нашей страны, как правило, посвящены дооктябрьскому периоду. Авторы сосредоточивают свое внимание на второстепенных вопросах: один из них потратил немало времени и сил на раскрытие всех обстоятельств брака сына королевы Виктории с русской царевной.

Статей по истории СССР после 1917 года очень немного, а те, что изредка появляются в журнале, отличаются открыто антисоветской направленностью, в жертву которой приносится даже элементарное уважение к собственной стране.

Так именно поступил А. Асчер в своем повествовании о попытках русских меньшевиков направить в нужное им русло политику первого лейбористского правительства Англии (1924).

Автор с явным сочувствием цитирует высказывания одного из лидеров меньшевизма (Абрамовича); этот белоэмигрант обвинил «Дэйли геральд», ежедневную газету лейбористской партии, в том, что она представляет собой «просто коммунистический орган», и «отверг утверждение британского правительства, что оно не имеет права вмешиваться во внутренние дела России».

Как видим, английский славист выступает в роли защитника «права» русских меньшевиков вмешиваться во внутренние дела Великобритании.

Американский ученый П. Кинез рассказал на страницах журнала о взаимоотношениях между деникинцами и грузинскими меньшевиками. Автор собрал большой и даже интересный материал. Но какие выводы он сделал? Статья проникнута сожалением по поводу того, что сторонам не удалось договориться между собой. «Учитывая ожесточенный характер гражданской войны, представляется вдвойне абсурдным, что белые не сосредоточили всех своих сил против смертельного врага», — с огорчением пишет Кинез и тут же допускает другое — тройне абсурдное — утверждение: «Руководители и солдаты белой армии (подчеркнуто мною.— В. Г.) хорошо знали, что для них нет места в большевистской России и что они борются за определенный образ жизни или просто за собственную жизнь».

Таким образом, если верить м-ру Кинезу, интересы белых генералов-помещиков и их солдат — в большинстве своем крестьян в солдатских шинелях — полностью совпали. К счастью, неграмотные и малограмотные солдаты белых армий разобрались в этом вопросе куда лучше, чем современный американский ученый, и это сыграло огромную роль в исходе гражданской войны.

Большое место в журнале занимают рецензии на книги по истории нашей страны. К сожалению, антисоветские выпады можно найти даже в материалах, казалось бы,

далеких от современности. Таковы рецензии Ю. Сентон-Уотсона на вышедшие в США и Англии книги о Победоносцеве и о политике России и Британии в Иране (1864—1914). Кстати, по мнению рецензента, британская политика в этой стране страдала одним пороком: она была «недостаточно империалистической».

В тех случаях, когда рецензенты затрагивают проблемы новейшей истории или истории КПСС и коммунистического движения в целом, пером их движет злоба. А злоба — плохой советчик. Так, рецензент Г. Ханак хвалит книгу Р. Левенталя о «распаде мирового коммунизма». Появилась его рецензия в начале 1969 года и после состоявшегося в том же году Международного совещания коммунистических и рабочих партий приобрела явно абсурдный характер.

Авторы некоторых рецензируемых книг (и отзывов об этих книгах) принимают желаемое за действительное. В журнале опубликована, например, вполне положительная рецензия на изданные в Детройте лекции, посвященные теме «Будущее коммунизма в Европе». Один из лекторов — К. Девлин — утешает себя, слушателей и читателей предсказаниями неминуемой победы ревизионизма в международном коммунистическом движении. Другой — А. Хорелик — усмотрел в Советском Союзе некий несуществующий «конфликт между государственным аппаратом и партией». Вот к каким самообольщениям приходится прибегать врагам Коммунистической партии и советской власти!

Рецензент А. Галай пишет о книге Г. Израэли, посвященной меньшевику Мартову, и вместе с автором прославляет своего героя. Впрочем, одно необоснованное обвинение они все же предъявляют ему: в 1917 году этот деятель будто бы недостаточно рьяно выступал против ленинского учения о партии!

В заключение несколько слов о рецензии, так сказать, отрицательного характера. Джон Кип громит западногерманского профессора Гейера Дитриха за книгу «Русская революция: исторические проблемы и перспективы». В чем же провинился этот вполне буржуазный ученый? Неуважительно отозвался об Учредилке, не поносил Ленина и советскую власть так, как этого хотелось бы г-ну Кипу.

Английская идиома «fair play» (честная игра) вошла во все языки мира. Однако игра, которую ведут антисоветчики и антикоммунисты на страницах английского научного журнала, представляет собой нечто прямо противоположное.

Игра эта вызывает не только возмущение, но и огорчение. Журнал, призванный служить делу культурного сближения народов, превращен в орудие злонамеренной и лживой пропаганды.

В. ГОЛАНТ.

Ленинград.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

НАУКА О ЛИТЕРАТУРЕ СЕГОДНЯ

Д. МАРКОВ,

член-корреспондент Академии наук СССР

★

ВСЕСТОРОННЕ ИССЛЕДОВАТЬ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ

За последние десять—пятнадцать лет в советском литературоведении наблюдается новый подъем — можно смело говорить о крупных завоеваниях литературоведческой мысли. В чем сущность этого нового?

Мы стали шире и глубже анализировать литературные факты и явления во всей их сложности. И хотя нельзя сказать, что у нас нет проявлений доктринерства и догматизма, науку в целом характеризует живая творческая мысль ученых, размах поисков и дерзаний, свободных от мертвящих схем и предвзятых формул. Резко возрос теоретический уровень наших исследований. Литературоведы все активнее идут к последовательно объективному раскрытию важнейших закономерностей художественного процесса. Уменьшилась описательность, бесхребетная фактографичность, увеличился удельный вес концепционных работ. И это факт значительный: ведь место ученого в науке определяется не числом исписанных им страниц, а научными идеями, обоснованными концепциями.

Все это в той или иной степени можно увидеть во многих исследованиях, посвященных различным историческим периодам развития национальных литератур — от древности до наших дней. Я остановлюсь на близкой мне области — буду говорить об изучении социалистических литератур. И, конечно, речь пойдет и о завоеваниях, и о нерешенных проблемах.

Место социалистических литератур в мировой литературе неоспоримо велико. И оно

становится все большим, ибо с этими литературами, несущими гуманизм нового мира, связана самая перспективная тенденция литературного развития современной эпохи. Не потому ли многие буржуазные литературоведы с поразительным старанием обходят или открыто принижают значение этих литератур? Тем острее встает задача перед марксистскими учеными — широко раскрывать то истинное место социалистических литератур, которое определил им объективный ход истории XX века.

Советское литературоведение сделало в этом плане немало. Довольно основательно, на мой взгляд, освещена проблема социально-исторической обусловленности возникновения и развития новых литератур. Наряду с работами по генезису социалистического реализма в русской литературе, в последние годы у нас появился ряд обобщающих работ, исследующих ту же проблематику на конкретном материале многих зарубежных литератур. В результате ясно показаны и специфика нового явления в разных странах, неравномерность его формирования, и в то же время непреложная закономерность его развития. Ученые сходятся в том, что движение к социалистическому реализму обусловлено логикой общественной действительности внутри каждой страны и представляет собой национальную тенденцию литературного процесса. Об этом именно говорит богатейший опыт различных национальных литератур. Глубоко прав был С. К. Нейман, когда говорил о национальных корнях социалистического реализ-

ма в чешской литературе, о том, что само название реализма нового типа было принято «исключительно вследствие принципов, которые намного старше, чем само это слово, принципов, за которые мы боролись на свой страх и риск из побуждений отечественного характера и отечественными средствами раньше, чем это слово возникло».

Важная область научных исследований — связи социалистических литератур, основанные на идеологической близости, на пролетарском интернационализме художников, представляющих эти литературы. Здесь больше всего сделано в плане изучения связей различных революционных литератур с советской литературой. Притом работу эту ведут не только советские ученые, но и наши коллеги из социалистических стран. Так, в Болгарии наряду с многочисленными историко-литературными и теоретическими статьями и книгами появилось трехтомное издание «Советская литература в Болгарии» — богатейшее собрание документов и других материалов. К сожалению, наши некоторые специалисты по советской литературе все еще крайне недостаточно освещают ее мировое значение, хотя для этого литературное движение XX века дает нам в руки множество ярких и в высшей степени убедительных фактов. Проблема связей, взаимодействия, творческих контактов социалистических литератур, включая и современный этап их развития, остается и впредь одной из важнейших проблем.

К настоящему времени мы располагаем большим числом ценных работ, исследующих социалистическую литературу в отдельных странах. И это явилось предпосылкой для перехода к более широким синтетическим исследованиям. Речь идет о сравнительном изучении национальных социалистических литератур в плане установления их непосредственных связей и в особенности типологических тенденций их развития, проявляющихся как в сфере идейного содержания произведений, так и в сфере исторического движения форм, стилей, жанров. У нас все еще крайне мало работ подобного характера, в то время как в области сравнительного изучения литератур более отдаленных периодов и фольклора уже накоплен значительный опыт. Конечно, теоретические выводы можно делать на литературном материале любых периодов. Но надо подчеркнуть, что сравнительное изучение литератур XX века, в частности

социалистических литератур, — это отнюдь не только вопрос о расширении хронологических границ, а прежде всего вопрос о новых эстетических завоеваниях, широкий сопоставительный анализ которых, несомненно, ведет к открытию новых существенных закономерностей мирового литературного процесса.

Ведь речь идет о периоде глубоких изменений в общественном сознании людей, о величайшем повороте в истории человечества. Социалистическое движение, весьма своеобразно развивавшееся в разных странах, составило в то же время ту историческую общность, которая обусловила и сходство процессов в отдельных национальных литературах. А это вело в свою очередь к возникновению особой международной системы литературного развития. В широком эстетическом плане — это эпоха нового типа художественного сознания, определившая важнейшие стороны мировой литературы.

У нас совсем недавно появились первые сравнительно-типологические исследования социалистических литератур. Мы только у начала пути — перспективного и увлекательного.

Одна из больших проблем, которой, естественно, уделено много места в трудах советских литературоведов, — это проблема эстетического своеобразия и возможностей социалистического реализма как нового художественного метода (работы В. Днепрова, Г. Ломидзе, А. Метченко, А. Мясникова, Л. Новиченко, А. Овчаренко, С. Петрова, Б. Сучкова, Л. Тимофеева и других). Ряд общих принципов этой проблемы разработан основательно: показаны историческая обусловленность возникновения социалистического реализма, его отличительные черты, связанные прежде всего с новой идейной основой, с новым героем и т. д. И все же... Да простят меня товарищи за постоянно выражаемое недовольство — это недовольство и собой, нами, несмотря на то, что сделано, в сущности, немало. Но надо идти дальше. И такова уж логика научного познания — чем больше узнаешь, тем виднее еще непознанное.

Прослеживая историческое развитие реализма, мы все еще недостаточно четко и ясно исследуем социалистический реализм как принципиально новую эстетическую систему. Точнее — идем к этому, но идем через противоречия, через преодоление оши-

бок, которые иногда трудно уловить за лавиной бесспорных общих посылок. Так, например, хотя часто говорится о широте эстетической платформы социалистического реализма, на понятие нового метода подчас накладываются такие определения реализма, которые явно сужают его диапазон, исключая из его рамок, например, условные и другие формы художественного обобщения. С другой стороны, существуют взгляды, авторы которых, не считаясь с идейно-философской основой нового метода, исходя из абстрактно-гуманистических, а нередко и формалистических критериев, склонны неправомерно размывать его границы. Обе эти тенденции в различных модификациях встречаются в ряде работ и сегодня. Их надо преодолевать, ибо они тормозят решение многих вопросов, связанных с подлинной сущностью новой эстетической системы. Вопрос в том, чтобы видеть диалектику развития явлений, не впадая в абсолютизацию той или иной их стороны.

Достаточно ли глубоко и всесторонне раскрываем мы смысл ленинской концепции социалистической культуры? Общеизвестны выступления В. И. Ленина против пролеткультовских теорий, его речь на III съезде комсомола. Выступления эти имели широкий международный резонанс. Их значение не только в ясном решении проблем культурного наследия, но и в принципиальной постановке вопроса о том, что новая, социалистическая культура не должна изолировать себя от культурных завоеваний человечества.

Эти ленинские мысли сыграли огромную роль в судьбах революционно-социалистических литератур мира. Они способствовали преодолению ошибок сектантского характера, утверждению той широкой эстетической платформы этих литератур, которая не только не отталкивала, а все более привлекала на свою сторону демократических художников. Собственно, в этих ленинских высказываниях содержится теоретическое обоснование концепции новой литературы как интегральной системы, синтезирующей и развивающей подлинные завоевания искусства.

Ленинские принципы художественной интеграции, соотношения традиции и новаторства определяли главный путь развития социалистических литератур. Эти принципы совершенно чужды сектантской замкнуто-

сти и догматизму; они в то же время исключают идеологическую аморфность, в них выражена ясная и последовательная революционность. Отбросив крайности, основываясь на том, что социализм, как мировоззрение пролетариата, совпадает с социальными идеалами широких народных масс, Ленин решил важнейшую проблему связи классово-пролетарского и общенародного, конкретно-исторического и общечеловеческого в области культуры.

За этими общими принципами следует ряд внутренних проблем, требующих своего освещения. Одна из них — соотношение социалистического реализма с другими художественными течениями XX века. Проблема, бесспорно, очень важная, она привлекает пристальное внимание литературоведов многих стран. У нас есть несомненные завоевания в ее разработке. Возьмем, к примеру, вопрос о соотношении социалистического реализма с реализмом критическим. Его исследует ряд наших крупных литературоведов. Широко изучается значение традиций критического реализма, его преемственные связи с реализмом социалистическим; немало работ посвящено исследованию новых черт реализма XX века — отмечается усиление в нем психологического анализа, распространение условных форм (значение этих последних, к сожалению, иногда сильно преувеличивается). Но у нас все еще мало изучаются те внутренние сдвиги, которые происходят внутри критического реализма под влиянием новой социальной действительности. Не показатель ли, что, например, в недавно вышедшей большой книге С. Петрова «Возникновение и формирование социалистического реализма» (1970), где критическому реализму уделено сравнительно много места, проблема эта фактически не исследуется. Между тем в такой книге она должна была бы стать одной из центральных. Суть проблемы состоит в установлении сложного и многостороннего, нередко противоречивого процесса сближения критических реалистов с социалистической литературой, в прослеживании того, как под влиянием новой общественной действительности внутри критического реализма возникают и развиваются новые эстетические тенденции, как меняется характер гуманизма писателей-демократов, идущих постепенно к изображению сознательного и активного начала в человеке, как, наконец, совершается переход от критиче-

ского к социалистическому реализму. О таком движении критических реалистов, разумеется в разной степени выраженном, свидетельствует творчество ряда крупных художников, например С. Жеромского, М. Конопницкой, М. Пуймановой и многих других. В этом интегральном процессе ясно видна важнейшая линия развития всемирной литературы — закономерное направление художественного прогресса в XX веке.

Каково место разных течений в революционной литературе после Октября? Вопрос большой, мы выделим одно из этих течений — авангардизм двадцатых—тридцатых годов. Существуют работы, в которых авангардизм изображается как наиболее революционное искусство и совсем явно в этом случае умаляется роль последовательно революционных писателей. Советское литературоведение в последние годы вплотную подходит к решению проблемы — мы стремимся избежать односторонности, объективно анализировать факты и явления. Но идем мы медленно, неровно, иногда с резкими перекосами.

Представляется неправомерным смешение левоавангардистских течений двадцатых годов с модернизмом, недифференцированное их противопоставление социалистическому реализму. Между тем с такими взглядами встречаемся и сегодня. В качестве примера я вновь назову уже упоминавшуюся книгу нашего видного ученого С. Петрова — хотя бы потому, что это одно из самых крупных новейших исследований по данной проблематике. Не стану здесь излагать свою позицию по затронутым вопросам — это сделано в ранее опубликованных работах. Скажу только, что левоавангардистские течения требуют к себе конкретно-исторического, дифференцированного подхода с учетом национальных особенностей их развития. Так, авангардизм типа чешского поэтизма — явление сложное, противоречивое, не поддающееся никакой нивелировке. Многие его представители (В. Незвал, Б. Вацлавек и другие) были коммунистами, убежденными защитниками революционных идей. Вместе с тем их эстетическая платформа, несомненно, заключала в себе модернистские влияния. Из этого, очевидно, и надо исходить при оценке чешского авангардизма. Здесь неприемлемы крайности — ни апология, ни сплошное отрицание. Авангардизм входил в революционное искусство,

но входил отнюдь не как нечто целое: одними тенденциями сливался с этим искусством, другими — противостоял ему. Путь авангардистов к социалистическому реализму — это и путь закрепления достигнутых ими подлинных эстетических завоеваний, и непременно путь отказа, освобождения от разного рода субъективно-идеалистических, формалистских влияний, которые, конечно, не могли стать структурным элементом нового художественного метода.

Состояние противоречивости характерно для деятельности многих представителей левоавангардистских течений. И в высшей степени симптоматично, что в творчестве действительно талантливых художников одержали победу революционные тенденции. В этом также выразилась знаменательная логика художественного развития XX века, притягательная и объединяющая сила социалистического искусства, данная ему историей.

Вопрос о роли различных литературных направлений в мировом литературном процессе выдвигается в наши дни на первый план. Одна из центральных проблем будущего Международного съезда славистов, который состоится в Варшаве в 1973 году, формулируется следующим образом: «Основные направления в славянских литературах XX века в их развитии и соотношении». Понятно, что методологическое значение проблемы выходит за рамки собственно славянских литератур, так как имеются в виду явления типологического характера. Речь должна идти, следовательно, об основных путях художественного прогресса, об определяющих его факторах. И у нас есть все возможности убедительно обосновать подлинно авангардное место и роль в этом процессе социалистических литератур.

Социалистический реализм — реализм нового типа, новый тип художественного видения, обусловленный социалистической концепцией мира и человека. С этим связана необычайная широта его эстетических возможностей. И ученые последовательно и настойчиво стремятся показать эту широту. Особенно интересным представляется мне все более ясно вырисовывающееся решение вопроса о стилевом многообразии литературы социалистического реализма, о многообразии форм художественного обобщения. В настоящее время становится почти общепринятым говорить о разных формах

и стилях художественной правдивости, свободно развивающихся в этой литературе.

Но проблема имеет свои сложности, в подходе к ней сталкиваются различные точки зрения, о которых также надо сказать, так как они принадлежат иногда известным и влиятельным литературоведам. Некоторые их мнения, на мой взгляд, неприемлемы. И мне кажется, самой неприемлемой является позиция тех авторов, которые отождествляют социалистический реализм лишь с одним типом поэтики, фактически сводят понятие метода к сумме изобразительных средств (чаще всего это выражено формулой: реализм есть изображение жизни в формах самой жизни). Тем самым ставятся ограничительные рамки для других форм художественного изображения, которые фактически остаются за пределами социалистического реализма, хотя они способны передать жизненную правду. Другие же авторы, очевидно принимая только что приведенную точку зрения, приходят к выводу, что необходимо ввести наряду с понятием социалистического реализма также понятие параллельно развивающихся других методов, например революционного романтизма. И совершенно естественно в таком случае возникает рекомендация разграничить два понятия — якобы более узкое «социалистический реализм» от более широкого «социалистическое искусство» или «социалистическая литература».

Все это объясняется, по-видимому, тем, что социалистический реализм не рассматривается как принципиально новая эстетическая система, которая вбирает в себя общие свойства социалистического искусства, равнозначна ему по своему содержанию. Для приверженцев упомянутых выше взглядов подобное утверждение означает, очевидно, исчезновение реализма. В действительности же речь должна идти о качественно новом явлении, которое, как видно, не согласуется с некоторыми укоренившимися представлениями о реализме. Значит, надо пересмотреть сами эти представления. В новом реализме соответствие образа и действительности ясно подчинено логике реальной жизни, отнюдь не сводящейся к внешнему правдоподобию и потому открывающей практически неограниченный простор для творческого поиска

самых различных форм художественного отображения мира. Суть вопроса состоит в том, чтобы избежать нивелировки этих форм, идти к их дифференциации, к возможно более полному раскрытию их своеобразия и эстетической функции в поистине широких рамках социалистического реализма.

В недалеком прошлом у нас слишком мало обращалось внимания на поэтику нового художественного метода. И как всегда в такие периоды, «пустоту» пытались заполнить неформалисты. Факты, на мой взгляд, убеждают, что так называемая структурная поэтика мало что приносит, особенно тогда, когда она претендует не просто на определенное место в «общем строю», а на универсальность метода исследования. Вопрос в том, чтобы в анализе художественной структуры приемы и формы изображения выступали не замкнутыми в себя самих, а в связи с обуславливающим их содержанием, как категории исторические и эстетически действенные. Именно марксистский метод предоставляет широчайшие возможности для таких исследований. И сейчас литературоведы-марксисты все более активно идут к решению и этой задачи.

История и теория социалистического реализма — наука молодая, но она уже имеет прочные основы. Наряду с широко ведущимися исследованиями в Советском Союзе проблематика эта находится в центре внимания литературоведов Болгарии, Венгрии. Вызывает глубокое чувство удовлетворения тот факт, что наши коллеги из ГДР после ряда уже вышедших интересных работ приступили, как нам известно, к созданию большого коллективного труда о генезисе и развитии социалистического реализма в мировой литературе. Проблемы гуманизма, партийности, подлинной свободы творчества — все это является предметом многочисленных исследований. Оно и понятно: ведь речь идет о литературах, наиболее непосредственно и действенно участвующих в формировании духовного и нравственного облика человека нового мира. Огромен вклад этих литератур в художественное развитие человечества XX века. Их изучение уже стало важнейшей областью мировой литературоведческой науки.

Ю. БАРАБАШ,
доктор филологических наук

★

КАМО ГРЯДЕШИ?

Современный гуманитарий раздираем противоречиями¹. Он и преисполнен гордости за свой предмет, и вместе с тем как бы чуть-чуть стесняется того, что принадлежит к клану гонимых (как ему кажется) «лириков», а не почитаемых «физиков». Он мечет громы и молнии против технократов, саркастически комментирует творческие притязания кибернетических роботов, его хлебом не корми, дай порассуждать о ветке сирени и томике Пушкина в кабине космического корабля... Но за всем этим угадывается какая-то неуверенность, боязнь отстать от веяний времени, этакий священный, хотя и тщательно скрываемый трепет дилетанта перед всемогуществом математики.

Эту примечательную особенность психологии гуманитария наших дней довольно метко охарактеризовал польский писатель Станислав Лем. «Ему,— замечает С. Лем,— нравятся точные науки; он хотел бы заполучить их пробный камень — эксперимент, придающий обобщениям «нестабильность» (хотя не исключено, что он этого немного и опасается). Заниматься неразрешимыми проблемами, которые нельзя ни бросить, ни разрешить, как разгадывать тайну, ничего не выйдет, конечно, а все-таки как-то достойно, потому что тайна вечна. Для определенного стиля мышления это само по себе ценность...»

И вот человек с таким стилем мышления

¹ Разумеется, я далек от обобщений, речь идет в данном случае лишь об определенном типе, пусть даже не очень распространенном, но кое в чем все же, я убежден, достаточно характерном; оговорка не лишняя, если принять во внимание все еще бытующие у нас методы полемики.— Ю. Б.

берется за разгадку вечной тайны. Он жаждет «разъять» искусство, «как труп», жаждет «поверить алгеброй гармонию» и в этом своем рвении, как это нередко бывает с неофитами, идет намного дальше представителей точного знания.

Последние, между прочим, не торопятся отдавать искусство на откуп электронной Каллиопе. Напротив, они преисполнены пиетета к нему. Нильс Бор, например, один из крупнейших физиков современности, подчеркивает неповторимую способность искусства «напоминать нам о гармониях, недостижимых для систематического анализа». Осторожен и академик А. Колмогоров, признанный лидер той группы математиков, которые в своих экспериментах широко опираются на материал искусства; не без оттенка восхищения говорит он о том, что только поэту под силу при помощи количественно ничтожного, с точки зрения современной техники, сообщения из четырехсот букв «создать... «канал связи» непосредственного общения со своими современниками и потомками», разорвать «ограничения пространства и времени».

Но горячим головам не до этих тонкостей. Гуманитарий наш суетится, забегает вперед. Подобно автору чеховского «Письма к ученому соседу», он упивается наисовременнейшей терминологией: алгоритм, модель, конструкт, инвариант... Он организует диспуты, выступает с лекциями, пишет брошюры. Он при деле.

Всерьез спорить с подобного рода людьми — занятие не слишком благодарное и заманчивое, однако помянуть их «незлым тихим словом» все же стоит. Беда в том, что массовый читатель большей частью именно из их рук получает информацию о

процессах, происходящих в наши дни на стыке естественных и общественных наук, и информацию, конечно же, во многом искаженную. Просто-таки необходимо провести четкую разделительную черту между суесловием на «кибернетические» темы и действительно серьезными поисками, направленными на дальнейшее совершенствование методологии социальных наук, между пустопорожним вспышскопускательством и подлинно научными дискуссиями.

Дискуссии эти, судя по всему, имеют тенденцию скорее к углублению и активизации, нежели к свертыванию. Нет смысла закрывать на это глаза. И дело, по-видимому, не только, а, может быть, даже и не столько в «давлении» естественных наук на гуманитарные, сколько в собственных внутренних потребностях этих последних, в том возрастании их роли и значения, которое все более явственно ощущается каждым из нас. «Либо XXI век будет веком социальных наук, либо его совсем не будет», — говорит известный французский этнолог Клод Леви-Стросс. Быть может, это слишком сильно сказано, однако так сегодня думают многие, и не в этом в конце концов главное.

Главное в другом: какими быть социальным наукам на пороге нового века? Как им ответить на властно поставленный временем вопрос: камо грядеши?

К. Леви-Стросс считает, что единственный путь, ведущий в землю обетованную, — точность. «Мы не можем поместить точные и естественные науки по одну сторону, а социальные и гуманитарные — по другую... Научен по своему духу только подход точных и естественных наук, на который должны стремиться опираться гуманитарные науки, когда они изучают человека как часть этого мира».

Вообще-то говоря, это весьма импонирующая постановка вопроса. Все мы и впрямь устали от приблизительности, субъективизма, вкусовщины, от псевдонаучной беллетристики. Мы и впрямь истосковались по точности. Однако уже следующий шаг — попытка нащупать пути к достижению этой желанной точности — со всей очевидностью обнаруживает наличие серьезных водоразделов и явную неоднозначность проблемы.

Неоднозначно само понятие точности применительно к гуманитарной сфере.

Существует мнение, согласно которому степень точности общественных наук зави-

сит исключительно от степени их математизации. Сторонники этой точки зрения ссылаются на известные нам в передаче П. Лафарга слова К. Маркса о том, что наука тогда только достигает совершенства, когда ей удастся пользоваться математикой. Отсюда делается вывод, что лишь единая количественная мера, лишь математические и статистические методы способны приблизить науку о литературе к наукам точным.

Вспоминается в этой связи небезынтересная притча, которую приводит американский ученый М. Таубе в своей книге «Вычислительные машины и здравый смысл».

Некий простаk услышал однажды от своего друга-математика, что согласно теории вероятностей несколько шимпанзе, если их посадить за пишущие машинки и заставить нажимать клавиши наобум, в конце концов написали бы все книги, хранящиеся в библиотеке Британского музея. Горячий поклонник науки решает помочь ей продвинуться вперед. Купленные им шимпанзе принимаются за работу и через некоторое время выстукивают сначала «Оливера Твиста», затем кое-что из Анатоля Франса, Джона Донна, Конан-Дойля, Марселя Пруста, избранные пьесы Сомерсета Моэма, воспоминания покойной Марии Румынской и т. д. Эксперимент заканчивается трагически: математик, потрясенный тем, что его прогноз столь неожиданно для него самого осуществляется, теряет рассудок, стреляет в обезьян и сам погибает от пули своего фанатически настроенного приятеля. Последний шимпанзе, истекая кровью, с предсмертной тоской глядит на только что законченную им машинопись «Опытов» Монтеня...

Притча окрашена иронией, но ирония эта имеет горьковатый привкус. Ведь высказывалось же и у нас, как принято сейчас говорить, «на полном серьезе» предположение, что автомат, имеющий 10^{20} различных состояний, мог бы написать «Евгения Онегина».

Многие ученые предостерегают против слишком вольного и чрезмерно расширительного истолкования слов К. Маркса относительно математики. В науке, изучающей такой «субъективный» феномен, как художественное творчество, в науке, где столь важную роль играют факторы социальные и личностные, где объект исследования многомерен, многозначен, неуловим,

текуч,— в такой науке количественный критерий имеет суженную сферу применения. «...Поиски математически точной истины,— замечает А. Бушмин в книге «Методологические вопросы литературоведческих исследований»,— в области искусства чрезвычайно затруднены, а когда они заканчиваются успехом, то оказывается, что эта постигнутая «точная истина» далеко не улавливает всей истины, остается тощей, несоразмерно малой по отношению к целому». Остается та голая, абстрактная, выхолощенная «формула», погоню за которой в общественных науках зло высмеивал К. Маркс.

Спешу во избежание недоразумений оговориться, что ни в коей мере не ставлю под сомнение вообще правомерность применения математических методов в изучении литературы. Математические студии академика А. Колмогорова в области стихосложения (я имею в виду работы о ритмике Маяковского или о дольнике в русской поэзии XX века, написанные совместно с А. Кондратовым и А. Прохоровым) представляют определенный интерес. Могут, несомненно, оказаться полезными вероятно-статистические методы, скажем, в анализе отдельных компонентов языка писателя (размер предложения, изменение частотности употребления частей речи и т. п.) или в текстологических исследованиях. Последние, впрочем, издавна и вполне успешно осуществляются «традиционной» нашей текстологией, что признают и сторонники новейших методов, однако это, разумеется, не может служить основанием для того, чтобы возражать против обогащения методологического инструментария литературной науки за счет математики и статистики.

То же относится и к структурным методам.

Во Франции говорят, что «структурализм — это Леви-Стросс». Действительно, работы этого выдающегося ученого, прежде всего его капитальный труд «Мифологические», могут рассматриваться как своего рода образцовые с точки зрения применения методов структурного анализа к этнологии, в частности к изучению мифов американских индейцев. Еще пример, хотя и иного масштаба,— «горизонтальный срез» русской волшебной сказки, данный в двадцатые годы В. Проппом в книге «Морфология сказки». Отрицать научную ценность

подобных исследований — значит грешить против истины. Да и в работах некоторых наших приверженцев структурализма есть, надо сказать, наряду со спорными выводами и немало интересных наблюдений. Сошлюсь для примера хотя бы на «Лекции по структуральной поэтике» Ю. Лотмана или на книгу Вяч. Вс. Иванова и В. Н. Топорова «Славянские языковые моделирующие системы».

Бросается, однако, в глаза одно немаловажное обстоятельство. А. Веселовский когда-то говорил о времени как о «великом упрощителе», имея в виду, что с течением веков произведения искусства в нашем представлении как бы схематизируются, приобретают некоторую статичность, «окаменелость». Так вот, пока что структурные методы наиболее успешно применяются при исследовании именно такого рода явлений: либо это древние «холодные» общества у К. Леви-Стросса, либо «застывшие» фольклорные образцы у В. Проппа. Попытки приложения структурных методов к позднейшим, а тем более к современным художественным явлениям сколько-нибудь успешных результатов, за редчайшими исключениями (к которым я отнес бы, хотя и с оговорками, книгу М. Бахтина о Достоевском и работы С. Эйзенштейна по теории кино), до сих пор не дали.

Сам по себе факт использования понятия структуры еще мало что значит. В свое время исследователь тридцатых годов (И. Виноградов) резонно отмечал, что «структура понималась и понимается весьма различно». К. Маркс, как известно, тоже пользовался термином «структура»; так, совокупность производственных отношений общества он определял как его «экономическую структуру». Однако этого одного крайне недостаточно, чтобы объявлять Маркса чуть ли не основоположником структурализма, как это делают авторы вышедшего во Франции коллективного труда «Читать «Капитал»».

Я здесь касаюсь этих вопросов по необходимости скороговоркой, а они сложны и требуют более глубокого, всестороннего рассмотрения. Но и вовсе обойти их молчанием в разговоре о сегодняшней нашей литературной науке не считаю возможным. Проблема буквально стучится в дверь. Можно иронизировать над гуманитарием, кокетничающим с математикой, можно (и нужно) полемизировать с теми или иными

крайностями, но нельзя не видеть под этой пеной достаточно сильной струи, которая настойчиво рвется в общественные науки, и в частности в литературоведение. Вопросы структурализма, вопросы изучения искусства как знаковой системы занимают ныне философскую, эстетическую мысль во всем мире, особо бурные дискуссии в силу ряда обстоятельств идут во Франции, в том числе в марксистских кругах. И у нас, если взглянуть в лицо фактам, в литературоведении все более заметно оформляется структуралистское течение. Проводятся симпозиумы и конференции, посвященные внедрению в литературную науку математических, вероятностно-статистических методов. Выходят в свет коллективные сборники и «учебные записки», по существу периодическим изданием стали, например, выпускаемые Тартуским университетом «Труды по знаковым системам». Издательство «Искусство» начало книгой Б. Успенского «Поэтика композиции» специальную серию по семиотическим исследованиям искусства. Наступает, а вернее, уже наступил момент, когда наша теоретическая мысль должна сказать обо всем этом свое вразумительное слово.

Она же, мне представляется, ведет себя пока, мягко говоря, уклончиво. Или поверхностные, ничего не проясняющие упоминания о структурализме, сопровождающиеся к тому же многочисленными оговорками, которые и вовсе смазывают суть дела. Или возникающие время от времени вспышки, так сказать, «романтической» критики, которая, при несомненном благородстве исходных побуждений, не выходит, увы, за пределы чисто эмоциональной сферы. Или же, наконец, годами (я не преувеличиваю) тлеющие журнальные дискуссии, организаторы коих, кажется, озабочены единственно соблюдением пресловутого «фифти-фифти».

Несколько лет тому назад вышла в русском переводе интереснейшая книга немецкого ученого Р. Веймана (ГДР) «Новая критика» и развитие буржуазного литературоведения», в которой воссоздана история и прослежены корни западного формалистического литературоведения более чем за полувеков. Эта работа сочетает широту охвата материала с глубиной исследования различных модификаций формализма, научную основательность, некоторую, я бы даже сказал, щепетильность в признании действительных заслуг тех или иных представите-

лей «неокритики» — с полемической остротой и определенностью оценок.

Как нужна была бы нам сегодня работа такого рода — ну, хотя бы, скажем, о русской «формальной школе» двадцатых годов, о так называемом ОПОЯЗе (Общество изучения поэтического языка)! Ведь мы, нечего греха таить, если и упоминаем об этой школе, то ограничиваемся ссылками на дискуссии давно прошедших лет и еще на то, что жизнь, дескать, подтвердила несостоятельность этого течения. Интересна и поучительна с этой точки зрения последняя книга В. Шкловского «Тетива» — своего рода прощание автора с опоязовским прошлым (которое, правда, и до сих пор видится ему иногда сквозь дымку дорогих воспоминаний). Все это хорошо, да только жизнь подтвердила и другое — она показала живучесть формализма. Сегодняшний структурализм прямо объявляет себя преемником ОПОЯЗа, и перед нами стоит задача исследовать органическую общность этих двух явлений. И, конечно же, ответить на вопрос о причинах оживления формалистических тенденций, о почве, питающей их.

ОПОЯЗ полвека назад выступил под лозунгом «объективности», «раскрепощения поэтического слова», по словам Б. Эйхенбаума, от философской эстетики и идеологических теорий. Этот же лозунг сегодня выдвигает структурализм. Показательно, что первым и пока, пожалуй, главным объектом своих атак он избрал экзистенциализм с его воинствующим субъективизмом. Структурализм, замечает французский исследователь Ж. Доменак, — это «холодный душ на экзистенциалистскую мифологию, напоминающий, что безличное есть один из элементов, структурирующих личный мир, и что не только я один в каждое мгновение творю жизнь». Пафос объективности, точность критериев, однозначность определений — вот что обещает структурализм взамен экзистенциалистских построений.

Казалось бы, чего лучше! Есть, однако, по крайней мере два момента, которые следует принять во внимание.

Первое. Когда-то, еще в пору борьбы с «формальной школой», было довольно точно подмечено, что «объективность», которой опоязовцы так гордились, противопоставляя ее субъективизму идеалистической эстетики, куплена слишком дорогой ценой —

ценой смысла. Подобное происходит ныне и со структурализмом. Редактор журнала «Revue d'Esthetique» М. Дюфрени в статье «Структура и смысл» показывает, что структуралистская критика «ставит себе целью порождение смысла из бессмыслицы» и «обрывает все генетические связи произведения с писателем, а через него и с миром». Более того, под флагом борьбы с субъективизмом структурализм, не задумываясь, вообще порывает с субъектом, проще говоря — с человеком. Наиболее крайнее выражение эта позиция нашла в нашедшей книге М. Фуко «Слова и вещи». Человек — «выдумка», временное заблуждение философии, недолговечное изображение на песке морского берега. «Только смехом,— пишет М. Фуко,— может философ ответить тем, кто еще хочет говорить о человеке, о его царстве, о его освобождении».

Много ли проку в «объективности», за которую заплачено «смертью человека»? Да и объективность ли это вообще, если говорить строго?

И второе. Как ни остра разворачивающаяся сегодня полемика между структурализмом и экзистенциализмом, есть все же нечто, в конечном счете сближающее их друг с другом. Это — общая идеалистическая природа. Внешне структурализм чрезвычайно деловит, прагматичен, всякая мистика, идеалистическая шелуха ему вроде бы чужды. Но при ближайшем рассмотрении на его челе нетрудно различить явственную печать идеализма. Фетишизация структуры, лишенной какой-либо объективной материальной основы, интерпретация реального мира как лишь совокупности связей, «чистых отношений» — не сводит ли это на нет все разговоры по поводу объективности? И не сближает ли структурализм с логическим позитивизмом, логико-семантической концепцией Р. Карнапа, где исследование реальных фактов и явлений подменяется исследованием их обозначений — слов, предложений, логических и языковых связей между ними? А отсюда один шаг до физического идеализма с его «исчезновением» материи, с его трактовкой физических законов как «чистых высказываний о структуре».

Вот еще одно красноречивое свидетельство непреходящей актуальности работы В. И. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм» (которой, замечу кстати, посвящена

недавняя отличная статья Е. Книпович в «Иностранной литературе»).

Полемизируя со структуралистами, Ж.-П. Сартр расценивает это течение как «возвращение к позитивизму» и не без оснований связывает его с «технократической революцией», которая «больше не оставляет места для философии, если та не превращается в технику и сама». Явление это, между прочим, проницательно предвидел еще Достоевский. Будучи уверен, что отвергает социалистические идеалы и цели, а на самом деле характеризуя типические особенности буржуазного сознания, он писал: «Все поступки человеческие, само собою, будут расчислены... математически, вроде таблицы логарифмов, до 108 000 и занесены в календарь; или еще лучше того, появятся некоторые благонамеренные издания, вроде теперешних энциклопедических лексиконов, в которых все будет так точно исчислено и обозначено, что на свете уже не будет более ни поступков, ни приключений».

Характерная для сегодняшнего буржуа слепая вера (или в еще большей степени желание верить) в цифру, в некую вычисленную, «точную», формализованную истину, которая вместо прежних возвышенных идеалов сулит, быть может, и менее возвышенные, зато реальные житейские ценности,— вера эта есть своеобразное отражение острых противоречий современного буржуазного сознания, углубляющегося кризиса капиталистической системы и одновременно известной ее стабилизации в условиях неокapитализма.

Как бы там ни было, нет никаких оснований представлять структурализм в качестве некоего революционирующего начала, будто бы противостоящего косному мышлению современного буржуа (а такие мотивы проскальзывают порою в нашей литературе о структурализме). Как нет оснований видеть в структурализме чуть ли не высшее воплощение диалектики. Я вовсе не исключаю того, что заимствованный из фонологии Н. С. Трубецкого так называемый принцип оппозиции может быть в известных пределах полезен и для литературоведения. Но безоговорочная экстраполяция этого принципа на литературу, стремление во что бы то ни стало объявить его главным, всеобщим принципом построения художественных структур вызывает серьезные сомнения. И сомнения эти находят питательную почву не только в сфере,

так сказать, чистой теории, а прежде всего в практических попытках структуралистов приложить принцип оппозиции к живому литературному материалу.

Во всяком случае представляется заслуживающей внимания мысль французского марксиста Люсьена Сэва о том, что структурный метод и метод диалектический соотносятся между собою, как логика формальная и диалектическая. По мнению Л. Сэва «структурный метод может быть охарактеризован как очень развитая недиалектическая логика междузловых сегментов... диалектических противоречий».

Итак, претензии структурализма в литературоведении на монопольное обладание универсальной истиной, на абсолютное знание дальнейших путей развития литературной науки вряд ли можно признать обоснованными.

Но просто отвергнуть — это даже не половина дела. Надо, во-первых, исследовать предмет всесторонне, понять его до конца, а мы этого пока не сделали. Нам еще предстоит разобраться в социальных, философских, идейных корнях структурализма, определить границы применения структурных методов, их, если можно так выразиться, «коэффициент плодотворности». Нам предстоит выяснить, существуют ли в действительности точки соприкосновения между этими методами и методом диалектическим, между структурализмом и марксизмом (тезис, настойчиво пропагандируемый целым рядом структуралистов).

Во-вторых, и это, пожалуй, всего важнее, надо дать свой ответ на вопрос о перспективах гуманитарных наук, в частности литературоведения. Если К. Леви-Стросс прав и XXI веку суждено стать веком социальных наук, то нам отнюдь не безразлично, какими они будут, эти науки. В принципе ответ нам известен. Мы исходим из того, что наиболее плодотворное развитие литературоведения возможно на основе

марксистско-ленинской методологии, что именно она максимально приближает нас к точному знанию в сфере художественного творчества. Но общего представления недостаточно. Истина конкретна, и нам следует, мне думается, засучив рукава взяться за разработку наиболее назревших проблем методологии литературной науки, среди которых, кстати, подобающее их действительному значению место должны занять и проблемы структурализма и семиотики. Признаемся сами себе, что мы мало занимаемся этим. После давно отшумевших идейных и методологических бурь двадцатых—тридцатых годов, после отдельных вспышек недавних десятилетий на этом участке наступило затянувшееся затишье.

Нужен широкий методологический фронт. Необходимо развернутое и систематическое, без приливов и отливов, методологическое наступление. Требуется наряду с серьезной научной полемикой позитивная разработка насущных вопросов.

Без этого нам не решить проблемы синтеза в литературоведении, проблемы, выдвинутой еще три десятка лет назад академиком А. Белецким и не только не утратившей своей актуальности, но, напротив, наполнившейся новым смыслом и новой злобой дня.

Велик соблазн закончить традиционной оговоркой по поводу того, что автор, мол, не ставил своей целью охватить в данных заметках всю сумму вопросов, связанных с нынешним состоянием литературной науки, или что-нибудь в подобном роде... Не хочется поддаваться этому соблазну. Да, я затронул лишь один, частный аспект, но он представляется мне принципиально важным сегодня. Чтобы поставить перед собою цель охватить «всю сумму», нужна слишком большая самонадеянность. Неплохо бы как минимум хотя бы определить для самих себя эту «сумму», обозначить ее пределы, выделить первоочередное. Даже это, не говоря уже о большем, мы в нынешних условиях в состоянии сделать только общими усилиями — не иначе.



В. СУРВИЛЛО

★

САМАЯ СПРАВЕДЛИВАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Об Анатолии Иванове, авторе романов «Повитель» и «Тени исчезают в полдень», установилось мнение как о писателе, тяготеющем к острым драматическим положениям. Оно верно и в отношении новых его произведений семидесятого года — романа «Вечный зов» («Москва», №№ 4, 5, 6, 7) и повести «Жизнь на грешной земле» («Огонек», №№ 29, 30, 31, 32). И в них столько драм, убийств, самоубийств, насилий, что невольно возникает мысль о их предумышленном нагнетании. Наташе Мироновой, участнице событий в романе «Вечный зов», казалось, когда она оглядывалась на пережитое ею, что «обо всем этом она прочитала в какой-то безжалостно-жесточкой книге». Но о ее жизни действительно рассказано в книге — в «Вечном зове». Таким образом, сам автор свое произведение называет безжалостно-жесточким.

Что же преследует, чем вызвана эта безжалостность? И в романе и в повести ставятся моральные проблемы. Надо полагать, безжалостность вызвана враждой к готовности успокоиться на признании, что мораль, развивающаяся в условиях социалистического общества, в силу этого должна быть социалистической. В силу этого. Сама по себе? Но никакая истина не предназначена для успокоения. Успокоение ее омертвляет. Истина — инструмент для работы.

Сталкиваясь с отрицательными явлениями, прибегают к формуле: пережиток прошлого. Надо полагать, безжалостность вызвана враждой к обращению с этой формулой как с заклинанием. В романе она перестает быть формулой. В нем исследуется механизм пережитка прошлого. Он разбирается на части. В нем разбираются. Одним из наиболее часто употребляемых героями романа и является это слово: ра-

зобраться, разберитесь. Это — как рефрен на протяжении всего романа. Разбираются прежде всего сами герои. Они не только предаются страстям и остро чувствуют — они осуществляют напряженную мыслительную работу.

Бушевание страстей, драматизм переживаний неоднократно отмечались при оценке произведений А. Иванова. Меньше отмечалась присущая им напряженная работа мысли, стремящейся разобраться в путанице, которая создается этим бушеванием страстей. Нерасторжимость эмоционального и рационального в решении моральных проблем — одна из особенностей творчества писателя, один из источников эстетического воздействия. Собственно, нерасторжимость эмоционального и рационального продиктована избранной для художественного исследования областью человеческих отношений — нравственных отношений, нравственного сознания.

Может случиться, что читатель, автор и герой в мнениях разойдутся. Так и произошло — при чтении повести «Жизнь на грешной земле».

В этой повести утверждается идея могущества человеческой совести. У низкого и подлого человека, исковеркавшего жизнь человека благородного и честного, проснулась совесть, проснулась оттого, что человек, чью жизнь он загубил, спас его и простил его. Встречи со своей совестью низкий человек не мог вынести, и так велико было его злодеяние, что он покончил самоубийством. Повесть заканчивается утверждением, что к самоубийству привели муки совести.

Но исходя из той самой действительности, какая изображена в повести, вместе с персонажами обдумывая их думы, читатель

никак не может согласиться с этим выводом, с тем, что это проснувшаяся совесть привела к катастрофе. Не было совести у самоубийцы, не было чему проснуться. Не она причина самоубийства. Намерения автора резко разошлись с выполнением.

Несколько лет назад, еще до войны, накануне свадьбы любивших друг друга Павла Демидова и Марии в их деревне поселился Денис Макшеев, неотразимый сердцеед, очень скоро пленивший сердце невесты. Он подговорил девушку подпоить жениха, когда тот пришел окончательно договориться с родителями о свадебных приготовлениях. Потом подстерег Павла подле колхозной риги и избил до беспамятства. Теряя сознание, Павел, увидев, как Макшеев поджигает скирду, закричал: «Ты! Ты чего делаешь?!» — «А это не я... Это ты, дядя, сделал... И сейчас люди об этом узнают».

За поджог риги Павел Демидов как вредитель был осужден на двенадцать лет.

Срок свой он отсидел, сверх него претерпел немало тяжких мытарств и наконец вернулся в родное Колмогорово. Жизнь надломила его так, что вся земля казалась ему тюрьмой без решеток, и он сомневался, стоит ли жить, имеет ли он право пользоваться солнечным светом. Испытывая судьбу в последний раз, он прямо с поезда пошел в райисполком. Председателем здесь оказался такой человек, которому он смог рассказать о своей жизни все до мельчайших подробностей и впервые за много лет почувствовал, «что не вся земля в подлецах, слишком большая она для этого». Агафонов, председатель, поверил ему во всем. Поверил, как сам признался, еще и потому, что знал Макшеева. Макшеев, оказалось, жил здесь же, в селе, с женой Марией и двумя детьми. Агафонов взялся устроить Демидова лесником, он решил, что Павлу следует пожить в стороне от людей, один на один с природой. Агафонов привел вычитанные им где-то слова, что солнце светит всем, и слепым и зрячим, и в этом его величие. Это была, следовательно, мысль о равенстве людей перед лицом природы. «Лес, природа вообще — это высший разум, какой есть под солнцем. Научись все это видеть и понимать — и обнаружишь в себе человека. А это для тебя еще задача, уж поверь мне». Ход мысли, видимо, таков: когда человек постигнет высший разум при-

роды, проникнется им, осознает равенство всех людей перед лицом природы, тогда разумная природа человека неодолимо привлечет его к содружеству с людьми.

Агафонов взял с Демидова слово, что мстить Макшееву он не будет. Простить Макшеева он не призывал, сам бы на месте Демидова не простил бы его, но мारаться об него не стал бы.

Демидов принял философию Агафонова. Но постижение высшего разума требует времени. Пока что новый лесник вступил с природой в самые свойские, родственные отношения: не она его, а он ее очеловечил. Туман ему был брат Татьяна, дождь он звал Дементием, а вьюгу почему-то Акулиной. Если усмотреть разум природы в инстинкте отцовства, то Павел ему был подвластен. Он усыновил мальчика Гриньку.

Люди скоро распознали в нем добрую душу и, к его удивлению, относились к Павлу приветливо. От них он кое-что узнал о Макшееве: до войны Макшеев был председателем сельсовета, слыл героем — от какого-то поджигателя колхоз спас; с войны вернулся с костылем, костыль потом бросил, но на правах мнимого инвалида нигде не работал, пснуждал жену-продавщицу обворовывать покупателей, завел на дому ночную торговлю водкой по спекулятивным ценам — словом, «клещ из клещей». Демидов стал наблюдать за ним, тайно ходил по пятам и однажды наконец объявился, предстал перед насмерть перепуганными Макшеевыми. Страх он и сделал орудием своей мести. Своей жизнью он не дорожит, сказал он Макшееву, но уйдет в могилу чуть позже Макшеева, прежде произведя с ним расплату.

Началась и долго длилась эта пытка страхом. Упорство и жестокость, проявленные при этом Демидовым, показывают, как нелегка была для него задача обнаружить в себе человека. Макшеевы пробовали скрыться, бежали на Байкал, но едва обосновались на новом месте — явился Демидов. Они несколько раз меняли место жительства — и всякий раз их настигал Демидов. Макшеев решил откупиться от преследователя, предложил ему деньги, тысячу, а то и больше. Еще отвратительнее стал Демидову Макшеев, этот выродок человеческий, как крикнул ему, задыхаясь от гнева, Павел. Казалось, уже ничем, никакой новой подлостью не может удивить Макшеев Демидова. Но подлость его была безмер-

на: он прислал Марию расплатиться с преследователем своим телом. Потрясенный Демидов в ярости исполосовал ее ремнем и прогнал.

Если посчитать, что на эти поступки толкали Макшеева угрызения совести, то странная это была, бесстыжая, бессовестная совесть.

Может быть, совесть проснулась потом, когда Демидов спас Макшеева, своего смертельного и ненавистного врага, от гибели?

Это случилось вскоре после одного памятного разговора Демидова с Гринькой. Отец поучал сына: «Ты запомни, сын, два закона, может, самых главных в этом мире. Земля любит человека. И второе — человек тоже должен любить ее...» А подлых людей, спрашивает мальчик, земля любит и подлых? Нет, отвечает отец, земля их не любит. Что же в таком случае делать с ними? Отец не может ответить на этот вопрос, мальчик сам отвечает: если земля не любит подлых, надо оставлять их один на один с землей и не помогать им. А между тем отец, напоминая он, преследуя стрелявшего в него браконьера, отправил его в больницу, когда браконьер в беге сломал себе ногу. Надо было оставить его на земле: ведь тот человек не повез бы отца в больницу. Отец колеблется: «С одного бока, говорю, правильно ты. А с другого...» — «С одного, с другого... По справедливости надо действовать». — «Справедливость... Это тоже, сынок, штука мудреная, много сторон имеет. Каждый ее по-своему, видно, понимает». — «Чего — по-своему? Есть же самая справедливая справедливость?»

Разговор этот обдумывал Демидов и в ту ночь, когда незадолго перед рассветом шел к реке рыбачить и услышал вопли о спасении. Он сразу узнал этот голос. И мгновенно понял, что Макшеев не поостерегся, пошел на стремнину, где лед был тонок, и провалился. Он почувствовал злорадство, удовлетворение. Было такое чувство, что достигнута наконец цель, к которой он стремился долгие годы. Но потом он поймал себя на странном несоответствии мыслей и поступков: думая так, он торопливо шагнул на голос, лег на лед, когда лед затрещал, пополз к полынье. Макшеев молил о спасении, Демидов медлил, клеймил его подлость, казнил безжалостными напоминаниями о злодеяниях, глумился, когда Макшеев подкрепил свои мольбы обещанием все отдать за спасение («А сколько это — все?» —

«Три тысячи... Пять тысяч... Семь!» — «Мало». — «Девять, дам девять! Все — все отдам... Дом, все манатки продам». — «От падаль... мразь такая!»), и все-таки полз по трещащему льду, а потом бросил наконец врагу ремень и, давая ему точные и подробные указания, как действовать, вытащил на лед!

Проболев зиму, Макшеев стал ждать, когда Павел потребует тысячи, обещанные за спасенье. Демидов ничего не требовал. Это сначала привело Макшеева в растерянность, потом озлобило. «Тяжко, значит, тебе?» — задумчиво спросил Павел. Этот вопрос потряс Макшеева, он страшно побледнел, хотел что-то крикнуть и не смог.

Что имел в виду Демидов, задавая свой вопрос? Совесть? Может быть.

Что же произошло затем?

В конце лета Макшеев пришел в мазанку Демидова и вытряс из сумки на стол пятнадцать тысяч. Павел вырвал у него сумку, среб в нее пачки денег и выволок Макшеева за шиворот вон. Тогда Макшеев побежал вниз под откос к реке, размахнулся и швырнул сумку с деньгами в воду.

Осенью Мария, похудевшая и постаревшая, явилась к Павлу Демидову. Сквозь слезы спросила: «Что ты сделал... с Денисом моим? Что сделал?»

Денис уже который месяц не выходит из дому, скрежещет по ночам зубами, начал пить.

Павел объяснил: «Собственное паскудство мучает его теперь, сжигает».

Он говорил, безусловно, о совести.

Вскоре Макшеев покончил с собой. Вышел на реку с рыболовной снастью, вырубил во льду в стороне от других рыболовов большую лунку. Постоял подле нее, вытянувшись в струнку, крепко прижал к туловищу руки, шагнул в дыру и рухнул в нее.

Недели через две Павел с Гринькой обсуждали событие:

«— А страшно, должно быть, подлым людям один на один с землей оставаться? А, пап?»

— Им страшнее, видать, с совестью своей один на один встретиться, сынок».

Со своей совестью. Значит, она у него была. Она дремала. Благородство Демидова разбудило ее. Откуда же она у него, совесть, у подлейшего из подлых? Агафонов, наверно, сказал бы: от природы. Высший разум природы, сказал бы он.

Но совести не было. Совесть — это стыд, раскаяние в содеянном зле. Ни малейшего раскаяния и стыда Макшеев не испытывал. Вот доказательство: весь месяц перед самоубийством он грыз Марию за то, что она не смогла тогда, в лесу, соблазнить Демидова. «Подстелилась бы ты под него, он отстал бы от нас, я знаю, я знаю... А ты, кобыла, этого не сумела».

Где же тут раскаяние, стыд, совесть? Тут было упорное, неискоренимое, неистребимое бесстыдство.

К самоубийству привело его другое. Что именно — это поняла и об этом сказала жена его Мария. Все люди одинаковы — таков был жизненный устой Макшеева.

Все, как он, все во власти корысти, стремления к наживе и к грубым животным наслаждениям. Люди его ненавидят, называют клещом? Они маскируются, они такие же, они завидуют его удаче. Павел Демидов бескорыстен? Это притворство. Убеждение, что все люди одинаковы, было, если можно так выразиться, способом существования Макшеева. Способом существования носителя и выразителя системы собственных отношений в системе отношений иных, социалистических. Когда он принес пятнадцать тысяч Павлу Демидову и, волнуясь, дрожа, бледнея, добивался, чтоб тот взял их, он боролся за жизнь. Он потерпел крах. Он увидел: люди не те, за кого он их принимал. Жизненная опора рушилась. Перед ним — пустота, дыра. Он и ухнул в дыру во льду. Причины самоубийства насквозь социальны. Не разум природы привел его к гибели.

Но если не высший разум природы, если не он — «самая справедливая справедливость», то в чем она, где она, существует ли она? Прямого ответа на Гринькин вопрос не последовало.

Хотя ложная идея о высшем разуме природы, навязанная повести, опровергается ею самой, действительностью, в ней отраженной, автор продолжает настаивать на своем, и так как высший разум природы, конечно, вечен, то он и кончает повесть словами: «На древней земле под древней луной произошла одна из вековых драм человеческих...»

Пусть это слово «вековой» послужит мостом для перехода в роман, который и называется «Вечный зов». Быть может, там будет дан ответ на Гринькин вопрос, суще-

ствует ли самая справедливая справедливость.

Уже в самом начале романа, а точнее, еще до начала его, в прологе к нему, вновь возникает проблема совести, и вновь она связана с самоубийством, и вновь самоубийцей будет подлый человек — Свиридов.

Странно то, что этого человека, много лет состоявшего в рядах большевиков провокатора, участника подготовки контрреволюционного мятежа в восемнадцатом году в Новониколаевске, охватили мучительные раздумья в разгар успеха контрреволюции, когда он сбросил личину революционера и стал сотрудником белочешской разведки. Все у него было благополучно. В ночь восстания он по сведениям, полученным от другого провокатора, Полипова, участника большевистского подполья с тысяча девятьсот пятого года, а агента охраны с тысяча девятьсот восьмого, арестовал крупного советского работника Антона Савельева. Теперь Савельев, давний его знакомый, а Полипову близкий друг, находится в его руках вместе с женой, тоже большевичкой, и их ребенком. Что же мучает Свиридова? Можно было бы подумать, что совесть, но сам он назвал другую причину: на гребне успеха он потерял веру в успех. Мучительны были вставшие перед ним неотвязные вопросы: «А что, собственно, происходит на земле, что случилось в жизни, куда она идет? И я, грамотный, культурный человек, интеллигент, когда-то преподавал в гимназии, я учил детей добру, человечности, справедливости, — кто же я, что я, зачем я на земле?»

Савельева он зверски истязал на допросах. Вот он вызывает Антона на последний допрос — перед тем как расстрелять. Антон, войдя, почувствовал, что Свиридов пьян. «Опять пил, Свиридов?.. Не пойму я тебя, Свиридов. Вернее, кажется мне иногда — жжет тебя внутри какой-то огонь, остатки совести, что ли, человеческой в тебе шевелятся, и ты заливаешь, глушишь эти остатки водкой». Свиридов подтвердил: верно угадал. «А потом подумаю — нет, какая может быть совесть у озверелого палача, опустившегося до уровня скотины». Свиридов и это подтвердил. Два противоположных мнения верны? Так может быть?

Свиридов добивается от Савельева: кто мог войти в состав Томского подпольного комитета? Не похоже, чтобы эти сведения

ему были действительно нужны. Не сведений добивался он — он добивался предательства. На все его уловки Савельев отвечал одним: «Я не предатель». Свиридов подверг его самой страшной пытке: при нем мучили его растерзанную жену, потом били сына. Свиридову во что бы то ни стало надо сломить Савельева, ему нужна была победа над Савельевым, чтобы вернуть утраченную веру в возможность победы над большевиками. Савельев не заговорил.

Свиридов покончил с собой. Он говорил Полипову перед тем, как застрелиться: «Если потом станет ясно, что я шел против течения, утром пытался вернуть прошедшую ночь — что ж, значит, все правильно. Если же... если окажется, что я боролся за правое дело — вы меня простите, что не выдержал». Совесть, раскаяния, сознания вины перед теми, протизкого он боролся, кого истязал в застенках, у него не было. Но совесть у него была, сознание вины у него было перед теми, за кого он боролся, у этих людей он просил прощения.

Свиридов считал и говорил, что он был честен перед самим собой. Вероятно, потому, что измену революции, согласие стать осведомителем жандармерии он назвал подлостью. Он объяснял эту подлость малодушием. Он лгал: ведь то, что он станет предателем, было предсказано ему раньше, чем это случилось, в каком-то теоретическом споре. Путь предателя предсказал большевик Митрофан Савельев, дядя Антона. Следовательно, путь в предатели был предопределен его идеологией, а не малодушием. Свиридов упомянул о справедливости: когда-то, вспомнил он, он учил детей справедливости. Признает ли он, что в контрреволюционной работе он шел против справедливости? В таком случае он считал бы справедливым дело революции, но он не чувствовал вины перед борцами за революцию, совесть его не побудила просить у них прощения в предсмертный час. В предсмертный час он просил прощения у контрреволюции: «Если окажется, что я боролся за правое дело». Правое — значит, справедливое. Справедливо дело или несправедливо, считал он, это определит победа или поражение. Это зависит от успеха или неуспеха.

А вот Антон Савельев при поражении большевиков ни на мгновение не поколебался в своей вере в победу: он знал, что большевики борются за справедливость и, следовательно, непобедимы. Никакие муки.

ни физические, ни моральные, не могли сломить его. Он не мог изменить справедливости.

В поисках ответа на Гринькин вопрос о справедливости определилось продвижение вперед. Выяснилось, как велика сила справедливости: она непобедима, — потому что негибаемы, непобедимы люди, борющиеся за нее.

Здесь не говорится о высшем разуме природы, здесь речь идет о социальной борьбе!

Так что же такое справедливость?

Ведь вот Полипов тоже до своей измены революции был честным и вовсе не малодушным борцом. Он тоже боролся за справедливое дело. В тысяча девятьсот пятом году его арестовали вместе с Антоном, Лизой и другими большевиками, его истязали в тюрьме больше, чем всех, но он не дал никаких показаний. И руководитель подпольной большевистской организации Субботин, тоже тогда арестованный, сказал о нем: «Он настоящий парень, наш Петро. Побольше бы нам таких». А Полипов, снова арестованный в тысяча девятьсот восьмом году, принял предложение жандармского следователя Лахновского стать его осведомителем. Что же случилось между пятым и восьмым годом? Случилось то, что горячо любимая им Лиза полюбила Антона и вышла замуж за него. Умный Лахновский обратил внимание подследственного, что Лиза будет свободной, когда надолго упрячут в тюрьму Антона, и она достанется ему. Любовь к Лизе была так беспредельна, что оказалась сильнее и совести и справедливости.

Какую путаницу может внести любовь в социальную борьбу, в расстановку классовых сил, обнаруживается в прологе дальше.

Иван — младший сын беднейшего из бедных крестьянина Силантия Савельева — был у белых и служил телохранителем кулака Кафтанова, бандитского главаря, потому что любил его дочь Анну, а Кафтанов обещал дать ему ее в жены. Но Анна любила Федора, и она, кулацкая дочь, сражалась в рядах красных партизан, была всегда в самых жарких схватках рядом с Федором. Эта путаница поражала жителей Шантары и Михайловки, мучительно переживал эту «коловерть» Иван. Вскоре Анна попала в руки белых. Кафтанов понуждал Ивана насильно овладеть дочерью. Но Иван этого сделать не мог, он любил ее и униженно молил согласиться стать его женой.

Убедившись в тщетности своих уговоров, он стал просить Кафтанова отпустить ее. Кафтанов глумился над ним. А у Анны спросил, уйдет ли она к партизанам, если ее отпустят. Анна подтвердила.

«— Я, Анна, всласть пожил, ты знаешь,— заговорил он неожиданно тихо.— И водку пил, и баб любил, и властью над людишками вволю попользовался. Воюю вот теперь, просто сказать, чтобы еще такой жизнью маленько пожить. Ну, а ты за что? Цель-то в чем? Как ты там оказалась, у партизанишек этих? Из-за Федьки, что ли?

— И из-за него тоже.

— А еще из-за чего?

— Не знаю... Ты мать мою этой своей жизнью в гроб загнал... Как скотина ты жил. А есть другая жизнь — человечья. А я хочу по-человечески жить. И ради этого такая... такая кроворубка идет. Люди хотят на земле человеческую жизнь установить. И установят...»

В ночь после этого разговора Кафтанов совершил неслыханное злодеяние. Иван следил за атаманом, но опоздал. Когда конь вынес его на поляну в лесу и он увидел пластом лежащую на земле с оголенными ногами Анну, Кафтанова, бегущего от нее и рвущего из кобуры маузер, он понял все. Ни свидетеля своего преступления, ни свою жертву Кафтанов оставить в живых не мог. Но в схватке не он одолел Ивана — Иван его убил. Через полчаса Анна приподнялась, страшная, закричала не своим голосом, требуя, чтобы он застрелил ее.

Когда она затихла, Иван сказал: «А все равно, Анна, жить надо. Об этом... никто никогда не узнает... А жить надо...»

Он привез Анну и труп Кафтанова к партизанам: «Вот вам наш атаман... мертвый только. Вот сам я — делайте что хотите. Пулю, так пулю в лоб. Только скорее давайте». — «Это у нас не задержится... Разберемся — да к стеночке». Это сказал Алейников, начальник партизанской разведки. Анна, отрешенная до этого, встрепенулась. «Не надо! Не надо! Вы и вправду разберитесь! Не надо... — закричала она истошно, черной птицей подлетая сбоку то к Кружилину, то к Алейникову, то к Назарову, которые вводили Ивана в избу...»

Кружилин — командир партизан, Назаров — его заместитель, Алейников — разведчик. Честные, мужественные, преданные революции люди. Этим им предстоит разбирать-

ся, распутывать узлы, которые здесь, в прологе, завязались.

Но прежде чем перейти к самому роману, несколько беглых замечаний по поводу некоторых деталей, внушающих известные опасения при чтении этого, как уже с очевидностью определилось, произведения трагедийного плана: такие образы, как Антон Савельев, Силантий Савельев, — герои безусловно трагедийные.

Вот что вызывает тревогу: «Глаза ее, зеленоватые, бездонно глубокие глаза... горели нездоровым, но жутко красивым огнем...» Крик потонул «в жутком стоне толпы». «Здесь разыгралась жуткая человеческая трагедия».

Это только в прологе. Неужели и в самом романе так и будет: жуткие, жутком, жуткая?

Более развернутые повторения:

«Смотреть на Лизу было страшно. Растрепанная, в лохмотьях, она диким взором обвела комнату.

— Сын... Где мой сын? Что вы с ним сделали?! — подвывая, заголосила она, упала на колени, поползла к столу».

Это о Лизе. Об Анне:

«И вдруг Анна приподнялась и, страшная, растрепанная, закричала не своим голосом... И упала, покатила по траве, завывала по-звериному, колотясь растрепанной головой об землю».

Мелодраматизм неразлучен с натурализмом. В том случае, на который хочется сейчас указать, натуралистичность связана с потерей управления словом. Иван видит на поляне и угадывает все, что произошло, — «немного в стороне пластом лежала на земле Анна, белея толстыми оголенными ногами...».

За страницу — две перед тем слово «толстый» было дважды применено в изображении отвратительного человека. Там Кафтанов сказал о своей красивой, высокой, стройной дочери: «Ничего, гладкая кобыла выросла... а глаза его с толстыми кровяными прожилками ползали по дочери». Через несколько строк: «Кафтанов держался толстой, в желтых волосах рукой за край стола...» И вот это слово, не освободившееся еще от ассоциации с образом мерзкого человека, применено к вызывающей боль и нестерпимую жалость к поруганной прекрасной женщине!

К этим особенностям авторского стиля нам еще придется вернуться.

Пролог завершен. Это был год девятнадцатый. Роман начинается с событий года тысяча девятьсот сорок первого.

Впрочем, повествование строится так, что события сорок первого года, а в первой части романа только одного дня этого года — 22 июня, то и дело прерываются прошлыми событиями, например событиями года тысяча девятьсот десятого. Прерываются — не то слово. Прошлое входит в настоящее на совершенно равных по способу изображения правах с настоящим. Читатель не информируется о них, а живет в них, и переходы из прошлого в настоящее и наоборот совершаются непринужденно и естественно, без каких-либо особых предуведомлений. Пусть это уже давно не новаторский прием, и все равно, пришел ли он в литературу из кино или пришел в кино из литературы и там прижился, получив дальнейшее развитие, — сейчас здесь это стирание границ между прошлым и настоящим активно служит своей цели: не дать явлению, которое называется пережиток, стать абстрактным понятием.

Именно так в будничную жизнь села Шантары 22 июня сорок первого года, села, не потревоженного вестью о войне почти до вечера, входят события тридцать третьего — тридцать шестого годов.

Главное в этих событиях очень похоже на то, что случилось в начале повести «Жизнь на грешной земле»: здесь так же подло был подстроен арест ни в чем не повинного человека. Только теперь подлость была учинена братом против брата, Федором против Ивана.

Откуда эта дьявольская ненависть Федора к брату? В девятнадцатом году он хотел отомстить за отца. За участие в белобандитской шайке Иван был осужден на пять лет тюрьмы и отбыл свой срок в двадцать пятом году. Прошли годы, а лютая злоба Федора не только не унялась, а выросла. И дошло до того, что он научил Кирьяна Инютина увести двух коней Михайловской конторы Заготскота, где Иван работал пастухом, и сбыть их цыганам. Иван был арестован и в конце тридцать пятого года осужден на пять лет.

Подлость Федора легче всего можно было бы объяснить ревностью. Он все двадцать с лишним лет после женитьбы на Анне мучил ее за то, что взял ее не девицей,

отцом же своего первого сына он считал Ивана. Анна, некогда боевая подруга Федора, безгранично ему преданная, сражалась за человечью жизнь, за справедливость и двадцать лет подвергалась в семье несправедливому, бесчеловечному тиранству.

Но вряд ли объяснение ревностью все исчерпывало. Федор терпел Ивана, проживая в одном с ним селе, несколько лет — пока Панкрат Назаров, один из тех, кому Анна кричала в свое время: «Разберитесь!» — не предложил Ивану вступить в колхоз, председателем которого он был. После вступления Ивана в колхоз Федор и подвел его под тюрьму. Таким образом, поступок Федора следовало объяснить гражданскими чувствами: его совесть не мирилась с тем, чтобы в колхоз проник бывший белогвардеец.

По личным мотивам Федор на подлость не шел. Но возник высокий гражданский мотив — и он решился. «Большая» справедливость подчинила малую «несправедливость».

Другим человеком, которому Анна кричала когда-то: «Разберитесь!», был Алейников. Помнится его тогдашнее ласковое «к стеночке». У Алейникова, конечно, не было никаких личных чувств к Ивану. Да и неизвестно, были ли у него вообще личные чувства, у этого прежде веселого, энергичного, находчивого разведчика, теперь хмурого, нелюдимого работника НКВД. Это он арестовал Ивана. До пропажи лошадей он так говорил об Иване: «Я бы всех подобных субъектов, которые об контрреволюцию замарались, к стенке, и весь вопрос. Для страховки и спокойствия в стране. Да Кружилин говорит — пусть работает, ничего... Цацкаемся. Они бы с нами не цацкались...»

Это рассуждение призывает читателя к активности, он побуждается самостоятельно выяснить вопрос, как и почему позволила совесть совершить Алейникову несправедливость. Алейников руководствуется, как видно из рассуждения, интересами страны. Он с оружием в руках боролся за строй, установленный в стране. Анна тогда еще, в гражданскую войну, определила основу этого строя: человеческая жизнь, человечность. Во имя человечности, говорила она, идет гражданская война, то есть насилие. Насилие для того, чтобы покончить с насилием.

Алейников после гражданской войны вынужден был применять насилие против насильников — бандитов, вредителей, контрреволюционеров.

Коммунисты никогда не превращали насилие в абсолют. Алейников это сделал, он его абсолютизировал. Он действовал во имя интересов страны — таково было его убеждение, но интересы страны он предварительно извратил, вытравив из них основу — человечность. Заблуждение о насилии стало его убеждением, то есть истиной, истину же о гуманности он считал заблуждением. Убеждение, превратное представление об интересах страны позволяло ему быть честным перед собой. Стерлось различие между истиной и заблуждением, между добром и злом. Истина или фикция — преступление Ивана? Если фикция полезна — значит, она истина. Справедливо или несправедливо заключение Савельева в тюрьму? Если оно полезно (соответствует «интересам страны»), — значит, оно справедливо. Совести тут нечего было делать.

Мешала законность и мешал Кружилин, секретарь райкома. Законность можно обойти. Это и было сделано. Что до Кружилина, то...

Кружилин не верил в виновность Ивана. По-видимому, он своего мнения от Алейникова не скрыл, потому что кто же иной устроил Кружилину вызов в краевое управление НКВД? После вопросов о том, где Кружилин родился, что делал в юности, где воевал в гражданскую войну, кто были его боевые товарищи, зашла речь о Савельеве. Кружилин заявил, что не считает Ивана вредителем.

И вот — главный вопрос: «Объясните, почему, на каком основании вы не доверяете органам внутренних дел?»

Кружилин был ошеломлен. Он пытался образумить молодого оперуполномоченного напоминанием о том, что перед ним партизан, член партии большевиков с тысяча девятьсот седьмого года. Естественно, что в этом напоминании ему пришлось употребить личное местоимение. Оперуполномоченный прервал его: «Я, я, я... Удивительно вы скромный человек». Кружилин ударил кулаком по столу, закричал:

«Мальчишка! Да, я вот этими руками, насколько хватало сил, дрался за Советскую власть. Поэтому позволь уж мне не скромничать»...

«Я» теперь — это уже не личное место-

имение. Была оскорблена его личность, его достоинство, его честь.

Достоинство, честь. Все более расширяется круг моральных понятий в романе.

Слова «честность перед собой» произносил Свиридов. Но у Кружилина честность перед собой была его честностью перед обществом, перед партией. Это было его честью, его достоинством, это составляло содержание его личности, его «я».

Кружилин на этот раз отделался благополучно. Секретарь обкома Субботин знал о нависшей над секретарем райкома беде и отвел ее от работника, которого знал, которому верил, несколько неожиданным способом: Кружилин скоро был переведен на работу в соседнюю область и тем самым выскользнул из рук Алейникова. Секретарем райкома в Шантарском районе стал присланный из Новосибирска Петр Петрович Полипов.

Все это было в тридцать шестом году. Сейчас, 22 июня сорок первого года, Кружилин вновь секретарь райкома в Шантаре. Он вернулся сюда полгода назад. Здесь и Полипов. Он теперь председатель райисполкома.

Сегодня в Шантаре обычный спокойный день. Сегодня, как часто прежде, встретились Семен, сын Федора и Анны, и Вера, дочь Кирияна Инютина и Анфисы. Вера, несмотря на юность, придерживалась вполне определившихся взглядов на жизнь, на себя, на свои отношения с людьми. Вот ее моральные правила: «Я — женщина, баба. Мне замуж за кого-то выходить. У девки до замужества — одно богатство. Отдать его надо не зря, не попусту, не кому попало. А то после-то кто меня возьмет? Кому объедки чужие нужны?»

Откуда у нее этот цинизм, эта расчетливость?

Свой идеал она видела в отце Семена — Федоре Савельеве. Она говорила о нем: «Он умный жить». Он был из тех, кто не раздумывая берет что надо, «хватает цепко». Вера знала, что Федор Савельев — любовник ее матери. Она все знала о своих родителях, знала, что мать была рабой Федора, рабой животной страсти к нему. Кириян тоже знал о том, что его жена — любовница Федора, и, напившись, зверски избивал ее. Анфиса сносила побои как должное, позволяла себя истязать, но сказала Кирияну, что уйдет, если он тронет Федора Ни

у Кирьяна, ни у Анфисы не было и признака личного достоинства, они, в сущности, не были уже личностями.

Исходившее от Федора какое-то непостижимое зло уже проникло в душу Веры. Была ли у нее совесть?.. Это трудно сказать. Во всяком случае у нее не было совестливости. Было бесстыдство.

Расчетливость Веры отталкивала Семена, но чувственность влекла. Отношения между Верой и Семеном лишены поэзии. Это вызвало в нем досаду, смутный протест.

Зло, исходившее от Федора, вносило путаницу в семью Инютиных, растлевало Веру, через нее коснулось души Семена, грозило опустошением и ему.

Иван возвращается домой, отбыв свой вторичный срок. В этот же день его навестил Панкрат Назаров, обеспокоенный, не вернулся ли Иван «с обидой на жизнь, со злостью в душе». Иван успокоил его: радоваться пока нечему, но и злобы у него нет. О Федоре и Кирьяне Инютине он не знает что думать, ему непонятно, за что они посадили его. «Разберемся, может, когда. А вот на кого точно зла не держу — это сейчас твердо могу сказать... На Яшку Алейникова». Этому неожиданному заявлению Панкрат не поверил. Иван попытался объяснить. В лагере он видел и таких людей, которые не могли быть вредителями, врагами народа. Видел он и настоящих врагов. Встречал он там и Петьку Зубова, которого когда-то спас, и Макара Кафтанова. Оба они воры, судятся по уголовным статьям, но так им удобнее мстить людям за то, что революция спихнула их. «А теперь думай: я осужденный как враг народа, Макар по уголовной статье сидит. Но этот уголовный — тоже враг, и он хочет меня, врага, уничтожить, «исходя из теории насчет классовой борьбы». Как нас Яшке Алейникову распутать, если мы сами не можем распутаться?»

Председатель колхоза не согласился. «Н-нет, паря... Все ж таки я при своем остаюсь... Не должен в одну кучу он все сгребать. Не должен, потому что власть ему от народа большая дадена».

Все более и более проявляются в Назарове замечательные черты: его доброта, участливость, ясность ума. Был он и превосходным хозяйственником — его колхоз наиболее благополучен в районе. Правда, он был на плохом счету у бывшего секре-

таря райкома, а теперь председателя райисполкома Полипова. Полипов, будучи секретарем, вывел Шантарский район на первое место по всем показателям. Но когда новый секретарь Кружилин ознакомился с районом, он убедился, что колхозы в районе разорены, в то время как в соседних районах благосостояние их заметно росло. Кружилин обратился за разъяснениями к Назарову: что произошло, что за человек Полипов? «А дьявол ли в нем разберется». С тех пор как Полипов стал секретарем, словно мор прошел по деревням. Их, председателей, приучили, как солдат, к командам. Сегодня сей просо, завтра ячмень. На дворе дождь со снегом, буран — сей. Зато район посевную всегда первым по области заканчивал. И по хлебозаготовкам был первым. Выполнен весь план — Полипов добавочный спускает. А хозяйство хиреет. Секрета сравнительного благополучия своего колхоза Назаров не стал таить: «Ну, терпишь, терпишь, да иногда и... сотню-другую пудиков пшенички скроешь. На душе муторно, будто украл хлеб-то... Или рассвирепеешь да бумагу ему, рапорт — все честь по чести, сев закончили. А кой хрен закончили, когда пашни еще каша кашей, ноги по колено вязнут. Да... А потом ночами сердце все исцемит... все ворочаешься...»

Обнаруживается, что и в душе Назарова есть своя червоточина, что и его совесть неспокойна. Совесть не позволяет выполнять нелепые распоряжения. Но выполнять их требует долг. Куда заведет человека конфликт между долгом и совестью? К цинизму, лицемерию? Или к равнодушию, пассивности?

В четыре часа пополудни 22 июня в Шантаре стало известно, что в стране идет война.

Война! Все моральные ценности — совесть, справедливость, долг, честь, достоинство, — все предстанет в новом пронзительном и суровом освещении, каждый человек будет ею испытан и обнаружится, чего он стоит.

С этого момента решающей темой романа становится тема героической работы в тылу, в сибирской деревне, во время Великой Отечественной войны. Первая книга рассказывает о событиях до середины 1942 года.

Преобразился, воспрянул духом Кружилин. Все сомнения, недоумения отошли,

прихлынул былой хмель молодости. Впереди была работа более трудная и напряженная, чем прежде. Он готов был к любым трудностям.

Увы, он не подозревал, какие трудности, поистине нечеловеческие, его ожидают. Мобилизация сразу четырнадцати возрастов оголила район, мужской рабочей силы почти не стало. Один за другим прибывали эшелоны с измученными стариками, женщинами, детьми, эвакуированными из прифронтовой полосы, — их нужно было обеспечить жильем, а его не было. Когда как-то справились с этой задачей, как снег на голову свалился на Шантару приказ о размещении завода сельскохозяйственного машиностроения. Для пяти тысяч рабочих с семьями не оставалось уже ни одного метра жилья. В палатках люди еще могут жить в сентябре, но в октябре придет дождь со снегом, во второй его половине в этих местах бывают морозы до тридцати градусов...

Кружилина охватила растерянность. Он звонил секретарю обкома Субботину. Того уже кто-то (Полипов?) осведомил о беспомощности Кружилина: «Ходят разговорчики, что ты там растерялся, ничего не можешь обеспечить». Кружилин подтвердил: да, не может. В ответ мягкий и сердечный голос: «Но, дорогой мой Поликарп Матвеевич! Если мы сами себя убедим в своей беспомощности, в растерянности, в неспособности взять верх, что же тогда-то получится? Ты подумай».

Кружилин смог. Смог, потому что уже был не один. С ним был Хохлов, главный инженер завода, который предстояло создать на пустырях подле Шантары. В первый же час знакомства с ним Кружилин почувствовал, какой неукротимой энергией и бодростью этот человек обладает. А между тем в то самое время, когда они познакомились, когда осматривали место будущего строительства, когда Хохлов, усевшись на какой-то подвернувшийся ящик, принялся чертить, где быть подстанции, где цехам, в это самое время ехала в эшелоне под присмотром старшей дочери его обезумевшая от горя жена: совсем недавно на глазах у него и жены сгорела от зажигательной бомбы их младшая дочь.

Они смогли, коммунисты Кружилин и Хохлов, потому что скоро к ним присоединился Нечаев, новый главный инженер уже изменившего свой профиль, хотя еще не построенного завода, теперь уже военного.

Нечаев был в свое время соратником Дзержинского. Смогли, потому что уже прибыли на завод его директор бывший каторжанин и подпольщик Антон Савельев и парторг Савчук. Все они безвылазно дни и ночи проводили на строительстве, на развороченной территории, где шло рытье котлованов под будущие корпуса, бетонировались площадки будущих цехов и на этих площадках, еще без стен, монтировалось оборудование. Они смогли, потому что были не одни: под открытым небом, на пронизывающем ветру склонялись над станками промокшие до нитки люди. Они смогли, эти люди, потому что были не одни: с ними был поднявшийся на войну народ.

В срок, казавшийся ранее фантастическим, были с недостроенного завода выпущены первые снаряды.

В эти героические дни Макар Кафтанов, брат Анны, жены Федора, и, следовательно, родственник Антона Савельева, организовал похищение из рабочего городка промтоварной автолавки. Этот самый Макар, многократно судившийся вор, в ночь с 21 на 22 июня, когда все в Шантаре были погружены в тревожные и тяжкие думы о войне, забрался в незапертое окно спящей жительницы Шантары молоденькой Мани Огородниковой и изнасиловал ее.

Вершины человеческого благородства, героического душевного подъема — и темные глубины человеческой подлости...

Пугающе непонятен был людям Полипов. Что там было, что чернело на дне омота его души? Кружилин, ничего не зная о его давнем прошлом, сказал ему в эти дни: «Слушай, Петр Петрович, страшный ты человек, кажется».

Разговор шел о Назарове. Полипов настаивал: с Назаровым пора кончать. Назаров злостно затягивает сдачу государству хлеба, не выполняет директив о севе пшеницы — сеет рожь, поддерживает подозрительных — в социальном смысле — людей, принял в колхоз бывшего белобандита, после его ареста помогал и благоустраивал его семью. Кто он такой, Назаров? Почему его Кружилин защищает?

Кружилин уже ездил в колхоз Назарова. Ему уже разъяснял Назаров, что хлебо-сдачу он задержал, потому что всю рабочую силу, оставшуюся после ухода мужчин на войну, весь оставшийся транспорт бро-

сил на уборку урожая и скирдование его без обмолота. В других колхозах, удовлетворительно сдающих хлеб, половина урожая на корню, а Полипов носится по колхозам, всячески форсирует хлебосдачу и никакого внимания не обращает на то, что хлеб в поле осыпается. Что касается посевов пшеницы, то испокон веков в этих местах рожь давала урожай в два-три раза больше, чем пшеница. Да, он, Назаров, нарушает директивы о посевах пшеницы. Он и сейчас просит Кружилина разрешить посеять ржи побольше. А знает ли Панкрат, спросил Кружилин, как их обоих скрутят, если они посевные площади засеют рожью взамен пшеницы? Назаров уговаривает: может, скрутят, а может, и нет. У Толстого, склоняет он Кружилина на свою сторону, в одной читанной им книге «совсем умные слова напечатаны: ежели, говорит, плохие люди объединяются между собой, то и хорошим надо, в этом вся сила и залог. Ну и так далее. А поскольку хороших людей все ж таки больше...».

Кружилина не устраивает назаровская классификация людей на хороших и плохих. Какими считать работников областного и районного земельных отделов, заставляющих сеять пшеницу вместо ржи? Он, Кружилин, считает, что они, конечно, не враги советской власти. Но советская власть установлена не так давно. Новую жизнь приходится строить ощупью. У власти, большой и малой, разные люди. Есть умные, есть поглупее, есть просто глупые. Глупых не сразу увидишь, и они, думая, что творят добро, неумышленно делают зло. Хотя, конечно, есть и подлинные враги.

Таким образом, Кружилин назаровскую классификацию людей на хороших и плохих заменяет своей: на умных и глупых.

Между тем речь идет о народном опыте. Поэтому напрашивается другое деление руководителей: на тех, кто считается с народным опытом, умеет учиться у народа, и тех, кто к народу, народному опыту относится с пренебрежением.

Но обоих спорящих объединяет, по-видимому, та мысль, что по мере строительства социализма, стирания классовых граней все большее значение приобретают индивидуальные, личные качества людей.

Назаров прервал спор. «Разговоры можно вести и так, и эдак. И доказать что хошь можно. На то слова и существуют.

А я так тебе скажу, Поликарп, нынче я рожью половину пшеничных площадей уже засеял». Кружилин растерялся. Знает ли об этом Полипов? И что ему, Кружилину, с Назаровым теперь сделать? «Самое лучшее — ничего. Я тебе ничего не говорил, ты ничего не знаешь». — «Значит, на обман толкаешь?» Назаров промолчал. Но не от смущения. Он сделал свой выбор. Война! И помолчав, он спросил, есть ли какие-нибудь сведения о сыне Кружилина. Сыновья обоих в армии. Война их застала на западной границе. Вопрос о сыновьях и был ответом Кружилину.

Полипову Кружилин сообщил, что он решил Назарову засеять половину площадей рожью. Полипов написал в обком. Это не был донос, конечно. Он попросил партийного совета, кто прав — он или Кружилин.

Труден был разговор Кружилина с Полиповым. Еще труднее — разговор Полипова с Субботиным. Субботин приехал в Шантарский район, пробыл в нем две недели. Назаров произвел на него отличное впечатление. Его он мог упрекнуть разве только в некоторой партизанщине, но не счел это большим грехом. Что до Полипова, то разговор с этим человеком, которого он много лет назад назвал настоящим парнем, он закончил раздумьем вслух: «Интриган, завистник, карьерист — это, пожалуй, не то, это слишком мелко для тебя, бледно характеризует. Не знаю, не знаю... Но что вот партийности в тебе нисколько не осталось, так это точно... А может быть, этой нашей партийности в тебе никогда и не было. И еще может быть... возможно, и сейчас даже в истинном... в самом истинном свете я тебя все-таки не вижу еще? А?»

Полипов, срываясь на визг, закричал: «Да ты... Да ты... ты как смеешь?! Я спрашиваю: какое ты имеешь право?!»

Возмущение его было неподдельным, так как неподдельным был страх. Неподдельной была и ложь, неподдельной, то есть естественной для него, так как ложь была его естеством.

Позже, в декабре, Субботин и Кружилин, не зная, что Полипов провокатор (они так и не узнают этого в первой книге романа, а второй еще нет), размышляли, откуда берутся такие люди в советском обществе. Они пришли к выводу, что это оставшиеся от прошлого полуразвалившиеся трупы, которые во взбаламученном революцией об-

ществе то всплывают на поверхность, то исчезают в глубине. «Скажи мне, Иван Михайлович,— спросил Кружилин,— все, что творилось тогда... в тридцать шестом — тридцать седьмом годах,— лишь делами таких, как Полипов, следует объяснить?» — «Ишь ты, вопросик задал... Спросил бы что попроще».

Угрюмый, замкнутый Алейников внушал людям страх. Но в последнее время с ним происходило что-то необычное. Кружилин говорил: «У меня такое впечатление все больше складывается — запутался он в жизни, выхода ищет. А найти пока не может».

Алейников полюбил Веру Инюстину. Ее это испугало сначала. Но скоро она сообразила, что брак с ним выгоднее, чем с Семеном. Не порывая с Семеном, она начала игру с Алейниковым, проявив незаурядный талант. Она назначала ему свидания, изображала смятение чувств, борьбу с охватывающей ее страстью, пока наконец не бросилась в его объятия.

Алейников любил искренно и поверил в искренность любви к нему Веры. Ее порывы, ее страсть, принимаемые за чистую монету, волновали его. Но все чаще задумывался он о будущем Веры, о ее счастье. Через пять—десять лет он будет развалиной, жизнь ее будет испорчена. Он и не подозревал, что и Вера думала примерно о том же: если она останется вдовой через десять лет, ее судьба устроится превосходно, а если через двадцать? Но она твердо решила выйти замуж за Алейникова. И она всячески форсировала события.

Неправильно думать, что это любовь, проникнув в его зачерствевшую душу, побудила его задуматься над несправедливостью необоснованных арестов, какие лежали на его совести. Скорее наоборот: угрызения совести побудили его искать утolenия в любви, любви настоящей и искренней. И так как с его стороны она была настоящей и искренней, он в конце концов решил пожертвовать своим счастьем ради счастья любимой. В то время когда Вера думала, что он окончательно в ее власти, он, волнуясь и страдая, сказал ей, что любит ее больше прежнего, но жениться на ней не может. Ненавидящий взгляд разъяренной Веры он принял как должно.

Вера была в ярости. Он понимал, как он ее обидел.

«Глаза ей застлал плотный туман, пронизываемый желтыми стрелами. Гнев, обида, невиданная доселе злость вдруг начинили все ее существо порохом, а мысли, пронесшиеся в голове, были как раскаленные уголья, из которых во все стороны хлещут синеватые струйки пламени».

Эти строки вызвали уже отрицательное к себе отношение в одной рецензии. Правда, там это отношение смягчено: такого рода метафоры названы случайными, чуждыми стилю романа. Но это неверно. Они не чужды стилю писателя, они являются устойчивым элементом этого стиля. Чужды они художественной задаче, являются серьезной помехой ей и нелегким испытанием для эстетического восприятия.

Несколько примеров этого способа изображения душевных состояний двух не связанных между собой персонажей романа.

Иван Савельев видит распростертую на поляне Анну Кафтанову, угадывает, что совершено надругательство.

«В то же мгновение голова его вспухла, будто была начинена порохом, сознание застлало чем-то едким и горячим».

Наташа Миронова сообщает о чувстве Семена к ней:

«Наташа слушала... и чувствовала, как плавится у нее в груди что-то горячее, растекается по всему телу...»

«...Наташа вдруг начала понимать смысл ее слов, и в голове у девушки зазвенело, стало что-то больно лопаться».

Иван Савельев видит, как падает Анна, пораженная выстрелом:

«...в голове Ивана что-то загудело, нарастая, лопнуло, стало осыпаться со звоном, как только что осыпались оконные стекла».

Через несколько страниц еще что-то лопается. Девушка полюбила, и ее состояние до любви сравнивается с иссушенной долгим зноем, разлопавшейся от жестокого огня землей.

Для изображения душевных состояний употребляются, таким образом, унифицированные детали, отдельно от персонажа для него заготовленные, а потом в него — в одного, другого, безразлично в которого — вложенные. Градаций, индивидуального своеобразия они лишены. Возникает ощущение безразличия, безличия личных чувств, чего-то очень похожего на равнодушие к индивидуальности, несмотря на то, что ис-

пользуются детали по своей внутренней структуре, по способу материализации в них душевных переживаний, предназначенные для самого острого, как бы физически осязаемого воздействия на читательское восприятие. Частые физические посягательства на эстетическое восприятие вызывают утомление. Напряженность падает. Между тем напряженность прямо и непосредственно участвует в воплощении идеи произведения, составляя одну из ее сторон. Герои романа бьются и мучаются в сетях путаницы, внесенной в их отношения какой-то им непонятной злой силой. Они напряженно ищут выхода из путаницы, стремятся распознать эту силу. Ослабление напряженности их поисков, вялость, хотя бы малейшая тень равнодушия нарушают неотложность, насущность, нестерпимость путаницы, уменьшают силу ее отрицания, а ведь в этом отрицании, пока что преимущественно в нем, возникают контуры утверждаемого в романе идеала — ясных, прозрачных социальных отношений, моральных отношений между людьми.

Только что высказанные замечания касаются художественных деталей. О другом мощном источнике, обеспечивающем напряженность повествования, — о композиции — говорить преждевременно до появления второй книги романа.

Алейников сообщил Кружилину о предстоящем своем отъезде на фронт. К этому времени Кружилин догадывался о его нравственных мучениях, осведомлен был и о его любви. Он спросил: «Смерти, что ли, ищешь?» Алейников не отрицал. «Сам поднять на себя руку не могу, не хватит сил, видимо». Кружилин обозвал его мальчишкой. «Но я не могу иначе. Ты ведь не знаешь всего... всех моих дел!»

Через некоторое время Кружилин намеренно подверг его безжалостной нравственной пытке: он заставил его присутствовать при рассказе Наташи Мироновой, девушки, которую полюбил Семен Савельев.

Ее жизнь была уже известна к этому времени читателю. Сейчас эта больная, голодная, заочневшая девушка рассказала о ней Кружилину и Алейникову. Она, дочь репрессированного члена партии с 1910 года, потеряла при эвакуации и мать: поезд бомбили фашисты. Она добралась до Новосибирска, пыталась устроиться на работу, но у нее не было никаких документов, а

когда при расспросах она упоминала об отце, от нее отворачивались. В Шангаре она дважды чудом вырывалась от насильников...

Кружилин и Алейников после рассказа Наташи остались вдвоем. Алейников с горечью заговорил: «Поймут ли те, которые после нас будут жить, что мы... каких бы ошибок ни наделали — мы все-таки не подлецы. Сами-то перед собой мы были честными. Думали, что поступаем по правде и во имя правды»...

Снова — честность перед собой!

Кружилин ответил: «Потомки — они всегда великодушны. Но что говорить о потомках, даже современники простят, если... если эти «честные сами перед собой» докажут эту честность всем остатком своей жизни, а не смалодушничают и под видом героической гибели на фронте не покончат самоубийством, как нашкодившие... Не морщись, как бы там ни было, а нашкодил, и теперь — в кусты? А нам великодушно оставляешь возможность объяснить этой девчонке, почему же оно все так произошло? А объяснить надо, ведь ей жить на этой земле. А как ей жить, во имя чего жить, рожать детей? Во имя чего их растить, какие нравственные идеалы вкладывать им в души?»

Кружилин ждал ответа.

«Война есть война, Поликарп. И я, как ты знаешь, не трус. Останусь жив — буду полагать, что обязан этим тебе. Не вернусь если, не считай, будто смалодушничал. Вот все, что могу ответить».

Суровым врачом был секретарь райкома партии Поликарп Кружилин. А вот попытка исцелить еще одного человека с омутом в душе, внушающего людям непонятный страх, деспота и тирана в семье, до садизма жестокого к жене, враждующего с сыном, ненавидящего брата, ото всех отчужденного Федора Савельева, — Кружилину не удалась. Эта попытка была им принята на семейной встрече трех братьев — Антона, Федора и Ивана. Он тогда с наибольшей полнотой и сам раскрылся, и раскрыл те нравственные идеалы, которыми руководствовался в отношениях с людьми. Человек — «рано или поздно он начинает задумываться над сутью и смыслом бытия, жизни окружающих его людей, общества и над своими собственными делами и поступками. Это его заставляет делать властный

и извечный зов к жизни, извечное стремление найти среди людей свое, человеческое место».

Федор долго молчал, потом спросил неожиданно: «Ну, а если человек не начнет задумываться над смыслом этим?.. Над сутью бытия и своей жизни? Живет и живет себя, как ему живется. Тогда как?»

Кружилин ответил не сразу. «Тогда?.. А тогда по пословице: смолоду прореха, к старости — дыра».

Невольно вспоминается Денис Макшеев. Он-то задумался над своей жизнью, смог, но не нашел себе места среди людей, не зов к жизни услышал, а зов к смерти — и ухнул в дыру.

Но Макшеева здесь никто не знал. Здесь, собственно, не знали как следует и Федора. И Кружилину не удалось высветить омут в его душе, увидеть, что за чудовище там таится.

Глубже всех заглянул в этот омут Иван, но не теперь, позже.

Это было в избе Федора. Тогда Иван гришел к Анне, чтобы передать ответ Назарова: ее примут в колхоз. Она решила уйти от Федора. Пришел Федор, застал гостя. Опять не удержался, начал шпынять его прошлым: мало, мол, его советская власть давила. Иван подтвердил: да, советская власть промашку дала. Давить ей надо было Федора. Эти слова произвели неожиданно потрясающее впечатление на Федора. Да и на Анну: она едва удержала крик. С беспомощно-глуповатым выражением Федор спросил: за что же это советской власти надо было его давить? Иван произнес с трудом:

«А за то, сдается мне, что ты ее, эту власть... Ну, как бы тебе сказать?.. Боролся ты за Советскую власть, как же, знаю. Но ты не любишь ее, Федор. Во всяком случае, жалеешь, что она пришла. Не принимаешь ее...»

Федор допытывался: почему же он не принимает, по мнению Ивана, советскую власть? «Такой уродился, видимо. Вспоминаю вот, какой ты в детстве был...»

Речь, следовательно, идет о природных, биологических истоках характера. Это интересно. Читатель к этому времени знает детство Федора. Теперь его повлечет перечитать прочитанные страницы заново.

Был он разным в детстве. Было в нем горделивое самолюбие, заставившее его

однажды, преодолевая отчаянный страх, пройти из-за поддразнивания Антона Змеиное ущелье, которого все боялись. Рано проявилось у Федьки еще одно свойство: злопамятность, неумение прощать обиду. Когда Антона увозили в Новосибирск на житье к дяде и все Антона жалели, Федька заявил: «Так ему и надо, гаду белобрысому». За все злые штучки, какие устраивал над ним Антон.

Когда Федька подрос, отцу пришлось отдать его сторожем и служкой на Огневскую заимку, место загулов и оргий развратного ее хозяина — не знавшего удержу в распутстве богача Кафтанова. Кафтановской любовнице Лушке Кашкаревой приглянулся красивый, крепкий, статный подросток. Но Федор не поддался, когда Лушка, полуголая, явилась к нему ночью принялась его целовать. Он вырвался, а наутро рассказал хозяину до мельчайших подробностей, как искушала его Лушка. Понимал, что не надо было рассказывать, что погано выдавать бабу, и все же сделал, рассказал, и сам подал Кафтанову тяжелую четырехгранную плетть, и смотрел, как металась и визжала под нещадными ударами Лушка. После усадил Кафтанов Федора за стол и, допивая свою бутылку, мирно сказал ему: «А вырастешь ты, должно быть, хорошей сволочью. И чем-то, должно быть, этим самым, ты мне глянешься пока. Ну, там посмотрим».

В другой раз, тоже в пьяном застолье, Кафтанов сказал Федору: «Я, кого люблю, все для него сделаю! В сыновья тебя, если хошь, определю. Заслужишь если...» Эти слова запали в душу Федора. «А что, батя, ежели и вправду... С его-то помощью да и вправду можно как-нибудь за жизнь зацепиться?.. Послужу, руки не отвалятся. А там и поглядим... Дочка вон у него растет...»

В душе Федора поселилась зависть к жизни всласть, начала разъедать, размышлять податливое сознание.

Все это было в 1910 году. В этом же году в который раз бежал из тюрьмы большевик Антон Савельев. Он, раненный при побеге в руку, приехал домой, чтобы укрыться здесь, пока заживет рука. Отец и Федор спрятали его в пещере Змеиного ущелья. Кафтанов, приехавший со своим управляющим Демьяном Инютиным и полицейскими разыскивать Антона, схватил Федора. Огромными своими ручищами сда-

вил горло: «Говори, где твой брат-каторжник?!»

То, что произошло вслед затем, было полной неожиданностью для Кафтанова, привыкшего к полной послушности Федора, да, видимо, и для Федора тоже. Не помня себя от гнева, он пронзительно закричал: «Убери лапы, гад такой!» — вырвался из рук Кафтанова и метнулся в лес.

Что было дальше? Федор пережил несколько сдвигов в сознании. Он почувствовал ненависть к себе: зачем он впутался, все теперь пропало, Анна подрастет, а благодатной жизни ему на заимке не видать, «Антон этого черт принес...».

Узнав об аресте отца и избиении брата Ваньки, возненавидел Инютина и полицейских: «Все бы вам под зад нас да за горло... Привыкли, сволочи».

Кружилин, помним, говорил о человеческом разуме, о его вечном зове. Здесь перед нами художественный анализ формирования характера, подчинения его биологических истоков социальным воздействиям, сталкивающимся и борющимся между собой, анализ процесса социализации человека.

Прав ли был Иван, когда ответил на вопрос, почему, по его мнению, Федор не принимает советской власти: «Такой уродился, видно... Были прорешки у тебя в характере. Жадноватый был, завидуший, самонаравный?»

Анна считала, что прав. После ухода Ивана Анна сказала Федору в ответ на его запрещение идти в колхоз:

«— Все, все правильно Иван сказал про тебя: не любишь ты никого — ни меня, ни детей, ни жизнь эту, ни власть — никого. И себя, должно, не любишь. Зачем тогда ты живешь-то? Зачем?.. И на мне ты хотел жениться из жадности к отцовскому богатству...»

— Вовсе интересно, хе-хе... — Смешок его, хриплый, глухой, походил на кашель. — Женился-то я в девятнадцатом на тебе, когда в партизанах был. К тому времени от богатства вашего один дым остался.

— Это уж так получилось, что в девятнадцатом... И когда в партизанах оказался. А я говорю, хотел раньше. Любил-то Анфису, жил ведь тогда еще с ней, а жениться хотел на мне... А что от богатства нашего один дым остался — это тебя и точит всю жизнь, как червяк дерево».

Она дала совершенно новое, непредвиден-

ное, кажущееся с первого взгляда неправдоподобным, противоречащим здравому смыслу объяснение ненависти Федора к Ивану: не за то ненавидит Федор брата, что он был у белых, а за то, что он перешел к красным, что опомнился, понял, где правда, за то, что убил Кафтанова. Федор мстит за это Ивану всю жизнь — ему, потому что больше никому не в силах мстить за крах своих расчетов на кафтановское богатство.

Каждое слово Анны как бы отпечаталось в мозгу Федора, и не сейчас, а позже, уже после трагической гибели Антона, он заново пережил каждое ее слово и признал, не мог не признать правоту и Анны и Ивана.

Да, ненависть к брату зародилась у него тогда, когда Кафтанов взял Ивана на заимку на Федорово место. Родилась из зависти.

Да, он любил Анфису, их связь началась с шестнадцатого года, он обещал на ней жениться, но, обещая, знал, что лжет, потому что в планах его была женитьба на любимой его Анне, обещал же Анфисе для того, чтобы уговорить ее избавиться от беременности.

Да, он действительно оказался в партизанах — так тогда сложились обстоятельства.

В девятнадцатом году в передышке между боями партизаны справили свадьбу Федора и Анны. Невеселый, безрадостный сидел Федор за столом. Глодала его мысль: вот если бы Кафтанов сидел за столом, вот если бы его богатство не пошло прахом... А теперь, чего он добился теперь?..

Все было правдой, что говорила Анна, было у него сожаление о богатстве, но было тогда, в прошлом. А потом не было. «Жалением ничего не вернешь, не исправишь. Врешь, врешь, врешь!» — опровергал он мысленно Анну.

И все-таки это была правда. Но признать ее он не хотел, ту правду, что собственные вожеления жили в нем до сих пор, что не вытравили их годы.

Страсть собственничества, проклятие собственничества — постоянная и главная тема творчества Анатолия Иванова. В «Вечном зове» эта губительная страсть получила новое выражение, подвергнута более углубленному, чем в прежних его романах, анализу, обнаружена там, где была глубоко скрыта. Спрятанная в недрах человеческого сознания, она не только отравляет

душу, в которой угнездилась, но вносит искажения в семью, в быт, в нравственные и социальные отношения.

Федор почувствовал, что вопроса Анны: «Зачем тогда ты живешь-то?» — никогда ему не отогнать, никогда от него не избавиться.

Погиб Антон Савельев. Погиб героически, ради спасения людей. Наташа Миронова была тогда на заводе и видела все. Загорелось в столярном цехе. Когда она подбежала к пожарищу, пробиваясь через стену людей, взметнулся гигантский столб искр — рухнула крыша. Она видела, как директор завода и Семен в мокрой, дымящейся одежде откуда-то из самого пекла выволокли главного инженера Нечаева. Пожарники поливали из шлангов коробившуюся от жара крышу склада № 8, склада боеприпасов. Нечаев, с невероятным усилием приподнявшись, сказал: «Проводка в восьмом складе тоже плохая... Вода через крышу попадет на нее и может... А если загорятся провода... Немедленно отключить третий кабель. Третий! Вон в том трансформаторе».

Уже загорелся склад. Неминуем был взрыв, это повлечет гибель сотен людей. Решали мгновения. Наташа видела, как Семен бросился с ломом к трансформаторной будке, стал колотить в дверь. За ним устремился директор. Когда дверь распахнулась, директор вырвал лом из рук Семени. Ни он, ни Семен не знали, какой кабель надо было выключить. Медлить было нельзя, директор прижал ломом сразу все рубильники на распределительном щите.

На похороны Антона приехал Субботин. В память Наташи Мироновой врезались его слова у могилы: «...Жизнь устроена пока дьявольски сложно и трудно, порой жестоко... Ты, Антон Силантьевич, обладал даром сквозь эти сложности и трудности видеть и понимать истинные начала жизни, с ее извечным светом справедливости, радости и счастья...»

Наташа этим даром не обладала. Она хорошо знала, как жестока жизнь, она готова была верить в красивые слова об истинных началах жизни, но она не видела этих начал. Где они?

Субботин словно угадал ее мысли:

«А они — в самом человеке. Они — в каждом человеке. Но многие не понимают этого или долго-долго не могут понять. Что ж, видно, несовершенен пока человеческий

мозг. Отсюда и несчастья, и трагедии, отсюда много порой горя...»

Антон Савельев, говорил Субботин, знал, зачем жил: чтобы помогать жить другим, помогать людям увидеть в себе эти истинные начала жизни.

Наташе показалось, что она поняла Субботина: жить, чтобы помогать людям жить. Ей помогали жить многие. А она не видела справедливых начал жизни, не видела в ней радости. А Семен, а ее любовь к нему? Это разве не начала? Она искала эти начала не в себе. Субботин разъяснил: надо в себе. Так что же все-таки истинные начала жизни?

Это было зимой. Летом, в июне, Семен должен был ехать на фронт. Наконец-то уважили его неоднократные заявления о снятии с него, механизатора военного завода, брони. Незадолго до этого Наташа поняла, что у нее будет ребенок. Она ничего не сказала Семену, отложила эту весть до часа отъезда.

В выходной они с утра уехали за село, перешли на остров, лежали на песке. Было там мгновение, когда она до пронзительности отчетливо поняла, что через несколько дней Семени с нею не будет, и она закричала на весь остров: «Нет! Нет!» Она кричала, что она не может без него, не хочет, чтобы он ехал. Другие не едут же.

Семен попросил ее не говорить так. Другие не едут, а ему надо. Почему? Она стала требовать, чтобы он объяснил ей. Ей необходимо было постичь неумолимую силу, которая отнимает его у нее.

«— Ты о чем спрашиваешь? Ну, фашистов мне хочется бить своими руками. Разве непонятно?»

— Понятно. Но это... очень простое объяснение. А есть еще какое-то... самое главное».

Что-то очень знакомое нам прозвучало в этих Наташиных словах... Да, конечно, это восклицание Гриньки из повести «Жизнь на грешной земле»: «Есть же самая справедливая справедливость?»

На Наташин вопрос о самом главном, которое есть же, Семен ответил: «Есть, наверное. Но мне его не высказать, не знаю».

Наташу внезапно осенило. Вот так же, как сейчас, он говорил ей, что не знает, когда она спрашивала, зачем он бросился к трансформатору. И ей стал ясен ответ, который она долго и мучительно искала, ответ на вопрос, что такое истинные нача-

ла жизни. Это та таинственная сила, которая заставляет человека в самые трудные минуты «поворачиваться к жизни самой сильной, самой благородной, самой справедливой своей стороной».

Она Семену: ты знаешь.

Семен ей: что я знаю, ничего не знаю.

Он ищет, перебирает. Все помнят, кто был его дед Кафтанов, все знают, кто Макар, брат матери, знают и каков его, Семена, отец... Семен и поэтому должен идти на войну.

И поэтому. Но не только. Почему же еще? Потому что облачко полыхает на небе? Что дядя Антон отдал жизнь для спасения людей? Что Семен встретил и полюбил Наташу? Семен этого не отвергает, но он говорит: красивое объяснение. Какое же другое, каким простым словом его определить?

Оно так и не будет названо до последней строчки романа. Не будет названо и в последней. Последняя его строчка: «Конец первой книги». Читатель сам должен отыскать это не давшееся Семену, не отысканное слово. То, что назвал Семен — это не посредственные мотивы, а что стоит за ними? Нужно назвать их сущность. Может, это высший разум природы?

Последняя сцена романа. Проводы уезжающих на фронт. Длинный состав теплушек, вдоль него толпы людей, толчея, суматоха, гул, женский плач, смех, охрипшие звуки гармошки. В конце эшелона Семен, Иван. Иван тоже уезжает на фронт, он гладит по плечам жену, низкорослую худенькую женщину. Рядом с ними Анна, Наташа, меньшие братья Семена, Назаров. Пришел и отец. Зачем? «Не знаю. Может, зависть пригнала».

Иван спросил: «Какая зависть? Что на войну не берут?»

«Нет,— усмехнулся Федор, будто проглотил тяжелый камень.— Это бы и я мог, коли захотел... Вообще... Но вам этого не понять».

Сказал Семену «прощай», повернулся, ушел.

Все глядели вслед ему растерянно, «будто он взял и унес что-то, а что — никто сообразить не мог».

Что же вызвало зависть у Федора? Завидуют успеху, удаче, счастью. Зависть — это желание иметь то, что имеет другой. Прежде Федор рвался к кафтановскому богат-

ству, в обладании им он видел счастье, завидовал Ивану, занявшему его место на заимке. Какое счастье он усмотрел теперь, на вокзале, в стенаниях и слезах женщин, провожавших родных на войну? Прощаясь с Семеном, что возжелал он иметь? Что-то такое, что было у Семена, а у него не было.

Семен был сообща со всеми, Федор был отдельно. Общность со всеми и была тем богатством, которому позавидовал Федор. Это было богатство несметное: ведь та общность, которая объединяла людей здесь, на вокзале, была лишь малой частицей общности, единства со всей страной, со всем народом. Федор явился отчужденный на вокзал и ушел отчужденный, причинив своей отчужденностью ущерб чувству общности — «будто он взял и унес что-то».

Общность Семена со всеми родилась не сейчас, не здесь. Она ярчайшим образом проявилась во время катастрофы на заводе, когда он мчался к трансформаторной будке, готовый пожертвовать жизнью ради спасения людей. Его опередил тогда Антон Савельев. Называя мотивы, побуждавшие его идти на войну, Семен напомнил Наташе о гибели своего дяди. Семен принял у него эстафету самоотверженного служения народу. Этому душевному богатству мог позавидовать Федор.

Семен, перебирая мотивы, звавшие его на войну, напомнил Наташе не только о дяде Антоне Савельеве, он противопоставил ему своего отца — Федора, деда — атамана Кафтанова, брата своей матери — вора Макара Кафтанова. Свое родство с ними он болезненно воспринимал как бесчестье. Побуждение отстранить это бесчестье от себя, матери, меньших братьев было также одним из мотивов в его решении идти на войну. Это было чувство личного достоинства, и оно было его богатством.

Он шел на войну сражаться за свою и Наташину любовь, он сказал об этом Наташе — за их любовь, за чистоту, за душевность, человечность, обогащающую, выпрямляющую и целительную ее силу. Это тоже было его богатством. Такой любви Федор никогда не испытывал, и он мог завидовать этому богатству.

Перебирая мотивы своего решения идти на фронт, Семен не назвал Наташе одного, изначального. Он назвал его матери, когда та удерживала его от этого решения. Он сказал: «А в глаза как людям смотреть — той же Марье Фирсовне?» Марья Фирсов-

на была беженкой. Она со своей семьей жила у Савельевых в избе. Семен брал на себя вместе со всем народом, со всей страшной ответственностью за ее судьбу. Он не мог бы смотреть в глаза ей и всем людям, если бы не пошел на войну. Это была совесть. И она была тем богатством, какому мог завидовать Федор.

Марья Фирсовна говорила: «Жизнь справедливость любит». За эту веру в справедливость, за справедливость шел сражаться Семен. Борьба за справедливость была тем его богатством, от которого отрешен был Федор.

Совесть, честь, достоинство, самоотверженная преданность народу, любовь, человечность, справедливость — это были те высокие ценности, то богатство, которое шел отстаивать Семен в войне. Они и составляли мотивы его жизненного поведения. Семен стеснялся их назвать, он считал, что это слишком красивые слова, чтобы решиться применить их к себе. Но есть не отысканное им слово, которое объединяло все эти слова, простое, лишнее внешнего блеска слово — п о т р е б н о с т ь. Потребность народа, творца истории, потребность исторического развития, движения истории вперед.

В своем соучастии, своей сопричастности к движению истории, в слитности и единстве своих интересов с интересами народа он и обрел те богатства, какие шел защищать. В них, в их умножении и развитии, в совершенствовании человека и социальных отношений и заключался смысл исторического развития, неодолимого, непреодолимого. В этом и была самая справедливая справедливость, объективная, независимая от произвольных толкований. Мерой, критерием справедливости, совести, чести, всех мотивов и поступков людей и было соответствие или несоответствие, содействие или противодействие социалистическому совершенствованию человека — главной ценности из всех ценностей.

Самая справедливая справедливость... Но тогда почему же слезы, страдания? Почему ими кончает свой роман писатель? Почему самые последние строки романа, последний, завершающий его образ — рухнувшая на землю женщина, носящая под сердцем ребенка, потерявшая сознание Наташа?

Потому что это правда. Потому что вечно страдание любви и разлук, как вечна радость любви, как вечна бесконечная, неодолимая, необъятная радость жизни.



Н. ЛЮБИМОВ

★

ЛИРИКА ФЕТА

I

Лирик Фет одну из главных своих задач полагал в том, чтобы увидеть и отразить многоликость красоты внешнего мира, всякий раз приводившей его в радостное изумление; в том, чтобы отыскать красоту в каждой крохотной частице этого мира, в том, чтобы не пройти мимо самого по виду скромного из ее чудес:

Поэт смущен, когда дивишься ты
Богатому его воображенью.

Не я, мой друг, а божий мир богат,
В пылинке он лелеет жизнь и множит...

(«Кому венец: богине ль красоты...»)

Стоит только оглянуться —

...и мир вседневный
Многоцветен и чудесен.

(«Мы с тобой не просим чуда...»)

Любовное внимание к каждому глухому уголку природы, умение из всего высечь искру поэзии, умение найти поэзию там, где другие увидели бы серую будничность, вседневность, роднит пейзажную живопись Фета с пейзажной живописью Левитана, примечавшего поэзию в запущенном дворике с чайничком-рукомойником, в покосившемся сарае с дверью, открытой в весенний сад.

Фета не пугает ночь, как пугает она Тютчева своею непроглядностью, шевелящимся под покровом темноты хаосом. Ночь Фета — по преимуществу ночь светлая, лунная, звездная, тихая, настраивающая на восторженное созерцание, если и рождающая в душе печаль, то такую же светлую, как она сама:

Тихо все, покойно, как и прежде;
Но рукой незримой снят покров

Темной грусти. Вере и надежде
Грудь раскрыла, может быть, любовь?

Что ж такое? Близкая утрата?
Или радость? — Нет, не объяснишь, —
Но оно так пламенно, так свято,
Что за жизнь творца благодаришь.

(«Ночь. Не слышно городского шума...»)

Озарена природа, озарена и глубь души поэта. И все же родственнее ему стихия дня:

Но вот заря! Бледнеет тень,
Туман волнуется и тает, —
И встретить очевидный день
Душа с восторгом вылетает.

(«Весна и ночь покрыли дол...»)

Тютчеву в самой природе слышится по временам гармония («Певучесть есть в морских волнах, гармония в стихийных спорах...»), но природа и человек у него разобщены, отчуждены:

Откуда, как разлад возник?
И отчего же в общем хоре
Душа не то поет, что море...

Для Фета природа — источник утешения, источник жизнеутверждения. У нее человек должен учиться стойкости и мудрому терпению:

Учись у них — у дуба, у березы.
Кругом зима. Жестокая пора!
Напрасные на них застыли слезы,
И треснула, сжимаяся, кора.

...Но верь весне. Ее промчится гений,
Опять теплом и жизнью дыша.
Для ясных дней, для новых откровений
Переболит скорбящая душа.

Поэт познал великую скорбь, и все же он к «наслаждению высокому» зовет и к «человеческому счастью», он «блажен среди

страданий». Страдания претворяются для него в радость:

Страдать! — Страдают все — страдает
 темный зверь,
 Без упования, без признанья, —
 Но перед ним туда навек закрыта дверь,
 Где радость теплится страданья.

Жизнерадостность поддерживается в поэте его влюбленностью в великую, ликующую красоту мира, перед которой нельзя «не петь, не славить, не молиться»:

Покуда на груди земной
 Хотя с трудом дышать я буду,
 Весь трепет жизни молодой
 Мне будет внятн отовсюду.

(«Еще люблю, еще томлюсь...»)

Звучащие в поэзии Фета печальные, тоскливые, рыдающие, шемящие, хватающие за сердце ноты лишь оттеняют и выделяют этот ее лейтмотив.

Последним сборникам своих стихотворений Фет дал характерное заглавие: «Вечерние огни». Пусть настал уже вечер — с круговоротом земного бытия ничего не поделаешь, — но вечер не пасмурный, не затянутый тучами, — это вечер ясный, это вечер огнистый.

Это утро, радость эта,
 Эта мощь и дня и света,
 Этот синий свод,
 Этот крик и вереницы,
 Эти стаи, эти птицы,
 Этот говор вод,
 Эти ивы и березы,
 Эти капли — эти слезы,
 Этот пух — не лист,
 Эти горы, эти доли,
 Эти мошки, эти пчелы,
 Этот зык и свист,
 Эти зори без затмения,
 Этот вздох ночной селенья,
 Эта ночь без сна,
 Эта мгла и жар постели,
 Эта дробь и эти трели,
 Это все — весна.

Написанное как бы на одном дыхании, представляющее собой единое синтаксическое целое, стихотворение звучит гимном радости, хвалой пробуждению, обновлению мира, его весеннему преображению. У поэта глаза разбегаются и сердце готово выпрыгнуть из груди при виде этого многоцветного и многозвучного праздника. Но и русская зима отрадна для поэта. Как бы ни была печальна береза зимой, для его взгляда «радостен» ее «траурный наряд».

Осень — самое тягостное для поэта время. Но и осенью его взор тешит роза, «благоуханна и пышна»:

Назло жестоким испытаньям
 И злобе гаснущего дня
 Ты очертаньем и дыханьем
 Весною веешь на меня.

(«Осенняя роза»)

Для Фета, как и для Некрасова, «нет безобразья в природе». Любая прозаическая частность может стать предметом поэзии. А когда так, то тут уж без прозаизмов не обойтись. И Фет ими не брезгует. Если прозаизм дает возможность выразить какой-то оттенок в свете, в звуке, если он сообщает характерность картине, если он способствует свежести восприятия, Фет смело и охотно им пользуется. Так, на прозаических подробностях строит Фет стихотворение «Деревня». Тут у него и «не раз долитой самовар», и «чепец и очки» старушки. В стихотворении «Теплым ветром потянуло...» мы видим и гуртовщика, и жующих волов. Такие стихи Фета Маршак назвал «поэзией, добытой из прозы». Эти «добытые из прозы» подробности придают еще большую достоверность тому, что изображается в стихотворении. Находясь в непосредственной близости к словам «высского» ряда, они от них зажигаются огнем поэзии. Происходит взаимопроникновение двух начал — поэтического и прозаического.

Лишь соловьихи робких чад
 Хрипливым подзывали свистом.

(«Дул север. Плакала трава...»)

«Снижающим» эпитетом «хрипливый» Фет выражает оттенок в соловьином свисте, который до него никто из поэтов не улавливал. Крик чибиса он наделяет опять-таки «снижающим» эпитетом: «Плаксивый чибис прокричал...»

Некрасов тоже культивировал прозаизм, но это уже прозаизм зачастую иронической окраски, у него иное стилистическое обрамление, в иных случаях — сплошь «прозаическое», и назначение у него тоже иное: широта охвата жизненных явлений требовала гораздо большей стилистической широты и большей стилистической гибкости.

Чуткий к звукам, Фет столь же приметлив к игре светотени. При этом он соблюдает чрезвычайную экономию. Он обходится

без поясняющих придаточных и вводных предложений — он наделяет основной цвет эпитетом, определяющим его оттенок, и тем достигает предельной уплотненности:

Стоит красавица степная
С румянцем сизым на щеках.

(«Еще весны душистой нега...»)

Нужно обладать фетовской зоркостью, нужна фетовская «реалистическая точность изображения», которую отметил еще Страхов, чтобы показать блеск листьев тополя, переливчатость которого зависит от того, как падает луч заката. Тополь у Фета

...зыблет, уловя денницы блеск прощальный,
И чистым золотом и мелким серебром.

(«О, как волнуюсь я мыслию больною...»)

И здесь Фет не чурается прозаизмов: тополь от легкого вечернего ветерка «ставит лист ребром...». Метафоры Фета точны, выразительны и свежи именно в своей прозаической вещественности, в своей материальности:

В каждый гвоздик душистой сирени,
Распевая, вползает пчела.

(«Пчелы»)

...набежавших туч края
Стеклом горючим окаймило.

(«Ты видишь, за спиной косцов...»)

Импрессионисту Фету достаточно одного мазка, чтобы дописать пейзаж, будь то раннее утро:

Холодно, ясно, бело,
Дрогнуло птицы крыло...

(«На рассвете»)

будь то ранняя весна с ее утренниками:

Еще зарей гремит телега
На замороженном пути.

(«Еще весны душистой нега...»)

Дрогнувшее крыло птицы — как предвестник рассвета и заморозок, показанный через слуховое восприятие, — эти образы сродни блеску горлышка от разбитой бутылки, который в рассказе «Волк» заменяет Чехову обстоятельное описание лунной ночи.

Фет-пейзажист, как, впрочем, и Фет-психолог, самобытен и смел во всем, смел даже до дерзости — смел в обращении с про-

заизмом, смел в своих эпитетах, метафорах и сравнениях, в том, как он «сопрягает далековатые идеи». Оттого-то его пейзажи так ярки. Хорошо сказал Маршак: «Природа у него — точно в первый день творения...» Ведь это же Фет написал: «Травы в рыдании...»! Мы видим и слышим в его стихах «серебряную тишь» зимнего заснеженного леса. И Лев Толстой и Полонский не случайно применяют к Фету слово «дерзость». «...какая дерзость...» — пишет Фету Полонский 31 августа 1889 года по поводу одной восхитившей его строчки. А Толстой в письме к В. П. Боткину от 9 июля 1857 года распространяет это свойство на всю лирику Фета — он пишет о его «лирической дерзости» как о «свойстве великих поэтов».

Внимание к частностям сочетается у Фета с умением охватить, объять все, что в это мгновение является его взору. Целостность многих фетовских образов рассчитана на быстроту читательского восприятия, на стремительность читательского воображения:

Уже мерцает свет, готовый
Все озарить, всему помочь,
И, согреваясь жизнью новой,
Росою счастья плачет ночь.

(«Не упрекай, что я смущаюсь...»)

...лес проснулся,
Весь проснулся, веткой каждой,
Каждой птицей встрепенулся
И весенней полон жаждой...

(«Я пришел к тебе с приветом...»)

Фета привлекает и в природе и в душе человека все переливчатое, все зыблющееся, неприметно переходящее одно в другое. Пожалуй, его любимое время дня — переходное:

Так робко набегают тень,
Так тайно свет уходит прочь,
Что ты не скажешь: минул день,
Не говоришь: настала ночь.

(«Жди ясного на завтра дня...»)

Фет столь же отчетливо различает переливы в красках и в звуках, как и в чувствах и в настроениях. Он вполне мог бы к самому себе обратить эти слова:

Лишь у тебя, поэт, крылатый слова
звук
Хватает на лету и закрепляет вдруг

И темный бред души и трав неясный
запах...

(«Как беден наш язык!..»)

Фет не зря поставил рядом слова, взятые из разных семантических рядов и объединенные лишь эпитетами: темный — неясный. Для Фета связь между тем, что происходит во внутреннем мире человека, и явлениями внешнего мира несомненна, и эту связь он не устает подчеркивать, то уподобляя явления внешнего мира строю человеческих чувств, то прибегая к приему противоположному:

О первый ландыш! Из-под снега
Ты просишь солнечных лучей:
Какая девственная нега
В душистой чистоте твоей!

Как первый луч весенний ярок!
Какие в нем нисходят сны!
Как ты пленителен, подарок
Воспламеняющей весны!

Так дева в первый раз вздыхает —
О чем — неясно ей самой, —
И робкий вздох благоухает
Избытком жизни молодой.

(«Первый ландыш»)

Когда смущенный умолкаю,
Твоей суровостью томим,
Я все в душе не доверяю
Холодным колкостям твоим.

Я знаю, иногда в апреле
Зима нежданно набежит
И дуновение метели
Колючим снегом закружит.

Но миг один — и солнцем вешним
Согреет юные поля,
И счастьем светлым и нездешним
Дохнет воскресшая земля.

Для Фета, как и для Тютчева, природа — «не бездушный лик»: «в ней есть душа, в ней есть свобода, в ней есть любовь, в ней есть язык». Фетовская природа, как и природа Тютчева, — существо мыслящее, одушевленное, одухотворенное. В ней нет ничего неподвижного, косного. Ей доступна вся гамма чувств и ощущений человеческих:

Робко месяц смотрит в очи,
Изумлен, что день не минул,
Но широко в область ночи
День объятия раскинул.

Над безбрежной жатвой хлеба
Меж заката и востока
Лишь на миг смежает небо
Огнедышащее око.

(«Зреет рожь над жаркой нивой...»)

Фет настойчиво и дерзновенно очеловечивает природу. Этот прием перейдет затем по наследству от поэта к поэту, а со времен Чехова получит «права гражданства» и в прозе.

II

Фета часто упрекали (время от времени эти упреки слышатся еще и сейчас) в тематической узости. В самом деле, темы лирики Фета немногочисленны. Но зато какие это темы! Природа, красота в природе и в жизни, любовь со всеми ее переливами: нежностью, страстью, отчаянием, болью разлуки, болью утраты, смерть... И — если слегка переиначить слова Мюссе — из этого неширокого стакана Фет пил до дна. Фет не только несравненный пейзажист, расширяющий и обогащающий наше представление о родной природе, но и знаток человеческой души. Как редко кто в русской поэзии, Фет умеет воспроизводить сложность человеческих переживаний, то, что Гоголь называл «поперечивающим себе чувством». Вот один из образцов фетовского искусства улавливать игру светотени в человеческой душе:

Не нужно, не нужно мне проблесков
счастья,
Не нужно мне слова и взора участия,
Оставь и дозволь мне рыдаты!
К горячему снова прильнух изголовью,
Позволь мне моей нераздельной любовью,
Забыв все на свете, дышать!

Когда бы ты знала, каким сиротливым,
Томительно-сладким, безумно-счастливым
Я горем в душе опьянен, —
Безмолвно прошла б ты воздушной стопою,
Чтоб даже своей благовонной стезею
Больной не смутила мой сон.

Не так ли, чуть роща одеться готова,
В весенние ночи, — светила дневного
Бойтся крылатый певец? —
И только что сумрак разгонит денница,
Смолкает зарей отрезвленная птица, —
И счастьем и песне конец.

Контрастностью настроения отмечена и последняя строфа стихотворения «У камин»:

Встает ласкательно и дружно
Былое счастье и печаль,
И лжет душа, что ей не нужно
Всего, чего глубоко жаль.

К смерти Фет относится с эллинским спокойствием, он готов с улыбкой пе-

рейти на лоно вечности. Его
душе

...чудится заране
Тот день, когда без корабля
Помчусь в воздушном океане
И будет исчезать в тумане
За мной родимая земля.

(«На корабле»)

Фет — улавливатель, казалось бы, неуловимого, выразитель, казалось бы, невыразимого.

Жуковский в стихотворении «Невыразимое» спрашивает:

Невыразимое подвластно ль выраженью?.. —

и отвечает отрицательно. Он прямо говорит о беспомощности поэтического искусства, способного передавать лишь то, что «видимо очам», но бессильного найти язык для «ненареченного», для того, что «слито с сей блестящей красотой», для стремленья «к далекому» и для воспоминаний о минувшем.

Все необъятное в единый вздох теснится,
И лишь молчание понятно говорит.

Тему молчания подхватывает Тютчев в своем программном «Silentium!».

И у Фета есть эта гяга к молчанию:

О, если б без слова
Сказаться душой было можно!

(«Как мошки зарею...»)

Но без слова «сказаться» нельзя. И Фет пользуется всеми доступными ему средствами, чтобы поймать и удержать в горсти быстролетные, ускользящие лучики, чтобы, по его собственному выражению, невозможное стало несомненным, чтобы живописать «все невозможно-возможное, странно-бывалое», чтобы живописать «тревогу почувств», как сказал об его стихах Аполлон Григорьев, чтобы наглядно показать, как «совершается греза».

Одно из таких средств — развитие темы не по принципу логическому, а эмоциональному, на что обратил внимание еще Аполлон Григорьев. И это был камень преткновения для современников Фета. Примером может служить способный, но примитивно мыслявший и чувствовавший поэт Минаев. Пародии Минаева на Фета остроумны и хлестки, когда они превращаются в сатирические перепевы. Остроумны и хлестки те пародии Минаева, объектом которых является не творчество Фета, а его политические

взгляды. Так, в цикле «Лирические песни с гражданским отливом» Минаев использует приемы Фета для изложения и осмеяния его крепостнических воззрений и тем искусно подчеркивает разницу между «прозой Шеншина» и «стихами пленительного Фета». А в цикле «Лирические песни без гражданского отлива» непосредственным объектом пародий служит стилевой принцип Фета, и тут Минаев обнаруживает слабость своего художественного чутья. Есть у Фета известное стихотворение «Уснуло озеро; безмолвен черный лес...»:

Уснуло озеро; безмолвен черный лес;
Русалка белая небрежно выплывает;
Как лебедь молодой, луна среди небес
Скользит и свой двойник на влаге
созерцает.

Уснули рыбаки у сонных огоньков;
Ветрило бледное не шевельнет ни складкой;
Порой тяжелый карп плеснет у тростников,
Пустив широкий круг бежать по влаге
гладкой.

Как тихо... Каждый звук и шорох слышу я;
Но звуки тишины ночной не прерывают, —
Пускай живая трель ярка у соловья,
Пусть травы на воде русалки колыхают...

Минаев берет это стихотворение и печатает его в обратном порядке — от последней строки к первой. Пародист верно уловил, что Фет развивает тему не по принципу прямолинейной логики. Но он не усмотрел у Фета никакого принципа. Между тем у Фета принцип есть, и принцип этот — эмоциональный. Художественное произведение — не арифметическая сумма приемов; от перестановки слагаемых оно меняется. Так изменилось оно под пером пародиста не приметно для него самого. Фет создает впечатление тишины путем постепенного нагнетания соответствующих мотивов: уснуло озеро — безмолвен лес — уснули рыбаки у сонных огоньков — парус не шевельнет складкой. Эта последняя деталь особенно показательна для наступившей глубокой тишины. Дойдя до апогея тишины, поэт затем естественно переходит к другому мотиву: тишина такая, что слышен каждый шорох, но и шорох не в силах ее нарушить. Вот этих переходов, оттенков и полутонов Минаев не различил. Оттого-то его пародия состоит из разрозненных, случайных, «не играющих» деталей.

Эмоциональный принцип композиции позволяет Фету опускать ассоциативные

звенья — прием, к которому нас приучила поэзия XX века. Фет писал Полонскому 21 декабря 1890 года: «...бывают случаи, когда поэт сам не поднимает окончательно завесы перед зрителем, предоставляя последнему глядеть сквозь дымку...» Фет предоставляет читателю уловить душевное состояние лирического героя в подтексте, а не в тексте, где оно никак не определено и не названо.

Приведем полностью одно стихотворение Фета:

Облаком волнистым
Пыль встает вдали;
Конный или пеший —
Не видать в пыли!

Вижу: кто-то скачет
На лихом коне.
Друг мой, друг далекий,
Вспомни обо мне!

Последние две строки звучат «томным звуком струны», долго не смолкающим, постепенно замирающим аккордом. А читатель, внутренним своим слухом вслушиваясь в этот аккорд, проникается настроением поэта. Поэт ничего ему не навязывает, не подсказывает, о ком идет речь — только ли о друге или о любимой женщине, да это и не важно: здесь все дело в идее-чувстве этого короткого стихотворения, в пронизывающей каждую его строчку тоске одиночества, в стремлении вдаль, которое пробуждает у лирического героя промелькнувший перед ним путник, в стремлении к чьей-то родственной душе.

Фет любит эти аккорды в конце стихотворения:

...Белая равнина,
Полная луна,

Свет небес высоких,
И блестящий снег,
И саней далеких
Одинокий бег.

(«Чудная картина...»)

Долго еще мы провожаем мысленным взором эти сани и одновременно по воле своего воображения дорисовываем картину, лишь намеченную поэтом. Фет требует от своего читателя не только сопереживания, но и соучастия. Его поэзия рассчитана на читателя активного.

Фет не утомляет читателя однообразием приемов. Совершенно прав Б. Бухштаб, отметивший у Фета «большую широту стиле-

вого диапазона»¹. Этот искатель неуловимого на диво пластичен и ясен в своих антологических стихах, которые — именно потому, что они «понятны», — ценились большинством его современников гораздо выше его «мелодий». Фет поистине богат в своих стихах — богат чувствами и ощущениями, богат красками, звуками, разнообразен в приемах и в средствах.

В стихотворении «Как богат я в безумных стихах!» Фет называет себя поэтом-чародеем. И он не только чародей слова, но и чародей ритма и звука. «Вместе с Тютчевым Фет — самый смелый экспериментатор в русской поэзии XIX века, прокладывающий путь в области ритмики достижениям XX века», — с полным основанием утверждает Б. Бухштаб. Внезапная смена настроений, порывистость и смятенность чувств влекут за собой ритмические перебои:

Лесом мы шли по тропинке единственной

В поздний и сумрачный час.

Я посмотрел: запад с дрожью таинственной
Гас.

¹ См. его вступительную статью к полному собранию стихотворений Фета — издание 1937 года. Кстати сказать, Б. Бухштаб проделал работу над текстами Фета, значение которой трудно переоценить: он освободил тексты Фета от редакторского произвола. Он, как художник-реставратор, смыл редакторскую правку, искажавшую черты подлинного Фета, закрашивавшую его своеобразие. Сличение двух однотомников Фета (1937 и 1959) показывает, что, готовя новое издание, Б. Бухштаб пересмотрел свои ранние текстологические взгляды и от иных крайностей отказался. В пору подготовки первого издания еще не остыло увлечение наших текстологов рукописными и первопечатными вариантами. Вновь пристально взглядевшись во все издания, Б. Бухштаб отделил редакторский произвол от той правки, с которой согласился, которую одобрил и утвердил Фет. От этой дополнительной работы тексты Фета только выиграли. Б. Бухштаб правильно решил и задачу композиции, выполнив последнюю волю автора и расположив основной корпус, соответственно плану самого Фета, не по хронологическому принципу, но по тематическим и жанровым разделам. Фет не дорожил хронологической последовательностью, и, в общем, он был прав. Разумеется, его поэзия росла и вширь и вглубь, утончалось, совершенствовалось его искусство, но, если не считать броска от юношески подражательного «Лирического пантеона» (1840) к вполне самостоятельным, вполне «фетовским» «Стихотворениям» 1850 года, в существе своем его поэзия уже не менялась. Вот почему стихотворения Фета разных годов мирно уживаются под одной «кровлей» раздела.

Фет призывает поэтов:

Что не выскажешь словами —
Звуком на душу навей.

(«Поделись живыми снами...»)

Что имеет в виду Фет? То, что звук помогает создать нужное поэту впечатление, настроить читателя на определенную волну, что он помогает до выразить, что он аккомпанирует мысли и чувству.

Лететь к безбрежью, бездорожью,
Через леса, через поля,—
А подо мной весенней дрожью
Ходила гулкая земля.

(«Всю ночь гремел овраг соседний...»)

В этой строфе поэт дорисовывает подбором гласных звуков и то замедленными, то учащенными взмахами ритма беспредельность пространств, быстроту полета и дает возможность явственно различить гул весенней, набухающей соком земли.

Что придает стихам Фета завораживающую слух музыкальность? Система богато разветвленных ритмико-синтаксических параллелизмов, подхватов, особые приемы строфической композиции, обилие звуковых повторов и внутренних рифм:

Необъятный. непонятный,
Благовонный, благодатный
Мир любви передо мной.

(«Роза»)

Возрожденье, упоенье
И доверчивость любви...

(«Возвращение»)

Будто воды, наши годы
Станут прибывать.

(«Сядь у моря — жди погоды...»)

Сквозь всю строфу Фет проводит лексический параллелизм, сплетающийся с параллелизмом интонационным:

Какая ночь! Как воздух чист,
Как серебристый дремлет лист,
Как тень черна прибрежных ив,
Как безмятежно спит залив,
Как не вздохнет нигде волна,
Как тишиною грудь полна!

(«Какая ночь!...»)

Не только строфы, но и целые стихотворения строит он на лексических и ритмико-синтаксических параллелизмах:

Только в мире и есть, что тенистый
Дремлющих кленов шатер.
Только в мире и есть, что лучистый
Детски задумчивый взор.
Только в мире и есть, что душистый
Милой головки убор.
Только в мире и есть этот чистый
Влево бегущий пробор.

Фет любит сжимать кольцом строфы и целые стихотворения. Так построены «Свеж и душист твой роскошный венок...», «В лунном сиянии...», «Не отходи от меня...», «Я тебе ничего не скажу...», «Тихая, звездная ночь...».

Не терпящий однообразия Фет, сплошь да рядом опуская ассоциативные звенья, применяя музыкальные приемы строфической композиции, не отказывается и от афористических концовок. Но концовки эти почти всегда свободны у Фета от нравоучительной сухости прописных истин. Они у него тоже метафоричны и музыкальны.

III

В статье «Г.-бов и вопрос об искусстве» Достоевский рисует такую картину:

«...мы переносимся в восемнадцатое столетие, именно в день лиссабонского землетрясения. Половина жителей в Лиссабоне погибает; дома разваливаются и проваливаются; имущество гибнет... В Лиссабоне живет в это время какой-нибудь известный португальский поэт. На другой день утром выходит номер лиссабонского Меркурия (тогда все издавались Меркурии). Номер журнала, появившегося в такую минуту, возбуждает даже некоторое любопытство в несчастных лиссабонцах, несмотря на то, что им в эту минуту не до журналов; надеются, что номер вышел нарочно, чтоб дать некоторые сведения, сообщить некоторые известия о погибших, о пропавших без вести и проч. и проч. И вдруг — на самом видном месте листа бросается всем в глаза что-нибудь вроде следующего:

Шепот, робкое дыханье,
Трели соловья,
Серебро и колыханье
Сонного ручья,
Свет ночной, ночные тени,
Тени без конца,
Ряд волшебных изменений
Милого лица,
В дымных тучках пурпур розы,
Отблеск янтаря,
И лобзания и слезы
И заря, заря!..

...Не знаю наверно, как приняли бы свой Меркурий лиссабонцы, но мне кажется, они тут же казнили бы всенародно, на площади, своего знаменитого поэта, и вовсе не за то, что он написал стихотворение без глагола, а потому, что вместо трелей соловья накануне слышались под землей такие трели, а колыхание ручья появилось в минуту такого колыхания целого города, что у бедных лиссабонцев не только не осталось охоты наблюдать —

В дымных тучках пурпур розы

или

Отблеск янтаря, —

но даже показался слишком оскорбительным и небратским поступок поэта, воспевающего такие забавные вещи в такую минуту их жизни...

Заметим, впрочем, следующее: положим, лиссабонцы и казнили своего любимого поэта, но ведь стихотворение, на которое они все рассердились (будь оно хоть и о розах и янтаре), могло быть великолепно по своему художественному совершенству. Мало того, поэта-то они б казнили, а через тридцать, через пятьдесят лет поставили бы ему на площади памятник за его удивительные стихи вообще, а вместе с тем и за «пурпур розы» в частности. Выходит, что не искусство было виновато в день лиссабонского землетрясения. Поэма, за которую казнили поэта, как памятник совершенства поэзии и языка, принесла, может быть, даже и не малую пользу лиссабонцам, возбуждая в них потом эстетический восторг и чувство красоты, и легла благодетельной росой на души молодого поколения. Стало быть, виновато было не искусство, а поэт, злоупотребивший искусством в ту минуту, когда было не до него».

Нечто подобное и в самом деле случилось с Фетом. В своей фантазии Достоевский предугадал судьбу его лирической поэзии.

Общеизвестны отрицательные отзывы о поэзии Фета, принадлежащие Чернышевскому и Добролюбову. Однако таланта Фета они не отрицали. Более того, в рецензии на переводы Фета из Горация Чернышевский утверждает, что «все люди с изысканным вкусом» имеют «высокое понятие о таланте г. Фета...». В черновом варианте «Повести в повести» Чернышевский пишет: «...г. Фет — не Гете, даже не Лермон-

тов; но, после одного из нынешних наших поэтов, он даровитейший из нынешних наших лирических поэтов... Кто не любит его, тот не имеет поэтического чувства... я люблю г. Фета... он истинный талант, и кто не любит многих из его пьес, тот человек без чувства поэзии».

Как говорится, дай бог всякому такого противника: Чернышевский высказал положительное отношение к дарованию Фета категоричнее, чем иные из его поклонников. Чернышевский отчетливо представлял себе возможности Фета, характер его дарования. В письме к Некрасову от 24 сентября 1856 года он заметил: «Фет был бы не свободен, если бы вздумал писать о социальных вопросах, и у него вышла бы дрянь...» Кстати сказать, так именно и случилось с Полонским. Полонский остался в русской поэзии своей лирикой, которую любили Бунин и Блок, а не вялыми, вымученными стихами «с гражданским отливом».

На тот же самый фетовский «Шепот» Щедрин отозвался так: «Бесспорно, в любой литературе редко можно найти стихотворение, которое своей благоуханной свежестью обольщало бы читателя в такой степени, как... стихотворение г. Фета: «Шепот, робкое дыханье...»

Но, отдавая дань огромному таланту Фета, революционные демократы и радикальная пресса в целом не могли примириться с отчужденностью Фета от злобы дня, от насущных проблем современности, как не могли они примириться с плохой и несправедливой рифмованной его публицистикой, с его густопсово-крепостнической публицистикой в прозе, с его критическими статьями, в которых он ополчался на идеологию и эстетику революционной демократии. (Заметим в скобках, что безусловное право на наше внимание имеют выпуклые, картинные, богатые фактами воспоминания Фета — их давно пора переиздать.)

Статьи Фета освистал Минаев в пародии, где он в ритмико-синтаксическую схему «Шепота» вложил основной смысл фетовской ретроградной «философии»:

Холод, грязные селенья,
Лужи и туман,
Крепостное разрушенье,
Говор поселян.
От дворовых нет поклона,
Шапки набекрень,
И работника Семена
Плутводство и лень.

На полях чужие гуси,
Дерзость гусенят,—
Посрамленье, гибель Руси,
И разврат, разврат!..

И все же эта пародия убийственна для «прозы Шеншина», но не для «стихов пленительного Фета».

Почти безоговорочно, подвергая критике лишь частности, принимал поэзию Фета Лев Толстой.

Достоевский в статье «Г.-бов и вопрос об искусстве» снабдил глубоким и страстным комментарием стихотворение Фета «Диана».

Тютчев посвятил Фету стихотворение, в котором выразил мысль, что в стихах Фета отразилась не только видимость, но и самая сущность природы («Иным достался от природы...»). Чайковский ставил некоторые стихотворения Фета наравне «с самым высшим, что только есть высокого в искусстве». Дань восхищения приносили Фету Аполлон Григорьев, Полонский.

Некрасов сошелся с Достоевским в оценке «Дианы». Его рецензия на «Стихотворения» Фета (1856) начинается так:

«Читатели знают нашу любовь к таланту г. Фета и наше высокое мнение о поэтическом достоинстве его произведений. Смело можем сказать, что человек, понимающий поэзию и охотно открывающий душу свою ее ощущениям, ни в одном русском авторе, после Пушкина, не почерпнет столько поэтического наслаждения, сколько доставит ему г. Фет. Из этого не следует, чтобы мы равняли г. Фета с Пушкиным; но мы положительно утверждаем, что г. Фет в доступной ему области поэзии такой же господин, как Пушкин в своей, более обширной и многосторонней области».

Как бы то ни было, при жизни Фет оставался поэтом для немногих. Лев Толстой в письме к нему от 27 января 1878 года заметил, что сиянье от его стихов очень далекое. Слова эти оказались пророческими. Поэзия Фета обращена в будущее. И воздействие его на русскую поэзию, а через нее и на русскую прозу, «чем старе, тем сильней». Иные из мотивов Фета оказались близки еще предсимволистам, например Владимиру Соловьеву. На символистов Фет оказал влияние всей своей стилевой системой.

Прозвучало над ясной рекою,
Прозвенело в померкшем лугу,

Прокатилось над рощей немою,
Засветилось на том берегу.

У кого еще мы часто встречали это нанизывание неопределенно-личных предложений, эти настойчивые ритмико-синтаксические параллелизмы? Откуда это? Из Блока? Нет! Так начинается стихотворение Фета «Вечер».

Зеркало в зеркало, с трепетным лепетом...

А «трепетный лепет» откуда? Из «Зовов времен» Андрея Белого? Нет! Так начинается другое стихотворение Фета.

«Целый ряд символов, характерных для поэзии Блока («метель», «вьюга», «ночь», «сумрак», «заря», «мгла», «весна», «лазурь»), уже приближается к блоковским значениям в лирике Фета», — замечает Б. Бухштаб.

Блок называл стихи Фета своей «путеводной звездой», взял для заглавия своей книги стихов слова из стихотворения Фета: «Когда мои мечты за гранью прошлых дней...» В набросках статьи о русской поэзии Блок причисляет Фета к «избранникам», к «великим учителям», считает его «поэтом зрелым и мощным». На вопрос анкеты: «Какие писатели оказали наибольшее влияние» — Блок ответил: «Жуковский, Владимир Соловьев, Фет». И еще одно, самое позднее признание — в письме к Г. П. Блоку от 22 ноября 1920 года: «Рад буду увидеться с Вами и поговорить о Фете. Да, он очень дорог мне...»

Горький в повести «В людях», приведя последние две строки из стихотворения Фета «Только встречу улыбку твою...»:

Только песне нужна красота,
Красоте же и песен не надо,—

называет их «незабвенными своею правдой» стихами.

Ранний Бунин пользуется то приемами фетовской ритмики:

Крупный дождь в лесу зеленом
Прошумел по стройным кленам,
По лесным цветам...
Слышишь? — Звонко песня льется,
Беззаботный раздается
Голос по лесам,—

то приемами его композиции:

Отдохни,— еще утро не скоро,
Ночь из тихих лесов не ушла.
Под навесами сонного бора —
Предрассветная теплая мгла.

...Колокольчик в молчании бора
То замрет, то опять запоет...
Тихо ночь по долинам идет...
Отдохни,— еще утро не скоро.

Бунин воспринял от Фета свободное обращение с прозаизмами, но он пошел дальше своего учителя: Фет все-таки никогда бы не ввел в стихотворение ни «подштанники», ни «кобелей», ни «волчьи свадьбы», ни «помет» и не сравнил бы долину с «пахом осла». Бунин, как и Фет, сравнивает явления, составлявшие неотъемлемую принадлежность «высокой» поэзии, с предметами житейского, «низменного» обихода. Так, в стихотворении «Нет солнца, но светлы пруды...» он сравнивает дождевую каплю со шляпкой гвоздя — совсем как Фет, сравнивший цветок сирени с гвоздиком. Это роднящее его с Фетом пристрастие к прозаизмам, к «поэзии, добытой из прозы», Бунин обнаруживает на всем протяжении своего творческого пути. Из строк Фета:

Какая холодная осень!
Надень свою шаль и капот...—

Бунин позаимствовал заглавие своего рассказа «Холодная осень» (1944). Они определяют тональность рассказа. Его герой цитирует стихотворение Фета с таким комментарием: «Есть какая-то деревенская осенняя прелесть в этих стихах...» От фетовского «румянца сизого» протягивается нить к световым эпитетам в поздней прозе Бунина: «зеленовато белеющий... восток» («Степа»), «синяя чернота неба» («Смарагд»).

На том особом материке, какой представляет собой творчество Пастернака, мы найдем и пропуск ассоциативных звеньев, и сплав поэтизмов с прозаизмами, и мелочи домашнего быта, вторгающиеся в пейзаж:

В доме хохот и стекла звенят,
В нем шинкуют, и квасят, и перчат,
И гвоздики кладут в маринад,—

(«Бабье лето»)

и перенесение человеческих ощущений на природу:

Смотрят жмуро по случаю
Своего недосыпа

Вековые, пахучие
Неотцветшие липы,—

(«Лето в городе»)

причем прозаический «недосып» соседствует с «высоким» эпитетом «светозарное», и ту обновляющую наше восприятие просторечную грубоватость, с какою поэт говорит о явлениях, о которых редко кто осмеливался так говорить в стихах: соловьиный лад Пастернак определяет как «ошалелое щелканье», а самого соловья именуется «птичкой ледащей», и это опять-таки по соседству с торжественным старославянизмом «славословье». Вспомним хотя бы «долиной самовар» и «хрипильный» свист «соловьиных» — и нам станет ясно, что эти дороги в минувшем веке проторил Фет. Фет и Некрасов, при том что Некрасов неизмеримо шире охватывал действительность, неизмеримо глубже ее постигал, в одном существенном пункте сходятся: оба они разными путями и в разной мере сближали поэзию с прозой.

IV

Нам теперь виднее. Мы можем разобраться в литературной деятельности Фета спокойнее и объективнее. Его публицистику и критику, его рифмованный пасквиль на поэта-гражданина («Псевдопоэту»), большинство его вялых стихотворений «на случай», которые он, к сожалению, писал в изрядном количестве, его косноязычные переводы Вергилия, Гёте, Шиллера история давным-давно сдала в архив. Но для нас теперь неопровержимо ясно, что его лирика, за вычетом почти неизбежных в любом поэтическом хозяйстве «отходов», невредимо прошла «завистливую даль» времени.

Для нас Фет — явление живое.

Перечитывая его лирику, мы не можем не дивиться тому, как прекрасна природа во всей переливчатости ее красок, звуков, благоуханий, как прекрасен человек во всей — подчас трагической — сложности его душевных порывов, в мятежности его исканий, в силе его привязанностей, в глубине его переживаний, в том упорстве, с каким он преодолевает страдания, в его умении претворять горе в радость.

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Александр Бек. По следу отцов. — **Б. Сарнов.** «Привычка ставить слово после слова...» — **Н. Дикушина.** Пафос разоблачения и объективность исследования.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Л. Ванханен. Ритмы борьбы. — **В. И. Козлов.** Человечество, природа и телеология. — **Ю. Моисеев.** Наука о поведении.

Литература и искусство

ПО СЛЕДУ ОТЦОВ

Анатолий Рыбаков. Неизвестный солдат. Повесть. «Юность», №№ 9, 10, 1970.

Читая новую повесть Анатолия Рыбакова, испытывая некую особую радость доверия к тому, о чем тебе рассказывают, уже перенесенный силою художества в разворачивающийся перед тобой мир,— вдруг близко к завершающим страницам ловишь себя на несогласии с автором, на сопротивлении ему. И сбрасывая власть автора, готов воскликнуть: «Куда он меня тянет? Хочет, чтобы и я, читатель, склонился перед сокровищем истины, признал законность этого? Нет, нет, не соглашусь!»

Заново перечитываю эти куски повествования, меня опять подхватывает глубоко-водное сильное течение, все же не сдаюсь, ищу возражений, пытаюсь обнаружить, поймать искусную подгонку обстоятельств, чрезмерное драматическое обострение. Но, черт побери, разве я против обострения? Разве не Л. Н. Толстой сказал: «Заострить художественное произведение, чтобы оно проникло»? И разве этому, чего ты сперва не принял, запрещено возникнуть в вихорьках и вихрях, превратностях, непредвиденностях жизни, уже четверть века мирной? Продолжаю вбирать строки и как бы со стороны подмечаю: писатель каким-то способом развеивает, рушит мое сопротивление, возвращает мне радость доверия,

вновь покоряет, пленяет меня. И уже от души верю, соглашаюсь, когда герой повести юноша Крош, чьими устами во многих главах ведется рассказ, заявляет: «Я не мог сказать ей правду, не мог, не мог, не мог».

Как же, какими путями Анатолий Рыбаков завоевывает душу читателя?

Пожалуй, автор не особенно заботится о том, с чего именно начать свое сказание. Никакой попытки сразу же пустить в ход пружину действия он не предпринимает. Его герой Сережа Крашенинников, прозванный Крошем, которого читатель уже знает по предшествующим книгам Рыбакова, теперь попросту кое-что сообщает о себе. «Я приехал в Корюков двадцатого августа, после заключительного экзамена, опять получив четверку. Стало очевидно, что в университет я не поступил». Крош ранен неудачей. «Мне стали неинтересны разговоры о папиной и маминой работе, о людях, про которых я слышал много лет, но ни разу не видел, о каком-то негодяе Крептюкове — фамилия ненавистная мне с детства, я готов был задушить этого Крептюкова. Потом оказалось, что Крептюкова душить не следует, наоборот, надо защищать, его место может занять гораздо худший Крептюков. Конфликты на работе неизбежны, глупо все вре-

мя говорить о них. Я вставал из-за стола и уходил. Это обижало стариков, но я ничего не мог поделать с собой». И далее: «...вдруг мне захотелось уйти из дому, забиться в какую-нибудь дыру. Может быть, я устал от экзаменов? Тяжело переживаю неудачу? Старики ни с чем меня не упрекали, но я подвел, обманул их ожидания. Восемнадцать лет, а я все сидел на их шее. Мне стало стыдно просить даже на кино».

Казалось бы, перед нами будничность, обыденный случай: мальчик не попал в высшее учебное заведение. Еще ничто не предвещает водоворота событий, который захватит и Кроша и читателя. Однако непритязательное или, как говорится, без затей начало повести уже проделало некоторую существенную работу, нашло путь к сердцу. Думается, такая работа совершена интонацией. Тебя уже забрала нескованность внутреннего мира, свобода признаний, прямизна взглядов, прямизна мнения. В двух словах это — интонация личности. С таким ощущением, вероятно, еще безотчетным, читатель следует за юным героем.

И вот Крош — новичок-рабочий на дорожно-строительном участке. Асфальтовая трасса прокладывается через поля. Срезающий землю бульдозер негаданно натывается на солдатскую могилу.

«В это время подъехал еще самосвал, из него вышел Воронов (начальник участка. — А. Б.), подошел к нам, нахмурился:

— Стоим?

Взгляд его остановился на могиле, на штакетнике, кто-то уже собрал его в кучку и положил сверху выцветшую звезду. На лице Воронова отразилось неудовольствие, он не любил задержек, а могила на дороге — это задержка... Он сказал Андрею:

— Обойди это место, завтра пришлю землекопов — перенесут могилу... Крашенинников! Поезжай в город, поспрашивай, чья могила.

Я был поражен таким странным приказанием.

— У кого же я буду спрашивать?

— У кого? У местных жителей.

— А почему именно я?

— Потому что ты местный.

— Я не местный.

— Все равно, у тебя здесь дедушка, бабушка.

— Нет у меня бабушки, умерла...

— Тем более старые люди, — со странной логикой продолжал Воронов. — ...Найдешь

хозяина, скажи: пусть забирают могилу, что надо, поможем, перевезем, а не найдешь хозяина, зайди с утра в военкомат... пусть пришлют представителя для вскрытия и переноса. Понял?..»

Этак, еще без единого патетического слова, взламывающего будничность, вступает тема Неизвестного солдата. И тут речь Кроша прерывается. Писатель без каких-либо дальнейших приуготовлений, со смелостью, которую тотчас принимаешь, вводит новую нить повествования.

...Сорок второй год. Пять военных шоферов — четверо рядовых и старшина Бокарев — гонят машины в ремонт. С первых же строк отлично вырисован Бокарев, человек командирской жилки, постоянно требовательный, несущий — не только по долгу, а словно по призванию — ответственность за каждого в своем отрядике. И опять автор предстает как бы мастером обыденных картин — на этот раз будней войны.

Бокарев «лихо приложил, потом отбросил руку от козырька фуражки...

— Позвольте обратиться с просьбой, товарищ капитан!

— Какая просьба?

— Товарищ капитан! Люди с передовой, с первого дня. Позвольте в город сходить, в баньке помыться, письма послать, купить кое-что по мелочи. Завтра вернемся, отрабатываем, очень просят люди...

— Идите! Завтра к вечеру быть здесь. Опоздание — самоволка».

И вновь слово передается Крошу. «Почему именно я должен ходить по домам и спрашивать, чей покойник на дороге?» В таком настроении Крош принимается за порученную ему миссию. Но проходит немного дней, и Крош уже поглощен задачей узнать, открыт имя неизвестного солдата, совершившего, как выяснилось, воинский подвиг, разгромившего гранатами вражеский штаб в городке Корюкове. Крош уже занимается поисками с жаром, со страстью; он принадлежит к натурам, что нелегко разогреваются, но, воспылав, сохраняют упрямо, упорно высокое свое каление. Препятствия лишь усиливают его энергию, устремленность. На работе с него взыскивают: «Кто тебя уполномочивал?» Он со свойственной ему прямоотой, резкостью бросает: «Сам себя уполномочил!»

В какую-то минуту он задумывается: «Для чего же и для кого я ищу, для кого и для чего стараюсь, зачем влез в дело, которое

ничего, кроме неприятностей, мне не доставляет? Сколько раз я уже зарекался ввязываться в какие-нибудь истории, «высовываться»! Нет! Я опять «высовываюсь». Зачем?.. И все же я не брошу этого дела, доведу его до конца. Почему?.. Слишком много сил и времени потрачено, слишком много усилий сделано, осталась самая малость...— жаль бросать. И стыдно перед дедушкой. Он говорил об этом только тогда, когда я сам заговаривал, но я чувствовал его интерес не только к солдату, но и к самому тому факту, что я этим занимаюсь. Он это одобрял и был бы разочарован, если бы я это бросил... если я брошу дело Неизвестного солдата, он мне этого не простит».

Образ дедушки, тепло и точно выписанный, дедушки, который всю жизнь проработал на конезаводе, стал уважаемым человеком в городе, следовало бы особо разобрать, но надо поспешать, предстоит сказать еще о многом. Крош лишь нащупывает ответ на свои почему и зачем. Сам герой, впрочем, отнюдь не обязан определять собственный «стержень». Разгадку дает целостный облик героя. Докопаться, дойти до края, до корня, узнать и понять — таков крепнувший внутренний зов, обретенный пафос мужающего и мужествующего Кроша. Этим он как бы становится в шеренгу искателей, примыкает к передовым людям сегодняшней юности, у которой впереди большие свершения. Не будем забывать, что Крошу всего восемнадцать лет, он лишь находит себя, идет через малое к большому.

Уже и немногочисленный коллектив строителей дороги, каждый со своим лицом, своей оригинальностью, очерченный уверенной сильной рукой, подпирает его своим участием. Сотоварищи по житью в полевых вагончиках устраивают складчину, берут на себя добрую толику расходов, когда рьяный Крашенинников решает слетать в глубинку Красноярского края на родину старшины Бокарева.

И снова прямая речь Кроша сменяется другой струей повествования. Идут пятеро военных шоферов, получивших суточный отпуск. Встреча с вражескими мотоциклистами. Бой. Немецкая разведка перебита, но двое из пяти наших солдат тоже никогда больше не встанут. Еще один — Вакулин — серьезно ранен. Прикрытые сумерками, старшина Бокарев и пожилой, бывалый, не речистый солдат Краюшкин несут товарища к

окраине города. Их подстерегает неожиданность — советские войска ушли из Корюкова, туда ночью входят немцы.

А в повесть вдруг вторгается как бы третья протока, третья стремнина, пролагающая свое русло вне рассказа Сережи Крашенинникова и вне картин войны. Автор без всяких ухищрений вводит эту третью стилевую нить, запросто к ней приступает: «Председатель сельсовета шел по широкой деревенской улице...»

Тут меня, признаюсь, взяла опаска: выдержит ли конструкция вещи еще новую эту перебивку, «пройдет» ли этакая стилевая беззаконность? Ей-ей, если мне будет позволено это сказать, я бы на такое вряд ли отважился. Однако, представьте, выдерживает, «проходит».

Итак, действие переброшено в далекое сибирское село. Мы впервые знакомимся с матерью старшины Бокарева. Эта фигура доживающей свой век русской крестьянки — одна из самых лучших, самых привлекательных в произведении. Трогает бескорыстие, смирение, истинное благородство женщины. Красок положено немного, но они верны, лишены привкуса сусальности, фальши, этим достигнут художественный эффект. Старушку поторопились осведомить — это сделано помимо Кроша, — что найдена могила ее сына. Она продает дом, убогое свое имущество, чтобы переселиться в Корюков и там отдать остаток своих дней уходу за могильным холмиком.

Однако строгий исследователь, рыцарь истины Крош неопровержимо устанавливает, что в могиле похоронен Краюшкин, а не Бокарев.

Повествование возвращается в сорок второй год. Писатель, которого мы было обозначили как мастера будничности, теперь выступает художником подвига. Участник великой войны Анатолий Рыбаков первый раз, если не ошибаемся, пишет о ратных делах, кладет собственное весомое, верное, чистое слово в тему воинского героизма. «Уйти без Вакулина старшина Бокарев не мог. Может, убили его немцы, может, умер у хозяина — рана у него была серьезная, может быть, в плен забрали, все равно он должен все знать о нем, не имеет права так бросить и уйти». Хочется мимоходом отметить, что почти теми же словами говорит о себе Крош: «...не брошу этого дела, доведу его до конца». И не обязанности службы заставляют так поступить, а нечто высшее — со-

весть, непреклонная власть долга. Вряд ли писатель сознательно руководствовался намерением вскрыть родственность характеров Бокарева и Кроша. Не исключено, что тут сработала стихия творчества. Но тем сильнее, возможно, это действует: они кровная родня, у обоих в крови — долг.

Нельзя бросить товарища и уйти. Бокарев ночью пробирается к Вакулину по улицам занятого врагом городка. И в этом путешествии, что для него сделалось смертным, сталкивается с немцами. «Бокарев выстрелил... и бросился в переулок, но упал, раненный, немец дал по нему очередь. И уже лежа на земле и слыша вокруг себя свист пуль, он повернулся, вытащил гранату, размахнулся и кинул ее в машину. Взрыв, потрясший небо, было последнее, что услышал Бокарев».

А невидный пожилой Краюшкин, задетый шальной пулей, тоже обреченный на смерть, встречает ее не согнувшись, выпрямившись в рост. Думается, эти страницы особо впечатляющие в повести. Они написаны на высокой ноте, что пронзительно звучит, волнует, контрастируя с низковатой октавой зачина.

Мать Бокарева приезжает блюсти могилу сына. А что же Крош? Должен или не должен объявить ей правду, выложить, кто же в действительности здесь похоронен? Это драма совести, драма внутренней борьбы. И мы будто слышим его вскрик: «Не мог, не мог, не мог!» Не мог открыть матери правду. Повторяю, в какие-то секунды взмывается несогласие, однако логика художественной убедительности, сила писателя вновь берет в полон: да, таков юноша Крош, к которому мы успели привязаться, ему ведомо не только страсть правдолюбца, но и человечность, бережность к чужой судьбе.

Крош отступил от правды, но этого не сделал художник. Правда искусства торжествует. В этом итог вещи.

У Анатолия Рыбакова за спиной немало хороших книг, читатель знает и любит его, но, пожалуй, «Неизвестный солдат» — самое сильное из его опубликованных произведений. Что ж, тем отрадней: работа вышла из-под пера в канун шестидесятилетия автора. Поздравим же писателя с его праздничной датой и с новой серьезной удачей.

Александр БЕК.



«ПРИВЫЧКА СТАВИТЬ СЛОВО ПОСЛЕ СЛОВА...»

Белла Ахмадулина. Уроки музыки. «Советский писатель». М. 1969. 160 стр.

О Белле Ахмадулиной все в один голос твердят, что она талантлива. Это признают не только ее поклонники, но даже самые ярые ее недоброжелатели.

Прежде чем присоединиться к этому единодушному мнению, я хотел бы условиться о терминах: что, собственно, это за штука такая — «талант»?

У Толстого в черновых редакциях и вариантах «Войны и мира» есть на этот счет весьма любопытное рассуждение:

«После до можно взять фа, но для того, чтобы настроить до и настроить фа на скрипке, надо поворотить колышек чуть-чуть, еще чуть-чуть, еще чуточку, чтобы это было совершенно фа и до, которые суть математические точки в пространстве звуков... Талант тем отличается от неталанта, что он сразу берет одно единственно верное из бесчисленности не совсем верных фа и тянет его ровно одну четверть секунды, ни на одну тысячную не больше и не меньше, и усиливает или

уменьшает звук ровно, в каждую одну сотую секунды, по одной десяти тысячной силы звука. Достигнуть этой точности человеку невозможно. Ее достигает только бог и талант. И тем-то отличается талант от неталанта. И затем выдуманное такое, кажущееся странным и неточным, название таланта...»

Соображения свои о природе таланта Толстой высказал по поводу пения Николая Ростова. О реакции слушателей на это пение сказано так: «Его слушали покорно, не судя его, а только радуясь на его звуки».

Нечто похожее произошло и с Беллой Ахмадулиной.

Ее первые стихи увидели свет в то самое время, когда в поэзии нашей явилась целая плеяда новых, ныне уже весьма громких имен: Борис Слуцкий... Евгений Евтушенко... Андрей Вознесенский... Булат Окуджава... Слабый голос Беллы Ахмадулиной легко мог затеряться в этом хоре.

Но он не затерялся. Его услышали и стали слушать «не судя его, а только радуясь на его звуки».

Голос ее привлекал своей гармоничностью, своей врожденной музыкальностью:

И лавочка в прибрежном парке
бела вставала и нема,
и смутно виноградом пахли
грузинских женщин имена...

Смеялась женщина Ламара,
бежала по камням в воде,
и каблучки по ним ломала,
и губы красила в вине.

И мокли волосы Медеи,
вплетались руки в водопад,
и капли сохли и мелели
и загорались невпопад...

Едва опершись о сваи,
там принимал к воде причал.
— Цисана! — из окошка звали.
— Натэла! — голос отвечал.

(«Грузинских женщин имена»)

Напрасно стали бы мы искать в этих строфах какой-то подспудный, скрытый смысл. Здесь нет его. Это чистая музыка иноязычных слов, вплавленных в живой поток русской речи так органично и естественно, что образовалось некое новое единство, живое и нерасторжимое. В истории русской поэзии такое случалось уже не раз. Вот хотя бы в «Цыганской венгерке» Аполлона Григорьева:

Басан, басан, басанá,
Басанáта, басанáта,
Ты другому отдана
Без возврата, без возврата...

Я знаю и люблю эти строки много лет, но ни разу не задавался вопросом, что, собственно, значит это — «басан, басан, басана» — и значит ли оно вообще что-нибудь. Может быть, все обаяние этих строк заключается в самой их непонятности.

Но тут надо снова условиться о терминах.

Музыкальность, издавна почитавшаяся первым признаком поэтического дара, всегда понималась русскими поэтами не только как упоение чистой магией звучащего слова, не только как обостренная чуткость к фонетической, внесмысловой стихии стиха.

«Чувство неблагополучия (музыкальное чувство этическое — на вашем язы-

ке) — где оно у вас?» — записал однажды у себя в дневнике Блок.

Для Ахмадулиной музыка — это только музыка, и упрекая в музыкальной неодаренности, она упрекает всего лишь в отсутствии слуха. Впрочем, «всего лишь» — это сказано неточно. Для нее проявление немзыкальности, даже в собственном, узком, сугубо локальном смысле этого слова, почти так же греховно, как для Блока притупление этического чувства:

Когда моих товарищей корят,
я понимаю слов закономерность,
но нежности моей закаменелость
мешает слушать мне, как их корят.

Я горестно упрекам этим внемлю,
я головой киваю: слаб Андрей!
Он держится за рифму, как Антей
держался за спасительную землю.

За ним я знаю недостаток злой:
кощунственно венчать «гараж» с
«геранью»,
и все-таки о том судить Гераклу,
поднявшему Антея над землей...

Венчать «гараж» с «геранью» не просто безвкусно, но — кощунственно. Это говорит Ахмадулина, которая еще недавно сама безмятежно рифмовала фамилию убийцы Лермонтова с «огнями мартенов»:

И снова, как огни мартенов,
огни грозы над темнотой.
Так кто же победил — Мартынов
иль Лермонтов в дуэли той?

Искусственность этой рифмы, я помню, очень раздражала покойного С. Я. Маршак. Раздражала как свидетельство некоторой этической нечуткости. В запальчивости он даже сказал:

— Голубчик, неужели вы не чувствуете? Ей не жалко Лермонтова!

Ахмадулину «гараж», стоящий рядом с «геранью», раздражает совсем по другой причине. У нее это упрек в нечуткости чисто музыкальной, нечуткости к духу языка.

Я отмечаю это различие критериев не для того, чтобы обратить его против Ахмадулиной. Я не хочу судить ее ни «с позиций Маршака», ни даже «с позиций Блока». Отметить эту ее особенность необходимо, чтобы судить ее тем единственным судом, каким только и можно судить поэта: судом, «им самим над собою признанным».

Вернемся к стихотворению:

...Оторопев, он свой автопортрет
сравнил с аэропортом —
это глупость.
Гораздо больше в нем азарт и гулкость
напоминает мне автопробег.
И я его корю: зачем ты лих?
Зачем ты воздух детским лбом
таранишь?
Все это так. Но все ж он мой товарищ.
А я люблю товарищей моих.
Люблю смотреть, как, прыгнув из
дверей,
выходит мальчик с резвостью жонглера.
По правилам московского жаргона
люблю ему сказать: «Привет, Андрей!»
...Все остальное ждет нас впереди.
Да будем мы к своим друзьям
пристрастны!
Да будем думать, что они прекрасны!
Терять их страшно, бог не приведи!

(«Мои товарищи»)

В стихотворении дрожит искренность. И в то же время есть в нем легкий привкус нарочитости. «Внемлю» и «бог не приведи» так же плохо уживаются с «Привет, Андрей!» и «правилами московского жаргона», как «гараж» с «геранью».

Стоит ли придирается к этому крошечному, еле уловимому стилистическому контрасту? Стихотворение по-человечески трогает. Нет и не может быть ни малейших сомнений в безусловной правде выраженного в нем чувства.

И все-таки даже еле заметный оттенок стилизации, присутствующий в стихотворении, не безразличен к его эмоциональному смыслу.

Гоголь говорил, что «ложь в лирической поэзии опасна, ибо обличит себя вдруг надутостью». То, что Гоголь называл «надутостью» — выпренность, искусственная приподнятость слога, — может восприниматься как ложь, даже если оно выражает самую что ни на есть истинную правду переживания.

В атмосфере «надутости» даже самые обычные слова значат уже не совсем то, что они должны были бы значить. Так, например, слово «кощунственно» в окружении оборотов типа «внемлю» и «бог не приведи» значит уже неизмеримо меньше, чем даже его бледный синоним «оскорбительно». Смысловый и эмоциональный накал слова ослаблен, почти снят. Слово стало всего лишь атрибутом «высокого штиля».

Влюбленность Ахмадулиной в архаическую речь так искренна, что стала уже как бы ее второй натурой. Конечно, тут есть и поза. Но в самой позе этой есть черты, позволяющие отнести к ней как к позиции:

Влечет меня старинный слог.
Есть обаянье в древней речи.
Она бывает наших слов
и современнее и резче.

Однако стихи Ахмадулиной наводят на мысль о стилизации не только из-за приверженности автора к «старинному слогу».

Отличительный признак ее поэтической манеры состоит в том, что описываемый предмет никогда не называется прямо. Ахмадулина словно бы демонстративно руководствуется тем художественным принципом, который был разоблачен, осмеян и отвергнут в знаменитой, бесконечное число раз цитировавшейся пушкинской заметке:

«Д'Аламбер сказал однажды Лагарпу: не выхваляйте мне Бюфона, этот человек пишет: Благороднейшее из всех приобретений человека было сие животное гордое, пылкое и проч. Зачем просто не сказать лошадь».

Ахмадулина ни за что не скажет просто: «Лошадь». Увидав ребенка, едущего на велосипеде, она говорит:

...дитя, велосипед
влекущее, вертя педалью...

Если о человеке надо сказать, что он уснул, она говорит:

...ослабел для совершенья сна...

О том, что ее зовет к себе лист чистой бумаги, она пишет так:

Бумаги белый и отверстый зев
ко мне взывает и участия алчет...

Там, где другой просто сказал бы, что ему нравится сидеть сложа руки, она восклицает:

О, как люблю я пребыванье рук
в блаженстве той свободы пустяковой...

Желая описать легкую поступь девочки, она сплетает такой прихотливый синтаксический узор:

...пустить на волю локти и колени,
чтоб не ходить, но совершать балет
хожденья по оттаявшей аллее...

Последние строки могут служить самохарактеристикой. «Походку» Ахмадулиной трудно определить каким-нибудь другим глаголом. Стихи ее не «летят», не «спешат», не «бегут», не «маршируют» и уж во всяком случае не «ходят». Они именно «совершают балет хождения».

Я клоню вовсе не к тому, чтобы повторить вслед за Пушкиным: «Зачем просто не сказать лошадь». Не следует забывать, что пушкинская аналогия «нагой простоты» относится только к прозе. Что касается поэтов, то им вообще не очень-то свойственно называть лошадь лошастью.

В иных случаях, описывая предмет так же витиевато и даже выпренно, Ахмадулина умеет передать непосредственность, непринужденность, остроту и яркость реальных своих ощущений. Вот она говорит о том, как страшно утром, вынырнув из сонного тепла постели, подставить шею под струю холодной воды:

Под гильотину ледяной струи
с плеч голова покорно полетела.

Образ достаточно вычурный, однако стилизацией его не назовешь. Да и само слово «стилилизация» — вовсе не синоним художественной неподлинности. В стилизации, не скрывающей свою истинную природу, есть несомненное обаяние:

Милая Генуя
нянчила мальчика,
думала — гения,
вышло — шарманщика!..

Ах, есть причина,
всему причина,
Са-а-нта-а Лю-у-чия,
Санта-а Люч-ия!

(«Песенка шарманщика»
из «Моей родословной»)

Эта способность к перевоплощению у Ахмадулиной так естественна и артистична, что временами хочется сказать ей словами Пастернака:

Если даже вы в это выгались,
Ваша правда, так надо играть.

Но, к сожалению, гораздо чаще ей хочется сказать:

— А вот так, пожалуй, играть уже не надо!

Ахмадулина обладает своеобразным даром, в чем-то родственным дару мифического царя Мидаса. К чему бы ни прикасался

Мидас, все под его рукой мгновенно превращалось в золото. Этот божественный дар оказался проклятием, потому что в золото превращался даже хлеб, и Мидас умер голодной смертью.

Ахмадулина обладает даром превращать все, к чему бы она ни прикоснулась, в игру. От ее прикосновения все становится легким, изящным, грациозным. Но это изящество ненастоящей, игрушечной жизни:

В остальном — благодарна я доброй судьбе.
Я живу, как желаю, — сама по себе.
Бог ко мне справедлив и любезен издатель.
Старый пес мой взмывает к щеке, как

щенок.

И широк дивный выбор всевышних щедрот:
ямб, хорей, амфибрахий, анапест и

дактиль.

(«Зимняя замкнутость»)

Тут можно опять говорить о стилизации, о манерности. Но все упреки такого рода неизбежно будут поняты как недовольство изъятиями стилизации. Между тем речь должна идти о самой сути поэзии Ахмадулиной, о главной ее беде, иногда неточно называемой камерностью.

Камерность — это замкнутость, ограниченность поэтического мира кругом мелких, несущественных тем, узко личных, частных переживаний.

К Ахмадулиной это не относится. Она хочет и часто пытается говорить о важном, социально значимом. Такова, например, поэма «Сказка о дожде».

Поэтесса появляется на пороге некоего респектабельного мещанского дома. С нею ее неотвязный спутник — дождь. Он несет в себе все запахи улицы, прикосновения и шум живой жизни. Но живой жизни нет места в этом холодном, мертвом доме. И дождь, символизирующий эту живую жизнь, встречается обитателями дома с брезгливой враждебностью:

Дождь с выраженьем ласки и тоски,
паркет марая, полз ко мне на брюхе.
В него мужчины, поднимая брюки,
примерившись, вбивали каблуки.

Его скрутили тряпкой половой
и выжимали, брезгуя, в уборной.
Гортанью, вдруг охрипшей и убогой,
кричала я:

— Не трогайте! Он мой!

В этой изысканной, холодной гостиной только она одна находится с живой жизнью

в родстве. Всех остальных это родство по меньшей мере шокирует:

Она произнесла:

— Я вас браню.

Помилуйте, такая одаренность!

Сквозь дождь! И расстоянья
отдаленность! —

Вскричали все:

— К огню ее, к огню!

Это приглашение гостей обогреться и высушиться у камина, отдаться теплу и уюту, навсегда забыв о дожде, в сознании поэта разрастается в извечный конфликт, трагический и непримиримый:

Когда-нибудь, во времени другом,
на площади, среди музыки и брани,
мы б свидетелься могли при барабане,
вскричали б вы:

— В огонь ее, в огонь!

За все! За Дождь! За после! За тогда!
За черно книжье двух зрачков чернейших,
за звуки, с губ, как косточки черешен,
летающие без всякого труда!

Эта извечная трагедия непонимания не выдумана. Она реальна. Но слова, должствующие живописать открытую кровотокающую рану, сплетены в такое тонкое и изысканное кружево, что даже реальная трагедия кажется игрушечной, выдуманной, ненастоящей. Она легко вписывается в интерьер, изображенный Ахмадулиной хотя без иронии, но и не без искренней симпатии:

Признаться, я любила этот дом.
В нем свой балет всегда вершила
легкость.

О, здесь углы не ушибают локоть,
здесь палец не порежется ножом.

Любила все: как медленно хрустят
шелка хозяйки, затененной шарфом,
и, более всего, плененный шкафом —
мою царевну спящую — хрусталь.

В поэзии Ахмадулиной действуют те же законы. Здесь тоже «свой балет всегда вершила легкость». Здесь тоже «палец не порежется ножом». Вот почему даже ее трагедия — эта маленькая буря в хрустальном стакане — сама готова стать одной из достопримечательностей изображенной ею изысканной гостиной. В конце концов поэтам полагается бунтовать против мещанского уюта и слегка шокировать обывателя. Обыватель при этом чувствует себя в высшей степени польщенным, так как получает

взамен сознание причастности к трагедии, которая якобы — трагедия духа.

Читатель ощущает себя причастившимся трагедии, не пройдя через катарсис. В результате поэзия, которая недаром была названа скорописью духа, превращается в имитацию духовной жизни.

Такое происходит, когда что-то случается с душой поэта. Ведь стихи — это и есть душа: «Душа в заветной лире...»

Ахмадулина сама почувствовала эту опасность.

Она прямо сказала о ней в искреннем и сильном стихотворении, едва ли не лучшем в книге:

Что сделалось? Зачем я не могу,
уж целый год не знаю, не умею
слагать стихи и только немоту
тяжелую в моих губах имею?

Вы скажете — но вот уже строфа,
четыре строчки в ней, она готова.
Я не о том. Во мне уже стара
привычка ставить слово после слова.

Порядок этот ведает рука,
я не о том. Как это прежде было?
Когда происходило — не строка —
другое что-то. Только что? — забыла.

(«Другое»)

Что это — «другое»? Может быть, талант?

Но талант Ахмадулиной вроде бы остался при ней. Все так же безошибочно и точно ее голос «сразу берет одно единственно верное из бесчисленности не совсем верных фа и тянет его ровно одну четверть секунды, ни на одну тысячную не больше и не меньше...».

Так, может быть, толстовское определение таланта, принятое нами, нуждается в коррективах?

Трудно сказать, по этой ли причине Толстой не включил свое рассуждение о таланте в окончательный текст романа, навсегда оставив его в черновых редакциях и вариантах. Может быть, у него были на этот счет какие-то другие соображения. Но как бы то ни было, в «Анне Карениной» слово «талант» употребляется уже совсем в ином значении:

«Слово т а л а н т, под которым они разумели прирожденную, почти физическую способность, независимую от ума и сердца, и которым они хотели назвать все, что переживаемо было художником, особенно часто встречалось в их разговоре, так как

оно им было необходимо, для того чтобы называть то, о чем они не имели никакого понятия, но хотели говорить».

Толстой не отрекается от прежних своих представлений. Он лишь уточняет их. «Прирожденная, почти физическая способность, независимая от ума и сердца» — вовсе не фикция. Но это лишь — одно из

слагаемых таланта. Ставшая самоценной, эта прирожденная способность грозит выродиться в «привычку».

Осознав это, Ахмадулина сделала очень важный шаг. Разумеется, осознание — еще не гарантия выхода из кризиса. Но это — единственный возможный путь. Других не существует.

Б. САРНОВ.



ПАФОС РАЗОБЛАЧЕНИЯ И ОБЪЕКТИВНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

С. Шешуков. Неистовые ревнителы. Из истории литературной борьбы 20-х годов. «Московский рабочий». М. 1970. 352 стр.

Не так уж часто случается, чтобы литературоведческие книги становились предметом внимания широкого круга читателей, чтобы на них был спрос и о них спорили бы так, как спорят о получивших известность стихах или о романе. Но вот о вышедшей недавно книге С. Шешукова «Неистовые ревнителы» сразу заговорили. Появились и рецензии — К. Лисицкого «Разоблачение «неистовых ревнителей» («Наш современник», № 9, 1970) и Л. Ершова «РАПП в свете объективного исследования» («Русская литература», № 3, 1970).

Книга С. Шешукова посвящена РАПП — Российской ассоциации пролетарских писателей — организации, закончившей свое существование в 1932 году, почти сорок лет тому назад. Почему же книга об истории РАПП вызывает такой интерес? Отчасти это объясняется тем, что С. Шешуков обратился к архивным материалам, которые долгое время оставались вне поля зрения исследователей. Эта документальная оснащенность книги привлекла читателя — он знает цену документу, факту. И нам кажутся напрасными опасения автора: «Может быть, не каждый читатель сразу разберется в одной, бросающейся в глаза, особенности этой книги: она кажется несколько перегруженной архивным и документальным материалом. Это объясняется исключительно стремлением автора как можно убедительнее и доказательнее нарисовать картину тех далеких лет».

Однако дело не только в документах. История РАПП развивалась столь драматически, изобиловала такими острыми ситуациями, выявила такие колоритные и характерные фигуры литературного движения двадцатых годов, что сама по себе

представляет чрезвычайно интересную тему. И С. Шешуков выбрал, может быть, наиболее острые, конфликтные моменты этой истории. При этом, рассказывая о прошлом, автор нет-нет да и перекинет мостик в сегодняшний день, к современным проблемам литературной жизни. Оказывается, некоторые проблемы еще рано сдавать в архив, они имеют не только историко-литературный, а и живой, насущный интерес.

Привлекает попытка автора отойти от традиционных принципов характеристики рапповского движения «в общем и целом» и показать, что же представляли из себя руководители РАПП — не только известные советские писатели Д. Фурманов, А. Фадеев, Ю. Либединский, но и С. Родов, Л. Авербах, Г. Лелевич.

Вместе с тем С. Шешуков расширил свою задачу: история РАПП от первых пролетарских литературных групп до самой крупной в стране писательской организации рассматривается в связи с другими литературными группировками двадцатых годов. Поэтому появляются в книге характеристики Воронского, «Перевала», Лефа, Литфронта. Эстетическая платформа РАПП, или, как говорили сами рапповцы, «художественная платформа», дается в сопоставлениях и противопоставлениях с поисками других групп и литературных деятелей. Так, в первой главе книги серьезное внимание уделяется А. К. Воронскому, деятельность которого, как известно, долгие годы (с рапповских времен) оценивалась крайне односторонне.

К наиболее удачным страницам книги принадлежит характеристика Фурманова в его борьбе за партийную линию в литера-

туре со всем, что получило в истории тех лет собирательное наименование «родовщина». Главки о Фурманове написаны темпераментно, увлеченно. На большом фактическом материале С. Шешукову удалось показать внутреннюю целостность личности Фурманова — борца, коммуниста, художника, человека. Трагически рано оборвалась его жизнь. Без каких-либо натяжек С. Шешуков связывает эту раннюю смерть с борьбой писателя против «родовщины», которую он сам назвал смертельной. «Борьба с родовщиной захватила его целиком,— пишет С. Шешуков,— на эту борьбу он потратил страшно много сил и нервов, в ней он потерял здоровье. Как раз в разгар борьбы, 9 апреля 1925 года, он записывает в дневнике: «Износилось сердчишко. Рановато склерозить бы, всего ведь 33!»

Осуждение групповщины, начатое в главках о борьбе Фурманова с «родовщиной», пройдет через всю книгу. Наиболее характерные проявления групповщины С. Шешуков увидел, с одной стороны, в комчванстве рапповцев, с другой — в их отношении к писателям, которых в двадцатые годы называли попутчиками. «Линия недоверия к художественной интеллигенции прошла через всю историю РАПП,— пишет С. Шешуков.— Она серьезно коснулась М. Горького, В. Маяковского, С. Есенина, М. Шолохова, А. Толстого, М. Пришвина, С. Сергеева-Ценского и многих других художников нашей страны, уже тогда прославивших нашу литературу на весь мир».

Подтверждая свои выводы документальными материалами, С. Шешуков показывает, какой огромный вред принесли литературе подозрительность, нетерпимость, комчванство рапповцев, наклеивание политических ярлыков. Он останавливается на известной полемике Авербаха с Горьким, на «заезжательских» оценках творчества Горького в журнале «На литературном посту». Убедительно рассказано в книге о деятельности сибирской группы «Настоящее», которая восприняла худшие стороны рапповского руководства и довела их до самых уродливых крайностей. В частности, С. Шешуков привел выступление одного из руководителей группы — А. Курса — на литературном совещании при Агитпропе Сибирского крайкома ВКП(б), где Курс, объявив классовыми врагами ни больше ни меньше как Вяч. Шишкова, С. Сергеева-

Ценского, И. Сельвинского и Вс. Иванова, требовал от партии создания «сильных, коммунистически выдержанных отрядов», состоящих из членов ВАПП, «Кузницы» и «Настоящего», для осуществления «активного, непрерывного, последовательного наступления на классового врага на фронте литературы».

Подобного рода примеров в книге С. Шешукова можно найти множество.

Но несмотря на многие и, казалось бы, бесспорные достоинства книги «Неистовые ревнители», трудно согласиться с некоторыми ее выводами и оценками, не увидеть в позиции С. Шешукова серьезных противоречий.

В книге встречаются прямо-таки удивительные разноречия в оценках РАПП. Так, например, на странице 187 автор хвалит рапповцев за то, что они боролись «за идейное, правдивое, реалистическое искусство, за высокое художественное мастерство», отмечает, что «некоторые положения рапповцев оказались плодотворными, обогатили советское литературоведение и легли в основу теории социалистического реализма»; а вслед за этими похвалами на этой же самой странице читаем: «Однако именно плодотворных результатов рапповцами достигнуто мало. Сколько было шума, сколько выпущено книг, брошюр, сколько конференций, пленумов, совещаний посвящено творческим вопросам, а в конце концов результаты оказались скромными».

Неожиданным после всего сказанного о РАПП выглядит и вывод в конце книги. «Пролетарское литературное движение, продолжавшееся десять лет, было самым массовым и прогрессивным в стране», — пишет С. Шешуков на странице 348 и далее, на странице 351: «Само по себе пролетарское литературное направление 20-х годов, поднявшее к творчеству тысячи людей из народа, всегда будет расцениваться историками как прогрессивное, народное движение, которое поддерживалось и направлялось нашей партией. Из своей среды оно выдвигало способных руководителей и поддерживало их». О ком это говорится? О РАПП? О Родове? Об Авербахе? И, очевидно, ощущая необходимость как-то привести свой вывод в соответствие с содержанием книги, С. Шешуков добавляет: «Вместе с тем заблуждения и ошибки руководителей, избравшихся на конферен-

циях и пленумах РАПП, носили такой серьезный характер, в котором проявились антипартийные, антинародные тенденции». Тут уж концы с концами и вовсе не сходятся: «народное движение» и его «способные руководители», в ошибках которых проявились тем не менее «антипартийные, антинародные тенденции»... Прочитав книгу С. Шешукова, никак не назовешь народным движение, связанное с РАПП, а руководителей типа Авербаха — выразителями этого народного движения.

Примеры подобных противоречий можно значительно умножить.

Поэтому трудно согласиться с выводами рецензентов книги С. Шешукова. К. Лисицкий пишет о разоблачении «неистовых ревнителей». Но о каком разоблачении может идти речь, если автор приходит к выводу о народности рапповского движения? Л. Ершов считает книгу С. Шешукова объективным исследованием. Но являются ли приведенные выше противоречивые и взаимоисключающие друг друга оценки РАПП результатом объективного исследования предмета?

Дело здесь не в защите или осуждении РАПП, но в социально-историческом подходе к явлению. Увлечшись же характеристиками деятелей РАПП, С. Шешуков подменил анализ объективных факторов, определивших ошибки и противоречия РАПП, факторами личными, субъективными. Достоинство книги перешло в ее существенный недостаток: исторические явления объясняются «злой волей» отдельных людей.

С. Шешуков, рассматривая РАПП, недостаточно связывает ее историю с историей общественно-политической жизни двадцатых годов. Он видит причину ошибок и провалов в деятельности РАПП главным образом в том, что во главе ее стояли люди типа С. Родова, Г. Лелевича, В. Ермалова и в особенности Л. Авербаха, но автор при этом, к сожалению, не показывает всей сложности борьбы за идейную гегемонию пролетариата в те годы, сложности, которая зависела не только от особенностей характера Авербаха или Родова, не только от их склонности к политиканству или лавированию, но прежде всего от силы воздействия на рапповское руководство мелкобуржуазной «левизны» и «перегибов», с неизбежности и опасности которых постоянно предупреждал В. И. Ленин.

С. Шешуков привел цитату Вяч. Полонского, назвавшего деятелей из «На литературном посту» «мелкобуржуазными интеллигентами», но не сделал при этом необходимых выводов. А ведь это очень важная характеристика! Мелкобуржуазные тенденции и, в частности, «левачество» — источник многих серьезных противоречий и ошибок рапповцев, прежде всего «комчванства» и недоверия к художественной интеллигенции. Едва ли не самый ошибочный лозунг — «союзник или враг» — возник именно из этой их мелкобуржуазной «революционности».

Но С. Шешуков упрощает проблему: справедливо упрекая рапповцев за их вульгарно-социологические пролеткультовские критерии, определяющие принадлежность писателей к пролетарской литературе их классовым происхождением, он сам объясняет ошибки Авербаха, например, тем, что он родился в буржуазной семье...

«...как не прекращается у нас классовая борьба вообще, так точно она не прекращается и на литературном фронте», — говорилось в резолюции ЦК РКП(б) от 18 июля 1925 года, и дальше шло очень важное уточнение: «В классовом обществе нет и не может быть нейтрального искусства, хотя классовая природа искусства вообще и литературы в частности выражается в формах, бесконечно более разнообразных, чем, например, в политике». И в дальнейшем партия неоднократно критиковала рапповцев за их упрощенное и прямолинейное понимание классовой борьбы в литературе.

Администрирование рапповцев, о котором так много пишет С. Шешуков, опять-таки было рождено не только стилем руководства Авербаха — оно явилось результатом тех же «левых перегибов» рапповцев, того непонимания сущности партийного руководства литературой, руководства, на которое они тем не менее постоянно претендовали.

В резолюции ЦК РКП(б) от 18 июля 1925 года говорилось: «По отношению к пролетарским писателям партия должна занять такую позицию: всячески помогая их росту и всемерно поддерживая их и их организации, партия должна предупреждать всеми средствами проявление комчванства среди них как самого губительного явления...» Эта характеристика, точная и диалектичная, указывающая на против-

речия пролетарского литературного движения, непременно должна была учитываться С. Шешуковым. Однако противоречия РАПП не проанализированы им с необходимой полнотой, точностью и убедительностью. Более того, подчас он дает рапповцам слишком общую, суммарную характеристику, исключаящую рассмотрение и противоречий внутри РАПП, и эволюции их взглядов. Так, на странице 213 он заявляет, что система взглядов рапповцев и форма их организации «до 1930 г. были такими же, как и после», и утверждает, что «вред, который приносили рапповцы своими крайними действиями, может быть, в ранний период являлся более ощутимым, чем в начале 30-х годов, когда критика ошибок РАПП приобретала все более широкий общественный характер».

Серьезный просчет книги С. Шешукова заключается и в том, что литературная жизнь рассматривается им в отрыве от литературно-художественного процесса, преимущественно как групповая борьба, а то и просто склока. Эта тенденция особенно усиливается к концу работы, когда «лозунги» РАПП рассматриваются лишь в аспекте борьбы группировок и почти не проверяются практикой. Процесс консолидации писателей, составлявший суть литературной жизни конца двадцатых годов и отразивший переход писателей на сторону социализма, остался за пределами исследования. Нет в книге С. Шешукова Луначарского и Горького — крупнейших деятелей литературного движения. В результате смещаются акценты в оценках явлений, и здесь опять-таки сказалось невнимание С. Шешукова к фактам, без учета которых нельзя вести объективное исследование общественно-литературной борьбы двадцатых годов. Горький же предстает в книге фигурой страдательной. Поэтому таким одиноким (и, кстати заметим, исключительно «выпрямленным») оказался у С. Шешукова А. К. Воронский, который вместе с Горьким много сделал для собирания писателей вокруг первого в Советской России «толстого» журнала.

В книге С. Шешукова много сказано об ошибках в развитии литературы тех лет, но слабо прослежено, где же, через какие книги, творческие биографии пролегла магистраль художественного процесса, чем были predeterminedены счевидные художественные успехи советской литературы

двадцатых—тридцатых годов. Разумеется, нельзя требовать, чтобы автор, излагая историю РАПП, писал историю литературы двадцатых годов, но отсутствие общего взгляда на литературный процесс сильно мешает исследователю.

Большое место в книге «Неистовые ревнители» занимает фигура Александра Александровича Фадеева. Судя по замыслу, изложенному автором во вступлении, он намеревался говорить о РАПП именно в связи с Фадеевым: «Фадеев и литературная борьба 20-х — начала 30-х годов — вот тот аспект, который мы избираем для настоящей работы...» Но замысел книги вошел в противоречие с ее содержанием. Ведь одно дело написать о РАПП, другое — о Фадееве и литературной борьбе двадцатых годов. Исследуя историю РАПП, еще можно было (да и то, как уже говорилось, с существенными потерями) ограничиться всего только архивными материалами, стенограммами и протоколами заседаний рапповского руководства, декларациями и решениями правления МАПП, ВАПП, РАПП, статьями их руководителей и другими подобного рода материалами. Но освещение роли Фадеева в литературной борьбе тех лет требовало прежде всего обращения к художественной литературе. Ведь Фадеев в советской литературе двадцатых годов выступает именно как художник, автор «Разгрома», «Последнего из удэге», ранних повестей — произведений, оставивших глубокий след в литературе двадцатых годов. И характеристика Фадеева — организатора пролетарской литературы, не учитывающая его творческих поисков, неизбежно окажется неполной. Однако Фадеева-художника в книге почти нет.

Но дело не только и не столько в неполноте характеристики творческого облика Фадеева. Гораздо серьезнее то, как трактуется С. Шешуковым деятельность Фадеева в двадцатые годы. К сожалению, когда речь заходит о Фадееве, пафос разоблачения явно перевешивает у С. Шешукова пафос объективного исследования, и, конечно, никак нельзя согласиться ни с К. Лисицким, ни с Л. Ершовым, увидевшими в трактовке образа Фадеева несомненную удачу автора. Образ Фадеева получился у С. Шешукова двойственным, но эта двойственность отражает отнюдь не истинные противоречия сложной личности

писателя, а является результатом неточных, а порой предвзятых оценок его С. Шешуковым. Разумеется, Фадеев не нуждается в приукрашивании. Но нельзя было насильственно превращать его в ученика и верного последователя Авербаха, воспринявшего не только ложные идеи, но и отрицательные нравственные качества своего учителя, а именно таким «неистовым ревнителем» предстает Фадеев на страницах книги.

Вот как, например, комментирует С. Шешуков выступление А. Фадеева по поводу постановления ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 года на заседании комфракции бюро правления РАПП. «Уже первые фразы речи обнадеживают нас», — пишет С. Шешуков и приводит слова Фадеева: «Резолюция исключительно проста, гениально проста, как подавляющее число решений ЦК партии, и не нуждается ни в каком истолковании». Далее же следуют авторские комментарии: «Но вот Фадеев начинает рассуждать, и нас охватывает разочарование: нет, не постиг наш писатель всей глубины «гениально простой» резолюции. Слишком сильны традиции напостовства, слишком уверовал он в свое исключительное, святое пролетарское предназначение строить новую литературу, очень уж глубоко заблуждения, чтобы от них сразу можно было освободиться. Начал он свое суждение разумно... С какой гордостью и убежденностью, достойными лучшего применения, отстаивает он историю напостовства и заслуги Л. Авербаха...»

Бесспорно, Фадеев разделял многие ошибки и заблуждения рапповцев, в частности поддерживал лозунг «союзник или враг» и даже отстаивал его правильность после серьезной критики этого лозунга литературной и партийной общественностью. В его взглядах на пролетарскую литературу были элементы вульгаризаторства, верно отмеченные С. Шешуковым. Но понимание Фадеевым проблем художественного творчества, основанное на его собственном писательском опыте, было неизмеримо глубже, серьезнее, вернее, нежели «лозунги» рапповских теоретиков, и значительнее, нежели это представлено С. Шешуковым. Эстетические искания Фадеева уже в двадцатые годы были плодотворны для общего развития эстетики социалистического реализма.

И опять можно упрекнуть С. Шешукова,

что, подбирая факты и фактики, «разоблачающие» Фадеева как «неистового ревнителя», непрестанно указывая на общность позиций Фадеева и других деятелей РАПП, он недостаточно точно и тщательно исследует их расхождения. Совсем мимоходом останавливается автор на цикле статей «Старое и новое», имеющих принципиальное значение для характеристики Фадеева и РАПП.

Очень поверхностно решен С. Шешуковым вопрос об отношении Фадеева к Горькому. С. Шешуков доказывает, что никаких существенных различий в отношении Фадеева и Авербаха к Горькому не было, разве только расхождения по «тактическим вопросам». Но даже те документы, которые привел С. Шешуков, свидетельствуют не об одних только «тактических» разногласиях. Расхождения были существеннее, и здесь надо иметь в виду прежде всего отношение Фадеева к Горькому-художнику. Можно ли пройти, например, мимо оценки «Жизни Клим Самгина», свидетельствующей и об огромном впечатлении, произведенном на Фадеева эпопеей Горького, и о творческой близости двух художников?

«Мне кажется, огромной Вашей художественной победой является то, что Вы достигли того, к чему, собственно, и должно стремиться искусство, — сказали некоторые вещи в полный трубный голос, — писал Фадеев Горькому. — Под этим я подразумеваю не просто художественно правдивое описание и не те обобщения, которые даются через рассуждения, хотя бы и очень умные, — когда важнейшие генерализационные узлы удается подать через показ самой живой ткани и плоти жизни — во всей силе, полноте, цельности, бесстрашии». Это написано Фадеевым 1 апреля 1932 года, то есть когда он был, как считает С. Шешуков, «правоверным» рапповцем и, добавим, когда, работая над «Последним из удэге», он напряженно размышлял о большом синтетическом искусстве.

Разноречивость оценок в книге С. Шешукова нашла отражение в ее «разностильности». Как уже говорилось, есть в книге страницы, которые написаны живо и выразительно. Но иногда кажется, что в споре с рапповцами автор оказывается под воздействием и рапповских критических приемов, и рапповской фразеологии: «Обладал

редчайшим даром по плетению интриг и был виртуозным мастером политиканства»... «И эту чудовищную диктаторскую систему распространил на область литературы не кто иной, как великий комбинатор Родов»... «Сочетание отрицательных авербаховских и родовских черт создало зловещий, может быть, единственный в своем роде тип руководителя литературы тех лет»... и т. п.

Временами автор начинает говорить «красиво», высокопарно, временами отдает дань канцеляризмам, пишет «темно и вяло». Режет слух фамильярный, панибратский тон, неожиданно возникающий у С. Шешукова, когда он обращается к Фадееву — «Саша Фадеев», «наш писатель»... Вряд ли стоит «оживлять» повествование таким образом!

Многие просчеты и противоречия книги С. Шешукова отражают те объективные трудности, которые перед ним стояли,— большую сложность темы в первую очередь. Но есть в книге недостатки, в которых повинен более всего автор.

На протяжении всей книги он ничего не говорит о работе своих предшественников. А ведь проблемам литературного движения двадцатых годов и творчеству А. Фадеева посвящено уже немало трудов и монографий. Назовем книги Л. Тимофеева, В. Озерова, В. Иванова, Л. Киселевой, Л. Кищинской, П. Куприяновского, П. Бугаенко, «Очерки истории русской советской журналистики» и др. Исследования Л. Ти-

мофеева, например, значительно обогатили бы книгу С. Шешукова тем, что так ей недостает — проблемами развития литературы двадцатых годов. Точно так же книга Л. Киселевой «Творческие искания А. Фадеева» уточнила бы многие выводы С. Шешукова, касающиеся «художественной платформы» РАПП.

«Очерки истории русской советской журналистики», судя по всему, автор прочел не без внимания. Почему же в книге есть ссылки только на цитаты, позаимствованные из работы, и нет никаких других упоминаний ее, хотя бы полемических? С. Шешуков не должен был так легко отбрасывать труды своих предшественников. Историческая правда постигается усилиями многих.

Не следует забывать — и это, пожалуй, главный урок книги,— как вредна келейность, цеховая ограниченность, кастовость, все то, что уводит писателей от живой жизни, от живого процесса литературы.

Итак, перед нами еще одна книга о двадцатых годах, книга спорная, противоречивая, убеждающая в том, что осталось еще много нерешенных проблем истории советской литературы. Книга поучительная, напоминающая о вреде групповщины, вульгарного социологизма, догматизма, и вместе с тем книга, подтверждающая ту простую истину, что пафос разоблачения легко уводит в сторону от объективного исследования.

Н. ДИКУШИНА.



Политика и наука

РИТМЫ БОРЬБЫ

Дрейден Сим. Музыка — Революции. Изд. 2-е, переработанное и дополненное. «Советский композитор». М. 1970. 608 стр.

Книга Сим. Дрейдена «Музыка — Революции» посвящена «памяти славных бойцов ленинской большевистской гвардии, сумевших сделать музыку оружием в борьбе, мастерски владевших искусством «пропаганды посредством песни»... деятелей русской музыки, несших свое искусство массам в самые черные годы царизма, тысяч и тысяч рабочих певцов, участников штурма старого мира». Ее первое издание, вышед-

шее в 1966 году, вскоре стало библиографической редкостью.

В новом издании нашли отражение неизвестные прежде документальные материалы. Книга Сим. Дрейдена — это серьезное исследование, рассчитанное на самую широкую читательскую аудиторию.

Сам автор охарактеризовал книгу как рассказ о музыке на службе революции, о большевистской «пропаганде посредством

песни», о «музыкально-просветительной работе среди рабочих в начале века».

Первый раздел посвящен «Интернационалу». Он рассказывает о рождении нашего партийного гимна, о том, как начал он свой путь по странам мира. Большое внимание Сим. Дрейден уделил созданию русского перевода «Интернационала», показал, как появился тот отточенно-острый текст нашего революционного гимна, который сегодня знает каждый советский человек.

Глава, посвященная «Интернационалу», дает много ценного материала чисто информационного характера. Это относится и к датам (первые публикации, первые исполнения за рубежом и в России, даты провозглашения «Интернационала» нашим государственным, а затем партийным гимном), и к исправлению русской транскрипции фамилии композитора Пьера Дежейтера — автора музыки на стихи Эжена Потье, и к уточнению времени «знакомства В. И. Ленина с мелодией и словами «русского» «Интернационала», и ко многим другим фактам.

Во втором издании раздел «Песнь песней революции» пополнился новой главой: «Это есть наш последний...» В ней обобщен большой документальный и литературно-художественный материал о той мобилизующей моральной силе, которую нес в себе «Интернационал» в самые трудные годы в истории нашей страны. В этой же главе приводятся результаты изучения автором переводов «Интернационала» на языки народов СССР.

Название второго раздела книги — «Рабочие поют» — связано с известной басней Демьяна Бедного. В ней заводчик жалуется жене:

Ты не заметила: рабочие... поют!
Поют с недавних пор, идя домой с
работы.
Ох, эти песни мне покою не дают!

И вся глава — это яркие иллюстрации того, как массовая революционная песня стала одной из форм большевистской пропаганды, верным помощником в деле организации и сплочения трудящихся. Автор рассказывает о том, как высоко ценил революционную песню Ленин. Об этом свидетельствуют его статьи «Евгений Потье» (опубликована в «Правде» 3 (16) января 1913 года) и «Развитие рабочих хоров в Германии».

Последней работе Сим. Дрейден дает очень точное определение: «На деле — это был снаряд дальнего прицела. Заголовок статьи носил условный характер. По существу его надлежало читать: «Развитие рабочих хоров в России».

В начале века быстро ширится развитие народных хоров в разных городах России. В Петербурге это хор Бесплатной музыкальной школы, с которым связаны имена М. А. Балакирева, Г. Я. Ломакина, Н. А. Римского-Корсакова, В. В. Стасова, С. М. Ляпунова. При Московском обществе народных университетов в 1906 году была создана первая народная консерватория; в организации которой большое участие принимали С. И. Танеев, А. Д. Кастальский, К. Н. Игумнов, Н. Д. Кашкин, К. С. Сараджев и другие выдающиеся музыканты — энтузиасты распространения музыкальной культуры среди народа. В связи с успешными выступлениями любительского хора московских пролетариев на Пречистенских рабочих курсах в то далекое время «Правда» писала: «Наш общественный строй дал рабочему только кабак как эстетическое удовлетворение, но любовь рабочего к свободе позвала его и к красоте». Капеллу «причистенцев» возглавлял знаток хорового искусства, ученик С. И. Танеева — В. А. Булычев. В Петербурге в 1912 году большой рабочий хор был создан В. В. Певцовой, к 1913 году этот хор насчитывал тысячу участников. Певцовский хор был тесно связан с рабочими революционными организациями, о его выступлениях не раз сообщала «Правда». Историю рабочих хоров автор заканчивает рассказом о хорах ветеранов революции, созданных в наши дни во многих городах страны. Глава завершается строками Б. Слуцкого, посвященными выступлению хора ветеранов:

...Негромко поют старики
Слабеющими голосами.
Топорщатся их пиджаки,
И слышится в песне: «Мы — сами!
Мы сами
 сложили слова,
Мы сами
 мотив подобрали,
Мы с этой же песней
 для вас.
Россию у бар отобрали...»

Сим. Дрейден пишет: «Представители русской музыкальной демократии могут с

чистой совестью и сознанием исполненного долга сказать, что в годы самых трудных испытаний они в подавляющем большинстве выдержали искуc и оказались верны лучшим традициям русской революционно-демократической интеллигенции. Особый смысл творчески-художественной деятельности этих «музыкально образованных людей» заключался в том, что она не носила замкнуто профессиональный характер, а одухотворялась подлинным гражданским пафосом».

В небольшой рецензии невозможно перечислить даже одни только имена всех деятелей искусства и культуры, добровольно отдавших свои силы и талант музыкальному просвещению народа, о которых рассказывает книга Сим. Дрейдена. Заслуга автора состоит и в том, что он включил в свое исследование не только тех, кого мы знаем, но и тех, кого не найти даже в «словнике» биографического словаря русских музыкальных деятелей, хотя картотека этого «словника», хранящаяся в ленинградском Институте театра, музыки и кинематографии, насчитывает тысячи фамилий. Автору пришлось пересмотреть массу концертных программ и афиш, чтобы осуществить свой замысел — «никто не должен быть забыт».

Читателям, знакомым с первым изданием книги, интересен будет новый раздел «Музыка в жизни большевика». Этот раздел основан «на примерах деятельности соратников В. И. Ленина, для которых музыка была и насущной духовной потребностью, и оружием в борьбе».

Среди людей талантливых, музыкально одаренных, людей, обладавших большим художественным вкусом, автор называет Г. В. Чичерина, Инессу Арманд, В. В. Воровского, А. В. Луначарского, Г. М. Кржижановского, М. С. Кедрова, Н. И. Подвойского, П. А. Красикова, С. И. Гусева, П. К. Штернберга, М. М. Эссен, М. Н. Тухачевского.

Однажды выдающемуся партийному деятелю С. И. Гусеву, обладавшему великолепным голосом, знаменитый певец Н. Н. Фигнер предложил участвовать в конкурсе для поступления в труппу Мариинского театра.

Как известно, Сергей Иванович предпочел другой путь — путь борьбы за свободу народа. Но музыка, песня навсегда остались одним из сильных его увлечений. По воспоминаниям боевых соратников восстанавливается картина того, как проводили свой короткий досуг в трудные времена гражданской войны политкомиссары 2-й армии Восточного фронта С. И. Гусев и П. К. Штернберг — виднейший ученый-астроном, профессор Московского университета, революционер с большим стажем партийной работы. В свободные вечера Сергей Иванович Гусев пел, а Павел Карлович Штернберг ему аккомпанировал. Послушать музыки сходились все не занятые по службе работники штаба, командиры. Так музыка «для себя» становилась музыкой «для всех».

В книге Сим. Дрейдена читатель найдет интересный рассказ и о музыкантах-профессионалах, которые посвятили свое искусство служению революции. Несколько страниц автор посвящает «красному» скрипачу Эдуарду Сырмусу. Он показывает, какую роль сыграли встречи и беседы с В. И. Лениным в жизни этого выдающегося музыканта. «С малолетства мной владели две страсти. — говорил Э. Сырмус, — страсть к скрипке и страсть к пролетарской революции...» А выдающийся советский дипломат Г. В. Чичерин писал: «У меня были революция и Моцарт...» Не так давно широкому читателю стало известно, что в последние годы жизни больной Г. В. Чичерин все свободное время посвящал исследованию творчества Моцарта, которого очень любил и высоко ценил.

Закономерно, что в книге часто встречается имя А. В. Луначарского. Еще с конца прошлого века будущий нарком просвещения вел свою многолетнюю полемику с представителями мелкобуржуазной идеологии о значении искусства для народа. В строках, завершающих книгу, автор приводит слова А. В. Луначарского о месте музыки в нашей жизни: «...Она должна гореть, как огонь, как факел, и насытить наши героические будни».

Л. ВАНХАНЕН.

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО, ПРИРОДА И ТЕЛЕОЛОГИЯ

И. Забелин. Человек и человечество. «Советский писатель». М. 1970. 264 стр.

Географ и писатель И. Забелин известен своими книгами и статьями о взаимодействии человека с природой, описаниями поездок по различным странам мира, научно-фантастическими повестями. Его новый сборник довольно пестр по своему содержанию: от очерка «О культуре мышления», адресованного главным образом научным работникам, до биографического очерка о И. И. Мечникове («Этюды оптимизма»). Лицо сборника и его заглавие определяются двумя крупными, занимающими почти половину книги работами под общим названием «Человечество — для чего оно?». Эти очерки затрагивают весьма важные проблемы современности; однако в отличие от других работ И. Забелина многие положения, высказанные в них автором, не могут, на наш взгляд, не вызвать серьезных возражений.

Уже сам обнаженный по форме вопрос, поставленный И. Забелиным в заглавие очерков, нельзя признать удачным, способствующим поискам научной истины. Возникает естественное желание дополнить его рядом аналогичных, например «лишайники — для чего они?», «дельфины — для чего они?» и т. п.

И. Забелин мотивирует правомерность постановки вопроса о цели существования человечества прежде всего тем, что он якобы «давно уже поставлен в религиозной, философской, научной литературе» (стр. 194). Однако ссылка автора на философскую и научную литературу не вполне оправдана: такой вопрос в ней отыскать довольно трудно; показательно, что его нет и в трудах классиков марксизма-ленинизма. А вот в религиозной литературе этот вопрос не просто ставится, но уже давно, начиная с сочинений Фомы Аквинского, занимает одно из центральных мест. Существует даже особая область богословия — телеология (от греческого «телео» — «идуший к цели»), которая только тем и занимается, что ищет целесообразность и предопределенность во всем мироздании, включая, разумеется, и человека. И это вовсе не случайно, ибо раз в мире все устроено целесообразно и, в частности, человечество создано для какой-то цели, то логично утверждать существование верховного разума, который установил подобный порядок. Некоторые отводят такой

разум господину-богу, другие приписывают его Природе, но это уже детали. Они определяют различия между богословием и объективным идеализмом, но не различия между идеализмом и богословием, с одной стороны, и материализмом — с другой.

Для материалиста-диалектика вся сложная картина мироздания, включая и явления живой природы, — это формы существования материи. Мы можем познать основные законы развития материи и отдельных ее форм, но было бы бессмысленно подходить к этим проблемам с обывательских позиций и спрашивать, например, для чего скорость света в пустоте равна тремстам тысячам, а не двумстам тысячам километров в секунду и зачем вода при нагревании обращается в пар. Церковники долгое время цеплялись за «целесообразности» в живой природе, истолковывая удивительную приспособленность растений и животных к существованию в определенных условиях среды как результат планомерной деятельности сверхъестественных сил. Их аргументация была сокрушена теорией Ч. Дарвина о происхождении видов в результате естественного отбора. Почти сразу же после выхода в свет работы Ч. Дарвина Ф. Энгельс пишет К. Марксу: «Телеология в одном из своих аспектов не была еще разрушена, а теперь это сделано» (Сочинения, т. 29, стр. 424). Законы естественной эволюции и ход этой эволюции от амебы до человека теперь известны каждому старшекласснику. Невольно создается впечатление, что И. Забелин забывает об этом, когда пишет, например: «Природу пришлось бы признать слишком расточительной, если бы она создала разумную жизнь только для того, чтобы разум самообеспечился пищей, а потом из века в век лентяйничал на теплом земном шарике. По масштабам Вселенной это пустейшая и нелепая затея» (стр. 135). Ну, а как быть с возникновением, существованием в течение многих миллионов лет, а затем гибелью гигантских ящеров? — можем спросить мы у И. Забелина. Где же здесь «разумность» природы и каким образом можно оценить это явление «по масштабам Вселенной»?

Уже из приведенного рассуждения И. Забелина видно, что основная беда его не столько в том, что он поставил вопрос о

цели существования человечества, сколько в телеологическом подходе к нему. В этом лишний раз убеждает то место очерков, где автор подводит некоторый итог своим размышлениям. «Мы, человечество, не случайны, мы нужны природе для дела», — заявляет он (стр. 187). Человечеству как явлению природы предначертана особая высокая миссия, которая заключается в управлении стихийными силами. Земля в данном случае является лишь трамплином, с которого человечество должно, якобы по велению природы, ринуться на освоение околосолнечного пространства, а затем и к звездным мирам. «В космосе... человек будет искать не пищу, не территории, еще не освоенные, а подготавливать поначалу, повторяю, базы управления, пункты управления природой... Человечество — это орган природы, ею же созданный для управления стихийными силами» (стр. 187, 190).

Вероятно, даже у людей, привыкших к научно-фантастическим прожекам, от такой великой цели человечества закружится голова. Хорошо было бы, если бы в будущем человек решил проблему управления погодой на всем земном шаре. Можно мечтать, что когда-нибудь, в еще более отдаленном будущем, человек будет, например, регулировать извержения вулканов и предотвращать землетрясения. Но управление стихийными силами на затерявшемся на окраине солнечной системы Плутоне или, скажем, в туманности Андромеды... Будет ли это когда-нибудь под силу человеку? А кроме того, пользуясь вопросом И. Забелина, — для чего оно? Природу действительно приходится признать «слишком расточительной» и «неразумной», если она в течение миллиардов лет распускала по Вселенной или даже только по солнечной системе различные стихийные силы, а потом взяла да и создала орган для их управления. В рассуждениях И. Забелина эта деятельность природы по методу проб и ошибок уж очень близка к деятельности господ-бога в той библейской истории, которая окончилась всемирным потопом.

Для того чтобы человечество могло совершить прыжок в космос и выполнить там отведенную ему И. Забелиным миссию, необходимы специфические условия, и особо важное место среди них, по мысли И. Забелина, занимает «демографический взрыв», то есть резко ускорившийся за последние

десятилетия рост численности населения мира. Можно ли освоить космос, располагая всего тремя миллиардами «человеко-единиц»? — спрашивает И. Забелин. И отвечает: «Нет, разумеется. Пожалуй, такого количества людей не хватит и для более скромной и близкой задачи — для управления планетарными процессами на собственном земном шаре» (стр. 157). И. Забелин усматривает прямую зависимость первых полетов космонавтов от «демографического взрыва» и считает беспочвенными предсказания ученых о сокращении прироста населения. «Увеличение численности человечества — процесс необратимый, — утверждает он, — и конца ему не предвидится... Коммунизм, в его оптимальном виде (?!), для всех стран снимет трудности добывания элементарно необходимых материальных и культурных благ... тем самым он снимет и внутренний самозапрет к расширенному производству себе подобных на всем земном шаре» (стр. 158—159). Лишь тогда, когда космос будет освоен и в нем возникнут очаги жизни, не нуждающиеся «в пополнении извне, перед населением Земли, — пишет И. Забелин, — возникнет проблема стабилизации своей численности. Но до этого — ох как далеко... А пока — пока же лучше не тешить себя надеждами (?!) на сколько-нибудь значительное сокращение прироста населения, хотя колебания и в ту и в другую сторону наверняка будут» (стр. 159).

Надуманые и ненаучные концепции всегда влекут за собой необходимость насилия над фактами, и рассматриваемые очерки лишний раз подтверждают это. Многочисленные страницы, уделенные И. Забелиным проблемам населения — одним из важнейших и сложнейших проблем современности, — изобилуют неточностями, ошибками и просто домыслами. Остановимся лишь на некоторых из них.

Основная методологическая ошибка И. Забелина в его рассуждениях вокруг «демографического взрыва» состоит в том, что он обуславливает этот взрыв какими-то мистическими велениями природы, толкающей человечество на завоевание космоса. Само явление «демографического взрыва» достаточно известно широкому читателю хотя бы по статьям, опубликованным в «Литературной газете». Ускорение темпов роста численности населения за последние десятилетия обычно иллюстрируется количеством лет, необходимых для того, чтобы первона-

чальная численность удвоилась: в начале XX века для этого требовалось около ста лет, в настоящее время — около сорока лет (отметим попутно, что И. Забелин допускает довольно грубую ошибку, утверждая, что для очередного удвоения сейчас нужно двадцать пять лет,— стр. 138). Следует напомнить, однако, что в отличие от И. Забелина демографы, анализируя проблемы роста численности населения мира, почти никогда не пользуются абстрактным понятием «человечество», так как за «средними» цифрами скрывается чрезвычайно большое разнообразие темпов прироста по странам и народам. Общепринято деление «человечества» на две основные части: на население экономически развитых стран мира — здесь темпы естественного прироста понижены — и население пока еще экономически отсталых, развивающихся стран, где темпы прироста высоки. Так как во вторую группу входит население почти всех стран Азии, Африки и Латинской Америки, составляющее более двух третей человечества, то именно они и оказали решающее влияние на общую динамику численности населения мира, создав явления «демографического взрыва».

Храня верность своей концепции, И. Забелин, естественно, ищет объяснение высоким темпам прироста населения слаборазвитых стран в биологических факторах. «Очевидно, все дело... в биологии,— замечает он,— в бессознательном проявлении самой сути жизни, что ли: находясь на пределе существования, люди быстро плодятся, чтобы вообще как-то уцелеть, сохранить свой биологический вид...» (стр. 140). Бурный рост населения был, по И. Забелину, лишь поддержан медициной, которая способствовала такому росту, но отнюдь не определяла его: «ведь в тех слаборазвитых странах, где население растет особенно быстро, с медициной пока худо обстоит дело», — отмечает он (стр. 148).

Несостоятельность этих рассуждений совершенно очевидна. На «пределе существования» люди находились лишь в первобытную эпоху, когда высокая рождаемость сочеталась со столь же высокой смертностью, среднегодовые темпы прироста населения измерялись тысячными долями процента, а нередко сменялись и убылью. Однако уже в те далекие времена человек отличался от животных наличием разума и социальной организации, и высокая рождае-

мость первобытных людей поддерживалась не столько биологическими, сколько социальными причинами, прежде всего возникшим культом плодородия и традициями многодетности, позже закрепленными во многих религиозных догмах. Какими же биологическими стимулами можно объяснить, например, высокую плодовитость современных мексиканцев или филиппинцев? Ведь население этих стран вовсе не находится «на пределе существования». Наоборот, за последние десятилетия здесь удалось резко снизить еще недавно высокую смертность. Это при сохранении высокой рождаемости и привело к повышению темпов прироста.

Конечно, по уровню медицинского обслуживания развивающиеся страны еще сильно отстают от экономически развитых стран; тем не менее и вопреки И. Забелину смертность была в них снижена именно благодаря успехам медицины (распространение сульфамидов, антибиотиков и т. п.). На Цейлоне, например, только в результате борьбы с малярией, проведенной в 1946—1947 годах путем опыления малярийных водоемов препаратами ДДТ, прежде высокая смертность за несколько лет сократилась до уровня смертности во Франции или Великобритании, в то же время несколько возросла и рождаемость — за счет улучшения здоровья взрослого населения.

Хорошо известно, что нахождение людей «на пределе существования» никак не способствует космическим дерзаниям. Хорошо известно и то, что две космические державы, СССР и США,— это страны не с высокими, а с пониженными темпами роста населения. Уже это само по себе показывает беспочвенность идеи И. Забелина о том, что именно «демографический взрыв» создал условия для первых шагов в космос. Столь же беспочвенны и логически связанные с ней рассуждения о сохранении высоких темпов прироста населения в будущем, о возможном увеличении их в коммунистическом обществе. Оставляя на совести автора вздорную, противоречащую всем закономерностям социально-экономической и культурной эволюции общества идею о превращении жизни женщин коммунистического общества в непрерывный цикл детопроизводства, заметим, что если нынешние темпы прироста населения действительно сохранились бы, то сравнительно скоро — уже к началу XXII века — на Земле оказалось бы

около пятидесяти миллиардов человек. Население одной лишь Мексики составило бы свыше восьмисот миллионов, а Индии — почти девять миллиардов человек. Чтобы обеспечить такое количество людей жильем, пришлось бы превратить всю территорию Индии в сплошной многоэтажный город. Ежегодно на нашей планете стало бы прибавляться свыше миллиарда новых граждан! Сколько же понадобилось бы затрат для того, чтобы обеспечить их необходимыми материальными и культурными благами, а нередко и просто местом под солнцем? А ведь затраты эти будут все время возрастать из-за уменьшения естественных ресурсов Земли. И при этом, даже по самым фантастическим прогнозам, лишь небольшая часть новых поколений может рассчитывать на место в ракетах, которые, как считает И. Забелин, отправятся по велению Природы «управлять стихийными процессами» на Марсе, Юпитере или того дальше.

Ничего этого, конечно, не будет. Резкое увеличение за последние десятилетия темпов прироста населения в экономически отсталых странах уже сейчас поставило многие из них перед серьезными трудностями. В целом ряде случаев темпы прироста населения обгоняют общие темпы хозяйственного развития этих стран, что затрудняет их социально-экономический и культурный прогресс, тормозит борьбу с нищетой, голодом и неграмотностью. Именно поэтому в Индии, Пакистане, ОАР и ряде других стран уже сравнительно давно приняты и все шире развертываются правительственные программы снижения рождаемости. В этой ситуации совет И. Забелина «не тешить себя надеждами на сколько-нибудь значительное сокращение прироста населения» звучит, мягко говоря, бестактно. Следует признать, что практический эффект программ по сокращению рождаемости пока, к сожалению, недостаточен, и, вероятно, ближайшие десятилетия будут для некоторых из этих стран, в частности для Индии и Пакистана, тяжелыми. Но нет сомнений, что в конечном итоге они добьются желаемых результатов. Закономерности социально-экономического и культурного развития человеческого общества (проявившиеся, в частности, в вовлечении женщин в общественное производство, науку и т. п.), с одной стороны, и возрастающие трудности обеспечения все увеличивающегося населения Земли необходимыми благами — с другой,

действуют в одном направлении. Поэтому все видные ученые предсказывают в будущем возможную стабилизацию в дальнейшем численности населения в большинстве стран мира, а не продолжение «демографического взрыва» и распространение его на внеземное пространство.

Таким образом, критический анализ концепции И. Забелина о цели существования человечества обнаруживает ее научную несостоятельность и методологическую порочность. Это не означает, конечно, что человечество живет «бесцельно». Напротив, если в природе, как писал Ф. Энгельс, «нигде нет сознательной, желаемой цели», то «в истории общества действуют люди, одаренные сознанием, поступающие обдуманно или под влиянием страсти, стремящиеся к определенным целям. Здесь ничто не делается без сознательного намерения, без желаемой цели» (Сочинения, т. 21, стр. 305, 306). Выступая против телеологии, исторический материализм утверждает не «бесцельность» существования человечества, а лишь то, что его деяния определяются не мистическими предначертаниями высшего разума, приписываемого богу или Природе, а внутренними потребностями самого человечества.

Вполне вероятно, что в будущем какие-то небольшие группы людей, погрузившись в анабиоз, устремятся в космических кораблях за пределы солнечной системы. Но если только не произойдет какой-нибудь планетарной катастрофы, земная деятельность людей и в далеком будущем будет доминировать над космической. Земля — колыбель и дом человека, а дела, которые он должен выполнить в этом своем доме, с течением времени не уменьшаются, а возрастают и усложняются. К ним относятся и необходимость восстановления хотя бы части ныне неразумно используемых естественных богатств, и очистка атмосферы и воды от все увеличивающихся загрязнений, и отыскание новых пищевых и энергетических ресурсов, и множество других научных и технических проблем, не говоря уже о необходимости разрешения политических, классовых, национальных и прочих возможных социальных противоречий. Где уж тут «лентяйничать на теплом земном шарике»!

А вот телеологические наукообразные рассуждения — в самом деле, для чего они?

В. И. КОЗЛОВ,
доктор исторических наук.

НАУКА О ПОВЕДЕНИИ

Конрад З. Лоренц. Кольцо царя Соломона. «Знание». М. 1970. 220 стр.

Н. Тинберген. Поведение животных. «Мир». М. 1969. 192 стр.

Салли Кэрригер. Дикое наследство природы. «Мысль». М. 1969. 224 стр.

Еще сотню лет тому назад ученые считали — поведение человека столь отлично от поведения животных, что поиски общего между ними вряд ли могут быть полезны науке. Однако со временем стало ясно, что такой взгляд на «меньших братьев» слишком упрощает их психологию. Вместе с тем удалось убедительно доказать, что многие специфические свойства человека в зачаточном состоянии имелись у наших «дочеловеческих» предков. Это заставило ученых с пристальным вниманием отнестись ко всем общим чертам человека и животных. А общего у нас немало. Бесспорно установлено, что высшие представители животного мира — позвоночные имеют сходную анатомию скелета. Например, весьма похожи по строению крылья птиц, передние конечности рукокрылых и лошадей, руки людей и плавники китовых. Еще более красноречивый факт — гормоны желез внутренней секреции животных настолько сходны с человеческими, что при их недостатке людей лечат вытяжками гормонов из желез крупного рогатого скота. За последние десятилетия эту глубинную взаимосвязь удалось проследить во многих направлениях. Новый подход оказался весьма продуктивным. И хотя мы еще далеки от понимания, каким образом развились специфические особенности homo sapiens, тем не менее, изучая поведение животных, уже начинаем представлять себе, хотя и смутно, возможные предпосылки человеческого поведения.

Разумеется, антропоморфический подход, то есть приписывание человеческих мыслей и чувств животным, неверен в принципе. Однако, с другой стороны, так же неправомерен и механистический подход: представление, будто животные — это всего лишь сложные автоматы, которые всегда одинаково реагируют в ответ на одинаковые воздействия внешней среды. Верный путь лежит где-то посередине.

Значение науки о поведении животных неопределимо для практики животноводства, звероводства, птицеводства, рыбоводства и рыболовства, для охраны природы. Без ее помощи невозможно восстановить и картину появления человека на Земле.

Долгое время поведение животных изу-

чалось лишь в лабораторных условиях. Австрийский ученый Конрад Лоренц первый отказался от традиционных методов, перенес центр тяжести работы из лаборатории в природу. Так родилось новое направление в науке — этология.

Слово «этология» происходит от греческого слова «этнос», что означает характерные нравы, обычаи, отличительные черты, присущие определенной группе людей или — в биологии — определенному виду животных. Главное в методике этологов, плодотворность которой доказана, — дать возможность своим подопечным действовать самостоятельно, наблюдать за ними в естественных условиях.

Английский биолог Д. Гексли пишет о К. Лоренце: «Он не только собрал громадное количество фактов и сделал множество глубоких наблюдений из жизни животных, но вместе с тем в большой мере содействовал установлению основных принципов и теорий в исследовании сознания и поведения животных». «Нет ничего более захватывающего, чем соображения о жизни животных, высказываемые Лоренцем, — констатирует известный французский ученый Реми Шовен. — В них чувствуется тонкое, вплоть до мельчайших деталей знакомство с изучаемыми животными».

Неоценимая заслуга Лоренца в том, что он положил начало превращению этологии в науку сравнительную, что позволило изучать эволюцию поведения.

До настоящего времени этологи сосредоточивали свое внимание на основном вопросе: какие свойства животных, да и людей, можно считать врожденными, а какие приобретенными? Поведение живых существ — это результат сложного взаимодействия инстинкта и новых знаний, полученных в процессе приспособления к окружающей среде. И поэтому, объясняя повадки зверей и птиц, нельзя ограничиваться соображениями о саморегулирующихся системах в организме, о так называемой «эндогенной мотивации». «Неповторимость рисунка поведения, свойственного тому или иному виду, — это главным образом следствие генетической уникальности вида, — пишет Н. Тинберген. — Даже одна-единствен-

ная мутация, изменение единственного гена может повлечь за собой преобразование поведения».

Следует сказать, что пропорционально усилиям этологов возрастает количество фактов, которые совсем не просто разложить по полкам. Отмеченные в ходе лабораторных экспериментов и полевых наблюдений бескорыстные склонности животных к получению информации, говоря иначе, их любознательность, связь игр высокоорганизованных животных с элементами познания, их предэстетические склонности открывают широчайший простор для будущих исследований.

Лоренц отдал много лет жизни изучению разнообразных живых существ, главным образом птиц. Его наблюдения послужили основой для разработки стройной теории поведения. Лоренц сумел подружиться со многими дикими животными, понять их «язык» и повадки. «Кто однажды узрел сокровенную красоту природы, никогда уже не сможет порвать с ней,—пишет он.—Этот человек должен стать или поэтом, или натуралистом. И если глаз его точен и способность к наблюдению достаточно обострена, то он станет и тем, и другим».

Блестящее подтверждение этой мысли — увлекательная поэтическая книга К. Лоренца.

Рассказывая о своих питомцах, Лоренц ни в малейшей степени не пытается «очеловечивать» их, подчеркивая, что их повадки, внешне схожие с некоторыми чертами поведения человека,—лишь свидетельство того, что мы, люди, получили много веков назад весьма богатое наследство от своих предков-животных, которое живет в нас по сей день. Говоря, например, о невероятной способности животных воспринимать тончайшие жесты, оттенки настроения, ускользающие от внимания человека, он констатирует, что эти способности именно потому так обострены у животных, что они лишены человеческой членораздельной речи, что «слова» разнообразных «языков» животного мира — это не более чем восклицания.

Пожалуй, самые любопытные страницы книги Лоренца посвящены наследственным сдерживающим механизмам, которые не позволяют животному без разбору применять свое оружие. По-видимому, для многих окажется неожиданным, что по отношению к особям своего вида волк несрав-

нимо благороднее, скажем, косули или воспетой поэтами горлицы, которая способна насмерть заковать своего собрата. Причем самое замечательное, говорит Лоренц, заключается не в том, что волк-победитель не в силах вонзить зубы в соперника, сдавшегося в буквальном смысле на милость победителя и подставившего свою шею, а в том, что побежденный вполне полагается на поразительную сдержанность своего более сильного врага. Среди хищных зверей есть всего несколько видов, ведущих одиночный образ жизни (белый медведь, ягуар), и именно они не располагают «социальными сдерживателями»: в условиях неволи эти хищники особенно часто убивают друг друга.

И вот здесь перед читателями возникает весьма характерный, по-видимому, для некоторых этологов, во всяком случае для авторов рецензируемых книг, ход мыслей, основанный на сопоставлении мира природы и общества людей. Лоренц констатирует: «Система наследственных сдерживающих импульсов, вместе с оружием, приобретенным общественными видами животных в процессе эволюции, образуют единый отрегулированный комплекс». Лишь у человека «оружие не является частью его организма, и, следовательно, инстинкт не налагает ограничений на его применение». Но так как для развития сдерживающих начал необходимо длительное время, сравнимое с периодами, которыми оперируют геология и астрономия, то человечество должно «сознательно и целенаправленно вырабатывать терпимость, раз уж мы не можем полагаться на инстинкт».

Н. Тинберген пишет: «Мы так быстро меняем окружающую среду, в том числе и среду социальную, что наши генетически обусловленные поведенческие приспособления не успевают за столь резкими преобразованиями. Не в наших силах ускорить генетическую эволюцию человека и приспособить ее к этим порой ужасающим изменениям. Наша единственная надежда — научиться управлять этой новой средой», люди должны «внимательно присмотреться к способам, при помощи которых наши младшие собратья решают насущную проблему совместного существования с себе подобными». Такого рода суждения мы находим и в книге С. Кэрригер: «Чем глубже мы будем изучать животных, тем лучше поймем, как много примеров их мирных

действий мы можем использовать в наших человеческих взаимоотношениях».

Гуманистическое благородство этих высказываний не подлежит сомнению. Может быть, не столь очевидно их прекраснодушие, если не сказать беспомощность. В самом деле, вряд ли может человек «научиться управлять своей средой», ориентируясь только на умение животных бескровно разрешать конфликты. Между человеческим обществом и сообществами зверей и птиц возможны только весьма отдаленные параллели. Возникновение человеческой цивилизации породило титанические социальные силы, и хотим ли мы этого или не хотим, но укротить их с помощью наследственных сдерживающих механизмов нереально. Как учит марксистско-ленинская философия, социальные проблемы никогда не могут быть решены методами естественных наук. Здесь действуют свои особые законы.

Но такого рода высказывания не составляют существа научных концепций авторов.

Для всех трех книг, написанных профессиональными учеными-этологами, характерна какая-то особая теплая атмосфера любви и уважения к «нашим младшим братьям».

Вот что пишет, например, Конрад Лоренц о древней дружбе человека с собакой: «В наши дни собака имеет для человека главным образом психологическую ценность... Мне кажется, именно они помогают нам вернуться к тому подсознательному всеведению, которое мы и называем природой, и это была та цена, которую человечество уплатило за свою культуру и цивилизацию, за то, чтобы получить специфическую свободу воли... В почти кинематографически быстром течении нашей жизни современный человек время от времени хочет почувствовать, что он пока еще остался самим собой. И ничто не даст ему столь приятного подтверждения этого, как «семящие сзади четыре ноги» (Р. Киплинг)». Ту же мысль высказывает и Нико Тинберген: «Все больше людей понимает, что постоянное общение с животными подобно совместному путешествию: нас радует, что мы окружены живыми существами, которые, как и мы са-

ми, глубоко поглощены жизненными приключениями». «Очень обидно не знать,— говорит и американская исследовательница Салли Кэрригер,— как совершенно незнакомый олень подходит к вам вплотную и доверчиво тычет мордой в вашу руку, обидно не видеть, как он вольно разгуливает вокруг, демонстрируя удивительное изящество своих движений, при которых он как бы избегает наступать на цветы».

Есть основания надеяться, что умные и добрые книги по этологии завоюют признательное внимание читателей. Специфика предмета определила, правда, некоторую перегруженность книги Н. Тинбергена фактами, что, впрочем, отчасти искупается ее великолепным оформлением. Лучшие страницы книги С. Кэрригер, написанной легко и интересно, без ущерба для научной точности материала, напоминают произведения Э. Сетон-Томпсона, что само по себе говорит о многом.

Что касается книги К. Лоренца, то ее высокие научные и художественные достоинства неоспоримы. Обращаясь к ученым, К. Лоренц пишет: «Как благодарен я буду судьбе, если найду хотя бы одну тропинку, по которой смогут последовать за мной другие исследователи. И сколь бесконечно счастлив я буду, если мне удалось открыть один-единственный «восходящий поток», который сможет поднять кого-нибудь из ученых повыше, откуда он увидит немного дальше, чем смог увидеть я сам». Признание научного мира, большое количество последователей и преданных учеников, окружающих Лоренца,— все это свидетельствует о том, что его надежды сбылись. Если говорить о непрофессионалах, то Лоренц может быть уверен, что он достиг и другой цели, которую он поставил в своей книге: «...я считаю своей серьезнейшей задачей пробудить у возможно большего числа людей глубокое понимание внушающего благоговение чуда природы. Я фанатически стремлюсь к появлению новообращенных». Тираж его книги сто тысяч. «Новообращенных», разумеется, будет намного больше.

Ю. МОИСЕЕВ.

КОРОТКО О КНИГАХ

★

Л. ТАТЬЯНИЧЕВА. Живая мозаика. «Советская Россия». М. 1969. 125 стр.

Для читателей имя Людмилы Татьяничевой связано прежде всего с ее лирикой. В книге «Живая мозаика» помещены короткие рассказы, но почерк поэта чувствуется и здесь. Почти каждая из маленьких новелл несет в себе душевное тепло, черты, характерные для ее поэтических произведений. Как и многие стихотворения Л. Татьяничевой, сборник обращен к родному ей Уралу, где она начинала свой трудовой путь и с которым прочно связала свое творчество.

Нельзя сказать, что книжка дает представление о всей многосложной, трудовой жизни рабочего человека, да этого от нее и не ждешь. Писательница стремится отдельными штрихами, жизненными деталями передать те или иные особенности характера нашего современника, стойкость и красоту людей скромных и неприметных с виду. Глаза ее (как сказано в книжке об одном из героев — Саше Нефедове) «повернуты к хорошему». Тот же Саша Нефедов считает, что «у каждого есть своя солнечная сторона, надо только уметь увидеть ее». Л. Татьяничева старается разглядеть эту солнечную сторону, ей удается найти ее там, где другие, может быть, такое и не заметили бы. Вошел в трамвайный вагон паренек в спецовке: по тому, как он держится — «вроде и в сторонке, и в то же время на виду», — видно, что парень доволен своим трудовым днем, гордится своей причастностью к заводской профессии.

«— Metallist?»

— Фрезеровщик. А как вы узнали?

— По спецовке...»

Писательница пожалала на прощание уже успевшую загрузить мальчишескую руку. «Дома поднесла ладонь к лицу, с удовольствием ощутив памятный запах машинного масла и металла. Запах заводского труда и рабочей романтики» (рассказ «Встреча с юностью»).

Труд, истовое отношение к труду — вот одно из важнейших качеств человеческой личности. Эта мысль красной нитью проходит в сборнике Л. Татьяничевой. Этим живут поэтические образы книжки: «Разве не удивительна судьба горы Магнитной, чьи знаменитые рудоносные сопки стали почти плоскими, как грудь матери, вскормившей богатырей и состарившейся под бременем нелегких забот и труда»...

Писательнице близки и дороги люди, чуждые эгоизму и тщеславию. Она за тех, кто во имя жизни и любви отдает другим все свое душевное богатство. Такие люди и есть подлинные герои книжки «Живая мозаика».

Г. Койранская.

★

ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВ. Крепость на отшибе. Повесть. Восточно-Сибирское книжное издательство. 1969. 216 стр.

Писатель Дмитрий Сергеев знает Сибирь и потому, что здесь родился и вырос, и потому, что, став после возвращения с войны геологом, исходил, исколесил ее в составе геологических партий. Писать Д. Сергеев стал сравнительно поздно.

Повесть «Крепость на отшибе», недавно вышедшая отдельной книжкой в Иркутске, развертывается медленно, рассеиваясь в подробностях быта геологической партии, в подробностях уклада староверского «семейского» села, в котором эта партия вынуждена была разместиться ввиду наступивших холодов. Таким же медленным, нигде не убыстряясь, будет течение повести до самого конца, пока картечью из обоих стволов старовер Нефед Изотов не оборвет жизнь коллектора Валерия Дубилина, а быстрый нож «зэка» Лешки не рассчитается тут же с самим Нефедом. Эта внезапная развязка, занимающая полстраницы малоформатной книжки, может показаться противоречащей той медлительности, с какой до того шло повествование, и тому сравнительному благополучию, с каким развивались события. Да, влюбился Валерка в девятнадцатилетнюю Дашу Изотову и получил в конце концов от ее семьи согласие на брак, согласие вынужденное, но не двоедушное. И старший ее брат Нефед тоже видимых препятствий не чинил. И, может, быть бы и свадьба и счастье, но завершают повесть не молодые, а два старика — отец Валерки и отец Нефед, провожающие своих сыновей в последний путь. Религиозный фанатик Афанасий Изотов, всю жизнь играющий в принципиальность, а на самом деле себялюбивый, ловко умеющий сберечь себя старик Дубилин сопоставлены автором и оба осуждены. Их самоуверенное и тупое противостояние жизни терпит крах.

Драматическая развязка повести может показаться случайной, если иметь в виду ее

фабулу. Нефед рассвирепел из-за того, что геологи помешали ему избивать жену. Не вмешайся они, может быть, и не было бы ни выстрела, ни ножа. Но в том все и дело, что писатель стремится показать, как несовместимо деятельное и доброе отношение к жизни, которым полны Валерка, Даша, старший геолог партии Зоя Алексеевна Полева, с мертвящим фанатизмом старших Изотовых, доктринерством Дубилина-отца или оголтелым карьеризмом прораба Гриши Антонова. Водораздел здесь не возрастной: Полева немолода, а Гриша Антонов и Валерка — ровесники. И не профессиональный: в геологической партии назревают конфликты столь же острые, что и в семье Изотовых. Эти конфликты очень по-разному выражают себя: Гриша Антонов пользуется иными средствами, чем Нефед, сохраняющий иллюзорную прочность «семейского» дома. Гриша не возьмется, наверное, ни за смоченный в соленой воде кнут, ни за ружье. Но оба они под властью звериных стимулов одной природы — и эту-то общность старается прощупать Д. Сергеев.

Повесть Д. Сергеева так обстоятельна в житейских подробностях потому, может быть, что писатель именно в житейских мелочах, в каждодневности обнаруживает животворную силу таких натур, как Даша Изотова, и истребительную силу (тоже силу!) ее старших родственников и тех, кто близок им по духу. Наглядно драматически эти противоречия разрешаются далеко не всегда, и писатель по-своему прав, отведя главное место этим вроде бы неразличимым будням. Но он еще недостаточно тщателен и глубок в психологическом исследовании тех противоречивых связей, которыми его герои объединены не по воле случая, а по воле своих интересов и характеров, вдруг растасовавших героев Д. Сергеева совсем не так, как это могла бы диктовать литературная традиция. Писатель касается вещей, требующих — вслед за проницательной догадкой — принципиального и разветвленного художественного исследования.

И. Борисова.

★

МЕДРЕСЕ ЛЮБВИ (ПЕРСИДСКАЯ НАРОДНАЯ ПОЭЗИЯ). Составитель А. Шойтов. Переводчик Н. Гребнев. «Художественная литература». М. 1969. 175 стр.

Известно — переводить поэзию трудно. Но переводить народную поэзию — задача, бесспорно, еще более трудная. Если переводчику «авторской» поэзии необходимо, помимо мастерства и таланта, глубоко понять и прочувствовать личность автора, строй его чувств, тональность его жизневосприятия, то тут надо проникнуть в душу целого народа. И дело здесь, понятно, не просто арифметическое. В народной поэзии чуть ли не за каждым словом стоит вполне определенная система образов, отработанная и отобранная веками поэтического творчества народа. И этот комплекс образов, связей, ассоциаций переводчик должен ощутить сам и

донести в каком-то виде до иноязычного читателя — человека другой культуры, других традиций.

И вторая, не менее существенная сторона. Народная поэзия нерасторжимо связана с мелодией и без нее зачастую попросту умирает. Даже русскую народную поэзию бывает нелегко воспринять, не почувствовав заложенного в ней мелодического движения. А если сама мелодия, ритмы так далеки и непривычны для нашего слуха, как это все еще остается по отношению к музыке Востока, то задача усложняется еще больше.

Вот почему — несмотря на то, что в русской поэзии, возможно, больше, чем в других литературах, прекрасных переводов с большого количества мировых языков, — удачных переводов народной поэзии пока значительно меньше, чем тех усилий, которые для этого предпринимаются.

К счастью, рецензируемая книга принадлежит к несомненным удачам этого трудного жанра. И в этом заслуга талантливого переводчика Н. Гребнева, который дал возможность русскому читателю еще раз окунуться в пряный, волнующий аромат персидской поэзии с ее неповторимой лейттемой любви.

О любви пишут и поют все народы. Но в персидской поэзии тема любви обладает своим особым колоритом. Эта особенность любовной темы отнюдь не в стандартном восточном наборе — розы, соловьи, чадра, — как представлялось раньше, да многим и сейчас представляется. Нет, этот особый привкус есть привкус смерти. Любовь перед фактом смертности, любовь перед гранью, до черты смерти, любовь здесь, сейчас, ибо там не будет, — хоть мы и верные мусульмане, и чтим коран, и верим великому пророку, обещавшему вечное блаженство там, в окружении роскошных дев, — любовь как символ жизни. Этот разворот темы — постоянное явное или подразумеваемое присутствие смерти и в то же время торжество любви — проходит через всю персидскую поэзию, через века, через ее взлеты и падения: от великого Хайяма, от сказок «Тысячи и одной ночи», в которой любовь на грани смерти, любовь, отодвигающая эту грань, составляет саму суть сюжета этой величественной поэмы, и до тех песен сравнительно позднего происхождения, которые составили рецензируемую книгу и один из образцов которых хочется привести:

Ты поглядела на меня, и мир застлала
мгла,
Хоть не горела ты сама, но сердце мне
сожгла.

Я ухожу, не обессудь, поплачь со мной
немного,
Далек иль недалек мой путь, кто знает,
кроме бога!

Прошу, придумай что-нибудь, и в дом
убогий мой
Приди, склонись ко мне на грудь и прах
печали смой...

Прильни к моим губам, чтоб я в твою
попался сеть,
Приходит смерть нежданно к нам, мы
можем не успеть.

Хоть до тебя подать рукой, хоть дом
твой недалек,
Хотя и рядом мы с тобой, весь мир меж
нами лег.

Объединение столь противоположных мотивов — смерти и любви, смерти и жизни — придает персидской поэзии удивительную цельность и единство, несмотря на сменяющиеся стили, технику, и содержит в то же время неослабевающий импульс к многовековому развитию.

В. Яровицкий.

★

М. И. СЕМИРЯГА. Советские люди в Европейском Сопротивлении. «Наука». М. 1970. 351 стр.

Минувшая война забросила в оккупированные гитлеровцами страны, в страны Центральной и Юго-Восточной Европы десятки тысяч советских граждан. Это были военнопленные из окруженных и понесших большие потери дивизий первого стратегического эшелона наших войск, а также гражданские лица, насильственно вывозимые с временно оккупированных западных областей Украины, Белоруссии и Молдавии в глубокий гитлеровский тыл в качестве так называемых «восточных рабочих».

О том, как самоотверженно сражались советские патриоты вдали от родной земли, и рассказывает книга.

Своеобразны условия, в которых действовало Европейское Сопротивление. Так, например, в ряде сопредельных с Советским Союзом стран Центральной и Юго-Восточной Европы были не только партизанские отряды, группы Сопротивления, созданные бежавшими военнопленными, но и специально присланные с Большой земли десантные группы. Они поддерживали постоянную связь с республиканскими штабами партизанского движения и их органами при Военных советах фронтов.

В иных условиях находились люди, оказавшиеся на территории Франции, Италии, Бельгии, Греции и Норвегии. Полное отсутствие какой бы то ни было двухсторонней связи с родиной осложняло их и без того тяжелое положение. Тем не менее только в трех странах Западной Европы (Франция, Италия, Бельгия) в Сопротивлении приняли участие тысячи советских граждан.

В книге собран большой фактический материал об организации и деятельности антифашистского подполья в концентрационных лагерях.

Известно, что гитлеровская Германия ставила перед собой задачу массового физиче-

ского уничтожения целых народов. Например, с 1941 по 1945 год в ворота Бухенвальда вошли более 23 500 человек советских военнопленных и гражданских лиц, а вышли оттуда в день освобождения лишь 4700.

Описывая деятельность советских подпольных центров в концентрационных лагерях, автор показывает, как велась в лагере борьба за спасение жизней заключенных, против вербовки во власовскую армию и различные фашистские национальные формирования, против провокаторов и изменников родины.

В глубоком гитлеровском тылу советские военнопленные вели себя героически. «Гитлеровцам не удалось, — пишет автор, — сделать изменником и старшего лейтенанта Якова Джугашвили, сына И. В. Сталина, попавшего в плен под Витебском 27 июля 1941 г. Ничего не добившись от Я. Джугашвили в Хаммельбурге, летом 1942 г. гестапо перевело его в специальный лагерь «А», находившийся около Берлина и предназначенный для «почетных пленных». Здесь гестаповцы по отношению к Я. Джугашвили стали сочетать тактику кнута и пряника, пытаясь угрозами и посулами заставить его сотрудничать в антисоветских организациях. Но они просчитались. Джугашвили оставался непреклонным коммунистом и советским патриотом. Через несколько месяцев, как рассказывают очевидцы, в лагере «А» его тело нашли безжизненно повисшим на колючей проволоке, находившейся под высоким напряжением».

Приводятся данные о возвращении советских людей на родину. На 30 апреля 1945 года возвратилось около двух миллионов человек. Многие из них по мере наступления Советской Армии и их освобождения успели принять участие в заключительных боях против немецко-фашистских войск. Однако массовая репатриация происходила после окончания боевых действий. До 1 октября 1945 года было репатрировано более 5200 тысяч человек.

Активные участники Европейского Сопротивления были отмечены высокими иностранными наградами, их избрали почетными гражданами городов и сел, их именами названы улицы в странах Европы, одиннадцати из них присвоено звание Героя Советского Союза.

Об участии советских людей в движении Сопротивления написано не так уж много. До выхода в свет монографии М. И. Семиряга у нас не было по существу ни одной обобщающей работы, в которой последовательно рассматривалось бы это участие на материале всех стран Центральной и Восточной Европы. Книга, несомненно, будет замечена всеми, интересующимися историей минувшей войны.

Я. Горелик,
кандидат военных наук.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ПОЛИТИЗДАТ

Г. Арбатов. Идеологическая борьба в современных международных отношениях. 351 стр. Цена 1 р. 33 к.

Борьба В. И. Ленина и Коммунистической партии Советского Союза против троцкизма. 399 стр. Цена 91 к.

Мир социализма в цифрах и фактах. 1969 год. Справочник. 157 стр. Цена 18 к.

С. Мурашов. Ленинская партия — вождь Великой Октябрьской социалистической революции. 312 стр. Цена 70 к.

Л. Скворцов. Об особенностях кризиса современной буржуазной идеологии. 288 стр. Цена 1 р. 10 к.

Ф. Энгельс. Происхождение семьи, частной собственности и государства. В связи с исследованиями Льюиса Г. Моргана. 240 стр. Цена 32 к.

«МЫСЛЬ»

И. Азовский. Бирма. 151 стр. Цена 25 к.

Д. Бобликов. Сомали. 120 стр. Цена 20 к.

А. Брушлинский. Психология мышления и кибернетика. 191 стр. Цена 66 к.

Н. Востряков. Борьба за массы. 200 стр. Цена 61 к.

К. Зародов. Ленинизм и современные проблемы борьбы за социализм. 400 стр. Цена 1 р. 55 к.

М. Корнева. Коммунизм и проблема счастья. 292 стр. Цена 1 р. 19 к.

В. И. Ленин о демократии и законности. Коллектив авторов. 319 стр. Цена 1 р. 30 к.

Ю. Малов, В. Попырин. Танзания. 134 стр. Цена 22 к.

С. Никитин. Теории стоимости и их эволюция. 196 стр. Цена 63 к.

ООН и международное экономическое сотрудничество. 478 стр. Цена 1 р. 72 к.

Основные проблемы рабочего движения в развитых капиталистических странах. 288 стр. Цена 1 р. 14 к.

Очерки методологии познания социальных явлений. 344 стр. Цена 1 р. 27 к.

Руководящая роль рабочего класса в социалистических странах. 340 стр. Цена 1 р. 22 к.

«ЭКОНОМИКА»

Л. Баснов. Новое в планировании общественного питания. 127 стр. Цена 37 к.

Э. Васильева. Фонд развития производства. 142 стр. Цена 44 к.

Б. Зайцев, Б. Лапин. Организация планирования научно-технического прогресса. 230 стр. Цена 82 к.

В. Крылов. Особенности анализа хозяйственной деятельности промышленных объединений. 120 стр. Цена 31 к.

А. Маклин. План, цена и эффективность производства. 255 стр. Цена 1 р. 15 к.

А. Мернулова. История потребительской кооперации. 88 стр. Цена 10 к.

Перспективное планирование в странах — членах СЭВ. 118 стр. Цена 38 к.

Е. Смирницкий. Экономика и машина. 391 стр. Цена 1 р. 49 к.

Факторы экономического развития СССР. Коллективная монография. 256 стр. Цена 1 р. 16 к.

Экономика стран социализма, 1969 г. Ежегодник. 192 стр. Цена 52 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

А. Алдан-Семенов. Красные и белые. Роман. 287 стр. Цена 60 к.

М. Алигер. Синий час. Новые стихи. 159 стр. Цена 49 к.

В. Бээкман. Трава живет под снегом. Стихи и поэма. Перевод с эстонского. 78 стр. Цена 29 к.

Л. Иванов. Мартовские всходы. Очерки. 264 стр. Цена 50 к.

Ю. Суровцев. Поэзия Миколы Бажана. Критический очерк. 287 стр. Цена 83 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Г. Абашидзе. Лашарела. — Долгая ночь. Грузинская хроника XIII века. Перевод с грузинского. Вступительная статья В. Шкловского. 734 стр. Цена 1 р. 50 к.

И. Вазов. Под иггом. Роман. Перевод с болгарского («Библиотека всемирной литературы»). 423 стр. Цена 1 р. 33 к.

П. Виалар. И умереть некогда. — Жатва дьявола. Романы. Перевод с французского. Предисловие М. Ваксмахера. 512 стр. Цена 1 р. 64 к.

И. Вильде. Зеленые ворота. Повести и рассказы. Перевод с украинского Е. Россельс. 255 стр. Цена 41 к.

А. Воронский. За живой и мертвой водой. Роман. Вступительная статья Ф. Левина. 432 стр. Цена 97 к.

Д. Гатуев. Избранное. Составитель Ф. и С. Гатуевы. 288 стр. Цена 69 к.

Д. Зейдан. Сестра Харун ар-Рашида. Роман. Перевод с арабского. 232 стр. Цена 59 к.

А. Кунанбаев. Избранное. Перевод с казахского. Вступительная статья М. Ауэзова. 272 стр. Цена 1 р. 21 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

П. Лунницкий. Делегат грядущего. Роман и рассказы. 590 стр. Цена 1 р. 14 к.

М. Манкарти. Окинь холодным взглядом. Очерки. Перевод с английского. 239 стр. Цена 88 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

В. Бандурак. Под высокими Татрами. Повесть. 87 стр. Цена 46 к.

Э. Мошковская. Дом построили для всех. Стихи. 110 стр. Цена 43 к.

И. Нерцев. Большие весенние новости. Повесть. 127 стр. Цена 32 к.

Я. Пшимановский. Четыре танкиста и собака. Повесть. Перевод с польского. 223 стр. Цена 48 к.

Б. Шергин. Гости с Двины (Былины и сказания). 64 стр. Цена 14 к.

Э. Эмден. Дом с волшебными окнами. Повесть-сказка. 495 стр. Цена 1 р.

«ИСКУССТВО»

В. Баниге и Н. Перцов. Вологда (Альбом памятников искусства). 167 стр. Цена 4 р. 47 к.

Зарубежные киносценарии. Выпуск 4. 384 стр. Цена 1 р. 45 к.

Н. Кривенко. Арена, как солнечный диск. Заметки о советском цирке. 58 стр. Цена 15 к.

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР» ЗА 1970 ГОД

Ю. И. Палецкис. Нации, культура, прогресс. IV—3.

А. М. Румянцев, академик. В. И. Ленин — ученый, революционер и государственный деятель. I—3.

ЛЕНИНСКИЕ СТРАНИЦЫ

Из писем В. И. Ленину (1922—1923). Публикация, предисловие И. Брайнина. IV—181.

И. Кон, доктор философских наук. Диалектика развития наций. Ленинская теория наций и современный капитализм. III—133.

Э. Розенталь. На берегах Лемана. IV—207.

Г. Софронов, генерал-лейтенант. Незабываемые дни. I—197.

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ, ОЧЕРКИ

Федор Абрамов. Деревянные кони. Рассказ. Из рассказов Олены Даниловны. II—73.

Чингиз Айтматов. Белый пароход (После сказки). I—31.

Г. Аулов. Так плавится сталь (Из записок сталевара). IV—13.

Василь Быков. Сотников. Повесть. V—65.

Борис Васильев. Иванов катер. Повесть. VIII—5; IX—7.

Н. Верховский. В лесном Заволжье. VIII—140.

Леонид Волинский. Болгарские записные книжки. Предисловие Виктора Некрасова. II—102.

Курт Воннегут. Бойня номер пять, или Крестовый поход детей. Роман. Перевела с английского Р. Райт-Ковалева. Послесловие Р. Орловой. III—78; IV—148.

Е. Герасимов. Олонецкие дали. Повесть. III—9.

Ефим Дорош. Пятнадцать лет спустя. Деревенский дневник. 1967. IX—39.

Елизавета Драбкина. Сестры. Очерк. II—6.

В. Затворницкий. Семьсот первый этаж (Повесть о жизни). XI—187.

И. Исаков. Каспий, 1920 год. Из дневника командира «Деятельного». VII—74; VIII—54; IX—74.

Фазиль Искандер. Богатый Портной и другие. Рассказ (Из цикла «Последнее лето»). VI—8.

Камен Калчев. Автобиография. Рассказ. Перевела с болгарского Л. Хлынова. VI—103.

Геннадий Комраков. До осени полгода. Повесть. X—3.

Эрнст Кренкель, Герой Советского Союза. Мои позывные — РАЕМ. IX—110; X—96; XI—97.

Анатолий Кривоносов. Простая вода. Повесть. VI—35.

Н. Кузьмин. Наши с Федей ночные полеты. Рассказ. II—118.

Гейнц Кюппер. Молоко и мед. Роман. Перевела с немецкого Л. Черная. VII—146.

Виктор Лесин. Взрыв. Рассказ. VI—78.

Франсуа Мориак. Подросток былых времен. Роман. Перевела с французского Р. Линцер. I—105.

Виктор Некрасов. В жизни и в письмах. VI—88.

Константин Паустовский. Из разных лет. Подготовка текста, публикация и предисловие Л. Левицкого. IV—90.

Борис Полевой. В тяжелую зиму (Из записок военного корреспондента). V—11; VI—108.

Хуан Рульфо. Два рассказа: Северная граница; В ту ночь, когда он остался один. Перевела с испанского П. Глазова. V—164.

Виталий Семин. На реке. Рассказ. IV—141.

А. Сулимов. Начало Магнитогорска. III—64.

Ю. Трифонов. Предварительные итоги. Повесть. XII—101.

Владимир Фоменко. Память земли. Роман (Книга вторая). XI—5; XII—8.

Эрвин Штригматтер. Два рассказа: Солдат я учительница. Перевела с немецкого Наталия Манн; Городок на нашей земле. Перевела с немецкого Е. Вильмонт. VIII—121.

Василий Шукшин. Рассказы: Сватовство; Шире шаг...; Срезал; Митька Ермаков; Крепкий мужик; Крыша над головой. VII—42.

А. Твардовский. Михаилу Васильевичу Исаковскому (К его семидесятилетию). I—28.

СТИХИ И ПОЭМЫ

Маргарита Алигер. Семь стихотворений. III—55.

П. Антокольский. После поэмы. Памяти Зои Бажановой. Стихи. II—71.

Анатолий Ардатов. Там, в почтовом дворе... Стихи. XI—94.

Геннадий Буравкин. Хатынский снег. Стихи. Перевел с белорусского Григорий Куренев. V—6.

Михай Вац. Из последней книги. Стихи. Перевели с венгерского Дм. Сухарев и Юрий Левитанский. XII—95.

Андрей Вознесенский. Новые стихи. X—135.

Леонид Григорьян. Три стихотворения. VI—101.

Михаил Дудин. В тишине; На чистом поле; Просыпающемуся в полночь. Стихи. VIII—3.

Евг. Евтушенко. Казанский университет. Поэма. IV—46.

Леонид Завальнюк. Цветущая акация стара. Стихи. XII—141.

М. Исаковский. Всерьез и в шутку: С прежним другом я свиделся...; В больнице; Об одном поэте (А может быть, и не об одном); Подражание старинной песне. Стихи. I—24.

Василий Казанцев. Три стихотворения. I—101.

Анна Каландадзе. Стихи разных лет. Перевела с грузинского Елена Николаевская. VIII—50.

Лев Кропоткин. Прямой провод. Стихотворение. IV—11.

Давид Кугультинов. Из лирики. Перевела с калмыцкого Юлия Нейман. III—62.

Аркадий Кулешов. Далеко до океана. Поэма. Авторизованный перевод с белорусского Н. Кислика. VII—3.

Кайсын Кулиев. Из лирики. Перевел с балкарского О. Чухонцев. II—100.

Юрий Левитанский. Из книги «Кинематограф». Стихи. VI—3.

Владимир Лифшиц. Перешеек. Стихотворение. VIII—53.

А. Межиров. Баллада преодоления; Заречье. Стихи. V—4.

Сергей Наровчатов. О главном. Стихотворение. IX—6.

Ольга Николаева. Не ложись на траву. Стихотворение. XI—96.

Сергей Орлов. Год сорок пятый. Стихотворение. V—3.

Пимен Панченко. Мои наставники. Стихи. Перевел с белорусского Яков Хелемский. XI—3.

Леонид Первомайский. Из книги «Древо познания». Стихи. Перевел с украинского Яков Хелемский. II—68.

Виктор Поляков. Память. Стихотворение. IV—12.

Расул Рза. Песни города. Стихи. Перевела с азербайджанского М. Павлова. I—103.

Роберт Рождественский. Из лирики. XII—3.

Борис Слуцкий. Первый день войны. Стихи. XI—87.

Максим Танк. Две весны. Стихи. Перевел с белорусского Яков Хелемский. II—3.— Новые стихи. Перевел с белорусского Яков Хелемский. IX—3.

Иван Тарба. Глянул в горы; Что, друзья, случилось?.. Стихи. Перевел с абхазского Лев Озеров. V—162.

Назым Хикмет. Из неопубликованного. Стихи. Перевела с турецкого Муза Павлова. X—89.

Егише Чаренц. Из литературного наследия: Агс Poetica; Всепоэма (Фрагменты); Горит далекая любовь...; Мне часто снится светлая река...; Без заглавия; Памяти Арпик. Баллада. Перевела с армянского М. Павлова. III—3.

Олег Чухонцев. В том ситцевом городе... Стихи. VI—28.

Игорь Шкляревский. Из лирики. Стихи. VI—32.

Американская поэзия протеста

Лесли Вулф Хедли. Глядя на вьетнамскую марку. Перевел Валерий Минушин. IX—102.

Феликс Поллак. Монолог «героя». Перевел Петр Вегин: IX—103.

Лоуренс Ферлингетти. Мир — превосходное место, чтобы родиться в нем... Перевел Валерий Минушин. Гойя в Америке. Перевел Петр Вегин. IX—104.

Дениза Левертов. Пятидневный дождь. Перевел Петр Вегин. IX—106.

Роберт Лоуэлл. Возвращение. Перевел Петр Вегин. IX—106.

Грегори Корсо. Мне не нужна доброта. Перевел Валерий Минушин. IX—107.

Дон Л. Ли. Письмо черному солдату. Перевел Ю. Школенко. IX—108.

Дадли Рэндол. Дорога на юг. Перевел Ю. Школенко. IX—108.

Гвендолен Брукс. Сначала — в бой. Потом играй на скрипке. Перевел Ю. Школенко. IX—109.

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

А. Бердышев. Мои друзья — колхозники (Из записок председателя колхоза). VII—198.

Мэри Хитон Ворсе. Русские картины. Публикация и перевод с английского И. Журавлева. IV—231.

Д. Драгунский, генерал-лейтенант танковых войск, дважды Герой Советского Союза. Незабываемый, победный. V—171.

Э. Кольман, академик Чехословацкой Академии наук. Вспоминаю Ленина. III—150.

И. И. Минц, академик. Беседы с А. М. Горьким (Крым. Тессели. Декабрь 1935 года). X—140.

А. Новиков, Главный маршал авиации, дважды Герой Советского Союза. В небе Ленинграда. II—134; III—155.

И. И. Скворцов-Степанов. Перед Октябрем. Публикацию подготовили Н. Д. Черников и Ю. П. Шарапов. XI—218.

ПУБЛИЦИСТИКА

А. Волков. «Работа на себя». IX—156.
Л. Леонтьев, член-корреспондент Академии наук СССР. Первенец. XII—143.
Н. Петраков. Управление экономикой и экономические интересы. VIII—167.
Н. Федоренко, академик. Научно-техническая революция и управление. X—153.
Ю. Феофанов. Закон в нашей жизни. XII—156.
Лев Юдасин. Мангышлакский комплекс: природа, экономика, человек. VI—150.

*К 200-летию со дня рождения
 Георга Вильгельма Фридриха
 Гегеля*

Мариэтта Шагинян. О природе времени у Гегеля. VIII—187.

*К 150-летию со дня рождения
 Фридриха Энгельса*

Г. Багатурия. Диалектика природы — диалектика истории — диалектика будущего (Энгельс о возрастающей роли общественного сознания). XI—167.

Галина Серебрякова. Титан. XI—181.

НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

В. Бардин. День на острове Святой Елены. I—207.

Д. Большов. Без позитивной программы (О некоторых тенденциях в молодежном бунтарстве). VIII—198.

Е. Гнедин. Утраченные иллюзии и обретенные надежды (Проблемы молодежного движения на Западе). X—173.

Юрий Нагибин. Из нигерийской тетради. XII—192.

Всеволод Овчинников. Ветка сакуры (Рассказ о том, что за люди японцы). II—173; III—192.

О. Туганова, доктор исторических наук. Протестующая Америка. VI—165.

В МИРЕ НАУКИ

А. Александров, академик. Раз уж заговорили о науке... X—204.

И. Кон. Люди и роли. XII—168.

В МИРЕ ИСКУССТВА

Л. Аннинский. Сбывшееся предчувствие. Из опыта советского кино. IX—194.

М. Бархин, доктор архитектуры. Дом, улица, город. Размышления об архитектурном ансамбле и его теме. V—210.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

И. Борисова. Вступление (О творчестве Виктора Астафьева). I—220.

А. Бочаров. Проверено войной. VII—232.

Е. Добин. Сюжетное мастерство критика (Штрихи к портрету К. Чуковского). III—223.

Ю. Кузьменко. Человек творящий. Статья первая. IX—219.— Человек творящий. Статья вторая. X—226.

Г. Куницын. Специфика искусства (Заметки и полемика). XI—241.

Станислав Лем. Мифотворчество Томаса Манна. Предисловие автора. Перевел с польского В. Чепайтис. VI—234.

Н. Любимов. Лирика Фета. XII—244.

Н. Мор. Живой голос современников (По страницам воспоминаний о Ленине). IV—248.

Сергей Наровчатов. За далью — даль (К шестидесятилетию Александра Твардовского). VI—228.

Владимир Огнев. Несуемое слово поэта (О стихах Кайсына Кулиева). V—242.

И. Питляр. «Ты — репортер жизни...» (К 100-летию со дня рождения А. И. Куприна). IX—248.

Инна Соловьева. Заметки о стиле Вс. Иванова (К 75-летию со дня рождения писателя). II—224.

В. Сурвилло. Самая справедливая справедливость. XII—226.

Л. Теракопян. Жажда цельности. VIII—221.

С. Фрейлих. «Несказанное, синее, нежное...» (Этюды о Сергее Есенине). IX—256.

Наука о литературе сегодня

Ю. Барабаш, доктор филологических наук. Камо грядеши? XII—220.

М. Бахтин. Смелее пользоваться возможностями. XI—237.

Д. Марков, член-корреспондент Академии наук СССР. Всесторонне исследовать социалистические литературы. XII—215.

Б. Сучков, член-корреспондент Академии наук СССР. Некоторые актуальные проблемы. X—221.

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

К. Григорьев, Б. Хандрос. Эммануил Казакевич и генерал Выдриган (История одной переписки). IX—168.

Н. К. Крупская об изображении **В. И. Ленина** в литературе и искусстве (Новые документы). Публикация П. В. Горностаева. IV—243.

*К 100-летию со дня рождения
 И. А. Бунина*

В. Н. Муромцева-Бунина. Бунин и Чехов. Публикация, предисловие и примечания Н. П. Смирнова. X—195.

Письма Инессы Арманд. Публикация Инны Александровны Арманд. VI—196.

К. Рехо. Работы Ленина в Японии. VII—229.

А. Шифман. Лев Толстой и Махатма Ганди. VI—219.

Н. Эйдельман. «Обратное провидение» (Исторический очерк). V—226.

ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ

В. Голант. Неужели это наука? XII—209.

Л. Черная. Три биографии Вернера фон Брауна. IX—188.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

В. Аграев. О создании Ленинского словаря. X—281.

Письма читателей. I—277.

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Литература и искусство

В. Адмони. «У человека есть душа» (Гюнтер Зойрен. Лебек. Роман. Перевод с немецкого И. Каринцевой. Предисловие Н. Вильмонта). VIII—269.

Ник. Атаров. Москва, Москва... (Д. Голубков. Милёля. Роман). II—244. — Лиманские страницы (К. Ковальджи. Лиманские истории. Роман). VII—253.

Эдуард Бабаев. Рассказы романиста (Юрий Трифонов. Кепка с большим козырьком). IX—268.

Александр Бек. По следу отцов (Анатолий Рыбаков. Неизвестный солдат. Повесть). XII—254.

Г. Березкин. По сердечному долгу (Сильва Капутикян. Караваны еще в пути. Авторизованный перевод с армянского Геннадия Фиша и Маро Мазманян). VI—257.

М. Блинкова. Перед бурей (Лилли Промет. Кто распространяет анекдоты? Перевод с эстонского Г. Муравина). III—240.

В. Боборыкин. В доме очень простом (Стихи о Ленине в переводах с языков народов СССР). IV—267. — Воспоминания молодого гвардейца (В. Левашов. Мои друзья молодого гвардейцы). VIII—260.

И. Борисова. Опыт одной судьбы (Томиэ Охара. Ее звали о-Эн. Повесть. Перевод с японского И. Львовой). VII—263.

В. Британишский. «...Польша сказала мне голосом поэзии» (Польская лирика в переводах русских поэтов). VI—268.

И. Варламова. Обаяние достоверности (Ю. Рытхэу. Сон в начале тумана. Роман. Ю. Рытхэу. Время таяния снегов. Книги 1, 2, 3. Роман). VIII—247.

Сергей Герасимов, народный артист СССР. Образы современной Италии (Современное искусство Италии. Кино. Театр. Живопись. Скульптура. Архитектура). X—256.

И. Гитович. «Мир, на образ множимый...» (Николай Ушаков. Состязание в поэзии. Разведка спором. Воспоминания. Портреты. Характеристики. Теория поэзии. Искусство перевода). VIII—266.

В. Гурьев. Плата за страх и победа над страхом (Мария Рольникайте. Три встречи. Повесть). VII—260.

Н. Дикушина. Пафос разоблачения и объективность исследования (С. Шешуков. Неистовые ревнители. Из истории литературной борьбы 20-х годов). XII—262.

Евг. Евтушенко. «Чтобы голос обрести—надо крупно расстаться...» (Андрей Вознесенский. Тень звука). VIII—255.

Юрий Завадский, народный артист СССР. Мастер (К. Рудницкий. Режиссер Мейерхольд). IV—269.

С. Кайдаш. В. Даль и его биограф (Майя Бессараб. Владимир Даль). I—245.

В. Кантор. Никанозов против Москалева (Н. Бейлина. Книга встреч). III—249.

В. Кардин. Смеяться, право, не грешно... (Леонид Лиходеев. Указать на недопустимость. Леонид Лиходеев. Звезда с неба). III—246.

М. Коган. Трагедия великого мореплавателя (Яков Свет. Севильская западня. Тяжба о Колумбовом наследстве). II—247.

Г. Красухин. «И разговор у нас совсем иной пошел...» (Александр Кушнер. Приметы. Третья книга стихов). III—252.

З. Крахмальникова. Разгар лета (Пауль Куусберг. В разгар лета. Перевод с эстонского). V—252.

Э. Кузьмина. Разорвать круг (Леонид Жуховицкий. Остановиться, оглянуться... Роман). III—242.

И. Кунин. Из славного племени просветителей... (Гр. Бернандт. Александр Бенуа и музыка). VI—264.

Л. Лазарев. На всю жизнь (Александр Розен. Осколок в груди. Повести и рассказы). VIII—263.

А. Лебедев. Новая книга по эстетике (Ю. Манн. Русская философская эстетика. (1820—1830-е годы). I—240.

Л. Лебедева. Дом и мир (Акрам Айлисли. Люди и деревья. Повести. Перевод с азербайджанского). V—257. — Странствие по дорогам времени (Аскад Мухтар. Чинара. Роман в легендах, рассказах и повестях. Перевод с узбекского). XI—267.

С. Маркиш. Новый русский «Декамерон» (Джованни Боккаччо. Декамерон. Перевод с итальянского Н. Любимова). IV—274.

Н. Мирова. Все по той же дороге (Владимир Орлов. После дождика в четверг. Роман). VI—260.

Ал. Михайлов. Подвиг века (Победа. Писатели о подвиге Ленинграда в Великой Отечественной войне. Составитель А. Девель. Вступительная статья Д. Гранина. Победа. Поэты о подвиге Ленинграда в Великой Отечественной войне. Составитель Б. Друян. Вступительная статья Николая Тихонова. Подвиг века. Художники, скульпторы, архитекторы, искусствоведы в

годы Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда. Составитель Н. Паперная). IX—260.

Т. Мотылева. Три книги о Чапеке (О. Малевич. Карел Чапек. Критико-биографический очерк. И. А. Бернштейн. Карел Чапек. Творческий путь. С. Никольский. Роман К. Чапека «Война с саламандрами» (Структура и жанр). I—258.

Лев Озеров. Читая Блока и о Блоке (А. Горелов. Гроза над соловьиным садом. Александр Блок). XI—273.

Р. Орлова. Сабурбия (Джон Чивер. Буллет-Парк. Роман. Перевод с английского Т. Литвиновой). IX—264.

З. Паперный. Прочная память (Борис Слуцкий. Память. Стихи. 1944—1968. Борис Слуцкий. Современные истории). II—240.

М. Петровский. Восхождение Лешки Горбачева (Н. Дубов. Горе одному. Роман. В двух книгах. Книга 1. Сирота. Книга 2. Жесткая проба). VIII—252.

И. Питляр. «Что скажешь в свое оправдание?» (Вадим Нечаев. Вечер на краю света. Повести и рассказы). V—261.

Ст. Рассадин. «Мальчик пристально вглядывается вдаль» (Анатолий Рыбаков. Повести). II—237.

М. Рошин. Служит живому (Валентин Распутин. Последний срок. Повесть). X—253.

Б. Сарнов. «Привычка ставить слово после слова...» (Белла Ахмадулина. Уроки музыки). XII—257.

В. Седельник. Игра и жизнь (Герман Гессе. Игра в бисер. Перевод с немецкого Д. Каравкиной и Вс. Розанова). II—252.

С. Сивоконь. Под глянцевой обложкой (И. Лупанова. Полвека. Советская детская литература. 1917—1967. Очерки). II—249.

Яков Хелемский. Ветви одного ствола (Мария Петровых. Дальнее дерево. Стихи. Из армянской поэзии. Переводы). V—249.

Т. Хмельницкая. Пересечение судеб (Карсон Маккаллерс. Сердце — одинокий охотник. Роман. Перевод с английского). V—263.

О. Чайковская. Внятный голос прошлого (А. П. Каждан. Византийская культура (X—XII вв.)). I—253.

Л. Черная. Клаус Манн и его роман «Мефистофель» (Клаус Манн. Мефистофель. Перевод с немецкого К. Богатырева). X—263.

Т. Шах-Азизова. Новое о театре (Театральные страницы. 1969. Составление и редакция Б. Зингермана) I—249.

В. Швейцер. Прожить жизнь человеком... (С. Соловейчик. Мокрые под дождем. Повесть). I—237.— «Я пишу, как дышу...» (Вера Звягинцева. Избранные стихи. Вера Звягинцева. Моя Армения. Стихи. Избранные переводы). VII—256.

В. Шитова. Необременительные уроки психологии (В. Токарева. О том, чего не было. Рассказы). XI—270.

Политика и наука

Д. Александров. Походы бесславные и бесплодные (Е. Б. Черняк. Жандармы истории. Контрреволюционные интервенции и заговоры). V—274.

Л. Баженов. Ленинский анализ революции в естествознании (Б. М. Кедров. Ленин и революция в естествознании XX века. Философия и естествознание). VI—271.

В. Бочков. Личность в истории и личность историка (С. Б. Веселовский. Исследования по истории класса служилых землевладельцев). VII—271.

Л. Ванханен. Ритмы борьбы (Дрейден Сим. Музыка — Революции). XII—267.

Ан. Васильев. Кибернетика: успехи и проблемы (Н. Винер. Кибернетика, или Управление и связь в животном и машине. Второе издание. Перевод с английского И. В. Соловьева и Г. Н. Поварова. Н. Винер. Мое отношение к кибернетике. Ее прошлое и будущее. Перевод с английского Г. Н. Поварова). II—274.— Общение человека с вычислительной машиной (По новым работам советских кибернетиков). VI—273.

М. Волков. Судьбы русской газеты (А. И. Станько. Русские газеты первой половины XIX века). II—268.— Под личиной социализма (Ф. Бурлацкий. Маоизм — угроза социализму в Китае. В. Сидихменов. Классы и классовая борьба в кривом зеркале). III—265.

А. Волков. Главный фактор (В. И. Ленин. О производительности труда. Сборник). V—267.

Е. Гнедин. Революционер-дипломат ленинской школы (З. С. Шейнис. Очерки о жизни и деятельности М. М. Литвинова: «Папаша»; Агент «Искры»; Водворитель оружия; Дипломатическое поручение; Сражения у голубого озера; Вашингтонская миссия в Генуе и Гааге; Неопубликованные письма М. М. Литвинова В. И. Ленину; «Моему дальнейшему потомству»). II—256.

С. Долецкий, профессор, доктор медицинских наук. Мысли, которые рождает книга доктора Спока (Бенджамин Спок. Ребенок и уход за ним). IX—274.

А. Каждан. Традиция и новизна (Ю. Л. Бессмертный. Феодалная деревня и рынок в Западной Европе XII—XIII веков По северофранцузским и западнонемецким материалам). III—269.

В. Кобрин, кандидат исторических наук. Русская реформация (В. Ф. Миловидов. Старообрядчество в прошлом и настоящем). I—269.

В. И. Козлов, доктор исторических наук. Человечество, природа и телеология (И. Забелин. Человек и человечество). XII—270.

Т. Колесниченко. Современность и публицист (Э. Генри. Заметки по истории современности). VIII—273.

А. Кондратов, кандидат филологических наук. Ключ к мириадам шедевров (Г. Л. Пермяков. Избранные пословицы и поговорки народов Востока). I—272.

В. Корецкий. Новое исследование о «Хованщине» (В. И. Буганов. Московские восстания конца XVII века). X—273.

Л. Корнеев, член-корреспондент Малагасийской академии. Сухожилия на пятках (Лотта Гернбек. На неисследованном Мадагаскаре. Сокращенный перевод с немецкого Ю. Кстлярского). X—279.

Л. Лазарев. Пусть читатель думает (Ф. Вигдорова. Кем вы ему приходится?). I—266.

О. Лацис. Научно-техническая революция и рабочий класс (Научно-техническая революция и общественный прогресс). III—261.

Л. Леонтьев, член-корреспондент АН СССР. Проблемы хозяйственной реформы (В. Д. Белкин, В. В. Ивантер. Экономическое управление и банк). II—261.

Г. Лисичкин. В. И. Ленин — теоретик товарного производства при социализме (Н. В. Хессин. В. И. Ленин о сущности и основных признаках товарного производства). III—255.

И. Матюшина, кандидат исторических наук. Комментарии к ленинской статье (Б. Назаровский. Замечательное дело). IX—272.

Б. Мейлах, профессор. Проблемы психологии научного творчества (Научное творчество). XI—278.

Л. Миль. История Тацита (Корнелий Тацит. Сочинения в двух томах. Издание подготовили А. С. Бобович, Я. М. Боровский, М. Е. Сергеенко). V—277.

Ф. Мильков, профессор, доктор географических наук. Художественное ландшафтоведение (И. М. Забелин. Лунные горы. Африканские повести). III—272.

С. Михайлов. Наука развивается по Ленину (Ленин и современное естествознание). IV—278.

Ю. Моисеев. Наука о поведении (Конрад З. Лоренц. Кольцо царя Соломона. Н. Тинберген. Поведение животных. Салли Кэрригер. Дикое наследство природы). XII—274.

А. Нежный. Город завтрашнего дня (Мишель Рагон. Города будущего). IV—281.

С. Плоткин. Наука сегодня (Сборник статей под редакцией С. Р. Микулинского. Составитель Б. А. Фролов). VII—269.

А. Преображенский, доктор исторических наук. Русско-китайские отношения в XVII веке (Материалы и документы в двух томах. Том I. 1608—1683). VIII—275.

Э. Рабинович. Философ революции (Ж.-Ж. Руссо. Трактаты). VI—277.

Ю. Рубинский, доктор исторических наук. Жизнь великого трибуна (Н. Молчанов. Жорес). XI—282.

К. Тарновский. «Коллективный организатор» революционного подполья (В. Н. Степанов. Ленин и русская организация «Искры». 1900—1903). I—262.

С. Троицкий. В творческой лаборатории А. С. Пушкина (Р. В. Овчинников. Пушкин в работе над архивными документами («История Пугачева»). VII—274.— Новая книга о М. В. Ломоносове (В. П. Лысов. М. В. Ломоносов о социально-экономическом развитии России). VIII—278.

Вл. Фокин. «Строго по шнуру...» (А. П. Трофимов. Семья и дети. Взрослым о детях. Составитель Н. Буковская). II—264.

Г. Ханин. Логика экономического механизма (Б. Глинский. Теория и практика управления промышленными предприятиями Сокращенный перевод с польского Д. Климовича, В. Рапопорта, А. Френкина). V—270.

Г. Цвєрава. Науковедение: проблемы и исследования (Очерки истории и теории развития науки). I—274.

В. Шубкин. Школа Франции: традиции и современность (Б. Л. Вульфсон. Школа современной Франции). X—268.

А. Ястребицкая. Удивительный учебник (Эразм Роттердамский. Разговоры запросто. Перевод с латинского С. Маркиса). II—271.

КОРОТКО О КНИГАХ

Т. Смирнов.— М. Д. Гарин, А. И. Друзенко, М. И. Овчаров. Какая же нынче пошла молодежь? Социологический очерк. А. Сергеев.— Михаил Лоскутов. Немного в сторону. Рассказы и очерки. А. Иглицкий.— Будущее науки. Международный ежегодник. Выпуск второй. Ник. Смирнов.— М. В. Нестеров. Из писем. Вступительная статья, составление, комментарии А. А. Русаковой. Вл. Ковалев.— М. П. Николаев. Л. Н. Толстой и Н. Г. Чернышевский. Л. Рошаль.— Ю. Ханютин. Предупреждение из прошлого. В. Портнов.— С. Брахман. «Отверженные» Виктора Гюго. В. Владимиров.— Л. Е. Родин. По южным странам. С. Щеглов,

инженер.— К. Рэнд. Кембридж — научно-технический центр США. Перевод с английского. I—280.

Т. Смирнов.— А. Бирман. Самая интересная наука. И. Данченко.— Тамара Каленова. Не хочу в рюкзак. Повести. А. Михайлов.— В. А. Жамин. Экономика образования (Вопросы теории и практики). И. Ярославцев.— Б. Н. Двинянинов. Меч и лира. Очерк жизни и творчества П. Ф. Якубовича. Л. Левицкий.— Анатолий Жигулин. Поле боя. Лирика. Н. Рабкина.— Грановский Тимофей Николаевич. Библиография (1828—1967). А. Майкапар.— Бруно Вальтер. Тема вариаций. Воспоминания и размышления. А. Черняк.— В. В. Налимов и З. М. Мульченко. Наукометрия. Изучение развития науки как информационного процесса. А. Обертский.— А. Урбан. Возвышение человека. Заметки о современной поэзии. А. Я.— И. И. Гордеев, Е. Д. Гликов. Санаторий «Воробьево». Ф. Левин.— Шейла Барнфорд. Невероятное путешествие. Перевод с английского М. О. Игнатченко. М. Байгальский.— «Что такое? Кто такой?» Спутник любознательных. В двух томах. Вл. Кирзов.— Б. Шоу. Пьесы. Вступительная статья, составление и примечания З. Гражданской. Е. Третьяков.— Мейрин Митчелл. Эль-Кано. Первый кругосветный мореплаватель. И. Романов, кандидат исторических наук.— Н. И. Сахаров. Шахматная литература СССР. Библиография (1775—1966). II—277.

В. Моисеев, кандидат экономических наук.— В. В. Яновский. Человек и Север. И. Трофимов, кандидат филологических наук.— Александр Перегудов. Роман. Рассказы. Воспоминания. Б. Козенко.— Филип С. Фонер. История рабочего движения в США. Том IV. «Индустриальные рабочие мира». 1905—1917. А. Берзер.— А. Шаров. Мальчик Одуванчик и три ключика. Ю. Шрейдер.— Г. М. Добров. Прогнозирование науки и техники. Анатолий Жигулин.— Игорь Шкляревский. Фортуна. Стихи. В. Тришин.— М. И. Скаржинский. Труд в непромышленной сфере. С. Норильский.— Владимир Лазарев. Хождение не за три моря. В. Френкель.— Рукописное наследие академика Алексея Николаевича Крылова. Научное описание. И. Лисовой.— А. Немировский. Этрусское зеркало. В. Шеворошкин, доктор филологических наук.— А. М. Кондратов. Погибшие цивилизации. Б. Яранцев, кандидат филологических наук.— Эм. Виленская. Худяков. Ю. Дмитриевский, профессор.— Географическое общество Союза ССР. 1917—1967. Авторы-составители И. Б. Костриц и Д. М. Пинхенсон. А. Винниченко.— Мигель Анхель Астуриас. Глаза погребенных. Роман. Перевод с испанского. Ю. Моисеев.— Г. Мак-Кормик, Т. Аллен, В. Янг. Тени в море. Акулы и скаты. С. Бернадский.— Краткий англо-русский философский словарь. Составитель П. В. Царев. III—276.

В. Георгиев.— В. Ерашов. Снег падает отвесно. Повести и рассказы. Ал. Михайлов.— Ю. Беличенко. Звенья. Стихи. Е. Полякова.— Г. Бояджиев. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров. Лесь Танюк.— А. Дейч. День нынешний и день минувший. Литературные впечатления и встречи. IV—284.

Б. Исаев.— Вождю, полководцу, другу. Письма бойцов и командиров Красной Армии В. И. Ленину. 1918—1924 гг. Е. Полякова.— Адриан Пиотровский. Театр. Кино. Жизнь. Сборник. Составление и подготовка текста А. Акимовой. И. Беленкин, старший научный сотрудник Музея революции СССР.— А. И. Новгородов. Октябрьская социалистическая революция и гражданская война в Якутии. М. Кораллов.— Моисей Кульбак. Стихотворения. Поэмы. Перевод с еврейского. V—284.

Н. Любич.— Степан Аникин. На Чердыме. Сборник рассказов. Составитель сборника, автор статьи и примечаний А. С. Аникина. В. Портнов.— Тень деревьев. Стихи зарубежных поэтов в переводе Ильи Эренбурга. Л. Розовский, доктор геолого-минералогических наук, профессор.— В. П. Зенкович. В дальнем синем море. В. Шаронов.— С. Львов. Эхо в веках. И. Гитович.— Мих. П. Чехов. Свирель. Повести. Рассказы. Очерки. Е. Третьяков.— Эрих Раквитц. Чужеземные тропы, незнакомые моря. VI—282.

Ф. Левин.— Н. Москвин. Конец старой школы. В. Мальт.— И. Крамов. Утренний ветер. Повесть. Ю. Айхенвальд.— Вл. Муравьев. Первые песни. Повесть. Л. Долгополов.— Д. Максимов. Брюсов. Поэзия и позиция. С. Григорьева.— Майя Ганина. Записки о пограничниках. Б. Розен.— Р. Баландин. Планета обретает разум. Биосфера — техносфера. О. Овсянников.— М. И. Белов. Мангазея. Е. Третьяков.— Ж. Делаборд и Х. Лоофс. На краю земли (Огненная Земля и Патагония). Перевод с немецкого. VII—278.

Н. Смирнов.— В. Правдухин. Годы, тропы, ружье. В. Правдухин. Яик уходит в море. Роман. Ф. Левин.— В. Вахман. Прodelки морского беса. Повесть. Л. Долгополов.— Рюрик Ивнев. Память и время. Стихи (1965—1967). А. Бельский.— С. Алянский. Встречи с Александром Блоком. В. Морозова.— В. А. Зайцев. Современная советская поэзия. VIII—281.

Г. Павлова.— Нора Аргунова. Песенка Савояра. Рассказы. А. Майкапар.— А. Б. Гольденвейзер. Статьи, материалы, воспоминания. В. Портнов.— Поль Верлен. Лирика («Сокровища лирической поэзии»). Переводы с французского. Ал. Гринберг.— Осип Пятницкий. Избранные воспоминания и статьи. IX—284.

С. Григорьева.— Лидия Медведникова. Шуга. Рассказы. О. Воробьева.— П. Виноградская. Женни Маркс.

Документальная повесть. Ю. Манн.— И. С. Тургенев в воспоминаниях современников. В двух томах. В. Френкель.— Альфред Реньи Диалоги о математике. X—283.

Вл. Соловьев.— А. Нинов. Современный рассказ. Из наблюдений над русской прозой (1956—1966). А. Липелис.— Русские сказки в обработке писателей. XI—285.

Г. Койранская.— Л. Татьяничева. Живая мозаика. И. Борисова.— Дмитрий Сергеев. Крепость на отшибе. Повесть.

В. Яровицкий.— Медресе любви (Персидская народная поэзия). Составитель А. Шойтов. Переводчик Н. Гребнев. Я. Горелик.— М. И. Семиряга. Советские люди в Европейском Сопротивлении. XII—277.

Книжные новинки. I—287; II—287; III—287; IV—287; V—287; VI—287; VII—285; VIII—285; IX—287; X—287; XI—287; XII—287.

«Новый мир» в 1971 году. VII—287.— VIII—287.



Главный редактор **В. А. Косолапов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Д. Г. Большов (первый зам. главного редактора)
Ф. К. Видрашку (ответственный секретарь), **Р. Г. Гамзатов, А. А. Кулешов, В. М. Литвинов, А. И. Овчаренко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, О. П. Смирнов** (зам. главного редактора), **Ф. Н. Таурин, К. А. Федин**

Редакция: Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 299-81-77.
 Почтовый адрес: Москва, К-6, Пушкинская пл., д. 5.

Сдано в набор 30/X 1970 г.	Объем 18 п. л.	Подписано к печати 17/XII 1970 г.
А 10054.	Формат бумаги 70×108 ^{1/16} . 28,77 уч.-изд. л.	9 бум. л. (25,2 усл. печ. л.)
	Зак. 3610.	Тираж 160.000.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 70 коп.

70636